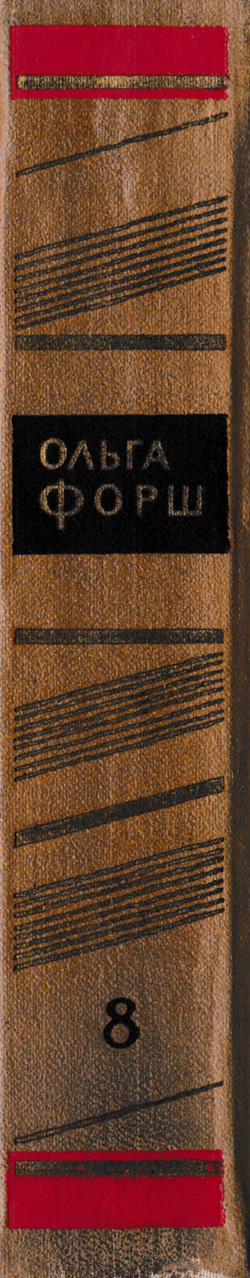
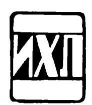


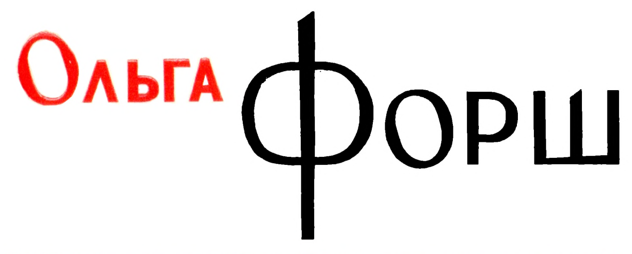
Ольга Форш



СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ

В ВОСЬМИ ТОМАХ

Издательство
«Художественная литература»
МОСКВА · ЛЕНИНГРАД
1964



СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ

ТОМ

8

ПЬЕСЫ
РАССКАЗЫ, ОЧЕРКИ
СТАТЬИ

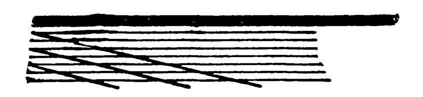
Издательство
«Художественная литература»
МОСКВА · ЛЕНИНГРАД
1964

Р2
Ф-80

Примечания
А. В. Тамарченко

О. Д. ФОРШ
1949 г.

ПЬЕСЫ



ЖИВАЯ ВОДА

Пьеса в пяти картинах

ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА

Елена.
Леонид.
Спиридон — скоморох.
Зоя.
Нимфодора — мать Елены.
Капитон — отец Леонида.
Мурзук.
Бабуст — содержатель игорного дома.
Фардон — жених Елены.
Слуги, гости игорного дома, стража.

КАРТИНА ПЕРВАЯ

Сад Капитона. Каменная скамья, перед ней стоит стол. Капитон, очень озабоченный, ходит в глубине. Хлопает в ладоши. Приходит слуга.

Капитон. Принеси мне главные счетные записи.

Слуга приносит свитки и восковые дощечки.

Хорошо, ступай... *(Смотрит записи.)* Здесь перечень движимого, тут — недвижимость... Земли... А это — должники. Как мальчик, волнуюсь от предстоящего разговора с сыном. Смешно. Давно ль водил его за руку, учил ходить, а сейчас словно не я, а он старший.

Входит слуга, подает новый свиток.

Слуга. Очень важное.

Капитон *(распечатал письмо)*. Любопытно, что тут важного. *(Читает.)* Спешим вас уведомить, что корабль с вашим грузом чудесно уцелел, благодаря тому, что запоздал выйти из гавани. Сильная буря разбила торговые корабли — первый и второй. Это известие нельзя разглашать, пока не будут исчислены убытки и приведен в окончательную ясность вопрос об уцелевших товарах. Сообщается вам одному... секретно. *(Про-*

шелся.) Везет мне в делах... Когда бы так и с сыном. А эту вдовицу Нимфодору жаль, жаль. По моему совету она продала свои дальние земли, обменяла их на товары, и сейчас всё на дне. Дочку Елену теперь нелегко будет ей выдать замуж... *(Увидал Леонида, спрятал письмо.)* А, Леонид, хвалю за точность.

Леонид *(здороваясь)*. Ты меня вызвал для какого-то важного разговора?

Капитон. Важный разговор. Да уж чего важнее, если я всю жизнь этого разговора ждал.

Леонид. Что же ты молчал так долго, отец? Кажется, вместе живем, хотя, правду сказать, не видимся...

Капитон. Помещаемся под одной кровлей — это точно. Ну, а живем мы по-разному: я в делах, как белка в колесе, ты — все рисуешь, рисуешь... Люди хвалят — художник.

Леонид. Но что с тобой, отец? Ты словно недоволен, что я серьезно занялся искусством. Недоговариваешь что-то...

Капитон. Уж очень мне важно, сынок, что ты ответишь, когда я договорю. Вот я и тяну... к тому же, старый дурак, все ждал я, что ты этот разговор начнешь первый. Недавно, когда я так сильно болел... Эх, Леонид, годы-то мои уж немалые...

Леонид. Отец, дорогой, что у тебя на душе?

Капитон. Доскажу, коли тебе невдомек. Ну, лежу я после болезни, еще очень слабый, и вдруг понял: силы мои уже не те, силы прежние не вернутся. И, вообрази, размечтался: вот отворится дверь, вот войдет сын мой единственный и скажет... Единственный ты у меня.

Леонид *(напряженно)*. Что же сын скажет отцу?

Капитон. А скажет не длинно, коротко скажет. Но как раз то, чего сердце отцовское ждет. Вот, скажет, допрыгался, старый черт. Сам теперь видишь, что пора тебе на покой. Я, скажет, моложе тебя... Образование ты мне дал хо-о-рошее, с ним я шагнуть могу подальше твоего. А ну-ка, скажет, вали мне на плечи все твои дела.

Леонид *(холодно)*. Торговые дела. Чтобы удвоить, утроить, учетверить капитал.

Капитон. Зря ты это, зря... Умножать капитал — дело грубое, и от этого ты мною избавлен. Черную работу проделал всю я. И капитал сколочен немалый. С мелочной лавочки начал и вот *(указывает на книги)* расторговался. Второй богач в городе. А если из списка должников хоть третья часть свой долг выплатит, ты такой же будешь богач, как старый Мурзук. Приобрел я, тебе только тратить с умом. *(Встал, ходит в волненье.)* Знать здешняя выродилась. Проигрались в кости, пропили свои земли. Ничтожества кругом, самодуры. Нужны новые, сильные люди. Бери в городе власть. Облагодетельствуй город. Ну, мало ли чем... Куда ни глянь, везде трещит! Строить надо. Пока я торговал, ты учился. Теперь покажи свой ум-разум. И пусть в городе, где твой отец родился последним, родной сын его станет первым.

Леонид *(обнял отца)*. Трудная была у тебя жизнь.

Капитон. Тебе зато сделал легкую. Ну, коли понял, сынок, расплатись с отцом.

Леонид молча в задумчивости ходит, Капитон с беспокойством следит за ним.

Капитон. Леонид, не решай сгоряча. Не отказывай, подумай.

Леонид *(подходит к отцу)*. Я сам давно думаю о том, что ты мне сейчас сказал. Выслушай и ты меня, дорогой отец. *(Садятся рядом.)* Я ведь тоже мечтал, что ты сам меня поймешь, и нам не надо слов. Ведь словом и не хочешь, а ранишь. Но ты так поставил вопрос, что с ответом мне больше медлить нельзя. *(Встает.)* Хотя я и твой сын, но я другой человек. То, что я люблю, то, чего я хочу, — совсем иное, чем у тебя. Ни денег, ни власти мне не надо. Я хочу лишь одного — делать мое любимое дело как можно лучше. А для этого мне не первое место занимать в нашем городе, а, наоборот, совсем отсюда уйти, уехать. Учиться хочу я, отец. Учиться, чтобы стать хорошим художником. Ведь ты знаешь, как я увлечен своей работой, сам ты хвастал знакомым, что сын не мот, не игрок, что ящик с красками ему дороже мешка с золотом... Рисование и есть *мое* дело. Единственное, которое я способен делать хорошо. Искусство, отец, требует всех сил, всех чувств, всего ума. Понимаешь — *всего* человека. Ревниво искусство, на меньшем оно помириться не может, если не стать пустоцветом. Тяжело мне тебя оставить, отец, но я должен уехать. Кончим наш разговор...

Капитон. Нет, Леонид, не кончим. Не погружай ты меня в отчаяние. Есть еще просьба к тебе. Вот послушай, садись... Так бывает, и наука это подтверждает... Если сын не в отца, зато внук через голову сына может выйти как раз — портрет. Все, что дед хотел и любил, по прямому адресу — к внуку. Даже название ученое для этого есть — позабыл. Коротко

говоря, женись, Леонид. Сейчас женись, пока я в силах сам воспитать внука. Ну, в крайности, внучку. Давай, словом, бойкого потомка — и скатертью тебе дорога. Рисуй хоть до гроба — слова не скажу. Невесту я тебе сам хо-орошую подберу.

Леонид. Невест, отец, не подбирают. Невест *встречают*. Каждый свою.

Капитон. И ты уже встретил. Отлично, хорошо... Подходящую? Кто такая?

Леонид. Первая красавица города. Ее имя — Елена. Встретил и потерял. Мне-то она подходит, да я ей не подхожу. Бежать мне отсюда, скорее бежать...

Капитон. Стой. Ты сказал — Елена? Мать у нее Нимфодора, такая неумная вдовица?

Леонид. Она. Вот эта Нимфодора — главное препятствие нашему знакомству.

Капитон. Преодолеем препятствие. *(Вынимает пакет, трясет им.)* В кулаке у меня эта вдовица. Решено: я буду твоим сватом.

Леонид *(испуганно)*. Отец, не гневайся. На разных языках мы с тобой опять говорим. Елена — это только мое, понимаешь, *мое* личное дело. Я не желаю, не потерплю твоего вмешательства. *(Сердечно.)* Помоги мне только скорее уехать. И надолго.

Капитон. Утешил, сынок. Отец ему — водовозная кляча. Отработал свой век — на свалку отца. А для кого работал? На что надеялся?

Леонид. Отец, ты вот говорил, что хочешь свой родной город поднять. Разреши сказать тебе, что есть здесь один человек... Необыкновенный. Ему для себя ничего ровно не надо. Он лучше всех тебе может посоветовать, как и чем здешним людям помочь. Справед-

ливый человек. Должности у него видной нет, а занятие такое, что он все про всех всю правду знает. Этот человек — скоморох Спиридон...

Капитон *(в ярости)*. Да как ты посмел — скомороха в советники! Смеешься над отцом. *(Бегает возбужденный.)* Дела пусть идут прахом. На внука не рассчитывай... Себе на шею бери скомороха. *(В большом гневе.)* В последний раз тебе говорю, Леонид: если за мое дело не примешься — и для своей мазни не жди от меня помощи. Для начала возьми эти книги, рассмотри, изучи...

Леонид. Свои у меня книги, отец.

Капитон *(кричит, вне себя)*. Проваливай с глаз долой! Не одумаешься, ко мне за помощью не иди, не иди!

Леонид. За помощью не приду... Прощай. *(Уходит.)*

Капитон *(как вспыльчивый человек, быстро ходит, мечется, вдруг остывает, говорит с большой печалью)*. Один я начинал, так и кончаю — один. Как перст один.

Слуга входит, останавливается в нерешимости. Капитон сам к нему подходит.

Капитон. Что еще?

Слуга. Богатый... Назвал себя — путешественник Мурзук.

Капитон. Не может быть... Проси, проси. *(Сам идет навстречу.)* Мурзук, приветствую! Что ты вдруг вернулся?

Мурзук *(богато одетый иноземный купец. Борода и ногти выкрашены хной. Много перстней с бирюзой,*

шелковый пояс, кинжал). Будь здоров, Капитон. Видишь, ехал на год, вернулся через месяц. Был Мурзук веселый, сейчас Мурзук злой, как верблюд. Глупый ваш город, глупые в нем люди. Жить не умеют, умирать не умеют. *(Садится по приглашению Капитона.)* Уехал я отсюда в большое торговое место — сижу, как паук, кругом паутину ветер сорвал, не могу узнать, где муха попалась. Дела стали, платежи стали, известий не имею. Здесь доверенный мой — имя Ахмет, все дела ему оставлял, — ни одного письма. Стороной я узнал, Ахмет большие деньги проиграл, и мои и свои. Где Ахмет? Говорят, нет Ахмета. Совсем и в городе нет. Убил себя Ахмет... Ай-ай! Другого доверенного теперь надо искать. *(Кричит.)* А негодяя, что погубил Ахмета, я знаю, как покарать... *(Останавливается перед Капитоном.)* Вот зачем я к тебе пришел.

Капитон. Чем могу тебе помочь?

Мурзук. Я правду узнал. Ахмета в игорный дом заманили, обыграли и отыграться не дали. Ахмет горячий и верный человек. Никому я не верил, ему верил. Ахмет стыда не потерпел, жизни решился... Такой нужный мне человек! Я того игрока покараю... он нечисто играл... Ахмета в чистой игре никто не обыграет... Тот негодяй знаешь кто? Фардон. У тебя на него векселя. Больше, чем ума в его голове, векселей. Уступи их все мне, пожалуйста, что хочешь бери, только уступи.

Капитон. И по себестоимости выйдет сумма изрядная. *(Указывает на книгу.)* Сам погляди.

Мурзук смотрит, вынимает деньги. Капитон хлопает в ладоши, пришедшему слуге говорит: «Шкатулку». Слуга тотчас приносит шкатулку с бумагами.

Капитон *(подает Мурзуку в обмен на деньги связку векселей Фардона)*. Вот, бери в свои руки судьбу игрока. Дрянь человечишко.

Мурзук. Мы эту дрянь наказывать будем.

Входит красивая девушка Зоя. Говорит застенчиво, сразу вызывая симпатию и уважение.

Зоя. Простите, госпожа Нимфодора приказала мне вас приветствовать и просить принять ее на секретную беседу... На деловую.

Капитон. На секретную, да еще деловую, — просто любопытно, о чем. Да хоть сейчас могу принять.

Зоя *(взглянув на Мурзука)*. Сейчас вы, может быть, заняты сами...

Мурзук. Меня, как занятие, не считай. Дела у меня. Сейчас уходить буду. *(Подхо́дит к Зое.)* Хороший девушка. Зачем красивые гла́за имеешь, а плачешь?

Зоя. Да разве заметно? Я давно плакала... Еще утром.

Мурзук. Утром плакать плохо. Вечером плохо. Всегда плохо. Смеяться хорошо. Смотри: за мной время бежит, догнать не умеет. Зачем не умеет? Я дела делаю, я смеяться умею, сердиться умею. Говори — зачем утром плакала?

Зоя. Госпожа меня обидела. *(Улыбнулась.)* Только я уж простила. Я люблю ее.

Капитон. Ее госпожа — вдовица Нимфодора, известна своим грубым нравом. Дерется — что мой водовоз. Удивительно, как ты можешь любить ее, Зоя.

Зоя. Вы ошиблись, моя госпожа — не Нимфодора, а дочь ее — Елена.

К а п и т о н. Тем хуже, если обидела тебя она. Выходит — яблочко от яблоньки недалеко падает. А я думал, Елена добрая...

З о я *(поспешно)*. Очень добрая, только вспыльчивая. На минуту не помнит себя, накричит — потом так жалеет, так жалеет. Нет, не браните Елену.

М у р з у к. Ты сама — первый сорт девушка. Иди ко мне служить.

К а п и т о н *(Мурзуку)*. Она — лучшая в городе танцовщица после того, как уехала малютка Аза. Вдовица Нимфодора хорошо на Зое заработала, отправляя ее танцевать в театр.

М у р з у к. У меня будешь жить — танцуй, себе деньги бери. Свободной будешь.

З о я. Свободной... о таком счастье и думать не смею. Будь моя воля, я бы сейчас пошла танцевать, вместе с Астрой.

М у р з у к. Подруга? Хорошее имя — Астра. Цветок.

З о я *(смеется)*. Самая верная подруга. Только она не человек, а собака. *(Все смеются.)* Она — единственная актриса у моего старика. Если бы вы знали, какой он добрый, хозяин Астры. Он самый справедливый на свете. Это скоморох Спиридон.

К а п и т о н. Тьфу... *(Грубовато.)* Ну, иди, иди... Скажи своей госпоже Нимфодоре, что ожидаю ее со всеми секретами.

Зоя кланяется, уходит.

М у р з у к. Это — хорошая девушка. Можно доверить весь дом — воровать долго не станет. Таких нет, чтобы совсем не воровали. Одни сразу воруют, другие потом воруют... Покупать хочу Зою.

Капитон. Попробуй, приценись. На побегушках она у дочери, на черной работе у матери. Но за хорошие деньги вдова Нимфодора и дочь родную продаст.

Мурзук. Дам хорошие деньги. Ну, Капитон, пойду. Еще буду к тебе приходить.

Капитон. У меня, Мурзук, тоже просьба к тебе... Ведь не усидишь долго здесь? Снова в дальний путь уедешь?

Мурзук. По всему свету имею дела. На месте сидеть — очень глупый головой станешь.

Капитон. Возьми меня с собой за компанию. Скажу тебе прямо — проехаться надо мне. Забыться. Тут я с сыном повздорил. Уехать хочу.

Мурзук *(пожимая Капитону руку)*. За-ме-чательно поедем. Только надо мне нового поверенного находить и негодяя Фардона покарать. *(Уходит.)*

Слуга. Достопочтенная госпожа Нимфодора.

Нимфодора — объемистая, очень важная матрона. Она делает сопровождающей ее Зое знак ждать ее при входе в сад.

Капитон *(подобострастно кланяясь, говорит с чуть заметной усмешкой)*. Ко мне в сад снизошло само солнце. Спешу его приветствовать пышными розами. *(Срезает розы, подает Нимфодоре.)*

Нимфодора *(снисходительно кивает в знак благодарности)*. Зоя, забери цветы. Да держи дальше от носа. Смотри, запах не вынюхай.

Зоя улыбается, преувеличенно далеко держа от себя букет, отходит.

Капитон. Я вам, достопочтенная госпожа, сколько угодно срежу свежих роз... Какое же дело привело вас ко мне?

Нимфодора. Преважное и секретное. В ваш сад ведь могут войти...

Капитон *(появившемуся на зов слуге)*. Пока достопочтенная госпожа Нимфодора своей особой украшает мой сад — никому входа нет.

Слуга с поклоном выходит.

Нимфодора *(садится по приглашению на полукруглую скамью)*. Я просватала мою дочь. *(Приложила к глазам платочек.)* Для матери это всегда такое волнение, такое...

Капитон. Смею спросить, кто жених прекрасной Елены?

Нимфодора. Сын покойного вельможи. Первый по доблести в нашем городе. Его имя — Фардон. Вам оно знакомо.

Капитон. Даже очень знакомо. Но вот доблести... Каковы его доблести?

Нимфодора. Обыкновенные для человека нашего круга. Он прекрасно танцует, ездит, как бог, верхом, одет у лучшего портного, на балах любезен с дамами... Но у меня, как у матери, есть одно сомнение, оно меня просто грызет. Я лишаюсь сна и покоя. Почтеннейший Капитон, я мать... *(Прикладывает платочек к глазам.)*

Капитон. Относительно какой же статьи доблестей Фардона у вас сомнения, достопочтенная госпожа?

Нимфодора. Относительно статьи его доходов, разумеется. По городу ходят слухи, что он злостный

игрок, что он надавал именно вам на себя векселей, превышающих будто бы все его состояние. Таковы городские слухи. Фардон весь в ваших руках. Сжальтесь над матерью. Откройте мне правду. Дело идет о счастье единственной моей дочери.

Капитон. Так, так. Но, допустим, вы узнаете, что этот Фардон — дрянной хвастун, жесток со своими слугами, нечестен... А вашу красавицу дочь... гм... полюбил некий достойный молодой человек. Незнатный, надо признаться, — совершенно незнатный.

Нимфодора. Зато очень богатый, надеюсь.

Капитон. Ну, это как сказать... Молодой человек может быть очень богат, если будет покорным сыном. Но он строптив, он хочет все по-своему, он в ссоре со своим отцом. Пока не помирится, отец ему не даст ничего... Ни-че-го.

Нимфодора. В таком случае, почтеннейший, я просто дивлюсь, как вы осмелились сватать моей дочери какого-то припадочного молодого человека. Незнатного и вдобавок лишенного наследства. Да я бы и сама за такого не вышла. И что можете вы порицать в Фардоне? Жесток со своими слугами — так им и надо. Отвечайте мне только на один вопрос, который я сама нахожу нужным задать: много ли должен вам мой будущий зять?

Капитон. Ах, так! На этот счет будьте покойны. Ничего он мне не должен. *(Насмешливо открывает свою долговую книгу.)* Извольте убедиться своими глазами — записи долгов Фардона зачеркнуты.

Нимфодора *(лицо ее сияет)*. Утешили, почтеннейший. Ну, теперь я с легким сердцем займусь приданым Елены. Шелка, кружева, ленточки... Сколько забот

для матери, если бы вы знали. Эй, Зоя, мой шарф, мои розы... *(Зоя подает и то и другое.)* Смотри мне в глаза: розы нюхала?

Зоя. Даже спиной к ветру стала, чтобы ветер запаха мне не принес.

Капитон. Достоуважаемая госпожа Нимфодора, соблаговолите еще минутку присесть на скамью. Сейчас *мой* черед сказать вам действительно важное и секретное.

Нимфодора. О, секретное — моя страсть. *(Зое.)* Зоя, опять отойди, подожди у калитки.

Зоя отходит.

Капитон. И срежь роз, сколько хочешь, и твоей госпоже и себе.

Нимфодора. Ну, ей-то уж лишнее. *(Зое.)* Свои розы можешь нюхать. *(Капитону.)* Я горю от любопытства, буквально горю.

Капитон *(вынимает письмо)*. К сожалению, я должен вам передать грустную, очень грустную весть. Вы знаете, я первый получаю торговые известия о грузах... О гибели кораблей и тому подобное. В этом секретном письме есть одно сообщение... Его пока нельзя разглашать, но оно касается вас. От вас я не вправе скрывать. Кроме того, я готов прийти вам на помощь. Может быть, мы вместе найдем выход из вашего положения.

Нимфодора. Не томите... О, как бьется сердце. В чем дело?

Капитон *(протягивая письмо)*. Читайте сами.

Нимфодора *(пробегает письмо глазами)*. Что

это?.. Что? Не хочу верить. Нет... нет... Я разорена! Я нищая!.. Ох, сейчас сердце разорвется!

Капитон. Я кликну Зою.

Нимфодора *(вмиг взяла себя в руки)*. Тс-с... Нельзя, чтобы кто-либо знал. Пока наше разорение тайна, я должна выдать Елену за Фардона. Скорее надо свадьбу... Сегодня, пока он не узнал!

Капитон. Уверяю вас — Фардон негодяй. Когда он поймет, что обманут, он отомстит вашей дочери.

Нимфодора. Только бы выдать ее... По закону муж должен давать содержание жене. А я-то уж вырву.

Капитон. Я хотел предложить вам совсем иное. В том юноше, о котором я вам говорил, что сватаю Елене, я приму самое горячее участие. Ему я помогу найти работу и дам занятие и вашей Елене. Для начала она будет вести мои счета — я сам буду ею руководить. А там дальше — посмотрим...

Нимфодора. Да как вы... Как вы только посмели! Моей дочери вести счета! Вот если бы сейчас предложили мне денег — это другое дело.

Капитон. И в этом не будет отказа. Первое время вам будет очень нелегко... Но еще минуту, уважаемая госпожа Нимфодора. Уверены вы, что и дочь ваша, подобно вам, сделает не колеблясь такой же выбор? Предпочтет предполагаемые богатства человека недостойного — трудовой жизни с тем юношей, которого я сватаю. Он прекрасной души и любит бескорыстно вашу дочь...

Нимфодора. Из бескорыстной любви, почтеннейший, как говорится, шубы не сшить. В благоразумии дочери я не сомневаюсь. Она *моя* дочь.

Капитон. В таком случае говорить нам с вами больше не о чем. *(Дает деньги.)* Здесь вам хватит на самую роскошную свадьбу.

Нимфодора. О, великодушный, почтеннейший Капитон... Благодарю. Вы, надеюсь, сохраните тайну письма, пока Елена не перейдет к мужу в дом?

Капитон. Охотно сохраню, многоуважаемая, будьте покойны.

Провожает Нимфодору до калитки. Нимфодора и Зоя ушли. Капитон один.

Хороша индюшка. Сама судьба избавила моего Леонида от этой зловредной семейки. А я-то сунулся сватом. Подходящий зять этой Нимфодоре только Фардон. И пусть вор крадет дубинку у вора.

КАРТИНА ВТОРАЯ

Опушка городского сада. Беседка. Перед ней лужайка. Красивый овраг. В беседке Фардон и Бабуст, содержатель игорного дома.

Бабуст. Вот тут и ждите. Почтеннейший Капитон скоро придет.

Фардон *(щеголеватый молодой человек, заметно нетрезвый, чуть заикается)*. Ра-ди чего Капитон сюда придет. Де-ловой человек...

Бабуст. Смех сказать, ради чего. Скомороха Спиридона посмотреть. Прослышал, будто он мудрец! Ха-ха... Скоморох-то!

Фардон. Этот богач Капитон всего объел-ся, его с жиру, как обжору, на кислую ка-пусту, на мудрецов тянет. Лучше б мне денег дал. Да не даст... Оч-чень уж

мно-го я у него перебрал! *(Бабусту.)* Ты, Бабуст, дай. Ты еще мной не щипан... ха-ха... У тебя ку-ры золота не клюют. Сколько лет держишь иг-горный дом? Кто в пух и прах проигрался, идет к тебе в бер-логу... во-шел при часах, перстнях, бриллиантах, а выйдет мок-рой кур-рицей... ха-ха! Обдерешь как липку... Ты, Бабуст, ростов-щик.

Бабуст. А коли так... ты должен помнить, что на пустышку я денег не дам. Где, доблестный Фардон, ваши часы с бриллиантами? Где ваши перстни?

Фардон. Вчера прос-садил.

Бабуст. Обошлись, значит, без моей помощи! Вот видите, когда идет дело о моей выгоде, вы и не вспомните... Другому даете поживу. А знаменитые у вас были часы. *(Щелкает языком.)* Знаменитые. Нет, вы уж лучше на уважаемого Капитона нажмите. Вот он, кстати, идет... *(Пошел навстречу Капитону. Низко кланяется.)* Уважаемому...

Капитон *(прикрывая некоторую неловкость насмешкой)*. Где у вас тут мудрец Спиридон советы дает?

Бабуст. По-моему, у мудреца дом должен быть каменный, как у вас, а у этого скомороха, как у бобра, землянка! Он приходит сюда на лужайку свою собаку штукам учить. Пустой человек. А вы, ваша милость, слыхать, уезжаете?

Капитон. Собираюсь. Тебе доверенности не дам, не хлопочи...

Бабуст. А в делах я не дурак, не подвел бы вашу милость. *(Делает знак Фардону подойти.)* Будьте здоровы. *(Уходит.)*

Фардон. Почтеннейший Капитон, приветствую!

Капитон. Что надо?

Фардон. Я немножко того, но это ничего. От-лич-но все понимаю. Я много вам должен. Ко-роче говоря... желаю быть долж-ным еще.

Капитон. Ваше желание понятно, но вопрос — чем и когда будете отдавать?

Фардон. Приданым невесты, почтеннейший! Это меня с богатой невестой друзья поздравляли... Уверяю вас, от-личным вином. Дур-рак я, даром свободу те-рять? За брач-ные узы деньги на б-бочку! Ха-ха...

Капитон. Ваша невеста, слыхал я, прекрасна и добродетельна?

Фардон. На добродетель мне ф-фу. Кра-сота про-растет скоро жиром. Но деньги невестины — это вещь. Дур-рак я, жениться без этой вещицы!

Капитон. Выходит — золото у вас в будущем. А в настоящем?

Фардон *(вывернул пустые карманы)*. В одном кар-мане — таракан на аркане. В другом кар-мане — блоха на цепи. *(Глупо смеется.)* А мне, лю-без-ней-ший, надо делать по-дарки... надо невестиной мат-туш-ке пыль в нос пустить! Понимаете, в нашем кру-гу не-обходимо...

Капитон. Как в торговле — обман?

Фардон. Фи, любезнейший... Не обман, а обы-чай.

Капитон. А что, если такой же обман, то бишь обы-чай вашего круга, вдовица Нимфодора применит и к вам? И, кроме красоты, за Еленой не окажется ничего?

Фардон. Иг-ра вооб-ражения! У Нимфодоры сун-дуки от добра ломятся. На зо-ло-те подают. Вдова ждет корабль с та-кими дарами! *(Воздушный поцелуй.)* Сло-вом, любез-нейший, отсыпьте напоследок...

Капитон. Играть ведь пойдете?

Ф а р д о н. Я вчера открыл за-кон беспроигрышной игры. Сейчас я вам рас-скажу.

К а п и т о н. Не трудитесь, я в картах не смыслю. А денег все равно я вам больше не дам. *(Уходит вглубь, Фардон спешит за ним.)*

Ф а р д о н. Пер-вую карту на-до пропустить. Поставить только на вторую.

К а п и т о н. Денег не дам!

Ф а р д о н. Третья кар-та все р-р-ешит. Она... *(Оба скрываются).*

Е л е н а и З о я выходят на лужайку, смотря Фардону вслед.

З о я. Это Фардон. Первый жених считается. А картежник тоже, говорят, первый.

Е л е н а. Не человек, попугай какой-то. *(Чуть звенят бубенцы.)* Что за музыка... Словно из облачка.

З о я. Это скоморох Спиридон идет со своей Астрой! Зайдем сюда в беседку. Тут виднее будет. *(Обе входят в беседку.)*

Е л е н а. Больше не звенит. А скоморох не обманет? Придет с собакой?

З о я. Обязательно придет! У него скоро в игорном доме представление. Вчера я его встретила, говорю: моя госпожа посмотреть хочет, как ты на лужайке свою Астру обучаешь, а он замотал головой, зазвенел бубенцами и говорит: «И я рад увидеть прекрасную твою...» А дальше не скажу, рассердитесь.

Е л е н а. Я приказываю... договаривай!

З о я. Ка-приз-ни-цу.

Е л е н а *(смеется)*. Что верно, то верно. Распусти надо мной зонт.

Зоя раскрывает над Еленой зонт, стоит сзади нее.

Е л е н а. Зоя, ты не приметила, за нами следом шел кто-нибудь?

З о я. Ну как же! Тот самый, что каждый день ходит. В руках у него ящик с красками. И красивый же он!

Е л е н а. Я обернулась, наши взгляды встретились. Он остановился — и шляпу на глаза. Смешно! Он, кажется, боится, что я первая с ним заговорю.

З о я. Опять бубенцы... Ближе, ближе... Спиридон!

С п и р и д о н влетает на лужайку вместе с Астрой. Он легкий. Седые кудри. На голове венец с приятно звенящими бубенцами. Он поет.

С п и р и д о н

Живи смелей,
Веселей,
Астра, скок... скок... скок.
(Елене, с поклоном.)

Привет прекрасной Елене!

Астра стала столбиком.

Собака изумлена. Окаменела. Памятник, а не собака. И причиною ты, Елена.

Е л е н а. Хочешь сказать, твоя собака поражена моей красотой? Ты льстив, как все люди!

С п и р и д о н. Поспешишь с заключением — людей насмешишь. Собака дивится, что у тебя две здоровые руки, а над тобой держит зонтик твоя Зоя. Так, Астра?

Астра кивнула, стала на четыре лапы.

Е л е н а *(Зое)*. Не видишь, что солнце ушло, закрой зонт. *(Спиридону.)* Ты дерзкий старик. Сказал бы так моей матери, она бы проучила тебя. А мне все равно.

Спиридон *(низко кланяясь)*. За урок тебе, за урок! Я хотел было тебя пристыдить, а сам и осрамился. Забыл вдруг, что нельзя, как дятел, долбить: злодею — злодей, дураку — дурак. Грех показать надо! Да показать — весело. Каждый над плохим посмеется — глядишь, исправился сам. *(Кричит.)* Представление начинается! Астра, слушать!

Астра стала столбиком.

Спиридон *(указывая тросточкой на собаку)*. Перед вами богатый путешественник. Бери в лапу. *(Дает трость, Астра берет.)* Закуску в зубы... *(Дает узелок с чем-то.)* Цыц. Не нюхать. Не есть. А я — ложусь на траву. Я бедняк, без работы, без крова, больной. О-ох... О-ох... *(Собаке.)* Чего ждешь? Астра-богач, иди мимо. Равнодушно иди. Крути нахально хвостом. Пренебрегай бедняком! Крути. О-ох...

Астра, важно крутя хвостом, проходит мимо стонущего Спиридона. Елена и Зоя смеются, хлопают в ладоши.

Спиридон *(встал, подошел)*. А сейчас, милочки, у собачки учитесь. Астра, на четыре ноги — стоп. *(Собака стала.)* Если ты не человек, а собака, ты бедного больного должна пожалеть... *(Опять лег на траву.)* Вот я больной... я — бедняк, о-ох...

Елена. Может, ты просто лентяй, за что тебя жалеть?

Спиридон. Не собачье рассуждение, милочка! Пес знает одно: человек жалуется — его надо накормить... О-ох...

Астра понесла было узелок по направлению к хозяину, но вдруг соблазнилась, растрепала, съела сама. Елена и Зоя очень смеются.

Елена. Ай да собачка... Пример человеку!

Зоя. Сама съела!

Спиридон *(схватил прут, бежит за Астрой)*. Злодейка, негодница!

Елена. Да она, видно, голодная. *(Бросает Спиридону кошелек.)* Лови!

Спиридон с разбега делает неловкое движение, чтобы поймать кошелек, и летит в ров. Елена и Зоя вскрикивают, подбегают к самому краю, свешиваются, смотрят вниз.

Елена. Спи-ри-дон!.. Упал на самое дно...

Зоя. Спи-ри-дон!.. Молчит. Он лишился чувств...

Елена. Беги... Приведи кого-нибудь.

Зоя убегает. Елена молча ласкает встревоженную собаку. Зоя скоро приводит Леонида. У него в руках ящик с красками.

Зоя *(указывая Елене на художника)*. Тебя издали рисовал... Это Леонид.

Леонид *(Елене)*. Не беспокойся, я помогу Спиридону. *(Спускается на дно оврага. Собака лает. Женщины с напряжением ждут. Леонид вылезает.)* Одному мне его не вытащить... Он без чувств. Пойду искать помощи. *(Уходит.)*

Елена *(раскрывая ящик)*. Кто тебе сказал, Зоя, что его зовут Леонид?

Зоя. У Спиридона висит его большой портрет — очень похоже, сам он рисовал. Спиридон говорит — он будет славный, знаменитый художник. *(Смотрит на рисунок.)* А это ты. Ну, как живая. И когда он успел?

Подходит Леонид. С ним двое рабочих. Елена поспешно закрывает ящик.

Леонид. Теперь на лад дело пойдет. *(Нагибаясь над ямой.)* Спиридон!

Спиридон *(почти весело).* Жи-вой...

Первый рабочий. Держись, старина! Живо тебя вытащим, как рыбку из пруда.

Елена. Осторожнее вы. Я хорошо заплачу.

Первый. Этого старика мы и даром...

Второй. Утешительный старик. Первый сорт старик!

Астра, словно понимая, радостно лает. Леонид один конец веревки спустил на дно рва Спиридону, рабочие к нему прыгнули. Наверху другой конец держат Леонид, Елена и Зоя. Появляется голова Спиридона.

Елена. Очень расшибся? Где болит?

Спиридон. А нигде не болит! Крыльев нет, а летать захотел. *(Обнимает Астру. Она вне себя, визжит и прыгает.)*

Рабочий. Собачка расстроилась, понимает.

Леонид *(рабочим).* Проводите его до самого дома. *(Подхватил пошатнувшегося Спиридона.)* Храбришься, старик, а ноги-то не держат?

Спиридон. Все добрые... все с лаской... Да я каждый день в овраг буду прыгать... *(Обшаривает себя.)* Ой, никак на дне обронил. Краса Елена кошелек дала... из-за него, проклятого, чуть голову не свернул. Ищи, Астра! Ищи!

Астра кинулась в кусты, принесла кошелек, положила у ног хозяина.

Елена. Пирожки съела, а денег не берет?

Спиридон. Астра знает, что ребятушек угостить

надо. *(Отдает весь кошелек рабочим.)* Вот за здоровье красы Елены!

Первый. И за твое в придачу...

Второй. Это мы с удовольствием, только сперва домой тебя доведем.

Первый. В «Белый Слон» на обратном пути... *(Смеется.)* Из него дальше некуда.

Второй *(Спиридону, подставляя руку)*. Зацепляйся за крендель, красна девица. Раз, два!

Уходят все трое.

Леонид *(Елене)*. Благодарю тебя за Спиридона... Он друг мне. *(Хочет идти следом.)*

Елена. Останься минуту. У меня к тебе дело.

Спиридон *(останавливается, говорит издали)*. Ты поласковей с ней, Леонид! Она сирота, краса Елена... Си-ро-та.

Елена. Бредит старик... Ведь мать у меня.

Спиридон. Случается у человека и мать, и отец, и теток пяток, а он все равно сирота. Поласковей, Леонид! *(Рабочим.)* Ну, лошадки, бойчей... *(Уходит.)*

Елена *(Зое)*. Зоя, возьми скорей у нас в кладовой самых лучших припасов в корзину и снеси Спиридону.

Зоя. Соберу ему... Разреши и зверям прибавить — Астре и птице.

Елена. Хоть всю кладовую бери, только чтобы матушке не попасться.

Зоя. Я-то? Не попадусь! *(Уходит.)*

Елена и Леонид.

Елена. Хочу тебя о чем-то спросить... Скажешь правду?

Леонид. Скажу. Спрашивай!

Елена. Ты так часто попадаешься мне на глаза... Что это, нечаянно или нарочно?

Леонид. Например, сегодня... Разве некстати?

Елена. Это не ответ на вопрос. Я спрашиваю: почему?

Леонид. Потому что люблю все красивое... Ну, деревья, цветы и людей красивых... Я живописец.

Елена. Уж видать, что не вельможа и не важный сановник. *(Смеется.)*

Леонид. Хороший художник не хуже сановника.

Елена. Жены этого сорта людей почему-то не выходят из бедности.

Леонид. Давно сказано — бедность не порок.

Елена. Но самая крупная неприятность! Я бедность ненавижу.

Леонид. Так что, если бы ты бедняка полюбила, то за него замуж не вышла бы?

Елена. Чудак... Чтобы я, как жены нищих художников, шила, стирала, бегала на базар?

Леонид. А что делаешь ты сейчас? Ходишь в гости, принимаешь гостей, часами болтаешь с портнихой.

Елена. Я делаю то, что хочу. Скажи лучше, что это за порода такая особенная — художник?! Чем это вы перед всеми гордитесь? Что это? Слышите вы, видите по-другому, не как все? Ну — небо голубое, трава зеленая...

Леонид. Луга — это сено, лес — это дрова. *(Смеется.)* Так.

Елена. Для обыкновенных — так. А для художника, я читала *(подчеркнуто декламирует):* «Небо — это

необъятный простор, расширяющий душу... Красота природы исторгает бескорыстные слезы восторга...» Так? Ну, а слезам этим — какая цена?

Леонид. Бескорыстные слезы восторга — бесценны! Если ты их, Елена, не знаешь, ты еще не человек.

Елена. Грубиян!

Леонид. Как хлебом — голодный, сердце живет этим волнением. Красота природы, музыки, большие мысли, благородство поступка... Да неужто, Елена, ты от восторга не плакала?!

Елена. Я плачу только от злости и каприза.

Леонид. Не верю. Ты сейчас — мертвая, как Спиридонова кукла, а если спрыснуть тебя живой водой — ты огонь!

Елена. Это еще что за Спиридонова кукла?

Леонид. Скоморох Спиридон сам сочиняет то, что должны играть его актеры. У него еще, кроме собаки, была малютка Аза — как она танцевала!

Елена. Где сейчас эта Аза?

Леонид. Право, не знаю. Вышла замуж, уехала. Но я успел увидать ее в «Живой воде» — это сочинение Спиридона.

Елена. Расскажи.

Леонид. Сам Спиридон играет кукольного мастера. Он сделал прекрасную куклу, совсем человека. Но она холодна, мертва. Она танцует, когда ее заведут. Кукольный мастер добыл у волшебника живую воду, ту самую, которая в сказке воскрешает мертвых... И кукла пробудилась к жизни. Кукла стала танцевать, как чудесная живая женщина.

Елена. От *живой воды* кукла ожила... Но это же выдумка! Я не люблю выдумок. Я люблю просто весну.

Люблю, когда из черной земли вдруг покажется первая зеленая травка. Солнце — вот кто делает чудеса...

Леонид. Любовь тоже делает чудеса.

Елена. Какая любовь?

Леонид. Если полюбить по-настоящему.

Елена. Что это значит — по-настоящему?

Леонид. Полюбить не за то, что выражено, что видно, а и за то, что скрыто от всех, чего еще сам человек в себе не знает. А любящий глаз увидал... Вот, я уверен, твои слова неправда, что не полюбишь бедного за то, что он бедный. Я уверен, что ты пойдешь на какую угодно нужду, на край света, пойдешь на смерть, когда ты полюбишь по-настоящему. У тебя сердце гордое и горячее, как огонь.

Елена. Так ты про меня думаешь... а если так, значит, ты меня уже полюбил. Признавайся!

Леонид *(задумчиво)*. Еще не знаю... хотел бы...

Елена *(гневно)*. Тебе нужно время для этого?! Боишься? А почему ты по первому моему слову кинулся в яму спасать скомороха?

Леонид. Разве я не мог помочь в беде человеку? Да еще Спиридону. Нет, это уж не ради тебя...

Елена. Дерзости говоришь!

Леонид. Говорю искренно... как привык.

Елена. Ты не стал бы читать мне наставленья, если бы по богатству и положению посмел ко мне свататься. Все бы тогда во мне тебе нравилось, все. *(С вызовом.)* Сегодня утром я, вспылив, ударила по щеке мою Зою. Ты как жених и тут бы нашел прелесть... Ха-ха! Но сейчас ты злишься, что для тебя — виноград зелен. Ты — бедняк.

Леонид. Елена, поверь, если бы я уже был твоим женихом и увидал бы, как ты ударила Зою, я тебе вернул бы обратно обручальное кольцо. И другое узнай: бедность, которая тебе так презренна, мною выбрана добровольно. Я — один из самых богатых людей в городе в ту же минуту, когда вместо живописи займусь торговым делом моего отца, Капитона. Он поставил мне такое условие, но я отказался.

Елена. Ты сын Капитона? И отказался от такого богатства?

Леонид. Я себе не хочу изменять. Я художник, а не торгаш.

Елена. Ты прежде всего — забавник! Мне весело с тобой. Приглашаю тебя рисовать в моей комнате фреску. И знаешь какую? Я, Зоя и один добродетельный юноша. Строгий, глупый, нахмурил брови, как ты, и отдает мне обратно обручальное кольцо.

Леонид. Ловлю тебя на слове, Елена. Я приду к тебе рисовать.

Елена. Да хоть завтра... Придешь?

Леонид. Приду.

Елена. До какого часа мне тебя ждать?

Леонид. До захода солнца.

Прибегает Зоя.

Зоя. Госпожа Нимфодора спрашивает тебя, Елена. Она сама сюда хочет прийти.

Елена. Уходи, Леонид, моя мать не очень-то жалует художников.

Леонид. До завтра, Елена. Жди до захода солнца.

Леонид ушел. Елена сидит молча, глубоко задумалась.

Зоя. Спиридон так был рад корзине... Особенно благодарил за подарки птице и собаке. Разнемогся он, еле домой его довели.

Елена. Завтра навести опять Спиридона.

Зоя. Я так люблю бывать у него. Он мне все равно что отец. Я завтра хорошо уберу ему комнату. Один он со зверями. Спит на соломе, а птица все стены испачкала...

Елена *(внезапно, как бы отвечая на свои мысли)*. Зоя, подойди ближе. *(Зоя подошла, Елена ее крепко обняла.)* Прости меня, Зоя, я тебя утром обидела.

Зоя. Да что ты, милая, я уж забыла. Я ведь люблю тебя.

Елена. И я тебя, Зоя, люблю. Уходи, мать идет.

Зоя ушла.

Нимфодора *(появилась из-за кустов)*. Вот ты в какую глушь забралась. Чего здесь не видала? А я к тебе с приятной вестью. Старый Мурзук нам большие деньги дает, чудак. Изъездил весь свет, лучше Зойки твоей не нашел. А ты-то еще утром ее по щеке ударила.

Елена *(вскочив)*. Не вспоминайте, мне стыдно.

Нимфодора. Выдумала стыд!.. Их всегда полезно учить! Мурзук купить хочет Зою. Такой щедрый... Я согласие дала и взяла задаток.

Елена *(в сильном гневе)*. Вернуть! Сейчас же задаток вернуть! Зоя со мной вместе росла. Она — моя подруга. *(Плачет.)*

Нимфодора *(в испуге)*. Наплачешь глаза, покраснеют. А тут жених придет. Елена, голубка, я задаток верну. Не продам проклятую девку, пропади она.

Хотя деньги нам... ох, как нужны. *(Вкрадчиво.)* Вот если бы ты, Елена, предложение приняла... Тебя сватает сын вельможи... Мельком тебя видел, а влюблен, влюблен.

Елена. Кто еще?

Нимфодора. Красавец Фардон.

Елена. Все в городе твердят — картежник, дурак.

Нимфодора. Завистники! Играет он не больше, чем всякий порядочный молодой человек. Сейчас я в книге почтенного Капитона видала, что все векселя его перечеркнуты. Подумать только, как велико его состояние, если он игрок, а долгов не имеет. Кроме Капитона, ему занять в нашем городе не у кого. А насчет того, что он не очень умен, так при твоем своеволии тебе только такого и брать в мужья.

Елена. Но зачем вы меня торопите с браком? Я совсем не хочу. Ведь сами вы хвастали, что скоро придут корабли и привезут нам богатство.

Нимфодора. Ох, словно в холодную воду мне прыгать. Уж лучше сразу... Елена!

Елена *(дрогнула, предчувствуя беду)*. Что случилось? Что?

Нимфодора. Елена... мы — нищие. Корабли, в которых везли наше богатство, погибли. Разбиты бурей.

Елена. Кто вам сказал?

Нимфодора. Капитон. Ему первому приходят известия. Все проверено... В городе никто еще не знает про нашу беду. Капитон обещал хранить тайну, пока ты не выйдешь замуж за Фардона. Надо спешить. Пойми, ты, Елена, сегодня ты еще богатая невеста, а назавтра — уже бесприданница. К тебе сватается сын вельможи, знатный, богатый.

Елена. Ничего понять не могу. Все спуталось в голове... Мы разорены. Но если этот Фардон на мне хочет жениться, к чему такой спех? Я буду все та же через месяц, даже через год... Все та же.

Нимфодора. Что ты, Елена, — дурочка?! Твое положение в городе скоро будет совсем уж не то. Сейчас, пока никто не знает, куй железо, пока горячо.

Елена *(поняла, вспыхнула)*. Стыдно! Я не стану обманывать.

Нимфодора *(опустилась на колени)*. Дочь моя, выслушай... Фардон — единственная наша надежда. Черный ужас перед нами. Ты и я без богатства — что воробьи в лютый мороз. Мы погибнем, Елена.

Елена *(подымая мать)*. Лучше гибель, чем позор.

Нимфодора. А мать в долговой тюрьме — не позор?

Елена *(ходит, сильно волнуясь. Остановилась, собралась с духом, твердо)*. Слушайте меня. Повторяю — обманывать я не стану. Но вот что я решила ради вас: я сама расскажу Фардону про наше разорение. Я вопьюсь глазами в его глаза. Если он дрогнет — конец! Но если, узнав о нашей нищете, он будет все же настаивать на браке, я... подумаю. Быть может, я тогда за него и пойду. Но только — быть может. Я свое решение скажу вам завтра... после захода солнца.

КАРТИНА ТРЕТЬЯ

Комната Елены. Нимфодора и Зоя разбирают принесенные Зоей цветы, ставят их в вазы.

Нимфодора. Все еще мало... Поленилась ты, Зоя. Иди, еще нарви букет.

З о я. Цветов как будто довольно, может быть красивой травки прибавить?

Н и м ф о д о р а. На сено твои травки годятся! Сказано — цветов. Подойти ближе. *(Зоя подошла.)* Сейчас ко мне для важного разговора придет господин Фардон... Поняла? Передашь Елене, чтобы пришла погодя.

З о я. Сейчас передам... *(Ушла.)*

Н и м ф о д о р а. Горяча нравом моя Елена, да умом проста. Перечить ей не стану, но перехитрю ее. *(Достает из шкафика пакет.)* Вот мой свадебный подарок зятю, Фардону: заверенная всеми печатями дарственная на товары, что сейчас покоятся на дне морском. Да такую красавицу, как моя Елена, и без приданого взять большое счастье! У этого Фардона денег куры не клюют. Хватает ему на карты — хватит и на семью. Вот только бы Еленино глупое признанье мне перед ним обезвредить... Придумала, по глазам узнать человека! А человек своим лицом всего чаще правду-то и скрывает.

З о я. Господин Фардон.

Н и м ф о д о р а. Проси, проси.

Ф а р д о н *(низко кланяется)*. Привет вам, нареченная матушка. А где же моя невеста?

Н и м ф о д о р а. Сейчас придет... Уж как она взволновалась, когда бы вы знали. Про вас дошли к ней преглупые слухи, любезный Фардон.

Ф а р д о н *(пугаясь)*. Мало ль завистников у меня? Оклеветан!

Н и м ф о д о р а. Вот и я ей точь-в-точь так сказала. Не игрок он, говорю, а, напротив того, самый деловой. Особенно обиделась Елена на разговоры, что женитесь на ней вы из-за денег.

Ф а р д о н. Мало ль кругом богатых невест. За меня-то каждая рада выскочить! Я выбрал Елену за красоту.

Н и м ф о д о р а. Ну и я ей точь-в-точь... Не за деньги твои, говорю, за красоту тебя выбрал Фардон. Однако вообразите, что́ Елена-то придумала сгоряча... «Прямо в глаза, говорит, я Фардону вопьюсь, уж я прослежу, если он соврет... Я скажу ему...»

Ф а р д о н. Что же именно?

Н и м ф о д о р а. А то скажу, будто два корабля с нашими богатствами в эту страшную бурю разбились и пошли на дно. Ха-ха-ха! Нет, что придумала?

Ф а р д о н *(поначалу пугается, но, разуверенный смехом Нимфодоры, сам смеется)*. Детские шалости.

Н и м ф о д о р а. Испытание ваших чувств взбрело Елене на ум, когда она узнала про подарок, который я ва́м приготовила. *(Подает дарственную.)* Вот вам от всего сердца.

Ф а р д о н *(развернул, жадно пробежал глазами. Сияет)*. Какая щедрость!

Н и м ф о д о р а. Все, все, что выручено за продажу наших заморских земель.

Ф а р д о н *(целует ей руку)*. Святая женщина! Я вас буду лелеять как родную матушку. Я так рано остался сиротой. *(Прикладывает платок к глазам.)* А выдержать испытующий взгляд прекрасной Елены не трудно. Одно удовольствие. Пусть смотрит на меня целый день.

Н и м ф о д о р а. Зятюшка!

Ф а р д о н. Матушка!

Упали друг другу в объятия. Входит Е л е н а.

Е л е н а. Матушка, что это значит?!

Нимфодора. А то, что жених у нас кристальной души. Я ему сама про корабли рассказала... А он-то в ответ... *(Со слезами умиления.)* Сам Елене скажи...

Елена. Вам, значит, известно, что мы нищие? Наши корабли потонули...

Фардон *(беспечно)*. Меня не касаются потонувшие корабли! Вот свадьбу я хотел бы поскорей. Дать вам хочу роскошную жизнь, а нашей матушке *(целует Нимфодоре руку)* счастливую старость.

Елена. Вы так бескорыстны? Значит, плохие слухи...

Нимфодора. Недостойная ложь недостойных людей.

Фардон *(Нимфодоре)*. Я бы просил ускорить нашу свадьбу, чтобы ничья болтовня не смущала драгоценный покой моей невесты.

Нимфодора. Да хоть сегодня вечером! Все готово. И погреба полны вина.

Елена. Но я еще не дала согласия...

Нимфодора. Не упрямься, Елена.

Елена. Я дам мой ответ, когда зайдет солнце.

Нимфодора *(Фардону тихо)*. Девичьи причуды... Вечером будет свадьба.

Фардон. Исчезаю... чтобы явиться в одежде, достойной великого события. *(Уходит.)*

Нимфодора *(Елене)*. Ну, хорош! Как дитя простодушен. Каким сыном будет мне! Тебе — послушным мужем. При твоем характере тебе только такого и брать. Совсем как у меня было с покойным твоим отцом. Ну, парочка!

Елена. Довольно, матушка. Когда сядет солнце, я дам окончательный ответ. А сейчас — оставьте меня одну.

Нимфодора *(в гневе, но сдерживается)*. Разреши только, я с Зоей пришлю белый плащ и венок с фатой... Может быть, что-нибудь переделать придется.

Елена. Присылайте что хотите.

Нимфодора уходит.

Елена *(ходит, волнуясь, останавливается у окна)*. Придет он... Разве может не прийти?

Зоя приносит белый плащ и венок из белых цветов с длинной фатой. Елена жестом показывает, куда положить.

Зоя. И примерять не стоит... Я вижу, что вам впору.

Елена. А жених, Зоя... Жених может оказаться совсем не тот, которого наметила моя мать! *(Смеется.)*

Зоя. Кто же?.. Ах, я угадала.

Елена *(закрывая Зое ладонью рот)*. Не называй его, Зоя.

Зоя. Ты его ждешь, и потому ты отложила ответ?

Елена. До захода солнца... Так он сказал.

Зоя. Елена, если ты с ним уйдешь, возьми с собой меня. Не оставляй.

Елена. Ну конечно, возьму. Убежим втроем... Ты, Зоя, бедности не побоишься?

Зоя. Если Елена не испугалась, то мне ли бояться?

Елена *(надевает на себя венок с фатой)*. А ведь мне идет.

Зоя *(накинула на нее белый плащ)*. Как ты хороша... Смотри. *(Подымает перед ней большое зеркало.)*

Елена *(отвела зеркало)*. Он мне сказал: «Настоящая любовь видит не только то, что выражено, но и то, что скрыто, чего сама в себе не знаешь...» И еще: «Я уверен... — слышишь, Зоя, так он мне сказал, — что

хотя ты своевольна, но сердце у тебя горячее. Если бы ты полюбила, то за любимым пошла бы на смерть...» *(Обнимает Зою.)* Зоя, я полюбила.

З о я. Художника Леонида?

Е л е н а. Ты все-таки назвала... Да, Леонида. *(Смотрит в окно.)* Он обещал прийти.

З о я. Я пойду его встретить. Может быть, он уже здесь, не знает, как войти.

Е л е н а. Безмолвно впусти его, Зоя, в калитку сада. Ни слова... и сторожи!

Зоя уходит.

Живой водой мастер оживил куклу...

В саду музыка.

Л е о н и д *(входит. Поражен красотой и нарядом Елены)*. Как хорошо, что ты догадалась надеть этот плащ... Этот венок с длинной фатой... Благодарю тебя, Елена. Ты угадала, что может пленить художника. Вот так я тебя изображу на фреске... *(Подходит ближе.)* Но знаешь, Елена, изображать себя тем строгим юношей, который тебе обратно отдает обручальное кольцо, я вовсе не хочу. *(Смеется.)* Нет, я не отдам тебе кольцо обратно.

Е л е н а. Прежде чем кольцо отдавать, надо его получить.

Л е о н и д. А чтобы его получить от тебя — надо прежде всего разбогатеть?

Е л е н а. Так надо было вчера... А сегодня надо совсем другое.

Л е о н и д. Ну и капризница! Однако становись ближе к свету, я начну сейчас первый набросок.

Е л е н а. Рисовать не надо...

Леонид. Для чего же я пришел?

Елена. Не знаю...

Леонид. Для чего же ты надела этот подвенечный наряд?

Елена. Для свадьбы.

Леонид. Чьей, чьей свадьбы?

Елена. Моей.

Леонид *(минута безмолвия. Внезапная ярость)*. Твоей с золотым мешком! Ну конечно, ведь ты ненавидишь бедность. Тебе все равно за кого, только б богатый. *(Подходит ближе.)* Что для тебя человек, любовь, уважение к самой себе?! Но как ты могла? Нет, как ты посмела звать меня в день твоей свадьбы? Зачем? Чтобы я увидал тебя в этом наряде, прекрасней чем когда-либо?! Тебе лестно видеть муки несчастного влюбленного?.. Ошиблась. Поздравляю *(кланяется)*, поздравляю с богатым женихом... Ты хотела, чтобы я тебя увидел в венчальном уборе и еще больше страдал от несчастной любви? Ну так знай — ты меня исцелила!

Елена. Зоя, проводи через сад художника Леонида.

Зоя. Но, госпожа...

Елена. Молчи... Проводи его.

Леонид. Я сам уйду. И больше меня не увидите.

Леонид ушел. Елена стоит неподвижно.

Зоя. Я его догоню!.. Объясню ему...

Елена. Если надо ему объяснять, значит — это не он. А я ждала, что он поймет меня без слов. Он скажет мне просто: «Елена, иди со мной». Зоя, если бы он так мне сказал, я бы сорвала этот подвенечный убор *(срывает венок, бросает его на пол)*, я бы с ним ушла.

З о я. А я за вами следом. *(Поднимает с полу венок. Тихо, в испуге.)* Госпожа Нимфодора...

Н и м ф о д о р а. О, ужас! Венок на полу... Все прахом. *(Хватает кинжал, подает Елене, кричит.)* Убей меня! Убей сразу! Завтра позор мне, тюрьма, униженье. *(Падает на стул.)* Я все равно не переживу, если свадьба расстроится! Я уже музыку наняла! *(Доносятся звуки музыки.)* Убей меня...

Е л е н а *(холодно)*. Успокойтесь, капризов больше не будет. Зоя, приколи мне покрепче венок.

Зоя прикалывает.

Н и м ф о д о р а *(оправилась, наблюдает за Зоей)*. Как будто с левой стороны надо больше на лоб. Очень хорошо. Красавица. Я жениха позову... можно?

Е л е н а. Подождите... одно условие.

Н и м ф о д о р а. Еще будешь мучить меня? Откладывать свадьбу нельзя.

Е л е н а. Делайте свадьбу как можно скорее... Сейчас. Мое условие такое: за мою свободу, которую ради вас я отдам Фардону, я взамен требую отпускную для Зои. Бумагу с вашей подписью и печатью. Пока не положите вот сюда, на стол, я не приму жениха.

Н и м ф о д о р а. Сейчас принесу. *(У дверей.)* Неужто я сама породила такое чудовище! *(Проходя мимо Зои.)* Растерзала б тебя! *(Уходит.)*

З о я *(подходит, опускается на ковер у ног Елены, обнимает ее)*. И свободная я тебя не оставлю никогда.

Е л е н а. Ты можешь больше для меня сделать, Зоя, если пойдешь жить к Спиридону-скомороху. Ему можно верить. Тебе будет у него хорошо. Если жизнь моя

будет мне не под силу — уйду. К вам уйду. Быть может, Зоя, ты когда-нибудь встретишь Леонида. Поблагодари его за то, что я тебя отпустила на волю. Он должен понять... А если нет... все равно. Ну вот и все. Я готова.

Зоя. Еще что передать Леониду?

Елена. Больше ничего не надо.

Зоя *(плачет, уткнувшись в колени Елены. Елена сидит, словно окаменела)*. Оживленная живой водой опять стала куклой...

Нимфодора *(входит, резким движением кладет перед Еленой бумагу. Зоя испуганно вскакивает)*. Вот отпускное свидетельство за моей печатью. *(Зое.)* Поздравляю свободную нищенку. Любопытно, кто тебя теперь кормить будет?

Зоя. Сама прокормлюсь.

Музыка.

Нимфодора *(Елене)*. Примешь жениха?

Елена. Пусть приходит.

Музыка. Елена стоит, как кукла. Нимфодора за руку вводит нарядного Фардона.

Нимфодора. О, какая минута! Мое сердце не выдержит. *(Елене.)* Не стой, как кукла! Улыбнись жениху.

Фардон *(протягивает Елене руку)*. Позвольте вашу...

Елена, не глядя, дает свою.

Нимфодора. Дети мои, да благословит небо ваш союз!

КАРТИНА ЧЕТВЕРТАЯ

Большой зал игорного дома. Слева маленькая комната — гримерная. Зеркало, перед ним — все принадлежности грима. Посреди игорного зала высокий помост — сцена. Полутемно, кое-где горят свечи. С картонками в руках входят Спиридон и Зоя. Им навстречу слева выходит Бабуст.

Бабуст. Все захватили, что надо? Сегодня у нас большое сборище. Весь город прибежит — сам богач Мурзук вести будет игру. А перед игрой — представленье. Смотри, Спиридон, лицом в грязь не ударь. Позабористей чтоб Зоя танцевала... Что наметил?

Спиридон. Что ни протанцует, плохо не будет.

Бабуст. Сейчас нахлынут сюда городские щеголи, мужья, прожигатели приданого добродетельных жен... Им надо скорей изменить обличье, чтобы избежать домашних скандалов, а гримера нового нет и нет... Если сюда заглянет —сразу пришли ко мне.

Спиридон. Пришлю. А где располагаться нам?

Бабуст. Идите на свой помост. Там и расставите, что и как вам надо, прислуги нету для вас... *(Уходит.)*

Зоя. Отец, мне страшно здесь танцевать, в этом игорном доме. Я так люблю твою «Живую воду», а кто ж ее здесь поймет? Ты слышал, Бабуст сказал: придут самые дрянные люди... Им только бы выиграть да обыграть.

Спиридон. А Леонида забыла?

Зоя. Ненавижу его. Из-за него так несчастна теперь Елена.

Спиридон. Вот это он и должен понять. Чтобы исправить содеянное зло, надо понять и признать, что зло сделал — ты.

Зоя. Какие у тебя всегда умные мысли, отец. Ты

удвоил мои силы... Давай скорее готовиться. Куда поставить это дерево? *(Указывает на картонную декорацию.)*

Спиридон. Это, детка, целый дремучий лес, а не дерево.

Зоя *(снимает длинную бороду с перекладины сзади)*. А на спине у нашего леса выросла борода.

Спиридон *(меряет бороду)*. Опять ошибка: не борода, а — волшебник-мудрец. *(Снял бороду, вешает обратно.)* В театре рассчитано все, точка в точку. Чтобы во время пьесы ничего не искать. Все должно быть под рукой. А ну-ка, подымем вместе стенку на помост. Возведем ее мигом. Р-раз! *(Поднимают стенку, ставят.)* Теперь другую. Ты, дочка, не отставай от меня. Лучше собирайся подольше, но уж ставь одним духом. Как я.

Зоя. Я не хуже тебя ставлю. Давно поняла, как надо.

Подымают вместе, но Зоя не попадает куда надо.

Спиридон *(смеясь)*. Огрызнулась, как Астра, и смазала. А ну — сначала.

Зоя *(подбегает к нему)*. А ты бы обругал меня, что тороплюсь, что я выскочка, что я хвастунья. А то все с лаской, со смехом.

Спиридон. Что скорей делу учит — когда побьют или когда объяснят?

Зоя. Сказал!.. Ты и собаку не бьешь.

Спиридон. А собака-то меня слушает. Выходит — я хитер. А ну, берись за двери. *(Ставят на сцену двери.)*

Выходит Леонид. Он осунулся, очень плохо одет. Видимо, опустился. Подошел к помосту, где работают Спиридон и Зоя. Зоя оглянулась, узнала его, выпрямилась, враждебно насторожилась.

Леонид. Неужто — Зоя? Но как же так... Почему ты здесь?

Зоя. Когда прекрасная Елена взаперти у негодяя... Это хотел ты сказать?

Леонид угрюмо молчит.

Зоя. Прежде чем погубить свою свободу, моя добрая госпожа мне отдала свободу. Она заставила свою мать отпустить меня на волю.

Леонид. Приказала Елена что-нибудь передать мне?

Зоя. Когда встретишь Леонида, сказала она, поблагодари его за твою свободу. Это его слова толкнули меня на этот поступок.

Леонид. Она так сказала? Но если так, как могла она выйти замуж... Объясни, как могла...

Зоя *(прерывает)*. Нет, не объясню. Она не велела. Она сказала: коль надо ему объяснять, значит — это не *он*.

Леонид. Зоя, умоляю тебя...

Бабуст *(влетает взбешенный)*. Что тут — болтовня? А в гримерной ждут клиенты. *(Близко подходит к Леониду.)* Опять от тебя разит винищем... Не вовремя будешь пить, смотри, прогоню. Доставай свои карандаши, скорее в гримерную.

Леонид уходит.

А ты, Спиридон, тоже не мешкай!.. Вот-вот гости съедутся — открою зал. *(Уходит.)*

Зоя. Как опустился бедный Леонид. Несчастная моя Елена, если бы она знала.

Спиридон. Вот и хорошо. Ты пожалела обоих. Теперь твой танец будет чудесным.

Зоя. Во мне сейчас вся оскорбленная любовь моей Елены...

Спиридон. Вот-вот. Сердца как факелы: вспыхнет один, об него зажжется другой. Сейчас ты в себе найдешь силу поднять Леонида, двинуть его на борьбу. Сейчас ты понимаешь, Зоя, как тебе надо танцевать твой танец оживленной куклы... Понимаешь?

Зоя. Мне кажется, отец, я понимаю.

Спиридон. Идем и приготовимся.

Оба уходят на помост, задергивают занавес маленькой сцены. В гримерной отдернулся занавес. Бабуст вводит в комнату Фардона. Лицо Фардона почти закрыто плащом.

Бабуст. Здесь никто нас не услышит, гости еще не собрались. Вы принесли?

Фардон *(вынимает ожерелье Елены)*. Цены этой бирюзе нет. Елена царапалась, как кошка. Память это какая-то у нее... Вот, ранила. *(Большая царапина на лице.)* Кричала — убей лучше. А мне зачем убивать? Неприятно. Сама пусть умрет.

Бабуст. Нельзя вам держать Елену взаперти. Весь город ропщет. И смерть ее матери, Нимфодоры, вам приписали...

Фардон *(морщится)*. Не поминай мне старуху. Спать не могу... Снится.

Бабуст. То-то я гляжу — похудали. Уехать вам надо из города...

Фардон. Вот выиграю и уеду. Мурзука желаю обыграть. А старуху я не убивал, сама удавилась. Мы

с нею квиты. Хотела меня обмануть. Подарок мне сделала... подводный. Ведь знала, шельма, что погибли ее корабли. А как узнала, что и у меня ни гроша, — она не стерпела. А вот снится.

Бабуст. А Елена почему в заточенье?

Фардон. Из окна хотела бежать... Зарешетил я окно. Дверь — на запор. Муж я или нет? Однако к делу. Мурзук наверно будет?

Бабуст. Прислал сказать, что наверно. И представленье заказал. Танцовщица ему тут одна приглянулась. Я, конечно, нанял ее.

Фардон. Перед большой игрой выпустишь эту танцовщицу.

Бабуст. Ха-ха... Мурзук-то игру поведет еще крупней, чем Ахмет... Он — хозяин.

Фардон. И в той же мере выгодно для нас. *(Протягивает ожерелье.)* Вот ты залог требовал. Давай за ожерелье много денег. Обыграю Мурзука, выкуплю его... Цены нет...

Бабуст. Ты мне хорошо платить должен. Рискуешь ведь не ты фальшивыми костями.

Фардон. Но коли тебя призовут к ответу — сейчас покажешь на меня. *(Прячет деньги, а Бабуст ожерелье.)* Главное, чтобы Мурзук меня не узнал. Боюсь я его... Он этого Ахмета любил. В городе ему, наверное, наболтали.

Бабуст. Что болтовня! Доказать ничего не могут.

Фардон. Давай скорее гримера.

Фардон отошел в сторону, прикрылся плащом. Посетители, желающие гримироваться, ломятся в комнату. Бабуст осаживает их назад, кричит.

Бабуст. Не сразу все... Тут один клиент раньше пришел, ждет. Гример с ним покончит и примет всех... Эй, Леонид!

Леонид *(вошел с ящиком грима)*. Здесь я.

Бабуст. Живей за дело! Будь вежлив! Угождай. *(Уходит.)*

Леонид *(подходит к Фардону. Спрашивает не глядя)*. Что вам требуется? Прибавить важности, омолодить, состарить, ума, быть может, добавить?

Фардон. На черта мне сдался твой ум. Мне выгоднее в этом месте казаться дураком или запугать своей наружностью. Закрась сперва царапину.

Леонид. Откуда получили?

Фардон. От самой злой жены.

Леонид *(достает карандаши)*. Обидели ее, должно быть.

Фардон. Был вынужден. У мужа и жены имущество одно. Она же своего мне не хотела отдавать.

Леонид. Вы, значит, отняли. И принесли в игорный дом.

Фардон. Н-но, не забывайся... Скорей гримируй.

Леонид. Ваш шрам нельзя закрыть. Карандаши ядовиты, ранка может разболеться.

Фардон *(пугаясь)*. Ты меня не хочешь гримировать. Пожалуйста, загримируй. Брани меня как хочешь, только гримируй!

Леонид. Я на голову надену вам чалму, привешу бороду, и шрам ваш будет кстати. Вы сказали — в игорном доме нужны глупость или устрашение. Для глупости... вам бы совсем не надо было грима, только вот закрыть этот шрам. Выберем — устрашение. *(Надевает на Фардона чалму, бороду.)* Страшный воин.

И только что с кем-то рубились. Право, всякий побоится вас обыграть.

Фардон *(смотрится в зеркало)*. Хо-рош. Ты, брат, умен, хвалю... *(Самодовольно охорашиваясь, уходит.)*

В гримерную всыпались сразу трое: старик на дрожащих ножках, молодой курносый щеголь и толстяк. Леонид развернул большие таблицы с гримом: мудрец, весельчак, старик, ученый, юноша и т. д.

Леонид. Выбирайте маски — что кому по вкусу.

Старик. Уж ты помолоди меня... на четверть века.

Курносый. Хватил бы сразу на полсотни — все равно вторая при тебе останется.

Старик *(сердито)*. А тебя глупее уж не сделать, чем ты есть.

Курносый. Ну что же, мне подойдет большой лоб.

Толстяк. А мне, гример, уж ты, пожалуйста, уничтожь мою почтенность.

Леонид *(берет в руки усики)*. Вот с этими усами ты превратишься в мотылька. Согласен?

Толстяк. Налепляй.

Все разбирают — кто усы, кто брови, кто бороды.

Леонид *(старику)*. Ну, юноша, садитесь.

Старик влезает на высокий стул. Леонид гримирует его. Занавес перед гримерной задергивается.

Веселая музыка.

Большой зал полон света, наполняется гостями. Входят и только что загримированные Леонидом люди. За ними бегают незагримированные, некоторых узнают, перешептываются, хохочут. Загримированные отрицают. Споры, ошибки. Среди гостей появляется Мурзук.

Мурзук *(знаком отзывает Бабуста в сторону).* Сейчас ты будешь мне показывать, какой такой Фардон.

Бабуст. Загримирован... не узнаете. *(Мнется.)*

Мурзук. А, понимаем... язык тебе надо развязывать. *(Дает кошелек, Бабуст ловко подхватывает, прячет.)* Каким таким гримирован?

Бабуст *(указывает).* В белой чалме, с бородой...

Мурзук. Совсем святой. В Мекке был или еще где такой разбойник бывать может. Откуда шрам имеет?

Бабуст. Жена поцарапала...

Мурзук. Начинай что обещал. Смотреть Зою хочу. Танец обещал.

Бабуст *(кланяясь).* Сейчас начнем. *(Уходит.)*

Под музыку проходят загримированные гости.

Бабуст *(поднимается на помост, объявляет).* Занимайте места. Представление скомороха Спиридона сейчас начнется.

Все занимают места. Спиридон выступает перед занавесом. Ярко освещен.

Спиридон. Сейчас, почтенные гости, моя новая танцовщица Зоя покажет вам впервые свое искусство — «чудесное превращение».

Голос. Дураков — в умных.

Второй голос. Лучше бы воду простую — в золотую...

Спиридон. Тебе дать в руки такое волшебство — живо бы ты кончился. Не пил, не ел, не жил — все б превращал и превращал.

Голос. На золоте б издох.

Спиридон. Пока Зоя готовится к танцам, я вам покажу фокусы. Пожонглирую, если позволите. *(Жонглируя, говорит.)* Главная речь в «чудесном превращении» будет — о воде живой. Протекает эта вода везде. Но чтобы найти ее — нужна волшебная палочка. *(Показывает палочку.)* Вот трону — из-под земли забьет родник.

Бьет маленький фонтанчик.

Это и есть, почтеннейшие гости, вода живая из всем известной сказки. Она-то и делает превращения.

Голоса. А ну-ка, брызни на нас, на меня.

Подскакивает другой.

Нет, лучше на меня.

Спиридон. Напрасно брызгать. На вас волшебство не подействует. Ты — почтенный, своих денег не раздашь, ты, прогнавший из дому старуху бабку, назад ее не воротишь...

Голоса. Угадал! Верно... Знает, кому что сказать. Ха-ха... Открывай занавес, давай.

Занавес отдергивается.

Бабуст *(провожая в первый ряд Мурзука).* Сюда, сюда! Вам кресло впереди.

Леонид выпускает последних загримированных. Остается стоять с левой стороны сцены.

Спиридон — посреди помоста. В руках у него на длинной палке громадный размалеванный диск.

Спиридон. Главное действующее лицо представленья — солнце. *(Подымает его.)* Вот оно взошло. *(Опускает.)* А вот оно зашло. Запомните, почтеннейшие, это — солнце.

Голос. Скорее — медный таз.

Смех.

Спиридон *(указывая на картонное дерево)*. Вот лес. В лесу живет волшебник. *(Надевает на себя парик Кукольника.)* Я Кукольник. *(Открывает большой, вертикально стоящий ящик.)* А вот и кукла — имя Лаила.

Голоса. Ну, Зойка, хороша... Получше Азы... Та — чернавка, а эта золотиста. А бела, а мила...

Кукольник *(подымает на палке солнце)*. Взошло светило... и Лаилу осветило... *(Подходит к кукле.)* Пружинку нажимаю — и куклу в пляс пускаю...

Зоя исполняет танец оживленной куклы.
Первый танец куклы.
Музыка третьей картины играет во время этого представления.
Кукла ослабевает все заметнее.

Спиридон. Сникла... Надо ей опять нажать пружинку.

Стук в дверь.

Кто б это мог стучать? А, знаю — сумасшедший живописец Нед. *(Публике.)* Он Лаилу увидал и сердце потерял. Он громко так вскричал: узна́ю я, как эту куклу оживить. *(Кукольник идет к дверям.)* Сейчас узнаем мы — узнал ли он...*(Кукольник скрылся за дверью.)*

Спиридон *(в юношеском парике Неда выбегает из дверей)*. Узнал! Узнал!...

О Лаила, тебя я куклой полюбил,
Своей любовью превращу — в живую.

Подхватывает куклу, ставит ее на ноги. Нажимает пружинку.
Зоя исполняет второй танец оживленной куклы.
Живописец Нед идет к волшебнику в лес.

Нед

Волшебник, выйди на мольбу,
Моя любовь твою постигла тайну,
Я жду воды живой — люблю!

Нед заходит за дерево, выходит длиннобородый Волшебник.

Волшебник

Покорный древнему веленью,
Живую воду я даю тому,
Кто первый крикнул мне — люблю!

Волшебник протягивает руку с флаконом по направлению к дереву, как бы давая тому, кто за ним стоит.

Даю тебе,
Но ты запомни:
Любви родник
Вода живая —
Кто ей владеет,
Тот оживляет,
Но, оживляя,
Не покидает.
Ты скажешь кукле до захода солнца:
Кто оживил — тот полюбил.
Запомни же: ты скажешь *до захода солнца.*

Волшебник уходит в лес. Из леса выходит Нед с пузырьком воды живой.

Нед

Вот у меня вода живая,
Могу Лаилу оживить.

(Останавливается, вспоминает слова волшебника.) Ты скажешь кукле до захода солнца: кто оживил — тот полюбил. Вот вздор!.. скажу сто раз и раньше.

Кукла танцует вяло, движенья ее замирают.

Нед

(подходит к ней)

Сейчас я брызну на нее живительную
влагу,
И в ней забьется жизнь ключом.
Ликую, как творец, пред тем, как
оживлял
Воздушное созданье одним словом.
Я оживлю ее... я... я... Какая гордость
Наполняет мое сердце. Я оживляю —
я творец.

Нед брызжет на куклу из флакона. Зоя, совсем было омертвевшая, вдруг встает. Широко открывает глаза, вздыхает. Как бабочка, что впервые вылетает, неумело расправляет крылья, делает наивные, очаровательные движенья, не веря себе, проверяя свое оживление. Вдруг всем существом ощущает проснувшуюся в ней жизнь и кружится в огневом, сверкающем танце. Останавливается, кидается к Неду. Вместе с жизнью в ней пробуждается великая любовь к оживившему ее. Она показывает Неду, как сильно любит его. Сказать не может. Он не понимает ее. Он прежде всего художник.

Нед *(берет белый плащ, венок белых роз, надевает на Лаилу, любуется ею)*. О, как ты хороша. Танцуй еще, танцуй.

Лаила неохотно отрывается от Неда, она опять хочет ему что-то сказать и не умеет. Медлит.

Нед. Еще танцуй, еще... Хочу тебя такой навек запомнить.

Лаила танцует. Ей все труднее. Останавливается, умоляет Неда.

Нед *(с досадой)*. Я оживил тебя. Так слушай приказанье — танцуй.

Спиридон снимает свой златокудрый парик и на минуту надевает парик Кукольника, тянет солнце книзу. Затем снова надевает парик Неда.

Лаила из последних сил неистово танцует. Останавливается. Оглядывается, видит, что солнца нет, хватается рукой за сердце, падает.

Нед *(кидается к Лаиле)*. Мертва. *(Оглядывается на солнце. В отчаянии.)* Я не заметил, как оно зашло. О горе, горе!

Голос. Неправильный конец. Живописец Нед не покинул Лаилу.

Спиридон *(сняв парик Неда)*. Он сделал хуже — прозевал.

Леонид *(повторяет как эхо)*. Он сделал хуже — прозевал.

Зрители выражают восторг. Зоя выходит, раскланивается.

Леонид *(перехватывает Зою, когда она уходит)*. Зоя! Ты заставила меня вдруг все понять... Как виноват я перед Еленой!

Зоя. Это мне лучшая из всех похвал... Я ведь ради Елены танцевала.

Леонид. Клянусь тебе, я освобожу Елену. Но дай мне силу... Скажи, чего Елена от меня ждала в тот день, когда стояла в подвенечном уборе. Скажи.

Зоя. Теперь скажу. Она мне сказала, когда ты ушел: «Если бы Леонид меня сейчас позвал: «Иди со мной», — то я бы пошла». И она сорвала и бросила на землю свой венок.

Леонид. О, счастье! Я любим Еленой. Я искуплю свою грубость... Я достану деньги, чтобы ее похитить. Зоя, мы с тобой освободим Елену. *(Убегает.)*

Мурзук *(подходит к Зое)*. Хорошо танцуешь, Зоя. Ты, я слыхал, теперь свободная.

Зоя. Добрая Елена отпустила.

Мурзук. Иди ко мне жить, Зоя. Дочкой будешь. Беречь тебя буду.

Подходит Спиридон.

Зоя *(указывая на него)*. Уже есть у меня отец названый — вот он. Не оставлю Спиридона.

Мурзук. В нужде с ним живешь. Танцевать в худое место должна ходить. У меня богатой будешь. Куда хочешь повезу — города, море увидишь.

Зоя *(обняла Спиридона)*. Как оставлю его — старый он, болеет.

Спиридон. Ради меня не отказывайся от своего счастья, дочка. Поезжай, посмотри свет.

Мурзук. Замечательно тебя замуж выдам. Приданое дам.

Зоя *(задумчиво)*. Из-за одного только пошла бы к тебе в служанки, в рабыни...

Мурзук. А ну, интересно, отчего пошла бы.

Зоя. Если бы ты мог освободить госпожу мою Елену. Вырвать от проклятого Фардона... Он ее держит в тюрьме... Спаси ее.

М у р з у к. Глупые слова стала говорить. Жена должна мужа слушать. Запер ее на замок — значит, надо запирать... Ну, приду к тебе в гости.

Спиридон и Зоя кланяются, уходят.

Б а б у с т. Почтеннейшие гости! Игра в кости начинается. Первый ведет игру наш редкий посетитель, достопочтимейший Мурзук.

Мурзук становится посреди залы перед длинным столом. Его окружают гости.

М у р з у к. Здесь недавно играл мой помощник. Звали Ахметом. Он несчастно играл, все проигрывал. Предлагаю в память его. *(Обводит всех глазами, останавливает взгляд на Фардоне.)* Вам, почтенный. Может быть, с востока прибыли?

Ф а р д о н. Д-да... с востока. Принимаю вызов...

М у р з у к *(Бабусту)*. Мечи кости. Ставлю на три очка. *(Кладет на стол золото.)*

Ф а р д о н. Я на два. *(Кладет золото. Становится близко к Бабусту.)*

Бабуст мечет кости, все жадно следят.

Б а б у с т. Сыграли — два.

Фардон забирает.

М у р з у к. Опять на три...

Б а б у с т *(мечет)*. Ваш проигрыш.

Забирает Фардон.

Мурзук ставит большую сумму, забирает Фардон.

Б а б у с т *(Фардону, тихо)*. Бастуй.

Фардон. Извините, достопочтенный Мурзук, я по моим правилам играю всего три раза...

Мурзук. Будешь сегодня нарушать свои правила. Будешь играть мое правило.

Фардон. Но я решил...

Мурзук. Смотри — моя ставка. Смотри. *(Кладет векселя Фардона.)* Играть будешь. Это векселя, конечно, не твои, но того негодяя, который обыгрывал Ахмета. Его, видно, в городе нет, я хотел его проучить, но раздумал... Завтра уезжать буду. Сейчас ставлю его векселя. Играй. Негодяй очень богатый, ты взыщешь. Получишь. Играй.

Фардон *(теряя самообладание)*. Я н-не хочу...

Бабуст. Рискуй, я помогу...

Фардон. Н-ну, если вы хотите... из уважения к вам играю.

Мурзук *(Бабусту)*. Подожди метать. *(Гостям.)* Почтеннейшие гости, внимание: здесь недавно, когда метал кости Бабуст, был потерпевший мой Ахмет. Весь город знает это дело... Я требую, когда сейчас ставлю очень большая сумма... пускай Бабуст свои кости откладывает — пускай берет мои метать. *(Кладет на стол свои кости.)*

Бабуст. Против правил... Не допускаю...

Гости. Допусти, Бабуст... Мы все требуем. Твоим костям давно не верим.

Мурзук. Хорошо, Бабуст, не допускай. Я твои кости забираю, отношу судье. Завтра будет над тобой суд. Все дела твои всплывут. Этот восточный человек в чалме не будет от них веселый. А сейчас ему рисковать еще можно... Вдруг выигрывать будет. А завтра в суде одно верно — проигрыш.

Гости. Сам, Мурзук, бросай кости, сам.

Мурзук *(Фардону)*. Называй очко.

Фардон называет. Мурзук бросает. Фардон проиграл.

Мурзук. Ставлю все золото и опять эти векселя. Еще рискуй, если рискнул чалму надевать.

Фардон. Мне больше ставить нечего.

Мурзук. Ставь живая ставка... Такой есть старый поверье — живой ставка неудачу перебьет.

Гости. Есть такое поверье. Ставь... Пойдет... Возьмешь свое.

Голос. Ставь лошадь... корову...

Другой голос. А нет — так собачонку, кошку, курицу.

Мурзук. На курицу не иду. На человека — иду. Имеешь жену?

Фардон молчит.

Мурзук. Ну что, без борьбы погибать хочешь? Ставь.

Фардон. У меня красавица жена. Ее ставлю.

Мурзук. Нельзя ходить втемную... Может, твоя жена — совсем урод. Давай свидетелей. Кто ты сам — не знаем. Борода есть, чалма есть, а тебя — нет. Большая игра, надо все знать.

Входит Леонид, он в отчаянии. Садится в стороне, видимо ждет Бабуста.

Фардон *(срывает бороду и чалму)*. Я — сын вельможи, Фардон. Моя жена — всем известная красавица Елена.

Л е о н и д *(вскакивает, кидается к Фардону)*. Негодяй!

Леонида хватают, держат.

Ф а р д о н. Сумасшедший!..

М у р з у к *(мечет)*. Бита. Ты — Фардон. Теперь давай жену.

Г о с т и. Он убийца... Тещу свою Нимфодору... Жену держит взаперти... Поделом ему...

М у р з у к *(Бабусту)*. Говори правила уплаты долга.

Б а б у с т. Если до восхода солнца не будет внесен полностью проигрыш, сейчас взятая под залог Елена, жена Фардона, должна стать собственностью Мурзука.

М у р з у к. Свидетели, идемте вместе со стражей в дом Фардона... С почетом доставим ко мне в дом Елену. Поверьте, ей там будет не хуже...

Г о с т и. Он как в тюрьме ее держит. Предать суду надо Фардона.

Фардона уводят. Мурзук и гости уходят следом.

Леонид, оставленный стражей, как неживой сидит на скамье. Бабуст подходит к нему.

Л е о н и д. Бабуст, ты должен знать, кто я. Я — сын Капитона. Я тебе верну деньги вдесятеро... Дай денег, чтобы выкупить Елену.

Б а б у с т. Так вот она, разгадка, зачем ты здесь гримером. Что ты сын Капитона — знал я без тебя. А вот зачем ко мне ты втерся — мне было невдомек. Подкараулить Фардона ты хотел, чтобы его пристукнуть, а вместо того его загримировал.

Л е о н и д. Молчи! Дай денег. Мой отец отдаст.

Б а б у с т. Он гневен на тебя, лишил наследства.

И я не люблю рисковать деньгами. Есть иной выход для тебя.

Леонид. Какой же?

Бабуст. Зачем тебе ждать отца? Дело не терпит, до восхода солнца часы считаны. Сам себя мне продай.

Леонид. Сам продам себя — тебе, Бабусту?

Бабуст. Ну да. И стыда тебе не будет. Я тебя до утра перепродам кому-нибудь в отъезд. Корабль сейчас пристанет, через несколько часов опять уйдет. На нем всегда много богатых, а им всегда нужны художники. Сейчас я дам тебе, конечно, не все деньги. *(Достает кошелек, взвешивает на ладони.)* Однако довольно, чтобы подкупить сторожей Елены. Ты увидишь Елену. Ты ей сам скажешь, что она тобой выкуплена... Потом ты придешь в дом скомороха Спиридона, я отдам тебе остающиеся деньги, а тебя передам твоему хозяину. Подумай только, сейчас ты можешь увидеть Елену. *(Протягивает кошелек.)* Увидеть Елену...

Леонид. Согласен. *(Хватает кошелек, убегает).*

КАРТИНА ПЯТАЯ

Большая комната. Бедно, но поэтично: горят разноцветные бумажные фонари, много незамысловатых цветов, птица качается на обруче. Астра стоит столбиком перед Спиридоном. Он ее кормит из рук.

Зоя. Как у нас хорошо. Все мы здесь родные. Ты, отец, Астра, я, птица — одна семья. Никого у меня не было, а сейчас — все вы... *(Обнимает Спиридона.)* Как мне трудно от вас уходить...

Спиридон *(гладит Зою по голове)*. Не уходи... Не уходи, если так трудно. Выше сил своих не надо

камень подымать — надорвешься. Подумай, каково это будет Елене. Такой ценой получить ей свободу. Вот приедет Капитон, я в ноги брошусь, я вымолю. И Елену он спасет и Леонида. Но куда этот безумец поделся, что он затеял?

Зоя. Богачи ничего даром не сделают. А тебе, отец, терять свободу хуже, чем мне... Я ведь приучена к неволе, свобода мне была в диковинку. И стар ты и хвор. Нет, никто тебя уж не возьмет. А Мурзук, я почему-то верю, мне вреда не сделает... Ты с Еленой меня будете навещать. А может, ты со зверями ко мне переселишься, отец. *(Собирает узелок.)* Нет, нет, не отговаривай, сейчас *мое* дело подумать об Елене, как она подумала обо мне. *(Смотрит в окно.)* Еще не светает, но уж скоро. Мне сказали, объявлено: Елену выкупить до восхода солнца. Прощай, отец... Моя собачка *(обнимает Астру)*, моя птичка *(покачнула обруч)*. Не провожай, отец, а то мне не уйти. *(Убегает.)*

Спиридон *(обнял Астру)*. Собаченька, осиротели... При ней крепился я. *(Утирает слезы.)* Да что там... Мечтал я, мои зверюшки дорогие, при этой доброй крошке заживем мы, наконец. Натанцует Зоя много денег, мы разведем чудесный сад, поселимся все там. Ах, звери дорогие, как счастливо мы б жили. Перед глазами цветочный ложок, ручеек журчит, деревья в пышной листве. Ты, Астра, перестала бы прыгать в свой обруч... пора и тебе, старушка, на покой; довольно, напрыгалась. Ты, птица, села бы на дерево, а над тобой был бы не потолок, а небо, как в твоем родном лесу. А я из скомороха превратился бы в садовника. И мне ведь отдохнуть пора... И не приметил я, как постарел. Я б выдал мою дочку Зою замуж,

нашел бы мужа доброго. И были бы у меня внучата. И все, все это погибло... Зои нет. *(Плачет.)*

Стук в дверь.

Капитон *(в дорожной одежде)*. Это — жилище Спиридона?

Спиридон. Мое... У вас, верно, спешное дело, что побеспокоились вдруг ночью...

Капитон. Да, дело спешное, извини. Я уезжаю... Свиданье мне в твоем доме назначил содержатель игорного дома. Слыхал, быть может, — именем Бабуст?

Спиридон. Хорошего в нем мало. На все руки человек.

Капитон. Он мне тут сторговал одного молодого. Я прочел на пристани объявленье о продаже его в рабство... Как раз мне нужен такой мастер. Указано — обратиться к Бабусту. Я послал доверенного. Бабуст мне предложил прийти к тебе, сам он тоже сейчас придет сюда с тем юношей... Да ты точно ли Спиридон-скоморох?

Спиридон. Да, так меня зовут. Но мне Бабуст ничего ровно не сказал о своей торговле юношей, хотя совсем недавно мы с ним виделись в игорном доме, где я давал представление.

Капитон. Ну, скоро все объяснится. Разреши у тебя присесть.

Спиридон. Выбирай любую скамью. Стоят все крепко. Я их недавно починил... А кто тот юноша, если позволишь спросить, которым Бабуст расторговался?

Капитон. Некий живописец по имени Леонид.

Спиридон. Не может быть... То-то я томился... *(Бегает по комнате.)* Леонид — ну да, конечно. Вели-

кодушная душа не вытерпела... Как и моя Зоя. *(Капитону.)* К каким ужасным бедствиям может привести жестокосердие родного отца.

Капитон. Что ж, его колотил отец? Морил голодом, преследовал?

Спиридон. Не по-ни-мал. А для отцов и матерей это такое же преступление, как морить голодом и колотить.

Капитон *(вставая)*. Будь справедлив, старик. Не все же родители... Ты и на детей перенеси вину. Дети, которые не понимают своих родителей, точно так же виновны перед ними.

Спиридон. Когда дети не понимают родителей, это тоже тяжело. Но не родители же от них зависят. А-а, что тут пререкаться... Тяжба родителей с детьми идет от сотворения мира. Сейчас дело идет о том, чтобы Леонида нам спасти от рабства... О, если бы я мог... Слушай, почтенный незнакомец, хотя я стар, но умею многое: чинить сети, делать стулья, показывать фокусы, петь, танцевать с ученой собакой, смешить людей, ходить колесом... Все вместе что-нибудь да стоит. Возьми меня вместо Леонида. Деньги ж заплати не Бабусту-негодяю, который украдет половину, а Леониду самому. Ему нужны деньги, чтобы выкупить прекрасную Елену, которую сегодня собственный ее муж проиграл Мурзуку в кости. Возьми меня. Ох, не держат ноги! *(Опускается на скамью.)*

Капитон. На что мне старик, который умеет ходить колесом? Мне нужен живописец — расписать стены моего нового дома, выкрасить забор...

Спиридон. И вы считаете, почтенный, что пишет картины и красит забор один и тот же человек. Такое

вот познание в искусстве имеет, должно быть, и отец несчастного Леонида. Вместо того чтобы гордиться редким талантом своего сына и помочь ему развить этот талант, отец потребовал, чтобы Леонид занялся счетными книгами, выгнал его из дома, лишил поддержки...

Капитон. Хорошо любит этот Леонид свое искусство, если из-за какой-то недостойной женщины решается пожертвовать своей свободой. А отцу не мог уделить вниманья... Ты думаешь, отцу это не обида?

Спиридон. Елена — женщина необыкновенная. Благородной души, красавица. Несчастнее ее нет судьбы. Мать обманом выдала ее замуж, муж держал ее как узницу, любимый ею Леонид, не поняв ее любви, толкнул ее на гибель... Он должен искупить свою вину. Если художник совершил преступленье, он и в искусстве не достигнет ничего. Он это знает. Надо ему это дело исправить.

Капитон. Отчего Елена с этим Леонидом не ушла? Побоялась бедности. Она — достойная дочь вдовицы Нимфодоры.

Спиридон. Жертва, а не дочь. Она готова была идти за Леонидом на край света, но, гордая, она ждала, что Леонид ее сам позовет. А он взбесился, весь в отца, должно быть. Тот выгнал его, не разобрав, в чем дело, а он так же глупо, ничего не поняв, покинул Елену. Что ей оставалось? Выйти за Фардона, как требовала и умоляла мать. Свидетель всему этому делу — моя дорогая девочка... Зоя! Иди-ка, расскажи, как все было, заступись за Леонида и Елену... *(Отдергивает занавеску.)* Зоя! Зоя!.. *(Вспоминает, что Зоя ушла, хватается за голову.)* Я с ума схожу. Ведь Зои нет... Как

буду жить без Зои? Малютка, доченька моя... *(Рыдает.)*

Капитон. Какая Зоя? Где она?

Спиридон. Зоя-танцовщица. Отпущена на волю доброю Еленой. Моя названая дочка. Пошла сейчас к Мурзуку предложить себя взамен Елены, которую проиграл Мурзуку Фардон. Видишь, почтенный, чего-нибудь да стоит эта Елена, если за нее добровольно стремятся отдать свою свободу — талантливый художник и талантливая танцовщица... Но я без нее не могу жить. *(Становится на колени.)* Почтенный господин, послушайте... Не разлучайте меня с Зоей, возьмите нас обоих вместо Леонида. Только не разлучайте... Зоя скоро оттанцует ваши деньги. Леонид удивит мир своим искусством, все мы будем счастливы. И, подумайте, вам за это честь и хвала.

Капитон. Да кто тебе Леонид — сын, брат, племянник?

Спиридон. Он мне больше, чем все это случайное родство по крови. Он — мой сын по избранию, по духу. По тому, что он, как я в юности, готов всем своим существом служить искусству, но как сильный, знающий, а не самоучкой, как я. Я служил искусству ощупью, как слепой. Остатком жизни хочу послужить его таланту. Он своими картинами утешит людей, а я больше ничем их утешить не могу. Состарился я со своими зверями... *(Обнимает Астру.)* Идем, мои звери, выручим молодого. Бери всех нас, всю семью за одного Леонида.

Капитон *(тронут, взволнован)*. Чудак... чудак.

Стук в дверь, тревожный, настойчивый.

Укрой меня. Если это Бабуст, я выйду к нему. Не хочу, чтобы кто-либо меня видел, кроме Бабуста.

Спиридон прячет Капитона за ширму. Идет отворить дверь. Входит человек, закутанный в плащ Леонида. В изнеможении падает на скамью.

С п и р и д о н *(кидается, хочет оказать помощь, но замирает, изумленный).* Женщина!

Женщина откидывает плащ, — это Елена.

С п и р и д о н. Прекрасная Елена... Глазам не верю. Откуда ж ты?

Е л е н а. Меня освободил Леонид, благородный Леонид. Он отдал мне свой плащ. Остался в доме Мурзука вместо меня. Сказал мне: как можно скорее беги к Спиридону. Пусть он тебя где-нибудь укроет... Только чтобы тебя не увидал какой-то Бабуст... Я не поняла. Я плохо понимаю. *(Ей почти дурно.)* Вот тут записка тебе... *(Дает записку Спиридону.)*

С п и р и д о н *(читает вслух).* «Укрой Елену, но не у себя. К тебе придет Бабуст с моим новым хозяином. Надо, чтобы она не узнала, что я продан, пока я не буду далеко... Пусть Бабуст меня сам заберет от Мурзука. Перед разлукой еще увидимся... Леонид». *(Потрясенно.)* Значит, в моем доме произойдет продажа Леонида в рабство. *(Елене.)* Но как Леонид проник к тебе?

Е л е н а. Он подкупил стражу — вымолил свидание. Стража не знает, что он выпустил меня, а сам остался. Я сразу ничего не поняла... Боюсь теперь: вдруг Леониду за это придется тяжко поплатиться.

С п и р и д о н. Сейчас уйдешь со мной... Я тебя спрячу.

Елена. Нет, пока я не узнаю, что угрожает Леониду, я не уйду. Я хочу его дождаться.

Спиридон. Чтобы тебя освободить, Леонид продал себя в рабство. Но мы его спасем... Иди за мной... Поверь...

Елена *(в большом волнении)*. Нет, нет, я не уйду! Я теперь поняла: этот Бабуст дал Леониду денег. Он придет сюда и заберет Леонида, как своего раба. Я не хочу свободы такой ценой, без Леонида. Я иду обратно, я иду! *(Рванулась к дверям, от слабости упала без чувств.)*

Суматоха. На улице крики: «Смерть негодяю! Умри, злодей!»

Капитон. *(Спиридону)*. Иди узнай, что там такое. Не беспокойся, я Елену не оставлю.

Шум на улице сильней.

Спиридон. Вдруг малютка Зоя возвращалась домой, и на нее напали! *(Хватает зажженный фонарь. Капитону.)* Не испугай Елену, она потрясена. *(Торопливо уходит.)*

Капитон *(мочит полотенце, прикладывает ко лбу Елены; дает ей пить)*. Выпей, голубка, будет лучше...

Елена *(робко)*. Кто вы?.. Где я?

Капитон. Не опасайтесь никого. Вы у друга вашего, доброго Спиридона.

Елена. А вы... кто вы? Я никогда не видала вас.

Капитон. Я тоже вас не видал, но знаю о вас давно. И думаю о вас немало... Не бойтесь — я вам теперь не враг.

Елена. Значит, раньше вы были моим врагом? Но за что ваша вражда?

Капитон. Я думал, что вы хотите погубить моего сына, не любя его. Простите... Сейчас я знаю, что ошибся.

Елена. Какого сына? *(Встает.)* Я так слаба... Не понимаю... кто ж вы?

Капитон. Я — отец Леонида.

Елена *(падает на колени)*. Спасите же его, спасите!

Капитон *(подымает ее)*. С тобою вместе, Елена, мы спасем Леонида. Я слышал все, что ты тут говорила со Спиридоном. И я счастлив, что слышал сам, своими ушами. Я привык не верить людям. Жизнь у меня была грубая, трудная. И я бы никогда не смог узнать, если бы не встретил на своем пути всех вас, что люди могут быть так великодушны, так добры, как Спиридон, ты, Зоя...

Елена *(протягивая ему обе руки)*. И Леонид, ваш сын.

Капитон *(обнимая ее)*. Благодарю тебя, благодарю.

Вбегает с фонарем Спиридон. Очень взволнован.

Спиридон. Чудесная судьба твоя, Елена... Сейчас погиб твой муж Фардон.

Елена. Неужто я свободна?! Но как, какой ценой?

Спиридон. Озлобленный вчерашним проигрышем, Фардон хотел сегодня опять играть. У него старые темные отношения с хозяином игорного дома Бабустом. Фардон требовал, чтобы Бабуст еще добавил денег за какое-то драгоценнейшее ожерелье, которое он ему вчера заложил...

Елена. Фардон насильно сорвал это ожерелье с

моей шеи. Леонид его очень хвалил, поэтому оно мне было дорого.

Капитон *(обнимая ее)*. Не волнуйся, все прошло.

Спиридон. Вот это ожерелье Фардон и требовал обратно... или доплату за него... Бабуст и слышать не хотел. Он торопился скорей сюда, ко мне, — продавать Леонида. Фардон в нашем переулке настиг Бабуста и ударил его ножом. Но Бабуст, который всегда имел при себе отменное оружие, так хватил Фардона, что уложил на месте. Сейчас Фардона унесли хоронить, а Бабуста отправили в больницу... он еще жив.

Елена. О ужас! Фардон может войти сюда, опять увести меня в свою тюрьму... *(Кидается к Капитону.)* Не отдавайте меня.

Капитон. Бедняжка бредит... Она измучилась ужасно. *(Осторожно кладет Елену на кровать.)*

Спиридон. Как быть нам теперь с Леонидом, с Зоей? Бежать к Мурзуку?

Капитон. Подождем. Ведь Леонид обязан прийти для встречи с Бабустом и со мной в твое жилище. Он придет.

Стук в дверь.

Спиридон. Вот он. *(Идет, открывает.)*

Леонид входит, оглядывается. Видит отца. Потрясен. Отец заключает его в объятия.

Капитон. Дважды сын мой. Мною рожденный и вновь купленный дорогой ценой. *(Подводит его к Елене)*. А вот и дорогая дочь моя, твоя Елена.

Елена. Леонид, я снова перед тобой, как прежде, как в последнее наше свидание, — я свободна. Фардон убит. Сейчас убит Бабустом...

Леонид. Свободна... Так, значит, ты — моя жена.

Елена *(протягивая ему руку)*. Твоя жена.

Спиридон. А я-то, как дурак, ругал Капитону — Капитона, то есть вам — вас.

Капитон *(кланяясь)*. Спасибо за науку. Благодаря тебе поверил я, что быть художником не хуже, чем быть купцом... А может быть, и лучше. *(Леониду.)* Живи как хочешь, Леонид, рисуй с утра до вечера, учись и путешествуй... А внуков мы будем вместе растить с Еленой, дарованной мне самой судьбой.

Спиридон. Как хорошо у вас все кончилось. Совсем как в доброй сказке. Но я требую и для себя хорошего конца...

Стук.

Капитон. Твой счастливый конец сам стучится в дверь.

Входят Зоя и Мурзук.

Зоя *(кидается Спиридону на шею)*. Отец, мы с тобой будем неразлучны. Мурзук берет тебя, и Астру, и птицу. Весь наш театр. *(Видит Елену.)* Елена! *(Обнимаются. Пугается, увидев Капитона.)*

Капитон. С тобой мы, Зоя, давно знакомы. Но ты не знаешь только того, что случилось здесь, у Спиридона. Свидетели — твоя Астра и птица. Я нашел себе дочку, как тебя — нашел Спиридон.

Елена. А мы с тобою, Зоя, сестры.

Мурзук. Совсем обширная семья. Одному Мурзуку не имеется в ней места. Впрочем, ошибся: мне принадлежит прекрасная Елена. Не собака и не птица,

имеются другие свидетели, что вчера я выиграл ее у Фардона. Елена — мой выигрыш.

Леонид. Который ты, если не проиграл — то прозевал.

Мурзук. Действительно, замечательное превращение. Иду получать самую красивую женщину и вдруг... из-под плаща на меня смотрит небритый мужчина. *(Леониду.)* Если ты перед моей стражей сошел за даму — принимай от меня себе приданое. Вот твоя запродажная. *(Дает бумагу.)* Меня сейчас призывали к умирающему Бабусту. Он приходил в себя перед смертью, отдал вот эту бумагу... И еще для тебя, Елена, свадебный подарок — ожерелье. *(Дает ей ожерелье.)*

Елена *(Леониду)*. Вернулся ты, и оно вместе с тобой... Мой талисман. Надень его мне сам. *(Леонид надевает ей на шею ожерелье.)*

Мурзук *(Зое)*. А как ты, маленькая танцовщица, обещание держать умеешь? Кто мне говорил: «Пойду к старому Мурзуку в дочки, если спасешь Елену»? Вот она — Елена. Все веселые, все получили хорошие подарки, — один Мурзук — холостой старый осел. Уезжать опять надо... за море, за горы. Так.

Зоя и Елена *(берут Мурзука за руки)*. Нет, нет, наша семья — твоя семья.

Мурзук *(Спиридону)*. Если так — иди жить в мой дом, в мой сад. Бери весь театр — бери Зою, Астру, бери птицу. Придешь?

Спиридон. Завтра придем обязательно. И до смерти будем вместе жить.

Мурзук. Не говори таких слов. Не могу больше терпеть. Думал — у меня совсем каменное сердце, а сейчас вместо сердца имею кондитерское изделие...

Леонид. Дорогой наш Спиридон, неосторожно ты обращался с флаконом воды живой. Ее брызги попали на всех нас...

Спиридон. Собака! Птица! Изображайте счастливый конец.

Веселый лай. Хлопанье крыльев.

Занавес

СТО ДВАДЦАТЬ ВТОРАЯ

Пьеса в четырех актах

ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА

Туров Сергей Иванович — начальник строительства.
Турова Зина — его жена.
Василий — гидротехник.
Шура — студентка техникума.
Максютина — землекоп.
Степаныч — столяр.
Варвара Петровна — предколхоза «Победа».
Сакаровна — счетовод.
Фаризет — узбечка, делегат VIII съезда Советов.
Азамат — кабардинец, делегат VIII съезда Советов.
Урвид — начальник отделения милиции.
Васька — мальчик с улицы.
Обдоркин — тренер.
Анатолий — бегун.
Прыгин — помощник Василия.
Миша — председатель местной спортивной команды.
Коридорный.
Швейцар.
Колхозники, колхозницы, делегаты съезда, рабочие, школьники, физкультурники.

Действие происходит в 1936—1937 годах.

АКТ I

Кухня общежития Стройтреста. Сакаровна у газовой плиты. Сзади нее тихонько вошел на кухню столяр Степаныч и вдруг крикнул.

Степаныч. Наше вам с кисточкой.

Сакаровна *(вздрогнула, обернулась)*. Ах... всегда испугаешь, Степаныч, не научишься покультурней.

Степаныч. А ты, Сакаровна, не научишься, чтоб не ахнуть.

Сакаровна. Я — Лидия Ос-ка-ров-на. Придумал Сакаровну.

Степаныч. Сакаровна, знаешь, по-русски как бы звучней. Турова ждете сегодня? Я ведь к нему.

Шура *(подходит к Сакаровне с кастрюлькой)*. Мне сейчас спешно надо по делу... Посмотрите, пожалуйста, за кашей.

Сакаровна. Хорошо, Шурочка, посмотрю.

Шура уходит.

Степаныч *(ходит, волнуясь)*. Можешь понимать, Сакаровна, что, к примеру, я вроде в отставку вышел

по своей профессии столяра, — а вот буду строитель гидростанции. Сам товарищ Туров мне доверяет. Какой человек! Он в глушь норовит, куда другого и калачом не заманишь... Чтобы именно там коптилку электричеством заменить. В такой вот мужицкой избе, где я парнишкой рос. Пойти наведаться к Зине, может, товарищ Туров уже приехал. *(Уходит.)*

Из комнаты Шуры выходит Василий с кастрюлькой.

Василий. Сакаровна, прошу... мне надо экстренно по делу. Не сварите ли мне кашу?

Сакаровна. Ты в своей кастрюльке, жена твоя — в своей... Не проще ли бы в общей? Почему не так?

Василий. А потому, Лидия Оскаровна, что мы ничего больше общего иметь не желаем. Мы даже комнату поделили. *(Посвистывает.)*

Сакаровна. Значит, и работать вместе не едете.

Василий. Я как был, так и есть — гидротехником строительства. Сюда я только наездами. А Шура, если хочет, может практиканткой и в другое место поехать. *(Смотрит на часы.)* Ну, мне пора... Вперед вам спасибо за кашу.

Сакаровна. Марью небось на работу себе возьмешь. Каково Шуре-то будет?

Василий. «Любовь птичка, да не простая, ее поймать никак нельзя...»

Сакаровна *(сердится)*. Никак нельзя! Вот твоя кастрюлька, вот Шурина — как душечки, рядком стоят.

Василий *(смеется)*. Поворожите... поворожите. *(Уходит.)*

Сакаровна *(одна)*. «Любовь птичка, да не простая, ее поймать никак нельзя». *(Качает головой.)*

Турова *(быстро входит)*. Сакаровна, мой Сергей приехал. Всю ночь не спал, сейчас на минутку свалился. Окончательный разговор со всеми вами хочет иметь. *(Открывает дверь в комнату Шуры.)* Шура!

Сакаровна. Ушла Шура по важным делам. Мне вот с кашей кастрюльку поручила. А Василий тоже кастрюльку, и тоже с кашей.

Турова. И комната пополам?

Сакаровна. Она заплакана, он свистит. Видно, в сердечных делах и советская власть не поможет. Что касается материнства — не спорю. Против прежнего и сравнения нет. Не то что в моей молодости. Ведь я, Зиночка, на себе испытала. Родила своего Анатолия не от кого следует, так ведь только и слыхала, что его первый писк. Тотчас куда-то его отдали. Тетка умерла, и концов было мне не сыскать. А сегодняшним молодым разве как нам? Вон в кино показывают... им и черномазого ребеночка иметь не зазорно, все желанные, все детки законные... Но с сердечными делами как было, так и есть... Василий свистит... «Любовь птичка, да не простая, ее поймать никак нельзя...»

Турова. Вздор, Сакаровна, и с сердцем должно быть по-другому.

Максютина *(вбегает возбужденная)*. Где Шурка, где? Я за ней бегом, а она как скрозь землю. Иду по набережной, а кто-то у самой воды стоит, плачет. Вниз я по лестничке, глянула в лицо — Шурка. Как порхнет от меня, да в переулок. На свою голову Маньку, подружку вызвала погостить. Васька с ней и скрутился. Сегодня на вокзал провожал чуть свет. Потом с Шурой ссорился. Звали меня шкафы промежду себя ставить.

Степаныч *(высунул из-за дверей голову).* Сакаровна, Максютина, Сергей Иваныч проснулся, вас зовет.

Турова. Выйдите, а я тут с Шурой два слова...

Все ушли. Турова ходит по кухне, взволнована предстоящим разговором.

Шура вошла с улицы очень расстроенная, бледная, стала у места Сакаровны за плитой, напевает наигранно-веселую частушку. Опускается на стул перед столом, кладет голову на руки.

Турова *(тихо обняла ее).* Зачем, Шура, комнату поделили?

Шура. Эту комнату... *(Встала, ходит.)* В ней вместе учились, вместе планы строили. В ней любили. А сейчас окно пополам, спиной ко мне его шкаф, к нему мой комод, еще девичий. *(Подошла к Туровой.)* И поверишь, Зина, когда я осталась одна, при своих холостых вещах, у меня как гора с плеч. Вся жизнь впереди, обойдусь без Василия. А Манька — черт с ней.

Турова. Сама ты из провинции ее вызвала?

Шура. Сама. Пусть, думаю, повеселится девчонка, в театры сходит. Все с Васькой бегала, а я, дура, рада. Мне бы главное, мне учебу кончить. И дождалась от Василия: «А знаешь, мне Маня гораздо больше, чем ты, соответствует». — «Ну и пусть, говорю. Может, вы и патефон заведете, джазы играть... сон у меня крепкий, пожалуйста». *(Пауза.)* И вдруг всю эту гордость мою — в лепешку. Зиночка, милая, — я беременна. *(Пауза.)* Умру — от Василия алиментов не возьму. Манька чтобы всюду кричала, что денег ей из-за меня мало. Житьто теперь как? Не знаю.

Т у р о в а. Хорошо будем жить, Шура. *(Обняла ее.)* Еще мой Сергей не знает, а тебе скажу: и я жду... Вот вместе, Шурка, рука об руку. И от работы не оторвемся и смену дадим.

Ш у р а. Зиночка...

Т у р о в а. Все, Шура, теперь перед женщиной... мы все и возьмем. Ни от чего не откажемся. У меня такая гордость перед Сергеем. Я, как он, с головой в нашей стройке. А сейчас еще преимущество перед ним. Полной жизнью живу... И ты, Шура, живи.

Ш у р а. Да ведь Василий туда Маньку выпишет... Допустим, с собой-то я совладаю, а каждый день нервы трепать — какого урода рожу?

Т у р о в а. Ну, нет. Марью выписать мы ему не дадим. Все вступимся.

Ш у р а. Вот и вступитесь...

С т е п а н ы ч *(открывая дверь)*. К чаепитию шествуем...

Входят Т у р о в, М а к с ю т и н а и С а к а р о в н а.

С а к а р о в н а. Ай, чай заварить. *(Бежит к плите, хозяйничает.)*

М а к с ю т и н а. Шурка нашлась. Ну, в добрый час. *(Хлопает ее по плечу.)* Ходи бодрей, милая. *(Туровой.)* Вот, Зиночка, товарищ Туров чудеса творит.

Т у р о в. Своими глазами, Максютина, увидишь! Наша станция, даром что мала она, товарищи, двенадцать колхозов будет освещать. Электрическая энергия нам поможет лен к сроку сдать...

Сакаровна наливает всем чай. Садятся за стол посреди кухни.

Максютина. Сдадим, товарищ Туров, не подкачаем.

Туров. В скором времени ты, Максютина, — премированный землекоп. Лидия Оскаровна — счетовод. Степаныч — квалифицированный столяр. А Зина — кем только не была на прошлой стройке! По душе мне, товарищи, медвежьи углы освещать. Сам я в деревне при коптилке рос. Знаменитое, скажу вам, было освещение. Тараканы сомкнутым строем по стенам шли, не боялись.

Ну, товарищи, проект мой утвержден, средства отпущены, приступим к постройке. Замечательный там на месте помощник будет — предколхоза «Победа» Варвара Петровна. Она этой зимой минутки не потеряла — подвезла по санному пути весь нужный нам лес.

Степаныч. А далеко ли от станции строительство?

Туров. Там, где речка Быстрянка пруд образует. От него пророем каналы, потянем воду к напорному бассейну, дальше в турбину по деревянному трубопроводу. Этакую пустим огромную гусеницу в двадцать метров.

Сакаровна. Совершенный змей... я в книжках видала.

Максютина. А где, товарищ Туров, разместимся?

Туров. По колхозным избам. Тебя, Степаныч, отрядим к предколхоза Варваре — у нее дома столярная мастерская. Муж ее столяром был, как ты, а ныне пьяница.

Сакаровна. Держись, Степаныч, Варвара с масштабом.

Степаныч. Проверим.

Входит Василий. Стоит вдали от всех.

Туров. Горячее время будет, товарищи, в дни подъема воды. На предыдущем строительстве, помнишь, Зина, трехтонка везла нам генератор, да, не доезжая станции, заела машину непролазная грязь. Молодцом ты была. Фонарь любезный, «летучую мышь», схватила, и в атаку...

Турова. Выбрались.

Туров *(встает с рюмкой)*. Да, отличные вы люди, товарищи женщины. Особо за вас хочу выпить. Сейчас в нашей стране переделывается весь мир, все условия бывшей собачьей жизни меняются, и до черта нам новые люди нужны. Такие, чтобы ни зерна в них макового вредной подоплеки не было. И главное ваше дело — смену давать! По шапке все боковое.

Турова *(вспыхнула)*. Молчи, Сергей. Каким Наполеоном обнаружился! Это он изрек, что самая достойная женщина та, что сделала наибольше детей. Одним этим делом нам заняться? Что значат слова твои «по шапке все боковое»? Это наши достижения во всех областях — боковое?

Туров. Зиночка, я не в том смысле... не в том.

Максютина. Нет... зацепил женщин, товарищ Туров, терпи — наше первое слово.

Сакаровна. Мы, женщины, способней мужчин мир переделать. Едва стройка пошла, все воз повезли. И сунься к нам враг.... Да хоть я... и незаряженного боюсь, а выстрелю. Я выстрелю.

Туров. Да слово-то дайте.

Турова. Отсталые нацменьшинства двинулись. Те, что покрывал своих не снимали, — перед народом сейчас говорят. Домохозяйки заявили, что они — коллективные хозяйки всей страны. Легион женщин стал на защиту своей родины. Ле-ги-он...

Василий *(подходит)*. Браво, товарищ Турова! Выступать на эстраде можешь.

Шура *(вспыхнув, прерывает)*. Сейчас полезно мужчин проработать. Иные совсем не на высоте сегодняшнего дня. Совсем не на высоте... *(Осеклась, в голосе слезы.)*

Турова. Верно, Шура. Продернуть невредно и мужчин. Главное — разоблачить взгляд многих на женщин *(в сторону Василия)* как на забаву или как на второй сорт. Да, да, это недавно предо мной обнаружил не кто иной, как Степаныч.

Максютина. Выходи, Степаныч, на чистку... *(Вытаскивает Степаныча.)*

Турова. Помнишь, Степаныч, восьмого марта, в наш женский день, идет мимо дома демонстрация, мы с тобой рядком стоим, и ты со смешками... вот имей-ка мужество, повтори, что сказал.

Степаныч. Очень просто, и повторю. Посмеялся, что много прав вам отпущено, это уж, говорю, ничего не поделаешь, сам понимаю... социализм. А еще сказал я... равняй вас — не равняй, извиняюсь, товарищ Турова, рожать бессменно вашей сестре, а не нам.

Турова. Не отказываемся. Только мы и государством править хотим не похуже вашего брата. И докажем, докажем.

Степаныч. То-то и я говорю, доказать надобно. А то которая из ваших кричит, как мыша трудится,

а не слыхать. Не определен вам природою толстый голос.

Максютина. Делом возьмем, не голосом. Будем и ваше мужское и свое женское делать. И страной править и деток рожать. И ничему ровно дите не помеха. Начнешь его подымать — сама, ровно черемуха, зацветешь. Да с дитем легче в порядок стать. Старики не дураки, говаривали — дитем баба спасается.

Туров *(смеется)*. Ну, товарищи женщины, во всем вы обогнать можете, признаю, — только логика у вас в последнем счете пойдет. Чего на меня взъелись, если сами к тому же пришли, что я вам сказал, детных хвалите.

Турова. Да ты все боковое предлагаешь долой...

Туров. А вы дали мне пояснить, что это боковое в себе содержит? Конечно, это не работа, не профессия ваша, а вот тары-бары-растабары, а вот...

Турова *(зажимает ему рот рукой)*. Молчи, Сергей, молчи...

Туров *(смеется)*. Ну, вернемся, товарищи, к нашему ближайшему делу. Кто со мной может завтра же ехать? Как вы, Сакаровна?

Сакаровна. Еду. Ах, я и во сне вижу напорный бассейн...

Туров *(смеется)*. Наяву в счетных книгах не спутайте. *(Василию.)* Василий, ты, братец, необходим... и Шура необходима. *(Шуре.)* Занятия ведь окончились, чего тебе здесь сидеть?

Шура. Сергей Иваныч, если Василий едет, я не могу... или он, или я. Вместе не могу. *(Заплакала, убежала в коридор.)*

Степаныч. Комнату перегородили, кашу в разных кастрюльках варить начали.

Максютина. Опасается, видно, Шура, что Василий на строительство к себе эту Маню выпишет.

Василий безмолвно и независимо курит. Максютина рассердилась.

Одерни, товарищ Туров, Василия. Ведь не от Шуры — от него все художества.

Сакаровна. Максютина, Степаныч, пойдемте ко мне на минутку. *(Потише.)* Разве не понимаете, разговор должен быть конфиденциальный.

Уходят Максютина, Степаныч, Сакаровна.

Василий *(продолжает курить)*. А если конфиденциальный разговор, зачем Зине оставаться?

Туров *(ходит)*. Муж да жена — одна сатана. Зина вросла в дело, она моя правая рука. А разговор с тобой о деле.

Василий. Ну, пусть, мне даже любопытно.

Туров *(остановился против Василия)*. Ну, вот ты — гидротехник, Шура — твой помощник, оба необходимые работники на станции. Тебя я знаю, работали вместе и на другом производстве. Отлично... хорошо. К чему перемены?.. Что у тебя вышло с Шурой?

Василий. Не вышло, а прошло. Расходимся.

Туров *(бегая)*. Милое дело... расходимся. Гидростанцию нужно прежде построить. Ты разойдешься с Шурой, я с Зиной... Да ведь мы не частные люди, мы не праздные люди, чтобы нам дурить. Понял? Пока не построена станция, фантазии — дезертирство. Поедете

оба с Шурой... И вообще эта перемена — ерунда... Поговори с ним, Зина, подробней. Ну, там о чувствах... я не умею. И совершенно мне некогда, у меня тысяча дел. *(Уходит.)*

Зина и Василий. Турова, слегка стесняясь, стоит у стены. Василий курит, спокойно поглядывая на нее.

Василий. Что, Зина, стесняешься меня наставлять?

Турова. Слов ищу, тебе растолковать...

Василий. Давай я сам тебе сразу все выложу.

Турова. Ну, выкладывай!

Василий. Пойми, Зина... Человек, пока жив, все растет, все меняется. Ну, а если тот, кто с тобой рядом, — меняться не желает?! И понимаешь, не желает в самом интимном, внутреннем, в том, что в семейной жизни так важно... из чего и сплетается то, что зовут — счастьем?!

Турова. Новая женщина во всем хочет расти, потому что она...

Василий *(перебивает)*. Ты, Зина, не-до-смот-рела! Иная и очень как будто новая... она и в своей профессии отличилась, она и с эстрады гремит, а как вошла на свою семейную жилплощадь — курица курицей! А совсем как прежняя — в мужа вцепится: мой, кричит, *мой* собственный! Вот, таким образом, эта Шура в меня... ну как пиявица! И сейчас у меня, знаешь, просто какой-то зуд себе самому доказать свою свободу.

Турова. Любит Шура тебя...

Василий. На свою потребу!.. Надо любить так, чтобы другой от этой любви получал! Вот скажу Шуре:

музыки хочется, пойдем в симфонический, а она: спать хочу. Ну, и стал ходить с Маней...

Турова. Ты культурней Шуры, старше... Ты должен был ей помочь. Скажу тебе, Вася, и у тебя старинная психология. Что-нибудь с женой не заладилось — сейчас тебе новую подавай! Да по такому рецепту жить — сегодня одна мила, завтра — другая, покатишь-ся... *(Подходит.)* В советском браке не должно быть на время... вместе должны меняться, вместе расти.

Василий. Знаешь, Зина, поговорку: хорошо поешь... где-то сядешь? Ты мне тоже не пример новой женщины! Ты, Зина, — непроверенный экземпляр... легко тебе поучать!

Турова. Какой... какой экземпляр?

Василий. Не-про-ве-рен-ный.

Турова. Объясни!

Василий. Все права вам даны, так! Ну, а психологию уж самим дотянуть надо! Проверь, точно ль она у тебя новая, а не бабкина-пробабкина? Вот, к примеру, Сакаровна. Хлопнула ее жизнь по личному чувству сто лет назад, а она и сейчас пришиблена.

Турова. Сакаровна — советская и свое дело делает.

Василий. Говорю сейчас не про дело, не про общественное, а про самое интимное. И здесь сейчас надо бы побогаче... пошире. Однако точка. Конфиденциальный разговор кончим. Заявляю — на работу двинемся с Шурой вместе и Маню не стану выписывать.

Турова. Как я рада...

Василий. Только знай — убедила меня вовсе не ты, а твой муж, товарищ Туров. Прав он: пока гидро-

станцию не докончим, из строя нельзя никого выбивать.

Туров *(голова в дверях)*. Ну, как дела?

Василий *(быстро)*. Мы с Шурой едем оба!

Туров. Расчудесное дело... Максютина!

Появляется Максютина.

Оба едут... мирится он с Шурой.

Максютина. Хватит им кашу в одиночку варить!

Василий. Обратно женить меня вовсе не требуется. Я только даю обещание не срывать работу.

Максютина. Пойду скажу Шуре, чтобы плюнула на тебя. *(Уходит.)*

Туров. Значит, двинемся, Василий, завтра?

Василий. Есть, товарищ Туров. Иду вещи собирать.

Василий ушел. Туров и Зина одни.

Турова. Сережа... Угадай, почему я накинулась на тебя, когда ты брякнул: «долой боковое» и всем женщинам родить предложил в спешном порядке... За компанию и Максютиной и Сакаровне? Чудак ты...

Туров. В голове у меня хорошо... а скажешь порой... кого-то вроде огрел. Привык молча работать.

Турова *(подходит)*. Ну, отвечай, догадайся... будь психологом. Угадывать должен, если я твоя жена.

Туров. Угадывать согласен викторину и мысли малолетних, а ты...

Турова. Я — новая женщина, которая боится в себе старой психологии.

Туров. Валяй, Зиночка, прямо.

Турова. Один вопрос... ты бы хотел, Сережа, чтобы я первая выполнила твое предложение насчет смены? Ты был бы рад?

Туров *(смущенно)*. По правде сказать, Зиночка, оно лучше б попозднеи. Вот когда выстроим гидростанцию... попозднеи лучше, да.

Турова *(вспыхнула)*. Ты боишься, что я тебе помогать стала бы хуже?

Туров. Нет, Зиночка, я тут без сомнений...

Турова *(прерывает)*. Напрасно без сомнений... Если хочешь, скажу тебе правду. Я оттого рассердилась на твое «долой боковое», что слишком боюсь уйти с головой в своего ребенка. Он для меня — все. *(Вспыхнула.)* А для тебя... для тебя, Сережа, — он только более или менее удобное обстоятельство.

Туров. Зиночка...

Турова. Да, да... не оправдывайся! *(Слезы в голосе, но старается улыбаться.)* Ну вот... у меня уж и характер стал портиться. Прости, Сережа... не буду к тебе придираться. Буду счастлива в одиночку. Василий знаешь что мне сказал? Все права вам даны, а психологию самим дотянуть надо...

Туров *(смеясь)*. Жаловался на Шуру! *(Обнимает.)* Ну, береги тебя, Зиночка *(глянул на часы)*, а мне, если завтра ехать, одну проверку обязательно надо сделать.

Туров ушел, Зина одна.

Турова. Что же... будем дотягивать...

Занавес.

АКТ II

Между первым и вторым актом прошло около года.

ПЕРВАЯ КАРТИНА

Комната Турова на строительстве. Слева дверь на большую террасу. Справа дверь в другую комнату. По одной стене комнаты стоит диван, видимо уцелевший от помещиков, которым принадлежал этот дом, перед диваном стол. Справа на стене схема гидростанции. На письменном столе Турова телефон. Туров кончает что-то писать. Входит с большим осенним букетом Максютина.

Туров. Это ты что же — для Зиночки нарвала?

Максютина. Для встречи... с новым здоровьем. Шутка ли сказать, три месяца в больнице пролежала!

Туров. Ну, сейчас все отлично. Сам за Зиной еду...

Максютина *(глянула в окно)*. Стоит лошадь-то.

Туров *(прибирая бумаги и стол, на ходу)*. Прошу тебя, Максютина, собери мой чемодан. Вечером в Москву надо с Василием. *(Идет к выходу, остановился.)* И Прыгина разыщи... чтобы здесь меня подождал. *(Ушел.)*

Входит Степаныч.

Степаныч *(подает Максютиной большую рыбу)*. Самоличного улова. Нашей Зиночке целительная уха. *(Из-за спины вытаскивает узел с бельем.)* А это вот детское бельишко... укрой от Варвариного глаза. Она пошла наряды давать, как раз накроет.

Максютина *(кладет узел под диван)*. Опять, видно, нацелился полоскать на плотине, мало тебе воды в другом месте.

Степаныч. Там глыбже и вода чистая. И рыбка водится — поужу. Пополощу...

Максютина. Как погляжу — взнуздала тебя Варвара. На все руки ты стал. И свое столярное мастеришь и вот бабьим делом не брезгуешь.

Степаныч. Такой-то, как Варвара, — за милую душу пособить. Чей почин гидростанцию строить? Кто от колхозов уполномочен в облисполком? — Все она, предколхоза «Победа». Не то что своего мужа-пьяницы — хорошего мужика такая-то стоит. *(Смотрит в окно.)* Ой, никак сюда идет... уж я на балкончике покурю. *(Ушел на террасу.)*

Входит Сакаровна.

Сакаровна. Новости, Максютина... Шурка с мальчиком едет. На Василья, говорит, совершенно плюю, с кем бы тут ни путался. Уж так счастлива... веселое письмо. Вот она жизнь... бывшему богу с ног сбиться, чтобы на людей угодить. Помнишь, как Шурка убивалась, что у ней будет малыш, а сейчас от той же самой причины она на десятом небе от радости. А Зина-то? Ну, до чего ждала... а кончилось дело болезнью. И сказал доктор: после такой неудачи — никогда детей у ней больше не будет... Уехал за ней Туров?

Максютина. Уехал. Скоро будут домой.

Сакаровна. Ах, Максютина... Когда у кого-нибудь дети родятся, я особенно своего Анатолия вспоминаю. Через месяц ему двадцать два года — юноша. Я уже давно шью ему ко дню рождения брюки, модные. Это будут двадцать вторые брюки. А начала с самых маленьких штанишек. Сошью, под подушку спрячу, поплачу, потом подарю на улице какому-нибудь беспризорнику.

Максютина. Чего ж тебе брюки шить...

Сакаровна. Это самое мужское... а у меня ведь был мальчик, Анатоль. И по брюкам мне легче за его ростом следить. Эти двадцать вторые — уже совсем взрослые. Их мне как-то неприлично под подушку. Я их вытягиваю вдоль матраца, сверху тоненький, волосяной, и так сплю. Мне сказал один физкультурник — они так делают, чтобы сохранилась шикарная складка.

Максютина. Ах ты, горемычная... Да возьми ты хоть того же беспризорника на воспитание. Уж цельный человек по крайности тебе будет, а то придумала себе в утеху — пустые брюки. Присядь на минуту, дело тебе скажу. Ведь вот к Шуре ты душевно относишься. Приедет она опять на работу с своим дитем... ни у ней тетки, ни бабки. Подруга ее, Турова, в слабости, в горе. Оставь ты, Сакаровна, свои мечтанья с брюками — прилепись к живому человеку. Стань Шурке теткой, а мальчика ее нянчи внуком. Чужому горю подсобишь — свое облегчишь.

Сакаровна *(тронутая)*. Ты, Максютина, — сама народная мудрость. Мне, признаюсь, в ум приходило... Шура пишет, она мальчика назвала Ким. Я попрошу, чтобы прибавила Анатоль. Пусть двойной будет: Ким-Анатоль. Я попытаюсь, Максютина, я попытаюсь.

Максютина. В добрый час. Принимайся опять за самые за малые штанишки — оно и дешевле будет и сразу в дело пойдет.

Сакаровна. Я в контору пойду... *(В двери оборачивается, обнимает Максютину, говорит сквозь слезы.)* Я попытаюсь... *(Ушла.)*

Максютина. Невредная Сакаровна баба, а головой плоха. *(Подходит к стене, развертывает раскрашен-*

ную таблицу, изображающую громадную клубничную ягоду, под которой что-то подписано.) Ну, ягода!

Входит Варвара, и одновременно выглядывает куривший на террасе Степаныч.

Степаныч. Ушла никак... Ой!

Варвара. Ушла, да не та. А эта, от которой укрылся, как есть пришла. А ну, рыболов, иди-ка сюда. Подавай узел с бельем.

Максютина. И чего, право, ты, Варвара, человека притесняешь. Ну, пусть себе полощет, где душа его просит.

Варвара. Сказано — на плотине белье не полоскать. За большими малые потянутся, не усмотришь, как в воду бухнутся. А другой с пьяных глаз и сам нырнет — дна достанет. Пусть повадки этой не будет. Река велика. А он на плотину именно лезет, да еще с моим барахлом, — хорош пример подает.

Степаныч. Ну, не воюй — в последний разок соблазнился. Зато Зиночке карпа поймал, покажи, Максютина, — кабан, а не карп.

Максютина. Выдам тебе, Варвара, с головой Степаныча. Похоже, он меня к тебе в сватьи подослать хочет.

Степаныч *(смущенно)*. Выдумала...

Максютина. А кто давеча говорил: «Не то что своего мужа-пьяницы — хорошего мужика Варвара стоит». Кого ж, кроме себя самого, в мыслях имел? *(Смеется.)*

Степаныч. Обо мне мало хлопот. Я что... я вот ее деток жалею. У отца ихнего только и заботы, что

литровку добыть. По доброте она же *(показывает на Варвару)* ему подает. Да с таким дадут мигом развод...

Варвара. Спасибо, Степаныч, что детей моих пожалел, а к замужеству у меня вкус пропал с той поры, как захлестнуло меня горе... Если б не ребятишки — хоть в омут! Десять лет со своим пьяницей мучилась. Счастье мое, что работу нельзя было бросить. С утра до ночи и свое и мужиково — одна как перст.

Максютина. По твоей работе в председатели колхоза тебя выбрали...

Варвара *(улыбается)*. Да... я предколхоза. *(Степанычу.)* Видишь, Степаныч, сейчас у меня семья больно-то велика, некогда мне о себе... дела не переделаешь. Да, признаться, такое веселое дело, что и во сне свадьба не снится. *(Смеется.)* Жду я, когда гидростанция свет нам засветит, как, бывало, своего пьяницу, женихом еще в березовой роще ждала.

Максютина. От березовой рощи не зарекайся, Варвара, в ней воздух хорош.

Варвара. И то не зарекаюсь... я про нынешний день говорю. *(Оглядывает наставленные всюду цветы.)* А чего вы с букетами разогнались? Зина приедет в большом горе, делом ее отвлечь надо.

Максютина. И делом отвлечем. *(Указывает на развернутую таблицу.)* Вот прочти, Варвара, что это за таблицу нам для школы прислали. Ну, до чего клубничина хороша.

Варвара *(про себя читает)*. Эта клубничина как раз тебя, Максютина, касается. Вот скажи, как обстоит дело с твоим ликбезом. Почему пропускаешь — не ходишь?

Максютина. Потому что все как есть сроки в моей жизни пропущены. Поздно. Мозги у меня зачугунели.

Варвара. Врешь, Максютина, ныне мозгам веку нет. Степаныч говорит: старые молодыми становятся.

Максютина. Дело с меня спрашивай, а ликбезу твоего я не желаю. Скажу напрямик — боюсь, что вовсе грамоту не пойму.

Варвара. Прежде чем зарекаться, ты про эту вот ягоду послушай да на ус намотай. *(Читает.)* Где именно родилась эта ягода? Под небом суб... субтропиков или под синим небом Крыма? Или же в садах над Днепром? Или же в цветущей Кахетии? Нет, нет и нет. Эта ягода... слушай, Максютина, — эта ягода родилась в Заполярье, в совхозе Хибиногорского комбината. И потому родилась подобная ягода в Заполярье, что на самый север дошли наши сельскохозяйственные культуры. *(Обернулась к Степанычу и Максютиной.)* Недавно еще подумали б: сказки! Клубника в снегах?!

Степаныч. А сегодня подобная ягода в Заполярье — факт.

Варвара. Максютина, шевельни ты мозгами, если ягода — ну, вполне растение — могла стать подобной выдвиженкой, из своих теплых мест да сиганула в самые во льды, — ужели ты, Максютина, ликбеза не сдашь?

Степаныч. Молодец, Варвара... масштаб! Сдавай ликбез, Максютина. Приперли тебя к стене ягодой. Сдавай ликбез, обещай при свидетелях.

Максютина. И очень просто, что сдам. Не дешевле я этой ягоды.

Прыгин *(очень тщательно одет и причесан)*. Какое тут у вас оживление. *(Берет со стены балалайку.)* Хоть аккомпанируй вам... *(Играет.)*

Максютина. Товарищ Туров сказал, чтобы вы его тут дожидали. Ему экстренно в Москву ехать, так он вам распоряжение будет давать. Вот газеты, берите...

Прыгин. Ничего... я могу и музыкой позаняться. *(Наигрывает.)*

Варвара. Ну, мне пора по делам. Степаныч, забирай-ка свой узел, не таись. Ведь знаю, что где-то укрыл его... да никак под диваном?

Степаныч *(берет узел)*. Глазаста... ой, глазаста.

Максютина и Прыгин одни.

Максютина *(оглядывает нарядно одетого Прыгина)*. Этакий универмаг!.. Беда — невесты тебе здесь не найти.

Прыгин. Не в невесте сила — а в долголетье. Чисто одеваюсь, физкультура, обливанье по лечебнику доктора Кнейпа, для здоровья. Нашел старинную книжку. Это водолечение и сейчас принести может — либо пользу, либо вред. А запаха водки совершенно не выношу. *(Берет балалайку, наигрывает, тихо поет.)*

Максютина. Чего-то мне всегда скушно с тобой! Какой-то ты словно обломок империи...

Прыгин. Я по своему возрасту даже полицейского не помню... не знаете, что говорите.

Максютина. Ну, не сердись... знают все, что ты техник что надо...

Прыгин. Ну и не придирайтесь. *(Поет.)*

Максютина *(смотрит в окно)*. Зина из больницы

едет. *(Прыгину.)* Может, ты где поблизости будешь, я покличу, как только Туров придет. Зине с дороги переодеться или что...

Прыгин *(встает с балалайкой).* На террасе побуду. *(Ушел.)*

Входит Зина под руку с Василием.

Максютина *(обнимает Зину, ведет к дивану).* Садись, Зиночка, еще, видать, не окрепла. Я тебе чайку горячего. *(Уходит.)*

Турова. Довез меня Сережа до конторы и сразу по делам.

Василий. Необходимо ему, Зина. Ведь мы с ним в Москву едем вечерним.

Турова *(оглядывая комнату).* Как все мне здесь странно — не узнаю. *(Рассматривает себя в зеркало.)* Да и я какая-то неизвестная... *(Села на диван.)* Вася, будто целая жизнь прошла, а всего три месяца. На краю смерти побывала...

Василий. Нажимай на питанье, Зина, живо поправишься... Под свою команду колхозных ребятишек возьмешь. За твою болезнь и ясли достроили и ребят туда нанесли. Варвара надеется — при тебе вдвое подсыплют.

Турова *(закрыла лицо руками).* Спрятаться надо мне... спрятаться.

Василий *(смущенно).* Ишь ты... ослабела. А я у тебя совета просить хотел...

Турова *(делает усилие, бодрится).* Говори, Вася, говори...

Василий. Письмо тут от Шуры пришло. Не мне... Сакаровне пишет. Мальчишка у нее здоровенный...

И сама хвастает: не зря бюллетенила — зачеты сдала. Ну и черт с ней. Только пишет: плевать мне на Василия... Сама Кима подыму. Это наш мальчик — Ким. И мне на нее с высокого дерева наплевать, только алименты она брать обязана. Растолкуй ей, Зина. *(Берет за руку, кричит.)* Обязана брать алименты!

Турова. Проморгал ты Шуру... Скоро она приедет?

Василий. Да, на днях. Сакаровна мальчишке кроватку схлопотала. Пока я с товарищем Туровым в Москву съезжу — обломай мое дело.

Турова. Попробую, Вася...

Василий. Не смеет она... *(Быстро уходит.)*

Входит Максютина с подносом в руках, ставит перед Туровой.

Максютина. Добро пожаловать, Зиночка... Подкрепись. Чай этот хвалят — тебе припрятала. А ты, Зина, не огорчайся, что ослабела... На трудную работу не пустим. Уедет товарищ Туров, переходи-ка пожить к Варваре. Ее деток понянчишь, пока ясли тебе не осилить. А нам польза: мы Степаныча командируем ряжи ставить. По силам дело бери...

Турова. Варвариных детей нянчить — по силам?! Спрятаться мне куда-нибудь, спрятаться...

Прыгин *(с балалайкой)*. С приездом, товарищ Турова! Может, на терраску пройдете, у нас тут сейчас деловое совещание. *(Глянул в окно.)* Вот и товарищ Туров идет.

Вошел Туров.

Туров *(обращаясь к Прыгину)*. Прыгин, мы с Васильем сегодня едем в Москву. Без нас продолжайте

монтаж турбины... ведите стены. У Василия возьмешь все расчеты и возвращайся сюда.

Прыгин уходит.

Туров. Ну вот, Зиночка, ты опять дома. *(Обнял.)* А пусто как без тебя... пустой дом.

Турова. Пустой и будет. *(Со слезами.)* Сережа... умер наш мальчик.

Туров. Полно, Зиночка... второй молодец будет...

Турова. Не у меня. *(Ходит, сильно волнуясь.)* Я тебе не имела силы сказать... сразу... Доктор мне заявил: «Вы мужественная женщина, вы должны знать правду. После такой болезни, как у вас, — детей не бывает». *(Села на диван, закрыла глаза рукой.)* Ни-ког-да!

Туров. Ты жива осталась... это мне главное. Сама ты, Зина.

Турова *(с горечью)*. Ну да... я — для тебя. А то, что мне дороже моей жизни, — тебе не важно.

Туров. Вот в Москву сегодня мне надо... может, ты с силами соберешься, Зиночка, поедем вместе. Рассеешься...

Турова. Молчи, Сережа... как ты можешь не понять... Прошу тебя, отложи твой отъезд. *(Обнимает.)* Ну, отложи...

Туров *(встает, ходит)*. Не могу. На мне все дела. Всюду сроки... я должен ехать. Турбина не будет готова. Станция не откроется. Сама же ты знаешь...

Турова. Сейчас я знаю только одно: детей у меня никогда не будет...

Прыгин *(входит)*. Я чертежи и сметы от Василия принял, товарищ Туров.

Туров. Отлично. Сейчас на всякий случай еще один деловой разговор. Хотя время не опасное, до осеннего паводка еще далеко, и погода стоит. Ну, как у нас плотина?

Прыгин *(как первый ученик, отвечающий урок)*. Плотина не совсем закончена, товарищ Туров. Левый ряжевой устой и флютбет водобоя готовы. Правый ряжевой устой сооружается за перемычкой.

Туров. Если б хлынули дожди — дело дрянь. Суженный перемычкой водобой *(показывает схему)* ее не задержит. Драматизм положения налицо: при большом повышении уровня прорыв воды сюда... в водоприемное сооружение.

Прыгин. Оно выдержит, товарищ Туров, а дожди не хлынут. *(Указывает на барометр.)* Барометр...

Туров *(ходит, волнуясь)*. Водоприемное сооружение выдержит. Но задержать воду не сможет. Станет под удар все: котлованы, водослив, дамбы. Все, вплоть до станции! *(Приказывает.)* Нельзя пускать воду в канал.

Прыгин *(как эхо)*. Не пускать воду в канал.

Максютина. Не пустим ее, окаянную.

Туров *(смотрит бегло на часы)*. Прошу, Максютина, поторопи Василия, не опоздать бы на станцию.

Максютина ушла.

Итак, к делу: перемычка непрочна, она не защита.

Прыгин. О чем беспокойство, товарищ Туров? Через несколько дней вы вернетесь. Погода, говорю, расчудесная...

Туров. Если б я беспокоился, я бы сейчас не уехал. Сейчас я только делаю проверку вашей боевой

готовности. Докончим. В случае внезапного, неожиданного поднятия воды какое единственное смелое решение?

Прыгин молчит.

Разрушить перемычку!

Прыгин. Вчера колхозники сработали, а сегодня разрушить...

Туров. Уверен, что не придется, но проверку произвести необходимо. Продумай на досуге. *(Сердито).* Когда вернусь, переэкзаменовку будешь держать.

Максютина *(вошла, подает чемодан).* И лошадь ждет.

Туров. Спасибо, Максютина. Зиночку береги. До скорого свидания, Зина. *(Обнимает.)* Отдохнешь — все иным будет. Здоровой хочу тебя видеть... здоровой!

Турова. Чтобы опять тебе правой рукой была?!

Туров. Зина... *(Махнул рукой.)* Ну, Максютина, побереги ее.

Максютина. Сбережем. *(Обняла Зину.)* Пойдем, Зиночка...

Туров ушел.

Турова. Нянчить Варвариных детей.

Максютина. Определенно.

ВТОРАЯ КАРТИНА

Варвара и Максютина, мокрые, в макинтошах с поднятыми капюшонами.

Максютина. Под самый ливень попали.

Варвара. Беда у нас... Прыгина зашибло. По голове бревном... в больницу надо его, а проезда нет.

Максютина. К плотине под бревнами он бежал, а бревна наспех, чуть двинь... и в такую минуту щегольства своего не забыл, ведь норовил, где посуше.

Турова. Значит, постройка совсем без призора... Хорошо.

Варвара. Поставил Прыгин в три смены дежурство на плотине, успел. И сейчас люди торчат — да что толку. Разве знают, что делать им, когда двинет воду.

Максютина. А страшно воды... так и нагнетает. Молчит, а растет. Не люблю я такой воды.

Варвара. Обогреемся — пойдем. Подтянуть надо всех, чтоб без паники.

Максютина *(вытирается полотенцем)*. Говорю бригадиру: растет вода, а он со страху как пьяный: «Пусть растет, большая вырастет — в вуз пойдет». Очумел ты... кричу. А он: «Дочка у меня... в смертный час, говорит, я дочку вспомнил».

Турова. Неужто Сергей и сегодня к утру не будет?

Варвара. Слезами горю не помочь. А ждать нам нельзя — решать сейчас надо. Ужель один свет в глазах — Прыгин. *(Подходит близко.)* От двенадцати колхозов я хлопотала... утвердили строительство. Сейчас беда... паводок. На целый год проволочка, если вода плотину прорвет. В райсовет сейчас не проехать... сорван мост. Ужели мы, женщины, без мужского ума оставшись, такое дело провалим? На тебя, Зина, надежда. Отстоять должны мы плотину.

Максютина. Темные мы люди, Зина. Ты больше знаешь. *(Обняла Турову.)* Из себя все как есть выброси, одну мысль держи — помочь надо.

Турова *(делает большое усилие воли, как бы выходит из своего состояния сомнамбулы)*. Подождите...

Максютина всем существом хочет помочь. Идет к письменному столу Турова, под схему сооружений.

Подождите...

Максютина. Товарищ Туров на карте показал и сказал.

Турова. Подождите... Разобрать перемычку в случае паводка — единственное смелое и верное решение... разобрать перемычку, достроить спешно... правый ряжевой устой.

Варвара. Бей, Максютина, в набат, созывай на экстренное собрание.

Максютина бьет в рельс, подвешенный на столбах. Сходятся колхозники. Вскочили спросонья, кто в чем попало. Максютина берет телефон. Турова склонилась над чертежами.

Зина, найди мне товарища Гаврилова!

Турова. Аптека, Альтман, Дерюгин. Вот... Гаврилов. Пятнадцать-один.

Максютина *(сильно крутит ручку)*. Где товарищ Гаврилов? В райкоме? *(Крутит ручку.)* Райком, секретарь? Как есть срочно. Я говорю — Максютина. Говорит беспартийная Максютина со строительства гидростанции «Победа». Извиняюсь, товарищ Гаврилов... У нас вода очень высоко поднялась. Я-то? Да я просто так. Я беспартийный землекоп, товарищ Еремин. А теперь бригадир-планировщик. Турова нет — в Москве. А Прыгин — тьфу, Прыгин. Лежит, болен. Командуем сами — предколхоза Варвара, Турова жена — Зина, да я — Максютина. Чему дивишься-то? Женский сплошной состав. Говоришь — не справимся?

Даже очень просто, не похуже вашего. Ты, главное, машину подавай к поезду раннему. У нас все лошади сейчас вразгон пойдут, а товарищ Туров с ранним приехать может. Да шли нам фельдшера — очень просто, какая угодно авария может случиться. С водой идут колхозники воевать, ночь, ни зги... Что такое? Даешь? Ну, спасибо, товарищ Гаврилов, спасибо.

С крыльца собравшийся народ лезет в комнату. Рабочие-колхозники одеты вразнобой. Одни уже спали. Вскочили от ударов набата в чем случилось. С фонарями «летучая мышь».

Ой, ребятушки, наследите... полы только что вымыла. Пройдем на крыльцо. *(Туровой.)* Ну, Зина, выходи, говори им, находи защитные слова против воды.

Варвара *(на крыльце)*. Все тут?

Голоса. Как на пожар звонили. Какое дело? Со сна подняли.

Варвара. А разве не тот же пожар, когда все наше рушится? Когда мечтанье всей нашей жизни в беде? От дождей, от паводка вода бушует, всю работу сорвать может. Товарищ Турова сейчас скажет вам, что надлежит делать.

Максютина. Выходи, Зина.

Турова *(мгновение стоит, переламывая слабость. Выходит, говорит твердо, с большой уверенностью)*. Товарищи! Надо сделать немедленно то, что вам покажется сразу неподходящим. Товарищи, это единственный выход — надо разметать перемычку, которую вы только что засыпали.

Голос. Строили, да всю работу рушить.

Другой. Бабья путаница.

Голос. Давай нам Прыгина... Он техник, он знает.

Варвара. Турова не меньше его знает.

Голос. По каналу пустить надо воду... зачем перемычку рушить.

Турова. Пустить воду по каналу — она снесет и дамбу и станцию. Напорного бассейна ведь нет. *(Кричит.)* Отвечайте — есть или нет?

Голоса. Точно, что нет.

Турова. Значит, вода понесется по откосу и все как есть разнесет.

Голоса. По откосу. Это точно. Все разнесет.

Турова. Уберем перемычку — увеличим проход воды. Спасем плотину.

Колхозник. Вчера работали... сегодня свою работу разорять!..

Другой. В райкоме б справиться.

Варвара. В райком нет пути. Пока будете справку брать — плотину снесет. Вода не ждет, товарищи... Все на плотину! Ершов... наконец-то! Веди бригаду. Берите лопаты и тачки.

Ершов. Я еле пробрался... растет вода. На плотину, ребята!

Колхозники *(перебивая один другого, кричат вразброд)*. Не пойдем перемычку разметывать! Не пойдем свою работу разорять!

Лысый, пожилой, выскочил вперед.

У бабы волос долог — ум короток. Не послушаем бабу.

Варвара *(стоит одна наверху лестницы)*. А бывают мужики... ни волос у него... ни ума.

Смех.

Где физкультурная наша команда? Где Миша?

Миша. Здесь мы, вся команда.

Варвара. Передовые ребята, вы понимаете — медлить нельзя. Если вода выше перемычек хлестнет — ее не удержишь. Все как есть снесет. Лен не сдадим, госплан не выполним... света не будет. Вперед, ребята! Покажите пример.

Миша. Не сдрейфим. Стройся!

Миша выстраивает свою команду и уводит ее.

Варвара. Степаныч, где ты?

Степаныч. Есть я...

Варвара. Организуй плотников.

Степаныч. За мной, ребята. Забирай инструмент.

Уходит с частью колхозников вслед за физкультурниками.

Варвара *(к небольшой кучке оставшихся в нерешимости)*. А вы что... пни стоеросовые? Передовые все двинулись — а вы? Кто будете? Дети малые, сами себе враги!.. А может, и нам, советской власти, враги?..

Лысый. Чего там враги... Куды люди, туда и мы... разве мы что...

Варвара *(схватила лопату, сбежала с лестницы)*. Все за мной! Отстоим плотину.

Все идут за Варварой.

ТРЕТЬЯ КАРТИНА

Терраса дома. Под ней внизу водоприемное сооружение. Чуть правей большой костер. У костра греются рабочие. Справа за домом плотина, но ее не видно. Доносятся отдельные возгласы, крики, слышен шум воды, стук топоров, в темноте мелькают в руках людей фонари. Вдали деревня, над ней полоска зари. Слышны крики: «Да-вай! А ну, пошла... раз — два, раз — два,

раз — два. Еще раз... поддай. А ну, братчики... а ну, голубчики, наддай... держи. Есть!»

Разноголосица аварийной ночи на стройке.

Степаныч с фонарем осматривает закрытые щиты водоприема, нет ли течи.

Турова *(спрашивает с балкона)*. В порядке ли все, Степаныч?

Степаныч. Все в аккурате, товарищ Турова, нет течи, ни с маково зернышко. *(Поднялся по лесенке к Туровой.)* Главное — вы, женщины, от прорыва спасли, — ты, Варвара да Максютина. Варвара силой двинула... ты правильные слова нашла — производственные.

Турова. Слова нашла... а все себя прежнюю не найду.

Степаныч. Потому, Зина... ориентация у тебя стала дрянная... себя жалеешь. *(Видит рабочего Ершова.)* Вот идет к тебе раненый... Ну да, Ершов!

Ершов. Он самый. Руку повредил, перевяжи, товарищ Турова.

Турова. Как тебя угораздило?

Ершов. Сущие пустяки... оступился. Нога в луже скользнула — напоролся на багор. Скорей бы, товарищ Турова, там горячка...

Степаныч. Справятся и без тебя. Ишь, наследил кровью... не иначе — петуха резали... *(Держит Ершову руку, пока Турова промывает.)*

Ершов. Знал бы, что такая волокита, — не пришел бы. Максютина у нас больно глазаста — кричит: «Капает из тебя!» Наругала, прогнала.

Степаныч. Как там дела? Я все тут, у щитов, отлучиться нельзя.

Ершов. Горячие дела. Как перемычку пошли снимать, тут тебе сразу и ряж засыпай. Не ровен час, и он не выдержит. Эка силища шла... А я с бригадой на перемычке. Ой, не томи, товарищ Турова, вяжи скорей.

Степаныч. Как перемычку-то сняли?

Ершов. Душа в пятки ушла, как сымали, — и темно, и вода душит, и мечтание в голове: а ну как сымешь бревно — вода зальет. Темень — глаз выколи, вода все выше. Стали подпорку выпиливать — артелью держим стеночку. Отбили подпорку, по команде пустили багры — ка-ак стенку тряхнет... вертануло... ухнуло. А аккурат вода спадать стала... Ой ли, никак светает. Спасибо тебе, товарищ Турова. *(Убегает.)*

Подходят намокшие рабочие.

Первый. Согревательного б, товарищ Турова... продрогли за ночь-то.

Степаныч. Обходи, ребята, кругом прямо в кухню, согреетесь. Ну, как там?

Второй. Теперь ладно пошло... не проймет вода. Посменно работать стали. Мы первые сменившись...

Первый. Товарищ Турова, а Максютина под плотину нырнула.

Турова *(сбегает вниз)*. Как нырнула, где она?

Второй. Чего зря пугаешь... выплыла. Нырнула, да выплыла. Под саму плотину угодила. Доски перекинули наспех, а Максютина с своей тачкой подъехала углы подсыпать. Тачку опрокинула, да сама за ней в воду.

Степаныч. Ничего... этакая баба, как ее ни мочи, отовсюду суха выйдет.

Второй. Мы было пособлять кинулись, а она уже лезет сама, да еще ругается, чего работу бросили.

Т у р о в а. Водки б ей снести.

П е р в ы й. Уж и водки в рот влили и во что ни попало одели ее. Опять работает. И не подходи — обложит. Ну, двигаем, что ль, на кухню.

Уходят Степаныч и рабочие. Турова входит в большую комнату.

Т у р о в а. Такой подъем был счастливый, а сейчас... нету силы. *(Опускает голову на руки.)*

С т е п а н ы ч *(вошел, смотрит на нее, покачал головой)*. Товарищ Турова, ей-богу, нехорошо. Сейчас передохнуть вполне можно, и ложись ты как человек, ноги вытяни. *(Укладывает на диване)*. Подушку под голову.

Т у р о в а. Устроил рабочих?

С т е п а н ы ч. Как в бане на кухне-то. Они все дочиста посымали с себя — чай дуют. Окончательно рассвело, сейчас и товарищ Туров подъедет. Масштабно работу сделали. Одобрение будет... спасли, отстояли плотину. Которые за рыбкой нырнули, как Максютина наша, которые на багор напоролись, а отстояли.

Т у р о в а. А какой ценой? Разве ему это важно?

С т е п а н ы ч. Ориентация, говорю, у тебя, Зина, стала дрянная. Давно вижу, да молчу.

Т у р о в а. Отчего молчишь? Говори.

С т е п а н ы ч. Оттого молчал, что подумал было: ошибся я в ней — дрянь она бабешка, вроде прежняя инженерская жена. Чтоб муж с ней валандался, а она при оборках, да в кружевах, да фигли-мигли.

Т у р о в а. А что же... вполне возможно.

С т е п а н ы ч. Ерунда с маслом. Только что стопроцентную ударность ты заявила. Нашла оборонные слова для плотины. Надеюсь я, Зина, что ты, как Варвара, — масштаб. Оправдай себя...

Турова. Да куда ты гнешь? Начал говорить — так кончай.

Степаныч. Прожил я, Зина, долгую жизнь. И скажу тебе — самое дрянное дело, когда человек сам себя жалеть начнет. Тотчас дверка — хлоп. И сидишь ты в курятнике. Душно, Зина... над головой солнышка не видать — сплошной смрад и обида.

Турова. А дальше? А если подшибло меня... туда и дорога?

Степаныч. Это в прежние времена, Зина, точно... спасайся в курятник. *(Подходит близко.)* Но сейчас, Зина, сейчас... Куда ни глянь — масштабы! Вот в эти масштабы и спасайся... *(Глянул в окно.)* Глянь-ка, Варвара с Максютиной. Мне, значит, им на смену. *(Уходит.)*

Входят Варвара и Максютина. Последняя в сборном тряпье из частей мужской и женской одежды.

Варвара. Дождя больше нет. Гребень паводка прошел, можно передохнуть. *(Подходит к детям, выпила, говорит Туровой.)* Спасибо, Зинушка, в порядке мои ребята.

Максютина. Знаешь, Зина, бывало, коровушку бодливую какая радость в стойло загнать, а тут шутка ль сказать — воды выше дома перло, а мы эту воду осилили.

Варвара. Не допускай, Максютина, зазнайства — окончательно победить реку надо...

Максютина. За такое дело недоесть, недоспать и промочиться можно.

Входит Шура.

Батюшки, Шурка приехала. *(Кинулась обнимать.)*

Шура *(обнимает каждую)*. Здравствуйте, как я рада. Далеко в объезд ехала. Два дня еду. В деревне ночевала. Да с мальчишкой беда, ведь он на искусственном у меня. Вот спасибо Сакаровне, как увидела, к себе забрала, мигом сняла заботу. Вот беда, что я раньше к вам не попала. Сакаровна рассказала, как воду вы усмиряли. Гордятся колхозники тобой, Варвара. Уж ямщик говорил. Ну, сейчас я с головой в дело, куда хотите, товарищи. Я целый курс прошла, пока бюллетень был.

Варвара. В точку, Шурка, попала — найдем тебе практику. Василий в Москву уехал, а Прыгин больной, врастяжку лежит. Ну, подруги, поговорите, я к своим ребятам пойду. *(Ушла в боковую комнату.)*

Турова. Расцвела ты, Шура... счастлива, что у тебя бутуз?

Шура *(обнимает Турову)*. Счастлива, Зиночка... тебе первая благодарность. Как поддерживала меня в трудные дни!

Турова. Сама человеком была.

Максютина. Зря прибедняешься, Зина. *(Уходит в сени с самоваром.)*

Шура. Как свободно дышу, Зина... поборола себя... в Василии не нуждаюсь, спокойно могу о нем думать. И пусть с кем хочет живет — глазом не моргну. Ким есть у меня и любимое дело.

Турова. На своих ногах стоишь... а из-под моих — кирпичи вынуты, с тех пор как умер мой мальчик, как знаю, что детей у меня больше не будет.

Шура. Ну конечно, горе... *(обнимает)*, но ведь жизнь, Зина... она большая.

Т у р о в а. Сама знаю... только сил пока нет. *(Встала, прошлась.)* Ну, что толковать обо мне. Поручение есть к тебе от Василия.

Ш у р а *(смеется)*. Догадываюсь, какое. Хочет Кима пополам поделить... Ну, это дудки.

Т у р о в а. Шура... да ведь отец он.

Ш у р а. Заслужить ему этого отца надобно, заслужить.

М а к с ю т и н а *(поспешно вносит самовар)*. Товарищ Туров приехал, сюда идет.

Ш у р а *(вскочила)*. Он... навстречу ему побегу. *(Убегает.)*

Турова, волнуясь, идет на террасу, возвращается. Входят Т у р о в и Ш у р а.

Т у р о в. И отлично, Шура, что приехала, сейчас же берись за работу. Василий — он в Москве с турбиной замешкался. *(Подошел к Туровой.)* Зиночка! Ну, поздравляю... отстояли плотину. Все я уже знаю.

Т у р о в а *(поспешно)*. Ты Максютину расспроси, каково ей было нырять.

Т у р о в. Поплавала, Максютина?

М а к с ю т и н а. Нырнуть — нырнула, а страха не видела. Такое зло меня взяло, что и страх отступил. Тут жаркое дело идет, а ты, ровно плотва... в воде. *(Идет к детской.)* Варвара!.. Товарищ Туров приехал.

В а р в а р а *(здоровается.)* Эх, товарищ Туров, ну что бы тебе деньком раньше приехать. Может, не разрушили б перемычку. До чего было жалко работы, ведь колхозники только что кончили, а мы разбирать...

Т у р о в. Правильно, Варвара, правильно сделали. Иного выхода не было.

Максютина. Вот когда были страхи, товарищ Туров. Разбираем перемычку, а у каждого думка: а ну как водная сила прорвется.

Туров. Правый ряж как можно скорей достраивать надо. Варвара, собери-ка бригаду, я сейчас приду на работу.

Варвара *(Максютиной)*. Иди на подмогу... самовар ужо подогреем.

Варвара и Максютина ушли. Туров и Турова.

Туров. Зиночка, моя милая... вместо отдыха тебе работать пришлось, волноваться. У меня чувство, будто я виноват. Будто этот дьявольский дождь я как-то должен был угадать. Шестым чувством, черт возьми, вопреки стихиям. *(Обнял.)* Надорвалась ты?

Турова. Не в эту страшную ночь... тогда, напротив того, я на минутку воскресла. И другим нужна была... и себя забыла... *(Ходит, пауза. Подошла к Турову.)* Сережа!.. Мне надо уехать... одной побыть.

Входит Варвара. Туровы ее не видят, она остановилась в дверях.

Туров. Одной... с своими мрачными мыслями? Да пожалей ты себя!

Турова. Степаныч вот правду сказал: самое дрянное, когда человек себя жалеть станет. Тотчас над ним дверца — хлоп. И сидит он в курятнике. Душно, Сережа. Не хочу я в курятнике...

Варвара *(подходит к Турову, глядя на Зину)*. Товарищ Туров, о чем разговор? Пошли ты Зину в Москву. Обязательно нам надо к открытию нашей станции образцовые ясли построить. Она, как заведующая,

пусть обследует, как там по-столичному. Справимся пока без тебя, Зина.

Турова *(делает шаг к Варваре)*. Варвара!.. Спасибо тебе.

Занавес.

АКТ III

ПЕРВАЯ КАРТИНА

Вестибюль большой гостиницы в Москве. Слева под пальмой диван. Около него чемоданы. В глубине проходят регистрироваться в контору приезжающие делегаты. Некоторые проходят с вещами вверх по лестнице, другие, в ожидании комнаты, устраиваются временно в вестибюле. Турова и Василий. Турова сидит на диване, Василий стоит в пальто.

Турова. Сколько делегатов! Все равно номеров не хватит.

Василий. И жаловаться тебе, Зина, не на кого. Предупреждали ведь, что пускают только на неделю. Поезжай лучше завтра со мною обратно. Разве не все детские сады высмотрела?

Турова. Боюсь, что еще не пора мне обратно...

Пауза.

Василий. А со мною утром Шура по телефону говорила...

Турова *(испуганно)*. Что случилось? Сергей...

Василий. Все благополучно. Шура по моему поводу звонила... который, говорит, раз. Наконец-то застала.

Турова. Ну и что же?

Василий. Да турбину я заказал по новой смете, а Прыгину впопыхах сунул при отъезде старые чертежи. Турбина б не влезла, пришлось бы достраивать.

Турова. Значит, тебя Шура от срама спасла?

Василий *(сердито)*. Может, она себя выдвигает на моей спине.

Турова. Как тебе не стыдно... гордиться можно Шурой.

Василий. Тоже невидаль, только и всего, что память хорошая. При ней я новую смету составлял, ну и запомнила она, что другие цифры были. Прислала запрос, нет ли ошибки?

Турова. Вместо похвалы ты ее словно ругаешь.

Василий. Думаешь, она молчит про меня?

Турова. Думаю, что занята она *своим* делом и *своим* ребенком.

Василий *(внезапно вспылив)*. Разве смеет она мне назад алименты возвращать! Смеет?

Турова *(смеется)*. А вернула-таки?

Василий. Закон найду на нее, принудят.

Турова. Закон отцов принуждает давать... А ты и сам готов. Только рад бы в рай, да грехи не пускают.

Василий. Хорош грех. Да я этой Маньке только и был что путеводитель по музеям. А Шура от ревности крик подняла: дели комнату пополам.

Бьют часы.

Ну, мне назначено на завод... кое-что там заказано. Если готово — беру билет и еду. Что будет от тебя? Какая передача?

Турова. Сейчас достану. *(Открывает чемодан, достает книжки и брошюры.)* Вот для Варвары. Тут все

о яслях и детсадах. А Турову скажи так... *(Мгновенье колеблется, видимо волнуясь, потом говорит очень сухо.)* Я кое-что досмотрю и вернусь на свою работу.

Василий. Телеграмма помзава заву. *(Подает ей карандаш и листок.)* Словесно передавать не намерен. Твое дело — пиши собственной рукой и подпиши... так. *(Прячет листок.)* Ну, всего тебе! *(Жмет руку Туровой).* Значит... до скорого.

Турова. До скорого.

Василий ушел. Турова продолжает сидеть на диване. Коридорный метет пол, поднимает чемодан Туровой, переставляет его, чтобы под ним вымести.

Коридорный. Извиняюсь, гражданка.

Турова. Из моего номера меня выселили, и я гляжу — никто еще туда не прошел...

Коридорный. Обязательно пройдут, гражданка. С ранним поездом нацменьшинства приехали, а ленинградцы сейчас повалят.

Турова. А такую... с румяными щеками не заметили? Максютина по фамилии.

Коридорный. А как же... обязательно заметил. Она тут свои порядки уже навела. Шустрая бабочка... В седьмом номере стоит. Да вот она сама идет. *(Принялся подметать.)*

Максютина. Опять щетку боком везешь... половину сора на память оставишь. *(Увидала Турову.)* Зиночка!

Обнялись.

Турова. Что же ты ко мне не зашла? Ведь знала, что я здесь. Ну, как ты?.. Делегаткой?

Максютина *(улыбка во весь рот)*. Я-то? Ну да, делегаткой. А к тебе, Зина, я б обязательно добралась. Хоть, сказать по правде, товарищ Туров не велел. Не беспокой, говорит, Зину. Пусть ворочается, когда захочет. Ну, а если нечаянно встретишь, скажи ей... да так и не сказал, что именно. Умолк, рукой махнул и ушел скорым маршем.

Турова. Работает Туров, как раньше?

Максютина. Не покладая рук. Только поседел он, Зиночка, товарищ Туров... В каком, Зина, номере ты стоишь?

Турова. Сейчас ни в каком...

Максютина. Переходи ко мне в седьмой. Пойду кровать тебе попрошу. *(Отошла к конторе.)*

Приезжает новая партия делегатов, есть много в национальных костюмах.

Голоса. Куда идти? Где номера?

Коридорный. Здесь, граждане делегаты, ставьте пока вещицы. Будет всем удовлетворение. Повремените...

Делегаты располагаются группами на своих чемоданах. Кто идет прописываться в контору, кто подымается вверх по лестнице, кто распаковывает вещи, кто тут же меняет до последней приличной возможности свой костюм.

Урвид что-то спрашивает в конторе. Заведующий указывает на диван, для сопровождения дает мальчика, который приводит Урвид к Туровой и Максютиной.

Мальчик. Вот эти самые гражданки будут.

Урвид. Извиняюсь — Урвид.

Максютина. И женщина — и начальник милиции?

Урвид. Да, женщина. Я к вам обеим по делу. Вы из Ейска? Я увидала по спискам гостиницы. Две вас оттуда?

Турова. Да, две. *(Указывает.)* Вот — товарищ Максютина, делегатка съезда.

Урвид. Год назад вы жили все вместе в общежитии Стройтреста. Так?

Максютина. Правильно. И все мы оттуда поехали на строительство. Товарищ Туров, муж ее *(указывая)*, там начальником.

Урвид. Была такая среди вас... Звалась — Лидия Оскаровна Кронеберг?

Максютина. Ну как же... и была и есть.

Урвид. Сын ее ищет.

Турова и Максютина *(вместе)*. Какой сын?

Максютина. Был у нее новорожденный младенчик — Анатоль. Только пискнул, говорит, — его от нее убрали.

Турова. И в глаза она его двадцать один год не видела.

Урвид. На двадцать втором увидит. Люди, которым мальчика отдала тетка, умерли. Приемный отец перед смертью выдал ему метрику и рассказал, кто его мать. Потом он был беспризорным. Попал в колонию. На хорошем счету. Выдвинулся. Сейчас кончает вуз. Занимается спортом.

Турова. Анатоль нашелся. Да разве это не сказка?

Урвид. Сейчас сказку жизнь обгоняет. Кто лучшие люди страны? Делегаты. Откуда пришли? Из ущелий гор, деревень. Прежде там с голоду помирали — сейчас они призваны к управлению страной.

Максютина. Да сама ты первая — сказка... Женщина — и начальник милиции.

Урвид. Ну да... царский офицер меня повесить хотел — сейчас стою перед вами.

Максютина. А с чего ему было вешать тебя?

Урвид. В пятом году дело было. У нас в Эстонии крестьяне восстали. Я им помогала. Девчонкой коров пасла... была для связи.

Максютина. Ишь ты... то-то два ордена на тебе. Вот детки-то гордятся!

Урвид. Своих детей не имею. Я мать беспризорных ребят моего отделения. Вышеупомянутый Анатоль ко мне обратился. Свою историю рассказал: «Хочу, говорит, мать свою найти. Она сейчас в летах, в моей поддержке, может, нуждается. Если она честно переключилась, говорит, я буду дальше ее агитировать». Не всякую назвать легко матерью только за то, что тебя родила...

Турова. Так же, как детей, не тобою рожденных, сразу трудно назвать своими.

Шум в дверях. Кто-то рвется войти. Швейцар не пускает.

Коридорный. Товарищ начальник, тут до вас один мальчишка рвется. Васькой звать. Видел, как вы сюда вошли, — не удержать его, по важному, кричит, делу.

Урвид. Пустите мальчика.

Входит Васька.

Васька *(хочет плакать, удерживается)*. Разве можно ремнем стегать?

Урвид. Кого стегали? Кто стегал? За что?

Васька *(огрызаясь)*. За что?.. Это не касается. А стегала меня мамка. Вы на вопрос отвечайте — смела она меня при советском строе стегать?

Урвид. Подлежит ответу. Приводи свою мать в отделение.

Васька. Сама не пойдет... силой ее надо. Не стегай...

Урвид. Непременно ее заберем. Где живешь?

Васька. Да близко тут... через дом во дворе. *(Смущен.)* А что моей мамке будет?

Урвид. Насилие над малолетним — тюрьма. Посидит за тебя.

Васька *(соображает, потом плачет)*. Не хо-чу... Лучше мамку прощу.

Урвид. Ну нет. За такое дело простить нельзя. Довел до конца — поздно.

Васька. Товарищ начальник, сам виноват я... нет чтобы в школу идти, у кондитерской копейки стрелял. Моя мамка хо-ро-шая. Она больная... сильно тру-дящая.

Урвид *(Максютиной и Туровой)*. Подождите здесь, товарищи, я сейчас буду обратно... *(Уходит с Васькой.)*

Коридорный. Начальник что! Эта Урвид... отделению своему мать.

Турова. Как мальчишку сознаться заставила. Для этого надо сильно любить детей.

Максютина *(коридорному)*. Слышь, живет у нас гражданка... сына своего с младенчества потеряла, а она нашла и к матери ворочает. *(Плачет.)* Небось пока матери сын в лицо не посмотрит — словно паспорт потерял.

Коридорный. Ошибочки быть разве не может? Ведь одно подобное фамилие бывает у многих.

Максютина. Лидия Сакаровна, да еще Кронебер, — это не Иванова, Петрова. И нас, коммунальных жильцов, разыскали, — дело тут верное. *(Туровой.)* Зиночка... что закручинилась?

Турова сидит у пианино.

Турова. Анатоль двадцать лет пропадал и нашелся... А когда ребенок умер... уж он не воскреснет. *(Машинально начинает играть.)*

Урвид *(возвратилась веселая)*. Вы здесь?.. Ну, все хорошо кончилось. Мать, правда, больная, но в комнате чистота. И этого мальчика хвалит...

Максютина. Хвалит, а ремнем бьет.

Урвид. Обещалась, больше не будет. От болезни она... а его плохая компания сбила... При мне обнимались мать с Васькой. Он дал честное пионерское отличником быть.

Коридорный. К самой мужеской должности женщина многое может прибавить, потому — в каждой гражданке мать заключается.

Турова. Товарищ Урвид, дайте нам адрес Анатоля для Лидии Оскаровны Кронеберг.

Урвид. Просил не давать. «Сам, говорит, хочу прежде мать проработать».

Максютина. Что прорабатывать! Ненавидит она старый режим — потому горько от него потерпела.

Турова. И счетовод она прекрасный у нас на строительстве.

Максютина. Да мальчишку чужого нянчит, как бабка. Зовут его Ким, а она к нему Анатоля добавила.

Двойным именем кличет, в честь пропавшего сына. Да скажи еще... брюки ему шьет она. С малых со штанишек начала. «Сошью, говорит, под голову себе положу, поплачу. По штанишкам прикидываю, как он растет». А последние сшила, скажи ему, товарищ Урвид, на вовсе взрослого. Из хорошего материалу, из премии сшиты. Ее отрезом премировали, а она уж ему... неведомому сыну. *(Вытирает слезы.)* Вот она, мать-то. Ну, словно выкликнула себе этими брюками сына.

Урвид. Скоро Анатоль к вам прибежит. Если не ошибаюсь, у вас весной открытие гидростанции, и команда спортивного общества «Электрик» хочет завершить первый этап своего пробега у вас. Ну, пока.

Жмет руки Туровой и Максютиной, идет к выходу, ей навстречу узбечка Фаризет, с ней кабардинец Азамат.

Фаризет *(кидается к Урвид, указывая на нее Азамату)*. Это он, Азамат. Нахал, очень большой нахал.

Азамат *(горячо)*. Зачем ты букет хотел дарить? Незнакомый девушка тебе разве глазами мигал? *(Показывает.)* Разве он тебя подарки просил?

Урвид. В цветочном магазине встретились. У меня есть желание оказывать уважение нашей узбекской женщине. Она сняла паранджу, она — делегат съезда.

Азамат. Почему голос тонкий имеешь? *(Свистнул.)* Фаризет — женщина!

Урвид. Извиняюсь, тороплюсь по делам службы.

Фаризет. Ну, прости, пожалуйста... очень не люблю, чтобы мужчина подарки давал. Вижу тебя пер-

вый раз в цветочном магазине, а ты мне букет... Давай поцелуемся.

Целуются. Урвид ушла.

Максютина. Видать, девушка, обожглась ты на молоке — дуешь на воду. Небось пристают к тебе мужики?

Фаризет. Сейчас не смеет никто приставать, потому я так сердилась на него. Не успел понимать, что он женщина... Я кричал... убежал.

Азамат *(Максютиной)*. Знаешь, кто Фаризет? Не знаешь? Здесь в Москве — делегат, у себя дома — он мираб. По выбору всего села. Знаешь, кто такой мираб? Он воду арыкам дает. В той земле — вода как золото. Два раза в день пускают по арыкам воду — другой нет воды. Мираб порядок хранит. Мираб должен знать, сколько кому надо воды.

Фаризет. Аму-Дарья — большая река. Знаешь — в одну ночь он сердился... забивал глиной один арык. Приехал большой техник, старший начальник. «Где у вас тут мираб? В арыках как в лесу, черт разберет, который чинить». — «Здесь мираб, говорю. *(Указывает на себя.)* Вот он, мираб, говорю. Прежде бывал бородатый *(смеется)*, сейчас совсем нет бороды. Прежде мулла кричал — женщина воду сквернит. Сейчас женщина по воде тебя будет водить, учить тебя будет». Послушал начальник, за мной пошел.

Азамат. При царе такую девушку на барана менять могли. Сейчас такая девушка водой, как ворошиловский наездник конем, правит. *(Щелкает восторженно языком.)*

Новый делегат *(с портфелем и легким чемоданчиком)*. Товарищи... кто стоит в восьмом номере? Я к нему подкидной второй жилец.

Голос. Нет, гражданин, извиняюсь: вы четвертый, если я третий в номере восьмом.

Смех.

Коридорный Гражданин, разрешите вещицы. *(Забирает портфель и чемодан.)* Уйдете на съезд — койка в номере освободится. *(Складывает вещи у дивана.)*

Делегат. Мне все одно. В номере сидеть я не собираюсь. *(Смотрит на часы.)* А скоро уж двигаться в Кремль. Разрешите познакомиться, товарищи. *(Обращаясь к Фаризет.)* Вы, верно, узбечка?

Максютина. Фаризетой зовут ее. Она у себя на родине водой правит. Расскажи нам, милая, как это водой править?

Фаризет. Понимать воду надо. Высокий голос вода имеет, как свирель, и низкий голос имеет... совсем шакал. Закрою глаза — знаю, как и куда пускать воду. Все голубые арыки в руках имею. А прежде, скажи, пожалуйста, что я делала? Кто пускал меня к священному делу? Никогда. Мне бы на голову надевали тяжелый котел, знаешь, кругом монеты пришиты. И ведро давали бы в руки. Из верблюжьей кожи ведро, — носи воду. Весь век носи... Очень бы горько плакала я в доме старого мужа.

Максютина. Зачем плакать?.. Убежать бы могла.

Фаризет. Куды бежать?.. Некуды. Знаешь, верблюд у нас по кругу ходит, он воду тащит из колодца. Ему глаза тряпкой завязаны, чтоб он с ума не сходил.

Кругом надо ходить верблюду — вот так *(показывает)* одна сторона. Так и женщине, как верблюду, в темноте держали голову, чтобы думать не стала, чтобы послушно жила. Сейчас довольно... Сейчас глазами на солнце смотри.

Азамат. Революцию женщина защищать хорошо может. Этот Фаризет *(указывает на нее делегату)* кулаков-басв истребить помогал.

Фаризет. Баи нас, женщин без паранджи, убивать хотели. Говорили: женщина без паранджи — пища без соли. Родной дядя меня очень стыдит. Я говорю: «Дядя, я свой паранджа на хвост верблюду надевала, он его в песках трепал». Назад ничего брать нельзя — правда? Вперед пойдем.

Делегат. Правда, Фаризет, правда. Вперед пойдем... Лучше бегом побежим. Азамат откуда делегат?

Азамат. Мы кабардинцы. У Фаризет — женщина была в голове темно, — у нас весь народ. Большая бедность была. Сейчас везде крепкий богатый колхоз. Где сохой копал — гремят тракторы. Девушки водят комбайны. Человек ползал по круче, человек в пропасть летал, — теперь машины бегут. Корову обновили, славного кабардинского коня подняли. Цветут города. Цветут поля, цветут девушки, цветет страна. Про нее песни слагаем.

Делегат *(смотрит на часы)*. Время еще есть... спел бы нам.

Фаризет. Азамат хорошо поет. Его в музтехникум командировали.

Все. Спой... спой, Азамат.

Кто-то сел за пианино. Азамат поет кабардинскую песнь.

Максютина. Хорошо, Азамат, спел...

Все хлопают.

Мне этот Азамат смелости в сердце прибавил. Я, товарищи, сейчас хоть в полный голос скажу...

Фаризет. Скажи, бабушка... не бойся.

Азамат *(выводит Максютину на ступеньки лестницы)*. Отсюда, бабушка, говори... Громкий голос бери.

Голоса. Говори, бабка, говори...

Максютина. Ну вот, дорогие товарищи... Максютина я... делегатка на Восьмой съезд. А по социальному происхождению я, конечно, шпитонка. Подкидной, значит, ребенок, от неизвестных родителей, в воспитательный дом. И кому было не лень, всю-то жизнь окликали меня этим словом: «шпитонка». И вот попала я в колхоз «Победа». И что оказалось-то? Ведь это былые те Дробники, где я в няньках жила, где в детстве горе мыкала, сиротой. Еду и думаю — ой, заливает начальник строительства: не разведут электрический свет да в простых избах. Ну, познакомившись я с предколхоза Варварой. Детная вдова. Ой, бойка... всех в кулаке держит. И дело делает и ругаться может. Засрамила меня эта Варвара за неграмотность. Ликвидируй. А все сроки учебные мною упущены, мозги мои утряслись, зачугунели. Однако Варвара подход нашла. Рассказала про ягоду, что раньше клубничиной прозывалась, а сейчас она — заполярная ягода. Для школы картинку прислали. Красок не пожалели — налитая ягода. А родина ей не субтропики, а совхоз Хибиногорского комбината. Если ягода, думаю, вполне растение, могла стать подобной выдвиженкой, что из теплых мест да сиганула на полюс, — ужели я дешевле той

ягоды? И сдала я, товарищи, ликбез и, конечно, пошла выдвигаться. Во время паводка с нашей бригадой плотину отстояла и вот оказалась — делегат съезда.

Все *(аплодируют)*. Отлично, бабушка... ягода заполярная.

Азамат. Хорошо бабушка говорил.

Турова. Ты, Максютина, покороче... ведь народу будет множество.

Максютина. Время, что ли, идти? Ой, Азамат говорить хочет.

Азамат *(с середины лестницы)*. Товарищи!.. Мы будем подымать наш правый рука. В рука — мандат. Подымаю — утверждаю. Значит, участвую в управлении великим Советским Союзом. Товарищи, при царе к белому залу Кремля нас близко не пускали. Кто там был? Большие генералы, губернатор, одни золотые мундиры. Кто сейчас будет? Сейчас в белый зал пойдем мы... делегаты всех народов Союза. Все народы как один родной семья. Товарищи, мы будем брать слово. Наше слово будет слушать весь мир.

Аплодисменты.

ВТОРАЯ КАРТИНА

Тот же вестибюль, но почти пустой. Коридорные кончают разносить вещи делегатов по номерам.

Турова *(стоит около своего чемодана)*. Товарищ коридорный, снеси мои вещи в номер Максютиной, седьмой. Ведь обещали кровать прибавить.

Коридорный. Обязательно, гражданка, прибавим. *(Стремительно кидается на помощь другому кори-*

дорному, который ведет под руку хромающую Фаризет.)

Азамат *(кинулся вперед к дивану приготовить подушку для больной ноги Фаризет. Туровой).* Слушай, товарищ, у Фаризет случился большой беда. Он торопил бежать *(показывает на своей ноге),* он подвертал...

Фаризет *(виновато улыбаясь).* Ходить мне нельзя... нога больно.

Азамат и коридорные бережно кладут Фаризет на диван в нише, где стоит Турова.

Азамат *(Туровой).* Пожалуйста, товарищ, пусть Фаризет под твоим глазом лежит. Доктор будет скоро приходить. *(Коридорному.)* Потом уносить можно в номер.

Фаризет. Полежу — сама пойду.

Турова. Больно тебе, Фаризет?

Фаризет. Как верблюд наступал... обидно в Кремль не идти.

Азамат. Ничего, Фаризет... не один день будет съезд.

Фаризет. Скорей иди сам, Азамат... опасного нет со мной.

Азамат. Доктора будут звать. Помажет ногу — танцевать завтра можно...

Турова и Фаризет одни. Турова осторожно подымает ногу Фаризет, кладет ее на подушку. Фаризет плачет.

Турова. Очень больно тебе?

Фаризет. Зачем больно? На открытие не попала. Мы от боли не можем плакать...

Турова *(гладит Фаризет, сидя с ней рядом, улыбается)*. Орлиные у тебя глаза, Фаризет.

Фаризет. Кругом смотреть надо. Кругом дело есть.

Турова. А что, Фаризет, если бы у тебя большое горе случилось? Ну, влюбилась бы в красивого бая...

Фаризет. Слушай... и с больной ногой умею драться.

Турова. Но *если бы,* Фаризет?.. Разве боишься ответить?.. *Если бы?*

Фаризет. Голову надо оторвать *(размахнулась)* и в арык...

Турова. Ну, а если бы ребенок умер?.. Единственный... и больше их быть *не могло?*.. И ты мертва стала... Понимаешь? *(Встает, ходит.) Ничего* кругом... *ничего* тебя не касается. Как тогда?

Фаризет. Ой, не серди, пожалуйста. Все кругом есть. Все касается. Я водой правлю, я — мираб. Я смотрю — мимо корова идет. Смотрю, колхозница его очень худо мыла, грязно мыла. Я кричу: «Сейчас бери вода! Сейчас мой корова». Чисто моешь — корова вкусный дает молоко. Нарком выпьет, колхозник выпьет — кто хочешь выпьет. Здоровье получать будет. Работать хорошо будет. Скажи, правда?

Турова. Правда.

Пауза.

Фаризет *(взяла руку Туровой, нежно)*. Горе имеешь? Нельзя долго плакать. Смотри, пожалуйста, кругом... очень скоро сейчас живем. Очень хорошо живем. Люди нужны. Дела много — людей мало. Приезжай к нам. Специальность имеешь?

Турова. Гидротехник.

Фаризет. Для нас очень нужно. Честное ленинское беру с тебя — приезжай. Говори, чего душа просит?

Турова. Душа просит... еще ребятами заняться.

Фаризет. Замечательный Дом ребенка сделаем. Поработаешь... посмотрим — зава тебе дадим. Пойдем сейчас в мой номер, я буду тебе книгу показывать, чего у нас есть и чего будем строить. Мой седьмой номер.

Турова. Вместе с Максютиной... Мне туда кровать обещали поставить. Пойду коридорного позову, чтобы помог тебя довести, сейчас доктор, верно, придет. *(Идет и сейчас же возвращается.)* Никого не видать. Верно, радио слушает, ведь Конституцию должны читать... *(Берет в руку провод.)*

Фаризет. И мы сейчас будем слушать... *(Она приподымается и кладет руку на плечо Туровой.)* Вместе слушать.

Турова включает радио. При первых словах выпрямляется, слушает с волнением.

Голос из радио. Статья сто двадцать вторая. Женщине в СССР предоставляются равные права с мужчиной во всех областях хозяйственной, государственной, культурной и общественно-политической жизни. Возможность осуществления этих прав женщин обеспечивается предоставлением женщине равного с мужчиной права на труд, оплату труда, отдых, социальное страхование и образование, государственной охраной интересов матери и ребенка, предоставлением женщине...

Занавес.

АКТ IV

ПЕРВАЯ КАРТИНА

Машинный зал на строительстве. Посреди генератор. Справа на лесенке Шура, внизу Туров. Делают проверку турбины перед ее пуском. Освещение — керосиновые лампы. Одна внизу, другая вверху, над Шурой.

Туров. Основательно, Шура, смотри. Хорошо ли смазаны подшипники? Проверила?

Шура. На совесть смазаны, товарищ Туров. Вчера в самых подробностях проверяла. Разрешаете открыть щиты?

Стук в дверь.

Туров. Подожди, Шура... *(Идет открывать дверь.)*

Входит Василий.

Василий. Здорово живешь, товарищ Туров.

Туров. В добрый час, Василий. Ты в самую точку пришел — у нас пробная проверка. Есть что-нибудь мне от Зины?

Василий *(подает пакет и письмо)*. Книги она просила Варваре передать, сама осталась еще кое-что досмотреть; верно, она с Максютиной вместе приедет. А для тебя записка.

Туров *(поспешно пробегая глазами, помрачнел)*. Я скоро приду. Шура, введи его в курс сделанной работы. *(Ушел.)*

Василий молча смотрит на Шуру. Она, приняв официальный вид, почти рапортует.

Шура. После получения правильных цифровых данных мы в связи с увеличенной мощностью турбины возвели стены, вместившие ее полностью...

Василий *(обрывает)*. Что ты мне в глаза тычешь «правильные цифровые данные»... Да, может, они мною сразу были даны? Может быть, ты сама тут напутала?

Шура *(бросая официальный тон)*. Не моя — *твоя* смета была сдана Прыгину. Он, что ли, ее подделал? Он и сейчас в больнице лежит. Все твои бумаги заперты у тебя. А ключи подделывать мне некогда. И вообще говорить так, как ты, — может только... ну, просто... дурак.

Василий. Дура сама!.. Фасон держишь! Алиментами швыряешься? Не ради тебя я — сыну прислал.

Шура *(чуть улыбнулась, заметив чувство, с каким Василий сказал слово «сын»)*. Больно сын этот в тебе сейчас нуждается? Ему только бы соска была.

Василий *(с упреком)*. Почему не сама кормишь?

Шура *(огорченно)*. Не вышло дело... да он великолепно и коровой питается. *(С гордостью.)* Он уже пять кило весом. *(Спохватывается, говорит опять как с посторонним.)* Что бы такое могло быть в записке от Зины, что Туров вдруг помрачнел?

Василий. Ерунда какая-то! В обиде она, что ли, на него? Написала нарочно ему как чужому...

Шура. И все понятно... Туров сразу решил, что Зина его кем-то заменила.

Василий. Да что, по-твоему, Туров дурак?!

Шура. Очень даже умный, но он любит Зину и очень ревнив. А люди от ревности обязательно глупеют.

Василий. Наконец-то слышу умное слово. Зина, кроме этих своих детдомов, ни о чем ином и не думает. И так же она виновата перед Туровым, как я пред то-

бой. Таскался я с Манькой по музеям, а ты сразу *(передразнивает голос Шуры)* — комнату пополам!

Шура. Мне до прошлого нет ни малейшего дела!

Василий. И мне тоже. Но сына своего, Кима, я видеть желаю.

Шура. А ты сперва докажи, что ты отец!

Василий *(наступая)*. То есть как это так? Какие такие доказательства тебе нужны?

Шура. А такие, чтобы хоть год ты его не видал, а об нем думал.

Василий. Сама же алименты назад посылаешь!

Шура. А ты их не мне посылай, а Киму на книжку клади, через год ему пригодятся.

Василий. Книжку я Киму заведу. А не видаться нам и без твоих предписаний ровно год придется. Призываюсь я сейчас. Вот приехал на несколько дней и обратно. Даже открытия станции не дождусь.

Шура *(нечаянно с сожаленьем)*. Так скоро уедешь?

Василий *(подошел близко)*. Покажешь мне Кима?

Шура *(официально)*. Только совершенно как чужому. Не сметь его трогать! Не сметь целовать!

Входит Туров.

Туров. Ну, поговорили? Пора щиты открывать. Проверим турбину!

Шура и Василий исчезают в глубине.

Шура. Сейчас зажужжит, товарищ Туров!

Слышится равномерное жужжание.

Т у р о в. Включить свет!

В машинном зале вспыхивает электричество. Василий тушит лампы.

Ш у р а. Наша честь не поругана, товарищ Туров? Кончим в срок и в полном порядке. Ах, у меня гора с плеч... как боялась-то! Вот, думаю, засыплюсь...

Т у р о в *(Василию)*. Да, Василий... перед нашими женщинами мы с тобой должники. Выручили они нас.

В а с и л и й *(вспыхнув)*. Ты это на что намекаешь? Что я Прыгину по ошибке старую схему дал?

Т у р о в. Какую схему?! В первый раз слышу.

В а с и л и й. Ну да... себя покрывать не намерен. По рассеянности я дал Прыгину не то, что нужно. *(Показывая на Шуру.)* Она сразу это обнаружила и все мне разъяснила по телефону...

Ш у р а *(поспешно)*. Простоя не было, товарищ Туров!

Т у р о в. Ну, Василий, жена твоя — клад.

Ш у р а. Не жена вовсе, а... бывшая. *(Подошла к Василию, чуть подтолкнула его.)* Идем, что ли, Кима смотреть! Товарищ Туров, можно?

Т у р о в. Идите, идите...

Василий и Шура ушли. Туров один.

Туров вынимает записку Зины, читает, потом рвет в мелкие клочки.

ВТОРАЯ КАРТИНА

Терраса помещичьего дома, где живет Туров (декорация второго акта), украшена гирляндами цветов, цветными фонариками. Плакат: «Добро пожаловать». В глубине виднеется только что выстроенное здание гидростанции. Местная спортивная

команда под управлением Миши разбивает внизу большую палатку для приема бегунов. Оркестр из колхозников устраивается на холме позади террасы. На террасе Туров и Шура, которая доканчивает украшать гирляндами большой, парадно накрытый стол.

Шура. Товарищ Туров, что я вас спросить хочу... Можно?

Туров. Спрашивай!

Шура. Зина сейчас такой молодец, так на высоте, а вы...

Туров. У меня свое дело... у моей бывшей жены свое.

Шура. Вздор и вздор! Никакая не бывшая. Она вам так из Москвы написала?

Туров. В таком роде.

Шура. Все равно не верьте! Не умею сказать... мне кажется, вы Зину чем-то давно обидели.

Туров. Я — Зину? Она тебе сказала?

Шура. Ничего не сказала. Сама я, как приехала, увидала. Зина была больна, в большом горе... а вы говорить не умеете. С нами надо, чтобы человек был сам... ну, сильный. Вы, товарищ Туров, хороший муж для будущей женщины... А мы еще иногда слабеем... вот!

Входит председатель местной спортивной команды Миша, с ним два физкультурника.

Миша *(рапортует)*. Команда спортивного общества «Электрик» завершит сегодня у вас первый этап своего пробега, второй этап у них будет ночной, с фонариками.

Туров. Добро пожаловать. Когда прибегут?

Миша и два физкультурника *(вместе)*. В половине восьмого.

Миша. Нам бы фанеры, товарищ Туров. Не хватило для щитов с лозунгами.

Туров. Фанеру вам выдаст Степаныч. *(Пишет записку, дает Мише.)*

Миша и физкультурники. Есть, товарищ Туров. *(Ушли.)*

Входят Турова, Максютина.

Турова *(добрая, даже все жесты у нее иные, полны энергии.)* Мы к тебе, Сережа, на высший совет! От Урвид письмо *(показывает)*, не пора ли сказать Сакаровне, что ее сын нашелся. Ждали подтверждения — вот оно.

Максютина. Самое время. Ведь Анатоль ее вечером прибежит.

Шура. Ну, в бегунах он, в сегодняшних. Учится в вузе и между прочим — бегает.

Максютина. Команда эта «староафонская» вроде, у нас только передохнет и дальше. Анатолию манежиться некогда с матерью. Ему с нею вовсе пустяк побыть. И пусть она поохает да поплачет до него.

Турова. Ты, Максютина, подготовь ее. Мы с Шурой подоспеем потом.

Шура. Нет, Зина, лучше ты потом, а мы пойдем сразу. Вдвоем с Максютиной нам будет легче.

Уходят. Туров и Турова одни.

Турова. Поздравляю тебя, Сережа: член приемочной комиссии мне вчера очень хвалил нашу гидростанцию и твое руководство.

Т у р о в *(взял ее за руку)*. Ну вот, Зиночка, ты и вернулась, — как ждал я тебя!

Т у р о в а *(быстро)*. Вернулась я не такая, как уехала... правда?

Т у р о в. Мне дорого, что ты приехала... Мне важно, что ты здесь. Ответь правду, прошу тебя...

Т у р о в а. Какую правду?

Т у р о в. Ты в Москве одна была?

Т у р о в а. А, вот что...

Т у р о в. И еще: надолго приехала?

Т у р о в а. Налажу колхозные ясли... еще кое-что им в придачу для команды постарше. Чудесные ребятки! И так с ними весело. Мы с Варварой уже много обговорили. Не думай, тебя не забыли... ограбим! И ссуду ты нам достанешь. Степаныч даром свой труд предложил — столы, стулья...

Т у р о в. Все это прекрасно, и я очень рад... но, Зина, — это же не ответ на мои вопросы.

Т у р о в а. Чудак ты, Сергей Иваныч... а ты на мое мне ответил? Я тебе говорила — я иная приехала, а тебе все равно...

Т у р о в. Ну, потому, что я люблю тебя, Зиночка, такой, как ты есть. Прости меня... может, я тебя обидел. С тобой вот надобно по-особому... я не умею.

Т у р о в а. И не надо...

Т у р о в. Дай, Зина, наконец высказать. Когда ты из больницы пришла... Работой тебе можно было горе еще заглушить... не словами же! Говорят, женщинам всегда надо твердить о своей любви. И, вероятно, умеют говорить те, которые много раз не то что любят... влюбляются. У таких есть сноровка. *(Подошел близко.)* Я, Зина, человек простой, я полюбил раз и навсегда

тебя одну, и где ты, где я — не знаю. Отделить тебя от себя не могу. Вот и молчу. Как же с самим собой разговаривать? Уехала ты, Зина, — работать не перестал. Пока жив — буду работать. А вот ночи без сна...

Турова. Хороший ты, Сережа. Но ведь ты любишь меня, как тебе удобно. Сказал — не отделяю тебя от себя. А я — отдельный человек.

Туров. Ты скажи, Зина, просто и ясно, чтобы я понял тебя.

Турова *(ходит взад и вперед. Остановилась)*. Училась я в нашей советской школе. Вышла за тебя замуж... и считала я, конечно, что я — новая советская женщина.

Туров. Так и было, Зина.

Турова. Все, все — до первого испытания. После смерти ребенка... я омертвела. Кругом кипела жизнь... а из меня она ушла. Тогда ты мне не помог, Сережа. Мне помогла сама жизнь.

Туров *(с облегчением, протягивая обе руки)*. Зиночка...

Турова *(улыбаясь)*. Вот оно... Мужу важно, чтобы жена ему не изменяла; влюбленному важно, чтобы она от него не уходила; что ей *самой, самой* надо — важно ей одной.

Туров. Что же, Зиночка... скажи? Что тебе важно?

Турова *(смеясь)*. Заполучить на сегодня твой кабинет! Даешь?

Туров. Нагонишь дошкольников?

Турова. Набегут! Физкультурникам песню споют и какао выпьют.

Туров. Бери кабинет! *(Взял ее за руку.)* Зина, ты что-то серьезное затеяла?

Т у р о в а. Возможно.

Т у р о в. Скажешь?

Т у р о в а. В свое время скажу.

Т у р о в. На одних своих ногах стоять хочешь, как Шура?

Т у р о в а. На одних своих.

Т у р о в *(беря ее за руки)*. Две полноправных державы... и, я надеюсь, в вечном дружественном союзе.

Т у р о в а. Посмотрим.

Входит М и ш а, за ним д в а ф и з к у л ь т у р н и к а.

М и ш а. Товарищ Туров, разрешите нашей команде взять шефство над оркестром. Уж мы знаем, когда надо встречу трубить, а они обязательно прозевают.

Т у р о в. Бери, Миша, с командой шефство!

М и ш а. Как с дерева их увидим — протрубим, товарищ Туров.

Т у р о в а. А я, товарищи, прошу вас, передайте всем, чтобы на время встречи не занимали террасу. Наши школьники физкультурников встретить хотят!

М и ш а. Есть, товарищ Турова, скажем.

Уходят вместе с Туровым.

С т е п а н ы ч *(появляется на лесенке, обвешанный табуретками. Ничего не видать, кроме ног)*. Зина... куда их складать, пока не рассыпался?

Ш у р а. Наш Степаныч совсем ишак на базаре... одни ноги видны!

Т у р о в а. Подымайся, Степаныч, сюда. *(Идет к кабинету.)* Прямо за мной. На сегодняшний день кабинет Турова для ребят отвоеван.

С т е п а н ы ч *(высунул голову из табуреток)*. Вот

сейчас, Зина, у тебя ориентация правильная. *(Уходит вслед за Туровой в кабинет.)*

Сакаровна *(с узелком в руках)*. Шурочка, Ким с няней остался... уснул. Слушай-ка! Ужели не во сне — наяву своими глазами Анатоля увижу? Сердце-то выдержит ли?

Шура. Выдержит, Сакаровна! От радости не умирают.

Сакаровна. Ой, кто-то подъехал, — не он ли?

Подъехала машина.

Шура. Да ведь то машина... а твой бегун на своих на двоих. И Мишка свое шефство еще в ход не пускает — молчат трубы.

Из машины выходят врач, тренер, массажист. Все, кроме тренера, проходят в палатку.

Обдоркин *(входит на террасу. Рекомендуется)*. Обдоркин, тренер команды спортивного общества «Электрик». По поручению товарища, разрешите узнать, кто здесь именно Лидия Оскаровна Кронеберг?

Сакаровна *(замерла)*. Я — Кронеберг... я!

Обдоркин. У вас должна произойти встреча с вашим бывшим... то есть с вашим родным, но вам неизвестным сыном — Анатолием.

Сакаровна. Какое волненье...

Обдоркин. А вы, мамаша, меньше всего волнуйтесь. Встреча ваша — ориентировочная. Может быть, вы еще друг другу и не понравитесь. Мой вам совет: не нажимайте сразу на чувства. У Анатоля на встречу с вами определено девять минут. Как только он прибежит, его в работу возьмет массажист, врач, потом он

обязан проглотить какао... понятно? Команда меня уполномочила вас инструктировать, что, по собранной о вас анкете, вы как мать нашего товарища удовлетворительны и проработки он вам делать не будет. Можете, значит, использовать все девять минут на семейственность. Просит вас только команда, как уважаемого старшего товарища, переживайте, мамаша, встречу сейчас... не срывайте нам финиша! Пробег нашей команды — дело особой важности. Дальнейший путь нам — ночной. Промедлить нельзя ни минуты. Поставлен опыт. Понятно?

Шура. Да скажите толком, сколько времени здесь пробудут бегуны?

Обдоркин. Не более получаса.

Сакаровна. Такое волненье... такое!

Обдоркин *(Сакаровне по-сыновнему, нежно)*. Страдать вам, мамаша, не к чему, повторяю: встреча ориентировочная. Если ваше семейное дело сорвется — незачем идти навстречу событиям. Если все пойдет как по маслу — незачем было тратить калории на усиленное сгорание. В случае семейной удачи — обещаю уступить вам свою жилплощадь. Я живу с Анатолием в одной комнате. Для вас перейду в общежитие.

Сакаровна. Какой вы чудесный юноша!

Обдоркин. Душевный эффект, мамаша! *(Берет ее за руку.)* Утихомирьте ваш пульс!

Туров *(издали зовет Шуру)*. Шура!.. А ну-ка, проверим еще разок.

Шура уходит.

Турова *(вошла из кабинета. Поспешно подходит к Обдоркину.)* Найденный сын... Анатоль?!

Обдоркин. Еще не он, но вроде... *(Кланяется.)* Товарищ Анатоля — Обдоркин.

Сакаровна. Зиночка, прибежит сейчас Анатоль... Ох, сердце...

Обдоркин. Спокойно, мамаша... еще одно поручение. Это будет ваше последнее предварительное волнение. Анатоль просил вам передать небольшое по размеру письмо. Это от того человека, которому он был отдан вашей черносотенной теткой и чью фамилию сейчас он носит. *(Подает письмо.)*

Сакаровна. Трудно мне без очков.

Турова. Дайте, Сакаровна, я вам прочту. *(Читает.)* «Тысяча девятьсот двадцать шестого года, первого мая. Сим удостоверяю, что податель сего есть точно сын ваш Анатолий Федорович Кронеберг, коего тетушка ваша Анна Петровна Шпулева на воспитание мне и покойной моей жене препоручила. Умирая, остаюсь бывший писарь Егор Иванов Бутягин».

Сакаровна. Сяду я... *(Садится на скамейку, сильно волнуется.)* Дайте документ!

Обдоркин. Полегче, мамаша... все, как говорится, в прошлом. Сейчас Анатоль ваш — отличник, комсомолец.

Максютина *(входит по лестнице)*. Самое главное, Сакаровна, не позволяй ты себе обморок. Анатолий прибежит... а ты сомлевши. Очень некрасиво для встречи.

Сакаровна. Обязательно мой Анатоль прибежит первым. Я уверена.

Турова. Вот она — мать — сказалась! *Ее сын* чтобы непременно первый. *(Смеется.)*

Сакаровна. Напрасно срамишь, Зина. Шуркин мальчик мне чужой, а люблю его как родного внучка.

Сигнал. Оркестр играет туш. Прибегают бегуны. Впереди всех Анатоль. Увидел Обдоркина, на ходу приветствует его рукой.

Бегунов обступили, ведут в палатку.

Доктор *(подбегает к бегунам)*. Пульс? Сердце? Кровяное давление?

Корреспондент *(человеку с секундомером)*. Сколько? *(Тот безмолвно показывает секундомер, корреспондент записывает.)*

Входит на террасу Турова со школьниками. Хор поет свое приветствие. Ребята разбегаются. Освежившийся Анатоль выходит вместе с Обдоркиным из палатки, подымаются на террасу.

Обдоркин *(подводя его к Сакаровне)*. Вот она — твоя мамаша!

Сакаровна *(всхлипнула, повиснув у Анатолия на шее)*. Анатоль!

Обдоркин *(взял пульс Анатоля)*. Не допускай, Анатоль, ускорения! *(Сакаровне.)* Спокойствие, мамаша. Очень скоро мы оба за вами приедем, заберем вас. Уступаю вам свою жилплощадь.

Сакаровна. Познакомься, Анатоль, — вот Шура...

Шура. Рада за вашу маму и за вас... она хорошая. Мы любим ее. В честь вас сын мой зовется Ким-Анатоль.

Сакаровна. Мне мальчишка как внучек. Сейчас будешь с ним зваться пополам: он только Ким, а ты Анатоль.

Турова. Лидия Оскаровна... Анатоль, — будьте счастливы!

Сакаровна. Это — Зина... товарищ Турова.

Турова. Мы тут все — одна семья.

Туров *(поднялся снизу)*. Встретились?

Турова. Сергей, вот он... Анатоль — сын Сакаровны.

Туров *(крепко жмет руку Анатолю, Сакаровне)*. Радуюсь за обоих, поздравляю.

Шура *(берет за руку Анатоля)*. Ну, идемте с Кимом знакомиться.

Туров. Времени у вас немного. Ровно через десять минут Шура должна включить наш новорожденный электрический свет, и мы за него подымем бокалы, а вы, как бегуны, на строгой диете, просто убежите под сигнальный выстрел.

Анатоль. Обернемся в десять минут!

Сакаровна. Анатоль... просьба к тебе... *(Подает брюки.)* Примерь.

Анатоль *(смеется)*. Слышал: уж двадцать вторые.

Турова. Порадуйте мать. *(Указывает ширму.)* Можно тут.

Анатоль скрывается, скоро выходит, брюки в руках.

Анатоль. Не влезают, мамаша...

Сакаровна. По одной мечте сшиты!

Анатоль. Что делать. Действительность оказалась больше мечты! Ну, идем смотреть Кима!

Туров и Турова одни.

Туров. Ну, Зина, здесь строительство наше кончено. Надо на новую работу! Все еще запрет тебя спрашивать?

Турова. Что спрашивать?

Туров. Ну, самое для меня главное... *(Подошел близко.)* Куда б ты ни ехала, Зина, я — с тобой вместе.

Турова. Если со мной, Сережа... у тебя своих детей никогда не будет... помни! Хочешь ты... можешь ты — как я? Чтоб чужие... своими стали?

Туров. Хочу, Зина... могу. *(Взял ее за обе руки.)*

Обдоркин. Извиняюсь... не видали Тошку? То есть Анатолия.

Турова. Пусть его с новыми друзьями побудет!

Обдоркин. Нет, это уже именно, что не «пусть». Это, знаете, чем угрожает? Тем, что вместо третьей версты у Анатолия черт его знает на какой версте откроется второе дыхание.

Турова. Где ж это оно открывается?

Обдоркин. Это поры открываются. Организм начинает дышать кислородом помимо легких. Через поры... при сердечном волнении — задержка.

Появляются Анатоль с Кимом на руках, Сакаровна.

Туров. Где Шура?

Анатоль. На своем посту. Ждет сигнала, чтобы включить ток.

Обдоркин. Анатоль, пора...

Сакаровна. Опять я одна с Кимом. *(Берет его у Анатоля.)*

Анатоль *(обнимает)*. Коли нашлись, мы уже теряться больше не будем. Вместе будем жить.

Обдоркин. Не слабейте, мамаша... заберем скоро вас и с вашим рукодельем.

Уходят оба. Сакаровна уносит Кима.

(Кричит, махая флажком). На старт! Все ли готовы?

Бегуны. Готовы!

Обдоркин. Даю старт! Внимание. Сейчас сигнал.

Выстрел, Шура дает свет.

Максютина. Убежали... прямо зайцы.

Степаныч. Все разом, как один!

Туров *(подымая бокал)*. За наш новорожденный свет!

За стол садятся Варвара, Степаныч, Шура, Максютина, Туров, Турова.

Туров *(подымая бокал)*. Дорогие товарищи, общая наша работа закончилась победой, иначе говоря, тем же словом, каким прозывается твой колхоз, Варвара Петровна.

Степаныч. Наша Варвара — предколхоза «Победа»!

Туров. Пью сразу за обе победы!

Все чокаются с Варварой.

Шура. Сейчас Варварин колхоз будет называться образцовый. Расхвалили его в газетах... Ну и речь сказала, товарищи, наша Варвара вчера приемочной комиссии! Знаете, даже лысый, что в аварийную ночь так бузил, и тот громко восхитился: король-баба!

Туров. Главное, речь ее была с государственным подходом. Так умно защитила свои культурные начинания, что на них обязательно особую ссуду дадут!

Варвара. Захвалили, а хвалить не меня... Зину следует. Это она колхозные ясли на высоту поставила.

Колхозницы говорят: «Дальше дело так поведете — мы вас двойняшками засыпем». За тебя, Зина!

Смех, чокаются с Туровой.

Степаныч. Скажи все-таки нам, Варвара, откуда ты государственного подходу набралась?!

Варвара. И не думала о подходе. Слова у меня простые были! Объяснила ото всей души, что для наших глухих колхозов наша станция значит. Ведь девчонкой об этом электрическом свете ревела.

Шура. А где ж ты его видела? Из деревни, говоришь, ни ногой!

Варвара. А вот видела. Жила я, сиротка, в няньках у старосты и слышу — говорят, что господа к себе вот в этот дом, где сейчас мы сидим, от мельницы какой-то неслыханный свет провели. Вот мы, ребятишки, подкрались вечером к дому и увидели: ка-ак полыхнут люстры в потолке! И светло в комнатах стало, как днем. Дивимся мы, сидя в кустах. Вот-то нам зависть была! Порешили мы — господский это свет... специальный. Нам как ушей его не видать...

Степаныч. Вышло, малость ребятишки ошиблись...

Варвара. То-то что ошиблись! Взяла силу Октябрьская революция, и узнали мы, что определен этот свет самим Ильичем взаместо лучинки да коптилки нам светить.

Максютина. Из-за чего и работали мы не покладая рук. Ура товарищу Турову!

Чокаются.

Степаныч. Товарищи, дозвольте слово...

Все. Говори, Степаныч!

Степаныч. Я, товарищи, вроде самокритики изложу. Все мы, конечно, за станцию боролись. Помирать буду... окаянный тот паводок не забуду. Но в первую голову справедливость меня понуждает, как героев труда и бойцов, — выделить женщин. Предколхоза Варвару — организатора масс, товарища Турову, Шуру, Максютину — неустрашимого землекопа и... рыболова поневоле...

Все смеются.

Максютина. Самокритику обещался.

Степаныч. А тебе обязательно чтоб перстом указать! Если я не себя, а тебя хвалю — этого тебе еще мало? Ну ладно, получай полным рублем! Товарищи женщины, каюсь вам... не на высоте я был касаемо вашей оценки! Но здесь по вашей работе определенно я увидел — все как есть вы масштабные! *(Чокается со всеми, пьет. Вытаскивая из кармана пакет.)* Ой, Зиночка, прости, позабыл... с утра тебе заказное из Узбекистана!

Турова. Давно жду... от Фаризет! *(Просматривает.)* Товарищи, еду в далекий край и сразу на две должности. Я — гидротехник и помзав Дома ребенка.

Туров. Товарищи. Я еду туда же... В гидротехнике ты мне, Зина, будешь правой рукой... ну, а в Доме ребенка — я тебе правой рукой. Принимаешь этот переплет?

Турова *(чокается с Туровым)*. Принимаю!

Шура. Зина, товарищ Туров, прихватите с собой и меня с Кимом на год!

Туров. Почему такой определенный срок?

Ш у р а *(смущенно).* Да Васька ведь год в Красной Армии служить будет.

Т у р о в. Обоих берем. Вернется Василий — и оставайтесь бессрочно.

В а р в а р а. За Шуру, за Зину, за новую женскую силу!

Т у р о в а. За статью Конституции сто двадцать вторую!

З а н а в е с.

КАМО

Пьеса в трех актах

ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА

Семен Тер-Петросян (Камо) — большевик-подпольщик.
Товарищ Макар — большевик, участник московского вооруженного восстания.
Вано Ландадзе — большевик, один из активистов тифлисской подпольной организации.
Нина — молодая революционерка.
Гиго — революционер-подпольщик, работающий под видом цирюльника.
Нико Сафиани — художник.
Карапет — хозяин шашлычной.
Француз — приезжий коллекционер, знаток искусства.
Прокурор.
Ротмистр.
Арсений Асадзе — меньшевик.
Эрвиг — доктор.
Полицей-президент.
Директор «Попечительства о бедных».
Дежурный врач.

Чиновник министерства внутренних дел.
Оскар Кон — назначенный судом опекун Камо.
Шлоссман — депутат парламента.
Сидорыч
Мишка } дворники
Брагин — сторож у изолятора Камо.
Люди на площади, жандармы, конвойные, сторожа, швейцары, служители.

АКТ I

НА ПЛОЩАДИ

Площадь на окраине Тифлиса. В нижних этажах домов — цветочные магазины, шашлычная Карапета. Перед входом в шашлычную боком поставлена новенькая вывеска, изображающая одинокую газель. Сбоку — одноэтажный дом с плоской кровлей, мастерская художника Нико Сафиани. Рядом — цирюльня Гиго. Кругом люди, идет торговля. Голоса лавочников: «Горячий лаваш!», «Душистый чурек — дыня, не чурек!» На минарете появился муэдзин, кричит: «Алла!.. Алла!» Проходит военный патруль. Под присмотром полицейского расклеивают на столбе воззвание градоначальника к жителям. Над текстом — портрет Камо.

Торговцы, женщины, дети подбегают к столбу.

Гиго *(читает последние слова воззвания вслух)*. «А за указание место-на-хо-ждения и за арест известного госу-дар-ственного пре-ступ-ника Семена Тер-Петросяна, под кличкой Камо, — награда. Портрет сего преступника выше при-ла-гает-ся».

Макар *(под видом столяра, в руках подрамники, тихонько дергает Гиго за рукав)*. Гиго!

Гиго *(сдерживая мгновенно вспыхнувшую радость)*. Товарищ Макар! Как ждем тебя!

Макар. Тс-с... *(Громко.)* Тут художник один заказывал. *(Показывает подрамники.)* Не проводишь ли меня к нему? *(Тихо.)* Большие новости...

Гиго *(оглядываясь)*. Я тебя проведу к Нико, ключ имею. Подождешь там недолго.

Уходят в мастерскую Нико. Из переулка строем выходят дворники в белых фартуках, бородатые, с палками в руках. Их ведет унтер. Навстречу выходит жандармский ротмистр.

Унтер. Смир-рна-а!

Дворники останавливаются как вкопанные, но вразнобой.

Ротмистр. Старшие дворники! Вся полиция поднята на ноги ввиду сообщения, что в Тифлис снова прибыл государственный преступник, злодей, известный под кличкой Камо. Это тот самый, что со своей дружиной дрался против казаков в Нахаловке. Два раза его вешали — жив остался! Крайне опасный злодей, отъявленный враг самодержавия! *(Указывает на объявление.)* Вы, старшие дворники, становитесь частью корпуса внутренней охраны. За участие в поимке злодея — монаршая благодарность. Серебряные часы с цепочкой. Брелок, свисток — тоже серебряные. *(Обращаясь к унтеру.)* Срочно преподать дворникам правила облавы на поимке государственных злодеев!

Ротмистр смотрит, как дворники по команде унтера с рвением кидаются на воображаемого злодея, крадутся, прячутся и вдруг с гиканьем наскакивают друг на друга. Хохот толпы, принимающей в деле живое участие.

Ротмистр *(унтеру)*. Не устраивай, братец, спектакль в центре города. Ищи поукромнее место.

Унтер не может сразу справиться с дворниками, которые, придя в азарт, навалились всей кучей на одного из своих.

Унтер. Эй вы, медвежьи шкуры... Злодея живьем надо брать! Не душить! *(С трудом отдирает дворников от «злодея».)*

Дворники неохотно становятся в пары и, переругиваясь, уходят вместе с унтером. Часть толпы уходит за ними.

Ротмистр. Экие мамонты! Где им поймать — они отпугнут кого хочешь... *(Подходит к открытой цветочной витрине.)* Эй, кацо, поворачивайся! Давай-ка корзину лучших роз.

Продавец с готовностью подбирает цветы.

(Подает ему записку.) Пошли сейчас же по этому адресу. Немедленно.

Мальчишка, поставив корзину с розами на голову, бежит в переулок. Ротмистр, охорашиваясь, неторопливо идет в том же направлении.

Продавец *(бежит за ним)*. Ваше благородие! А деньги?

Ротмистр. Что-о? Бенефис Марго, красы города! Сам губернатор за ложу дал втрое. Да тебе, чурбану, честь оказана! *(Уходит.)*

Продавец *(растерянно)*. Чужое взял, как свое.

Карапет. Обрати внимание: он артистке цветы подносить будет не от тебя, а от самого себя. Ин-тересно...

Появляется **Нико Сафиани** — высокий, стройный, веселый. На нем черная чоха. В руках букет из ветвей цветущего дерева унаби — тонкие длинные ветки с сережками нежно-зеленого цвета.

Карапет. Откуда, Нико?

Нико. От Давида-горы. Солнце встречал... Ну, совсем как в море купался. Пчелы жужжат, цветы кругом смеются. Тифлис утром золотой, а горы кругом — снеговые в синем небе. *(Увидел воззвание с портретом Камо.)* А это что за икона? *Подходит к столбу, читает.)*

Карапет *(сердито)*. Какая икона? Читай, читай! Написано же: злодей, враг самодержавия под кличкой Камо. Два раза вешали — подумай, жив остался... Да черт с ним, давай дело говорить. *(Отводит Нико к своей шашлычной. Тот идет неохотно, озабоченно оглядывается на воззвание.)* Мне с тебя надо за эту вывеску обратно получить половину денег.

Нико. Я тебе вывеску нарисовал, ты ее принял, а теперь мне платить... Что ты, в своем уме? Или пьяный?

Карапет. Ай-ай, нехорошо говоришь. Смотри, пожалуйста! *(Указывает на вывеску.)* Один джейран, как сиротка, стоит. Я тебе два рубля заплатил, помнишь, говорил: богатую вывеску рисуй. Джейран, охотник в него стреляет. Тут же бурдюк вина. За деревом — луна. Надо к джейрану все это добавлять, а то рубль обратно заберу.

Нико *(задумчиво смотрит на вывеску)*. Ничего ты, Карапет, не понимаешь. Хорош джейран в одиночку, без бурдюка... Очень хорош джейран.

Карапет. Без бурдюка, без луны — некрасиво. Скучно. Плохо работать стал, Нико. Плохо. Так всех заказчиков потеряешь. А я хотел тебе еще работу дать, Нико. Рисуй мне, пожалуйста, такую картину: ангел, который зовется амур, стрелу в руке держит, а в другой — одно дамское сердечко. Хочу заведение обновлять...

Нико. Тебе, Карапет, совсем ни к чему амур. Торговать свининой хочешь — завлекай публику свиными частями.

Из переулка появляется француз. Он явно изучает город.

Француз *(подходит к вывеске Карапета, смотрит)*. Вы, мсье, есть хозяин эта картина?.. Вы можете мне ее продавать?

Карапет *(надувает щеки, закладывает руки за спину)*. Смотря какие деньги платить будешь. Десять рублей согласен платить?

Француз *(поспешно вынимает деньги)*. О, с большой охота... Я очень счастлив... Но вы мне будете называть, кто художник эта картина?

Карапет. Далеко бегать не надо. *(Указывает на Сафиани.)* Видишь, какой худой, без пояса... Потому что художник.

Француз *(почтительно кланяется Нико)*. О, мсье, я имею счастье делать с вами знакомство. Могу я посещать ваше ателье?

Нико. Нету у меня ателье. У садовника снял старую оранжерею. Пойдемте.

Француз, взявший под мышку купленную вывеску, и Нико со своим громадным букетом из цветущих веток унаби уходят в мастерскую. Торговцы, смотря им вслед, покачивают головами, смеются.

МАСТЕРСКАЯ НИКО

Мольберт, подрамники, простой, некрашеный стол. На полу старый ковер и подушки. По стенам во множестве картины, этюды. Столяр Макар возится с подрамником. Входит Нико Сафиани с французом.

Нико *(увидев Макара, с трудом сдерживает радость)*. Наконец-то! Давно ждут тебя все наши художники. Отчего не приходил?

Макар *(постукивая молотком)*. Работой завален... Не вы, чай, одни у меня.

Нико. Без тебя как без рук, все разваливается.

Макар. Дайте срок, починим. Все будет в порядке. *(Углубляется в работу.)*

Француз *(прислонив к стене вывеску, купленную у Карапета, рассматривает работы художника. Не скрывает восхищения)*. Но эти картины — шедевр! Про вас надо писать в журнал. Почему вас не знают?

Нико. Такая страна у нас. Умереть надо, тогда оценят!

Француз. Но вы есть — тифлисский Сезанн! Какой удача, что я вас находиль! *(Рассматривает картины.)* Вы есть победа над школой Манэ. Импрессионизм есть победа одно пятно над одна линия. Новый стадия — пятно, растворял себя в один водопад краска. Мы имеем Синьяк, мы имеем Манэ, наконец, приходил великий Сезанн. Он дает новый синтез. Краска, матерьялите!.. О, мсье, вы так же видите мир... *(Любуется этюдами.)* Этот зеленый, оранж, черный. Это новый синтез. Вы есть тифлисский Сезанн!

Нико *(рассеянно слушает. Бросает нетерпеливые взгляды в сторону Макара)*. Зачем сазан? Пусть плавает в море сазан... *(Встает, берет бутылку, наливает три стакана, протягивает французу и Макару.)* Выпей и ты, столяр!

Француз. За вашу Академию! Вы, наверно, есть гордость Академии. *(Чокается с Нико.)* Но почему не давали вам хорошее ателье?

Нико. В Академии не учился. На улице учился. В горах, у реки, у зверей, у птиц учился.

Француз *(настойчиво)*. Кто был ваш професcёр?

Нико. Сам себе профессор. Смотрю — вижу. Вижу — рисую. Иногда человек очень большие и красивые глаза имеет, а ничего интересного не видит. Например, сегодня утром певицу Марго встретил, ей букет предложил. Артистка Марго мой букет не взяла — мне веников не надо, говорит. *(Горячится, берет в руки цветущие ветки.)* А с этим «веником» я на горе Давид солнце встречал. *(Ставит ветки в банку с водой.)*

Француз. Но это есть поэзи́. Я буду говорить Марго про вас, про ваш талант. Она красивый дама, она замечательно поет. Я знаком.

Нико. Хлопот не стоит. Художник так любил, что умирать хотел. Сейчас художник рисовать будет — и про эту любовь и про смерть забудет. Картину хочу писать: Марго лежит на диване. Правое плечо голое, на лице улыбка, на плече птичка сидит, сама себе Марго очень нравится. И вторую картину напротив буду вешать, как зеркало. Опять Марго на диване лежит, опять улыбка, опять птичка, опять сама себе нравится. Одна только разница, что на другом боку лежит. *(Смеется.)*

Француз *(в восторге от Нико.)* Я буду покупать всю вашу мастерскую. Вы будете ехать в Париж — там поймут, что вы есть гений.

Нико. Без Тифлиса мы как рыба без воды — жить не можем. А в мастерской ничего покупать нельзя — все чужое. За все деньги уже получил.

Француз. Но это большой состояние. Почему не хотите уходить отсюда?

Нико. Вы, мсье, удивительный счетовод. Большое состояние! Ну *(указывает кистью на картины)*, за миллионера и вдову я получил десять рублей. Кушать мне надо? За гусей два рубля. За газель — два... Все съел — и вдову, и гусей, и газель, а правду сказать — больше пропил.

Француз. Как! Вы получаете копейки за шедевр! Я же вам говорит — вы есть гений.

Нико *(смеется)*. Никто не верит.

Француз. Я сам буду про ваши картины писать. *(Взволнован.)* Прошу вас... У меня с собой немного деньги. Я буду вам оставлять аванс, я делаю вам заказ — большое полотно, рисуйте что хотите... Я буду приходить... *(Кладет на стол деньги, направляется к выходу.)* А сейчас — до свиданья!

Нико *(изумленно смотрит на деньги)*. Никто мне за дело столько не платил, а вы — без всякого дела. Большой пир будем справлять! *(Провожает француза до двери, закрывает ее на ключ, бросается к Макару.)* Дай обниму тебя, дорогой! *(Обнимаются.)* Сразу хотел тебя расцеловать, да этот француз помешал.

Макар *(улыбаясь)*. Конспирация. Нельзя про нее забывать.

Стук в дверь.

Нико *(прислушивается)*. Опять кто-то.

Повторный стук.

Это свои. *(Открывает двери.)*

Входят Вано и Нина — нарядная, с большим бантом в косе.

В а н о *(бросается к Макару)*. Какое счастье, друг, что ты приехал. Беда у нас опять. Видал воззвание, портреты Камо?

Н и н а. Награда большая обещана. Его везде ищут, ловить будут.

В а н о *(хлопает Нину по плечу)*. Это, товарищ Макар, наша Нина. Незаменима для связи, как мышка под самым носом у полицейских бегает. Видишь — благовоспитанная барышня из хорошего дома... Ну, скажи, откуда ты сейчас, Макар?

Н и к о *(улыбаясь Нине)*. Красивая барышня... *(Сразу переключает свое внимание на Макара.)* Откуда ты приехал?..

В а н о. Рассказывай скорее.

М а к а р. От самого Ленина.

Все окружают его теснее. Пауза.

В а н о *(взволнованно)*. Золотой ответ. Наверное, приказ нам шлет — обуздать меньшевиков? До чего тут обнаглели! Боевые дружины у нас растут, а эти меньшевики делу революции мешают, хватают за ноги! А есть и такие — не поймешь его: слова говорит наши, а дела делает — совсем не наши. Например, Асадзе... Самое плохое, когда не наши люди говорят нашими словами.

М а к а р. Не горячись, Вано. Соберем товарищей, все дела обсудим. Сейчас прежде всего мне надо видеть Камо. Явка у тебя?

Н и к о. У кого же еще! Я — базарный маляр, всем здешним властям модными красавицами их безобразных супруг написал. Мастерскую свою вне подозрений держу. Камо обязательно придет.

Нина *(грустно)*. Если не попался в когти шпикам.

Вано. Сам на рожон лезет. Шел однажды где-то, следом все время идет человек. Камо повернулся, схватил его за горло, кричит: «Кому служишь? Хочешь — убью?» А тот совсем не шпик оказался.

Все смеются, кроме Макара.

Нико. Ну, говори, товарищ Макар, что нам Ленин передает?

Макар. Всех соберем — расскажу. *(Ходит в раздражении по комнате.)* А прежде всего — крепко ругать вас надо! Почему плохо повинуетесь комитету? Почему не удержали крестьян от неорганизованного восстания? Крестьяне ухлопали одного уездного начальника, а на его место другой — еще хуже... А деревню их дотла спалили каратели! Почему помещики, полиция, поп действуют заодно и потому побеждают, почему революционеры — все вразброд, без связи с рабочими, с крестьянами, друг с другом?

Вано. Нет сил дальше терпеть, товарищ Макар, нет сил! Люди в горы ушли — бездомные, голодные... Назад прийти — смерть найти. Виноградники потоптаны... Хошуры разграблено, Самтреди сожжено. До самого моря, как саранча, дошли проклятые каратели.

Макар. И в центре России рабочие голодают, их расстреливают... Однако в одиночку не выступают. Почему? Твердо помнят: в одиночку не борьба — верная гибель. Вставать надо всем заодно! Недаром Ленин учит делать выводы из московского восстания...

Нико. Все как один, по-русски — единение, по-грузински — эртоба! Крестьяне, рабочие, армия...

М а к а р. Правильно говоришь, Нико, думай дальше. Чем можно закрепить, удержать это единение, твою эртобу? Одной дисциплиной. Железной дисциплиной! Такой революционер, как Камо, порой шалит, как мальчишка... А вы тут чего смотрите?

Н и к о *(с обидой)*. Зачем так говоришь? Наш Камо безмерно уважаемый, испытанный солдат революции.

Н и н а. Камо смелый, он не прячется.

М а к а р. Поверьте, друзья, сам Ленин не меньше вас его ценит! Я слыхал, с каким восхищением он говорил про Камо: счастливейшее сочетание — беззаветная преданность революции, смелость до дерзости и непримиримая железная воля! Для важных дел его беречь надо!.. А тут он сам себя не бережет — гусей дразнит, весь Тифлис взбаламутил...

Н и к о. Камо не человек — орел! Как нарзан кипит! Когда партия дала лозунг: «Партизанская война против самодержавия», Камо сразу во главе боевой дружины! Разве хоть однажды не согласовал он свою работу с партийным комитетом? Подпольные типографии налаживал, демонстрации защищал, прокламации разбрасывал.

В а н о. Правда, тут немножко увлекся, от избытка сил. Понимаешь, товарищ Макар, студенты опоздали, не пришли за листовками — Камо сам понес их в театр на «Гамлета, принца датского». Лишь только тень отца выросла из тьмы, Камо ка-ак размахнется — пятьсот белых листовок в партер полетели, как птицы.

Н и н а *(смеясь)*. Я в театре была. Один белый листок прямо на лысину попал генералу, с ним от злости припадок. Кругом — крик, суета, а Камо убежал.

М а к а р. А могли и схватить!

Нико. Что верно, то верно. Избалован Камо удачей... Ему ведь и не пустяки удавались! Вспомни его побег из батумской тюрьмы. А в Тифлисе, в дни восстания в Нахаловке? В декабре пятого года? Ты тогда в Москве был...

Макар. Как же, товарищи часто вспоминают о борьбе тифлисских рабочих в декабре. О героизме Камо прямо легенды ходят.

Вано. Между двух огней наш патруль оказался — справа казаки, слева жандармы. Мало кто ноги унес. Камо чудом спасся. Его раненого подобрали в канаве казаки. Два раза вешали его, в последнюю секунду снимали. Нос ему казаки хотели отрезать. Вот тогда в первый раз заплакал наш Камо — как с такой «особой приметой» революционные дела делать? Из метехской тюрьмы бежал! Сколько раз был на волосок от гибели, а все продолжает рисковать по пустякам.

Макар. Очень досадно, что такой революционер вдруг позволяет себе выходки мальчишки...

Нико. На днях полицейскому на базаре яблоком рот заткнул. Ходил, как кинто, с лотком фруктов, а блюститель закона шибко рот разинул — зевнул...

Макар *(сердится)*. И это в те дни, когда он объявлен вне закона, когда его портреты повсюду! Этому положить надо конец!

Стук в дверь. Нико открывает. Влетает Камо — веселый, задорный. Он в костюме кинто, на голове лоток с фруктами. Увидел Макара, кинулся к нему.

Камо. Кого вижу? Макар, дорогой товарищ! *(Ставит лоток на стол, обнимает Макара.)* Здравствуй, добрый гость! *(Видит Нину, берет ее за руки.)* И ты

здравствуй... Давно не видел, соскучился по тебе. Можно — поцелую?

Нина *(тихо)*. Не надо...

Камо *(проникновенно и серьезно)*. Милая Нина... *(Подходит к Макару снова, трясет его руку.)* С приездом, как рад тебя видеть!

Макар. Ну, веселый кинто, небось дорогие у тебя груши?

Камо. Бесценные груши! Угостить? *(Перекладывает груши на стол. Под ними — коробка.)* Видишь, какие это груши? Шрифт принес! Надо спрятать. *(К Нико.)* У тебя, Нико, безопаснее всего.

Нико. Голые стены у меня...

Камо *(указывая на ветки унаби)*. Чье дерево? Зачем здесь это дерево?

Нико. Мой букет. Хотел актрисе Марго поднести, она его веником назвала, не взяла.

Камо. Хорошо сделала. Букет этот будет шрифт скрывать. *(Берет коробку со шрифтом и прячет ее под ветками унаби. Букет надежно закрывает коробку.)*

Макар. Однако потом шрифт надо нам перенести в более верное убежище.

Камо *(протягивает Нине грушу)*. Совсем нет времени поговорить с тобой, Нина-джан. Если бы у меня было время, я бы одно важное дело сделал: тебя бы полюбил. Но знаешь — враги кругом, драться с ними надо, работать надо! Так случилось, что я ее встретил раньше, чем тебя, и полюбил навсегда.

Нина. Кого? Кто она?

Камо *(гладит ее по голове)*. Кто? Революция! *(Подходит к Макару.)* Говори, говори, видал Ильича? Когда имя это произношу — сердце из груди вылететь

хочет. Сколько народу на это имя надежду имеет! Скорее говори, где он?

Макар. Сейчас Ленин в Петербурге. Тебе, Камо, есть особое поручение от Ленина. Очень ответственное...

Камо. Мне — поручение от Ленина? Какой большой подарок ты мне привез, товарищ Макар. Мне, от самого Ленина? Не томи, говори.

Вано *(от окна, из которого наблюдал за улицей)*. Тс-с... Кому-то дворники на нашу квартиру указывают...

Стук в дверь. Нико открывает. Вбегает Гиго.

Гиго. Сейчас сам слышал, шпик спрашивал дворников — куда кинто с грушами пошел? В лавке указали, что к тебе. Сейчас здесь будет обыск.

Камо. Молодец, Гиго, товарищ. Скорее, Нико, превращай меня во что-нибудь, грим бери.

Гиго. Вот бороду принес, даром я, что ли, цирюльник. *(Подает сверток Нико. Вынимает из-за пазухи бутылку вина.)* А это — будто у Нико гости, пирушка. А ну-ка, Нина, хозяйничай.

Нина и Нико торопливо накрывают на стол — хлеб, вино, груши. В центре стола — букет из веток унаби.

Камо *(поднимая стакан)*. Спасибо тебе, товарищ Макар, за подарок от самого Ильича. Твое здоровье!

Чокаются.

Нико задергивает широкую, во всю мастерскую, занавеску, вместе с Камо исчезает за ней. За столом, инсценируя пирушку, сидят товарищ Макар, Гиго, Нина, Вано.

Макар *(в сторону занавески)*. Значит, Камо, встреча в Авлабаре, в нашей типографии. И как можно скорее!

Камо *(из-за занавески)*. Прилечу, как птица, товарищ Макар.

Нина *(запевает)*. Мравалжамиер, Мравалжамиер...

Все за столом поют. В дверь сильный, хозяйский стук, непохожий на условный стук революционеров. Макар открывает дверь. На пороге фигуры дворников — Мишки и Сидорыча; за ними агент. Дворники входят в мастерскую.

Сидорыч. Знакомый столяр! А где же маляр Нико?

Макар *(равнодушно)*. Портрет рисует.

Сидорыч *(Мишке)*. Тс-с... тише ходи, чтобы не спугнуть!

Сидорыч ставит Мишку у входной двери. Делает кому-то знаки в окно. Распахивает занавеску. Открывается вся мастерская. Нико за мольбертом, ему позирует очень старый турок, в чалме, с длинной белой бородой. Турок курит.

(Подступая к Нико.) Где кинто, что с грушами приходил? Вот они, груши. А куда самого кинту спрятал? Агент говорит — не кинто был он, а самый Камо. Злодей супротив власти.

Нико *(смеется)*. У того кинто я все груши купил... Его и след простыл.

Агент. А турок кто будет?

Нико. Богатый человек! Портрет заказал. Не раздражайте его, он шума не любит.

Турок *(важно встает, бросает Нико)*. Завтра в кофейню будешь приходить, сам не приду. *(Ни на кого не глядя, идет к выходу.)*

Агент подозрительно смотрит турку вслед. Столяр Макар, не отрываясь от работы, насвистывает «Марсельезу».

Агент *(как ужаленный, подскочил к столяру)*. Кто тебя научил? Где слыхал?

Макар. А кто ж сейчас этой песни не свищет? Случается, свищут господа, случается — рабочие. *(Продолжает спокойно работать.)*

Агент. А вот припомнишь в участке, где, от кого слышал. *(Дворникам.)* Взять его!

Гиго. Всем известного столяра брать? Смотрите, как бы в дураках не оказались.

Сидорыч. И точно. Столяром его знаем...

Агент. Разберем в участке, какой он столяр. Наш ротмистр на всю ночь на облаву уехал, вернется утром, а мы ему, может быть, крупную дичь поднесем! *(Дворникам.)* Ведите, говорю вам.

Макар *(агенту)*. Померещилось тебе с пьяных глаз! Хочешь перед начальством отличиться, — ан, гляди, осрамишься. Небось документ у меня в полном порядке! *(Товарищам.)* Уж вы, господа, сохраните мой инструмент, докеда вернусь.

Гиго. Будь покоен, сохраним.

Макара уводят.

ПЛОЩАДЬ ПЕРЕД ДОМОМ НИКО

Осанистый турок стоит за деревом так, что его выходящие из мастерской Нико — агент и дворники с Макаром — видеть не могут, а он их провожает пристальным взглядом. Они скрываются по направлению к участку. Турок читает воззвание о поимке Камо, наклоняется, чтобы лучше рассмотреть портрет, и мгновенно залепляет его прокламацией «Долой самодержавие». С прежней важностью, не торопясь, скрывается в цирюльне Гиго.

В ПОЛИЦЕЙСКОМ УЧАСТКЕ

Небольшая комната. Стол, стулья. Наверху горит яркая лампа. На стуле туго связанный Макар. Дворники по обеим сторонам его стула.

Агент *(перед ним лист бумаги, чернила)*. Сколько времени зря убили. *(Макару.)* Признавайся, дьявол, кто будешь? Куда и откуда твои пути? Выбьем из тебя правду. *(Дворникам.)* В котором часу приказывал ротмистр вам приходить?

Сидорыч. Раньше полудня, сказывал, не буду.

Агент *(Макару)*. Хватит сроку из тебя показания выбить!

Макар. Ослобоните веревки, руки-ноги изныли. Руки мне, почитай, дороже самой головы. Покалечите — чем стану работать?

Агент. Не больно у тебя намозолены руки. Белые, как у барышни.

Сидорыч. И взаправду. А мне-то и невдомек руки ему обсмотреть.

Мишка. А может статься, он всю неделю пропьянствовал, не работал — мозоли-то и отошли. *(Макару.)* Небось заливаешь?

Макар. Обыкновенно. И чего, спросить, вы на меня навалились? Заказчики меня ждут, разносить пора работу, а вы тут меня зря держите.

Агент. И всю ночку продержим, спать не дадим. Разные средства применим, а уж правду-то вытянем. Объявишься, кто ты таков!

Сидорыч *(глянул в окно)*. Батюшки, карета подъехала!

Мишка. Видно, ротмистра пьяного привезли. Бывало...

Агент. Вот оказия — самолично жандармский полковник!

Полковник *(быстро входит, за ним адъютант. Агент и дворники вытягиваются. Полковник в бешенстве накидывается на агента)*. Чье самоуправство? Как осмелились доставить государственного преступника в участок? Самолично допрашивать? Ка-ак?

Агент. Так что для ради опознания личности, ваше высокоблагородие, дабы менее утруждать высшие власти...

Полковник. Дур-рак! Награды особой захотел? В охранном отделении такому место, а не в твоем клоповнике. *(Макару)*. Ваши товарищи уже взяты, не хватает только вас. Идите за мной!

Макар. Прикажите развязать...

Полковник. Кандалы заработал, а не веревки! *(Агенту.)* Освободить ему ноги.

Агент и дворники развязывают Макара. Он с трудом встает, распрямляется.

(Толкает Макара в спину.) Ну, марш за мной!

Полковник идет впереди, Макар за ним. Рядом с ним адъютант, положив руку на кобуру с револьвером.

Сидорыч *(глядя в окно на отъезжающую карету)*. Видать, и вправду крупную дичь мы подцепили...

Агент. Что толку? Этот полковник всю награду целиком себе заберет, словечком нас не помянет. Насчет одного я ума не приложу — как это охранка могла так скоро узнать, что мы столяра захватили?!

Мишка. Очень просто. Нынче все друг за дружкой следят — сладкий кусок изо рта так и хватают. Так и хватают...

НА ТОЙ ЖЕ ПЛОЩАДИ

Крыша мастерской Нико Сафиани. Лесенка с крыши ведет вниз, на площадь. На крыше Нико расставляет угощенье, вино.

Нико *(кричит с крыши)*. Эй, Карапет, Васо, Илико, — все ко мне — вино пить.

Карапет *(внизу)*. А где твой друг Гиго? Пристав говорит: «Давно Гиго в своей цирюльне не бреет...»

Нико. Никуда не денется. Наверно, любовь крутит. Поднимайтесь наверх!

Зажигаются огоньки. Постепенно стекаются гости. Они приходят с зурной на крышу мастерской Нико. Один из гостей играет, другой поет куплеты, пародируя пение кинто.

По реке плывет шемай с радостным душою,
Если хочешь, так поймай удочкам большою.

Пританцовывает.

Наш тифлисский голова
Сам сказал эти слова:
«Десять лет я головой
Здесь сижу на думском кресле,
А порядка нет, хоть тресни».
И по креслу — хлоп рукой.

Все *(припев)*.

Коль сидишь ты головой —
Чем же думаешь? Ой! Ой!

Гости хохочут, хлопают в ладоши. Один из них танцует под звуки зурны. Совсем темнеет, на площади зажигают фонари. В глубине сцены появляется Вано с ишаком, которого ведет под уздцы мальчик.

Вано. Эй, хозяин! Хворост тебе привезли, принимай.

Нико *(словно нехотя спускается с крыши)*. Привяжите здесь ишака, тащите хворост в сарай. Потом поднимемся к гостям, кахетинским угощу. *(Гостям на крыше.)* Угощайтесь, сейчас придем...

В МАСТЕРСКОЙ НИКО

С крыши доносятся звуки зурны. За окном проходит патруль, где-то свистки. Вано и мальчик с пустой корзиной входят в мастерскую.

Вано. Ну, как дела с Макаром? Какие новости?

Нико. Дворник сказал — увезли Макара в охранку.

Нина *(одетая мальчиком)*. А куда пропал Камо? Может быть, и его схватили?

Вано. Горе, если Макара долго задержат. Ничего не успели узнать, нет теперь связи с центром... Но работу останавливать не имеем права.

Нико. Макара арестовали, я сейчас же гостей созвал. Подозрения отвлекать надо. Спасибо и букету унаби — хороший помощник. А насчет турка Камо я спокоен: Макар своей «Марсельезой» отвлек от него внимание.

Вано. Опытный человек Макар: внимание от турка отвлек сущим пустяком. А все-таки сидит Макар. Черт знает, как дело обернется. Ну, идти надо...

Нина *(берет ветки унаби)*. Очень красивые веточки! Я с собой возьму — хорошо? Шрифт в корзине прикрою.

В пустую корзину Вано и Нико кладут коробку с шрифтом, Нина уминает букет сверху.

В а н о *(обращаясь к Нико, который пристально смотрит на Нину)*. Ты что удивляешься, Нико? Ты ее мальчиком считаешь, не узнаешь? Это же Нина.

Н и к о *(встрепенулся, пожал Нине руку)*. Правда, я не сразу узнал. Из-за Макара сам не свой хожу.

Н и н а. Он меня узнаёт, когда я барышня с большим бантом. *(Смеется.)* Ему, наверное, барышни с бантами нравятся больше.

Н и к о. Ты гораздо лучше без банта. Я так буду тебя рисовать. На горе, около цветущего дерева унаби. Букет тебе нравится, он оттуда, с гор. Как только с Макаром и Камо все благополучно кончится, пойдем на гору гулять, большой букет тебе нарву.

Н и н а. Очень хочу, только сейчас нельзя.

В а н о *(дружески хлопает Нину по плечу)*. Она у нас очень занятый человек. Ничего, время придет — отпуск дадим.

В а н о. Не терпится узнать про Макара... Ну, чтоб не навлекать подозрения, пойдем, Нина. Утро вечера мудренее.

Н и к о. Подожди, выпить надо... *(Наливает вино в три рога, подает Вано и Нине.)*

Все трое высоко поднимают руки с наполненными рогами.

Н и к о. За то, чтобы все пути революционеров сошлись у очень большого стола. Чтоб на столе этом большущий самовар кипел. Чтобы вокруг стола хорошие люди сидели. Все люди, кто нашу жизнь хочет сделать справедливой, доброй, замечательной жизнью. Пусть все за этим столом соберутся!

В а н о. На весь мир стол раскинем, Нико!

Н и н а. Да, на весь мир! *(Обнимаются, смеются.)*

Вано. Будь здоров, Нико! Утром выясним насчет Макара.

Нина. До свиданья, Нико...

Нико. Ой, как жаль, хороший мальчик-девочка, что я тебя раньше не видел как следует. А сейчас, понимаешь, сейчас нам любить некогда. А мне — совсем нельзя. Сейчас мне картину писать очень хочется.

Нина *(смеется)*. А мне и подавно любить некогда. Надо и по нашим делам бегать и свои экзамены сдавать.

Вано. Давай, Нико, целуй Нину, говори ей не «прощай», а «до свиданья».

Нико *(нежно целует Нину в щеку, прислушивается к звукам зурны)*. Не прощай, Нина, а... до очень скорого свидания.

Вано с Ниной уходят. Нико, напевая что-то бравурное, возвращается к гостям.

ПОДПОЛЬНАЯ ТИПОГРАФИЯ

Довольно большая сводчатая комната. Сверху из колодца падает слабый дневной свет. Две наборные кассы, ручная печатная машина.

Нико и Вано при свете керосиновой лампы разбирают прокламации.

Вано. Вот эту пачку Нина снесет по старому адресу в саперный батальон *(Откладывает.)* Нет, Нико, себя не обманешь... Не могу, не знаю, как теперь работать. Порвалась связь с центром. Надо было с Макаром все обговорить, главное — его выслушать, а где Макар, что с ним? И Камо как сквозь землю провалился...

Нико. Дворники, которые с агентом увели Макара в участок, вернувшись, рассказали, будто очень скоро туда в карете приехал сам жандармский полковник и увез Макара как важного преступника, а их с агентом зверски изругал. Остается предположить, что Макара охранка выследила с самого вокзала.

Вано. Эх, зачем не дал знать Макар, что приедет, мы бы сумели запутать шпиков. А ведь сейчас он из-за Камо попался. «Марсельезу» свистел, чтобы от турка внимание отвести. Неосторожный шаг все-таки...

Нико. Макар хорошо знал, что делал. У него всегда в порядке паспорт, за насвистывание «Марсельезы» пустяком бы отделался, а Камо попался — верная петля.

Стук сверху. Шум срывающихся под ногами камней. В отверстие колодца просовываются военные сапоги со шпорами, рейтузы, наконец целиком жандармский полковник в дежурной форме. Запыхавшись, валится на табурет, кричит: «Попались, голубчики!» Вано выхватывает револьвер, полковник снимает шапку и большие усы. Товарищи вглядываются, вскрикивают: «Камо! Камо!» Все трое хохочут, обнимаются.

Вано и Нико. Так это ты увез Макара из участка? Как ты поспел, кто адъютант?

Камо. Ведь у Гиго целый гардероб запасен. Пока дворники с агентом тащили Макара в участок, я успел переодеться полковником, а Гиго — поручиком, и вместе в свадебной карете мы подъехали к участку. Потом Гиго обрил Макара и переодел.

Вано. Да где же он, Макар?

Таким же манером, как полковник, появляется Макар. Он в форме почтового чиновника.

Камо. Рекомендую: почтовый чиновник из Одессы, к мамаше в отпуск приехал!

Товарищи смеются.

Вано. Совсем невредимый товарищ Макар!

Нико. Замечательно помолодел. Остается узнать, где Гиго — адъютант полковника?

Камо. Гиго на страже стоит. Сейчас наконец поведем разговор с товарищем Макаром. *(Макару.)* Ведь ты мне поручение привез от Ленина! Не дождусь, узнать хочу.

Макар *(ходит в волнении, остановился)*. Тебе отсюда уехать надо скорее, Камо, сегодня же, не откладывая. Прямо к Ленину. От самого Ильича подробности все узнаешь, и чего ждут от тебя, что тебе делать надо. Сейчас скажу обо всем только в общих чертах...

Вано убавляет огонек лампы, заглядывает в отверстие колодца, присаживается около Макара.

Товарищи, Ленин призывает нас к длительной и упорной подготовке к новому восстанию. Он говорит: «Подымается новая революционная волна...»

Вано. А пока вся Россия в когтях двуглавого орла! В Петербурге, Москве, нашем Тифлисе усиленная военная охрана. По всей стране карательные экспедиции.

Макар. Я ехал из Петербурга, сам видал на станциях виселицы. Избивают железнодорожников, крестьян. Но поддаются пропаганде войска, поддаются... А какая это сила — армия, рабочие и крестьяне, если им действовать дружно, представляете себе, товарищи? Нам нужны сотни, нет, тысячи боевых дружин, отлич-

но вооруженных... Бомбы, пулеметы, ружья — вот что необходимо нашим боевым отрядам.

Камо. Все понимаю, товарищ Макар. Вооружить сознательный народ! Создать собственную военную силу — тогда, конечно, победа будет за нами, за революцией.

Макар *(улыбаясь)*. Понимаешь, Камо, а вот порой ведешь себя черт знает как — озорством развлекаешься, полицейских дразнишь. Хотя спасибо сейчас тебе должен сказать, что спас ты меня из кутузки.

Камо. Хорош был полковник? Признайся, испугал тебя?

Макар *(улыбается)*. На минутку, честно скажу, пока ты не подмигнул...

Вано. Все равно ругай его, товарищ Макар! Все силы надо собирать и беречь, а он порой может рискнуть задаром...

Нико. Ну, чего вы за старое ругаете. Сейчас Камо большое дело сделал.

Камо *(добродушно)*. Есть у меня грехи, есть! Только верьте, друзья, правду я понимаю, ясно вижу, как на стене картину: пролетарий — словно ребенок закованный, а растет... С каждым днем он сильнее. Скоро совсем разорвет свои цепи. Оружие нужно ему...

Макар. Вот за этим оружием и пошлет Ленин тебя за границу. Именно тебя, Камо! Большую партию оружия придется тебе доставать. Подумай только, какое тебе доверие. Тут окончательно ребячество надо бросить. Дисциплина и еще раз дисциплина. Большевик без дисциплины — не большевик, а мыльный пузырь.

Вано. Большой помощник, большой друг будет тебе дисциплина, Камо.

Камо. От Ленина такое поручение? Да я целый пароход с оружием в Батум приведу. Замечательно, как это дело мне подходит.

Макар *(кладет руки на плечи Камо)*. Не хочу твердить еще раз эту азбуку. Однако вдумайся, какой осторожности требует подобная операция. Понимаешь, чем дело пахнет? Усилением наказания всем заключенным: кому назначена каторга, тому будет петля.

Вано. Обрадуются случаю, развернутся палачи.

Камо. Товарищи, теорию революции знаю мало и характер имею — как вулкан, но интерес социализма хорошо понимаю. Если меня схватят — даже имя свое не скажу. Что я большевик — не скажу... Всех обману, но только из-за меня срок наказания ни одному ленинцу не прибавят... Этому верьте, друзья... Значит, ехать к Ленину!

Макар *(протягивает Камо пакет)*. Передашь Владимиру Ильичу отчет о здешних делах.

Камо. Живой или мертвый, а пакет доставлю. *(Старательно прячет пакет на груди.)* А потом — и оружие доставлю, живой или мертвый. Скорей всего — живой.

Стук сверху. В подвале появляется Гиго.

Гиго. Товарищи! Камо должен немедленно бежать из Тифлиса. Вокзал и заставы оцеплены. Везде патрули. Дан приказ пропускать по шоссе одних гимназистов для тренировочных занятий. Предстоит гонка велосипедистов. Я прихватил все, что надо. Одевайся, Камо. Велосипед ждет тебя. Живо! Из жандармского управления переходи в гимназию. *(Подает Камо сверток.)*

Камо *(быстро переодевается гимназистом, отдает жандармскую форму Гиго)*. Прячь в твою костюмерную до следующего выхода. Ну вот, теперь я опять стал ученик... Всякое оружие в руках держал. Но есть одно очень важное оружие — образование; вот — стыдно сказать — до этого оружия все никак дотянуться не могу, времени нет. Это мечта, это мне как завтрашнее счастье. Человек не может жить, если не верит в завтрашнее счастье. Учиться стану — умнее буду. А сейчас немножко глупый еще... Стыдно, конечно. Дам слово Ильичу, что и это оружие когда-нибудь для себя добуду! *(Прощается с товарищами.)*

Занавес.

АКТ II

ОХРАННОЕ ОТДЕЛЕНИЕ

Ротмистр сидит за столом. Входит прокурор.

Ротмистр *(здороваясь)*. Рад вас видеть, господин прокурор. Что привело вас нынче в наше узилище?

Прокурор. Дело крайне важное. *(Закуривает.)* Уже третий месяц у вас здесь пребывают под следствием некие Вано Ландадзе и Арсений Асадзе.

Ротмистр. Отметьте — пребеспокойные экземпляры! Оба в одиночках, соседи. Неустанно перестукиваются. Вано Ландадзе ругает Асадзе «буржуазный прихвостень», а тот его обратно каким-то новым словом «бланкист».

Прокурор *(усмехаясь)*. Ясно, у вас по соседству два скорпиона... *(Обращаясь к конвойному.)* Приведите-ка обоих арестованных!

Ротмистр. Номер восемь и номер девять.

Конвойный. Вашескородие, так что арестант нумер восемь дюже слабой. Десять дней в карцере просидел...

Ротмистр. Хоть волоком волоки его. Марш!

Прокурор. В карцере сидел, конечно, Вано Ландадзе? За какие провинности?

Ротмистр. Ведет себя предерзко. Обзывает меня царским опричником. Затеял с волей переписку...

Прокурор. Усильте надзор за Вано Ландадзе. Никаких книг, никакой передачи. *(Звонит дежурному жандарму.)* Принести горячего чаю и бутылку коньяку.

Приводят из карцера Вано Ландадзе. Он в оковах, очень похудел.

Входит жандарм. На подносе чай, коньяк, рюмки. Прокурор подвигает к Вано стакан чая, сам наливает ему коньяк в рюмку.

Прокурор. Садитесь. Пейте. Сейчас согреетесь.

Вано не трогается с места. Пауза.

Вано. Дешевый прием, господин прокурор. Я жду допроса.

Прокурор *(заботливо)*. Обратно в карцер вам идти нельзя. Обратно в карцер — это верная, хоть, может быть, и не очень скорая, смерть. Или, что еще хуже, — безумие. *(Подвигает Вано стакан.)* Прошу вас...

Вано *(вспыхнув)*. Оставьте ваши дрянные приемы для слабонервных, я не из их компании, сами знаете. Больше того, что вам уже известно, я совсем ничего не

добавлю. Полиция захватила нашу типографию. У меня нашли кипы листовок тифлисских большевиков, нашли оружие... Этого вполне достаточно, чтобы закатать меня в ссылку. Все ясно. Прекращайте комедию.

Прокурор. Мне искренне жаль вас, молодой человек; ваше упрямство только повредит вам. Вы больны...

Вано. Пожалел волк кобылу...

Прокурор. Предлагаю вам в интересах облегчения собственной судьбы сообщить некоторые интересующие нас подробности о Камо. *(Подчеркнуто.)* Вы бы могли отделаться совсем пустяковым наказанием.

Вано. Слышал про Камо много. Говорят — замечательный человек. К сожалению, встретиться не пришлось.

Прокурор. Ложь. Не усугубляйте свою вину. Чьи листовки раскидывал Камо по театрам? Напечатаны вашей типографией, вашим шрифтом...

Вано. Верно. Листовки наши. Но сам Камо ни разу не заходил.

Прокурор *(внушительным тоном)*. Вот фотография Камо — узнаете? *(Показывает портрет.)*

Вано *(со смехом)*. Ну и Камо, хорош, нечего сказать! Да это базарный торговец, я его встречал, лавка у него на майдане. Забыл фамилию.

Прокурор *(поспешно)*. Мирский, быть может?

Вано *(спокойно)*. Не припомню.

Прокурор. Опять напрасная ложь. Подтвердите нам только, что это Камо, и сегодня же вас переведут из карцера в больницу. А иначе...

Вано. Лучше карцерного режима мне не требуется.

Прокурор *(вспылил)*. Ну так в карцере и сгноим! Надолго ли вас хватит? *(Залпом выпивает рюмку, от которой отказался Вано.)*

Ротмистр. Напрасный труд, господин прокурор. Похоже — он предпочитает оставаться в карцере. Вызвать Асадзе?

Прокурор кивает головой в знак согласия. Конвойные вводят Асадзе.

Прокурор *(обращаясь к Вано)*. Вам известен этот человек?

Вано *(внимательно глядя на Асадзе)*. Впервые вижу его.

Прокурор *(обращаясь к Асадзе)*. А вам этот господин?

Асадзе *(не совсем уверенно)*. Кажется, мне... нет, не припоминаю.

Ротмистр *(ехидно)*. Однако едва ли позабыли, как честил он вас по соседству и «буржуазным прихвостнем» и «ликвидатором». *(Знаком приказывает конвойному увести Вано.)* Обратно в карцер! Прибавить ему пять суток.

Вано уводят.

Прокурор *(долго и пристально смотрит на Асадзе)*. Да-с, честил вас сосед. За что же? *(Придвинул к Асадзе стакан с чаем, сам налил коньяк в чай, подал заключенному. Тот с жадностью пьет.)*

Асадзе. Большевики, вообразившие только себя подлинными революционерами, называют нас, представителей революционной демократии, ликвидаторами.

Прокурор. Вас? Меньшевиков?

Асадзе. Да. Но, господин прокурор, за что же вы меня третий месяц под следствием держите? Разве мы, социал-демократы, призывали к вооруженному восстанию? Разве мы поощряем крестьян захватывать помещичьи земли? Максимум легальности. Ликвидация подпольных организаций партии — вот наша задача.

Прокурор. Успокойтесь, господин Асадзе. Нам известно, что вы культурный и образованный человек. С вами мы найдем, конечно, общий язык. Будьте уверены, я, как и вы, страдаю за нашу несчастную матушку Россию! Крайне прискорбно, что вы, конечно по недоразумению, состоите в одной партии с этими безумцами, которые в нашей дикой стране мечтают совершить революцию раньше Западной Европы. Вы совершенно правы, это чистейшие бланкисты. Поверьте, вовсе не мы, это они, большевики, ваши истинные враги. Я хочу сказать, что большевики...

Асадзе *(нервно прерывает)*. Здесь не место для теоретических рассуждений, господин прокурор. Прошу вас сказать, какие мне предъявляются обвинения? Я не совершал серьезных преступлений.

Прокурор. Ошибаетесь, господин Асадзе. Совсем недавно нам стало известно, что вы содействовали крупному государственному преступнику Камо в доставке оружия из-за границы в Россию. Не вы ли находились в числе его пособников? Тех, что зафрахтовали шхуну в Болгарии для перевозки бомб и ружей?

Асадзе *(непроизвольно)*. Откуда вам это известно?

Прокурор. Нам известно и более. Эта шхуна, вашими стараниями предоставленная Камо, оказалась столь старой и гнилой, что при небольшом шторме, не

дойдя до берега, затонула в Черном море. Да-с, затонула с грузом, на который большевики делали большую ставку. Учтите, что это обстоятельство, то есть именно ваше участие в приобретении гнилой шхуны, может стать известным и Камо. *(Резким движением показывает фотографию Камо.)* Вы знаете этого человека? Назовите его!

Асадзе *(испуганно)*. Мне этот человек незнаком. Я вовсе его не знаю.

Прокурор. Как пошатнется ваша репутация среди революционеров, когда Камо сообщит о вашем предательском участии в выборе шхуны! Не безопаснее ли и для вас, чтобы Камо оказался изолированным?

Асадзе. Не я один выбирал пароход! Это клевета... Я чувствую какое-то вероломство... От вина кружится голова... Оставьте меня в покое, прикажите увести меня обратно.

Прокурор. Куда обратно? В сырость и тьму? Если будете запираться, придется и вам, как Ландадзе, долгонько побыть в карцере. Припомните, Асадзе, сколько раз вы уже переживали в вашем воображении весь ужас совершенного вами? Признать свою вину значительно легче, чем совершить само преступление. А ведь человек, в сущности, боится только одного — страдания. И если человек еще не обезумел, он, естественно, сделает выбор — где ему страдать меньше.

Асадзе. Своей свободы я не хочу покупать ценой предательства.

Прокурор *(пренебрежительно)*. Решительно не заинтересован в том, чтобы заставить вас предавать

кого бы то ни было, и вообще это слово лишено смысла. Вам не Маркса изучать надо — он вам совсем не по характеру. Читайте лучше Ницше и узнаете: нравственное и доблестное в одну эпоху в другую эпоху может оказаться преступлением. Настоящий умный человек всегда и везде сам себе хозяин. Подумайте только *(подошел близко, смотрит в глаза)*, за содействие вот этому человеку (*указывает на фотографию Камо)* вам придется десять долгих лет просидеть в темной сырой камере. Состаритесь, заболеете... Невеста, конечно, ждать вас не станет. Подумайте, кто ваши жертвы оценит? Вы будете страдать в тюрьме, а товарищи-революционеры и добрым словом вас не помянут!

Асадзе *(вскидывается, кричит)*. Палач, иезуит!

Прокурор *(опять ставит перед глазами Асадзе фотографию Камо)*. Внимательно слушайте меня, Асадзе. Завтра разрешаю свидание с невестой! Пустячное наказание и сдача на поруки вашему отцу за одно только слово признания. Скажите: Камо и Мирский — это одно и то же лицо? Революционер Камо — он же страховой агент Мирский? Свидетельствуйте!

Асадзе *(внезапно решился)*. Да, это Камо.

Прокурор *(быстро, не давая Асадзе опомниться)*. Имеются ли на теле Камо особые знаки, приметы?

Асадзе. Это вероломство, провокация... Я не могу сопротивляться вашей воле. Я болен.

Прокурор *(диктует)*. Особые знаки, приметы Камо следующие...

Асадзе *(автоматически продолжает фразу прокурора)*. ...В правой руке осколок от взрыва бомбы... *(Приходит в себя, пугается, вскакивает.)* Я сказал... Нет, я ничего не сказал. Я солгал, я...

П р о к у р о р *(ротмистру)*. Перевести арестованного в светлую теплую комнату. Разрешить свидание с невестой, передачу, книги... Закончить в ближайшее время следствие по делу Асадзе. *(Конвойным.)* Увести арестованного.

Асадзе уводят.

Р о т м и с т р *(восхищенно)*. Ну, признаюсь...

П р о к у р о р *(в раздумье)*. Асадзе — меньшевик. В них меньше безрассудства, меньше чего-то еще... *(Силится подобрать более точное слово.)*

Р о т м и с т р. Неужто вам удастся наконец схватить Камо?

П р о к у р о р. Убежден, что теперь — да.

Р о т м и с т р. Где он?

П р о к у р о р. За границей, в Берлине. Скрывается в сумасшедшем доме под именем некоего Мирского. Вообразите, целый год дает подвергать себя пыткам. Старательные немецкие доктора жгут его каленым железом. Молчит. Черт знает что за человек! Вы понимаете, чем является для нас Асадзе? Это ключ к раскрытию берлинского инкогнито — самозванца Мирского. Он же — Камо. Под этой фамилией он пребывает в Берлине.

Р о т м и с т р. Проникаю в вашу стратегию и восхищен... Восхищен.

П р о к у р о р. Камо, батенька, не рядовой революционер, которому вдолбили «идейки». У него революция не теория, а сама жизнь. Не только в чемоданах с двойным дном, а во всем теле у него взрывчатое вещество, черт его побери! Ну, теперь всех гончих спустим, а зверя возьмем!

БЕРЛИН,
КАБИНЕТ ПОЛИЦЕЙ-ПРЕЗИДЕНТА

Полицей-президент — толстый, важный человек, сидит в кресле прямо, по-военному. Против него русский чиновник министерства внутренних дел. Утрированно культурный вид. Чиновник держит в руках большой пакет, скромно прикрывая его котелком. Вкрадчивым голосом заканчивает конфиденциальный разговор.

Чиновник. Итак, с вашего разрешения, я резюмирую. Нами установлено тождество между находящимся под вашим ведением Мирским и важным политическим преступником, известным под кличкой Камо. *(Слегка привстает.)* Наше правительство выражает надежду, что после погашения издержек на содержание вышеупомянутого преступника в берлинском доме душевнобольных *(изящно передает пакет полицей-президенту)* может быть произведена выдача его русским властям.

Полицей-президент *(тоже не без изящества запирает увесистый пакет в письменный стол. Говорит, слегка привстав)*. От лица немецкого «Попечительства о бедных» приношу благодарность русскому правительству за возмещение издержек. Поверьте, со своей стороны я сделаю все возможное, чтобы пойти навстречу интересам нашего могущественного восточного соседа. *(Пауза.)* Но тут предвидятся, видите ли, гм-гм... немалые затруднения.

Чиновник *(с ловкостью фокусника внезапно вынимает новый увесистый пакет, гладит его тонкой рукой, кладет на письменный стол)*. Мое правительство предусмотрительно уполномочило меня принять на себя особые издержки, какие могут встретиться при создании условий, допускающих передачу русской власти ее преступного подданного. *(Встает. Поклон.)*

П о л и ц е й - п р е з и д е н т *(в своем желании угодить стал будто тоньше корпусом, гибче в движениях.)* Будем надеяться, что найдется желаемый выход из нашего обоюдного затруднительного положения. *(Провожает чиновника к двери. Поклоны, рукопожатия. Вскрывает второй пакет, данный чиновником, вынимает из него часть денег, остальные опять запирает в ящик. Берет телефонную трубку.)* Попросить ко мне в кабинет господина директора «Попечительства о бедных».

Стук в дверь. Входит д и р е к т о р — худощавый, извивающийся человек, имеющий лицемерный облик сектантского проповедника.

Д и р е к т о р. Господин полицей-президент выразил желание видеть меня?

П о л и ц е й - п р е з и д е н т. Садитесь, господин директор. Имею к вам крайне экстренный, весьма деловой разговор.

Д и р е к т о р *(сел, вытянул вперед лисью мордочку).* Я — весь внимание, господин полицей-президент.

П о л и ц е й - п р е з и д е н т. Наша образцовая больница для душевнобольных находится в ведении вашего учреждения, не правда ли?

Д и р е к т о р. Совершенно точно, господин полицей-президент. И смею вас уверить, все наши счетные книги в образцовом порядке. Но какие расходы, господин полицей-президент, какие расходы! Положительно, наши немцы вырождаются. Там, где в прежнее время люди отлично себя держали, сейчас они позволяют себе просто-напросто впадать в безумие. Бывало — лопнет банкир, и что же? Тотчас в Америку — искать себе

новой удачи. А сейчас банкир идет прямо к нам в отдел меланхоликов. Бывало, офицер проиграется — короткий разговор: пуля в лоб. Сейчас и офицер идет к нам на полный пансион. И аппетита, заметьте себе, эти сумасшедшие не только не теряют — за троих едят. Какие расходы, господин полицей-президент, какие расходы!

Полицей-президент. Не правда ли, господин директор, при подобном обилии у вас своих, кровных, немецких инвалидов содержание иностранных инвалидов особенно обременительно вашему учреждению, и скажу прямо — обидно.

Полицей-президент встает. Директор тоже. У него выражение лица как у гончей, которая уже учуяла зайца, но, не видя его, еще не может взять.

Директор. Я весь внимание, господин полицей-президент...

Полицей-президент *(берет директора за пуговицу)*. Больше того, скажу вам: тратить наши кровные, наши немецкие деньги на содержание иностранных душевнобольных — это просто грех. Германия — для немцев!

Директор. Германия для немцев, господин полицей-президент.

Полицей-президент. И потому в данном случае, когда наш могущественный восточный сосед — Россия — заинтересована...

Директор *(угодливо прерывает)*. Мы, само собой разумеется, должны идти ей навстречу. *(Осторожно.)* Но кто же именно, осмелюсь спросить, господин полицей-президент, должен быть подразумеваем под этим обременительным иностранным инвалидом?

П о л и ц е й - п р е з и д е н т. Я рад, что вы понимаете меня. Речь идет о русском, который носит имя Мирского. Издержки на его содержание вам будут с лихвой уплачены. Вы можете мне подать *(широкий жест)* счет за все время пребывания этого русского в подведомственном вам заведении. Задаток получайте сейчас. *(Протягивает деньги, которые директор принимает как государственно важный документ.)*

Д и р е к т о р. Во всем этом есть одно тревожное обстоятельство, господин полицей-президент: о Мирском говорят, что он — видный революционер. Если мы передадим его русским властям, «Форвертс» и другие газеты поднимут нас на рога.

П о л и ц е й - п р е з и д е н т *(категорически)*. Не поднимут... если дело сделать с умом. «Попечительство о бедных», существующее на деньги немецкого народа, справедливо перекладывает свою заботу о неизлечимом душевнобольном на его соотечественников. Помните: полиция тут ни при чем. И политика — тоже. Народные немецкие деньги — не устанем эту истину повторять — только для детей немецкого народа!

Д и р е к т о р. Только для детей немецкого народа, господин полицей-президент!

Полицей-президент и директор крепко пожимают друг другу руки.

П о л и ц е й - п р е з и д е н т *(конфиденциально)*. Необходимо одно: иметь вам удостоверение от наших знаменитых профессоров Гофмана и Лепмана о безнадежном состоянии этого душевнобольного инвалида. Вы меня понимаете? Это будет ваш и наш оправдательный документ.

Директор. Подобное удостоверение, господин полицей-президент, будет мною получено от профессоров. Но предупреждаю вас — расходы на этого обременительного инвалида были велики, а предстоят при этой операции еще бо́льшие...

Полицей-президент. Все издержки будут покрыты отечеством этого душевнобольного.

Полицей-президент и директор смотрят друг на друга с полным взаимопониманием.

В ХОЛОДИЛЬНИКЕ

Карцер при берлинской больнице душевнобольных. Он хорошо освещен высоко повешенной лампой. Очень холодно. Камо, скрестив руки на груди, стоит в одном нижнем белье. Дверь, к которой ведет лестничка в несколько ступеней, открывается, два служителя вталкивают упирающегося доктора Эрвига.

Эрвиг *(вырываясь)*. Негодяи, монстры, сволочи!

Служители захлопывают двери.

Камо *(помогая Эрвигу встать)*. Доктор Эрвиг, за что вас?

Эрвиг. Собачий холод у больных в камере, больные буквально плачут... Я подошел к надзирателю, говорю: «Вы дрова воруете, вот я про вас в газете напишу». Он изобразил на роже презрение и выплюнул сквозь зубы: «А кто же вам поверит? Жалоба человека, лишенного прав, — недействительна». *(Внезапно падая духом.)* А кто я, в самом деле? Бывший русский студент Дерптского университета, неудачный немецкий медик, а ныне просто-напросто отпетый морфинист с яз-

вой в желудке. И в придачу ко всему засажен милейшей родней в дом сумасшедших...

Камо *(берет его за обе руки, насильно тащит за собой).* Ничего, доктор, здесь, в холодильнике, гораздо веселее, чем в вашей палате. Я тут как на родных горах устроился. Гуляю сколько хочу — никто не мешает. *(Смеется.)* Правду сказать — немножко холодно, но в горах так и полагается. Очень рад тебе, доктор... Ну, учи скорей, что мне дальше делать?

Эрвиг. Куда уж тут дальше? Цель ваша достигнута. Неизлечимость вашего безумия констатирована самыми высокими авторитетами. *(Смеется.)* А ведь скоро год, что мы с вами околпачиваем профессорские головы. В их почтенные черепные коробки не может уложиться представление о железной воле революционера... И столь длительной симуляции, как ваша, они допустить не могут.

Камо. Профессор Гофман при мне объявил студентам совсем новую кличку моего безумия. Придумал-таки... Оказывается, не по правилу со мной выходило: меня каленым железом жгут — жареным пахнет, а я говорю — не больно! Но зрачки, черт их возьми, зрачки расширяются! Научи, пожалуйста, доктор Эрвиг, как мне зрачки дисциплинировать? Совсем неудобный анархизм оказался в собственном теле.

Эрвиг. Ничего не поделать со зрачками. Да вы не беспокойтесь. Уж если профессор Гофман латынью болезнь окрестил — дело в шляпе. Теперь, если бы все берлинские врачи признали вас симулянтом, профессор Гофман, а за ним следом и Лепман — останутся при своем, а они самые почитаемые. Счастливец Мирский, вы можете мечтать о свободе. Скоро вас выдадут на

руки вашему опекуну Оскару Кону. Не вечно же больнице кормить вас за свой счет?

Камо. О свободе нельзя только мечтать — свободу надо добывать.

Эрвиг. А для чего, в сущности, вам свобода? Опять начинать все сначала. Доставать оружие, прятать его, скрывать динамит, хлопотать с ужасным для себя риском о грядущем благополучии неизвестных вам людей. Да ну их к черту... У меня свой живот болит.

Камо. Хочешь, растирать буду?

Эрвиг. Не надо. На этот раз это только аллегория... Замечательный вы человек, Мирский, я вами восхищен. Целый год наблюдаю вас и понять не могу — что за сила вас держит? Просто богатырь какой-то...

Камо. Сейчас, доктор, я хочу быть простым джигитом. Нет, конем под джигитом. Ужасно холодно... Давай побегаем? *(С большой легкостью, подражая джигитовке, носится по камере и поет.)*

Сторож *(голова появилась в двери)*. Петь не разрешается.

Камо *(быстро)*. Ишак!

Эрвиг. А замерзать разрешается? *(Бьет кулаком в дверь.)*

Сторож *(голова)*. Будете стучать — получите наручники.

Камо. Брось его, доктор... Садись рядом, согреемся. *(Садятся.)* Знаешь, что такое джигитовка?

Эрвиг. Читал, могу себе представить.

Камо. Все ты читал, все ты читал, а ничего не видал. *(Вскакивает.)* А я сам скакал! Смотри... *(Изображает джигитовку.)* На коня прыг и — стрелой!.. С конем ты одно. И на стременах — р-раз! Ныряешь коню

под брюхо! С земли на скаку хвать папаху — р-раз! И опять на коня! Р-раз, осадил! *(Вытирает пот со лба.)* Ух, хорошо. *(Смеется.)* Жарко стало.

Эрвиг. И с такой бурей в крови — в неволе сидеть? Орел — разве стал бы он в неволе сидеть? Орел в клетке, говорят, себе голову разбивает. А вот человек, даже такой, как вы, Мирский, человек, — в неволе живет, терпит.

Камо. Ой, доктор, ты меня рассердил. *(Подскакивает близко, говорит тише.)* Орел имеет товарищей? Общее дело? Говори! Орел может помнить, как жизнь разоряли, душу убивали? Что такое орел? Красиво, а все-таки — только птица. А вот человек ничего забывать не смеет. Был я в Петербурге. Видел замечательных русских рабочих. Бастуют месяц, два, три. Лозунг — лучше умереть с голоду, чем быть сытыми предателями. В пустой комнате одного путиловского забастовщика видел: сидят голодные дети на куче тряпья и поют «Смело, товарищи, в ногу!». Дети-сироты, нищета и бесправие! Оружие дать отцам — они детей спасут, горы подымут. Могу я, как один старинный Гамлет, на пальцах крутить — быть мне или не быть? Могу? *(Вдруг совершенно меняет выражение лица, говорит как молитву.)*

Буря мглою небо кроет,
Вихри снежные крутя,
То как зверь она завоет,
То заплачет как дитя...

Эрвиг *(изумлен)*. Мирский, что с вами? Сейчас, когда вы не симулируете безумие, я готов поверить, что вы на самом деле сумасшедший. Стихи зачем вам сейчас, так — вдруг?

Камо. Коню овес давать надо, чтобы он, усталый, опять работал. Как сохранить в тюрьме мозги революционеру, чтобы они для воли работать могли? Овес — коню, Пушкин — моей голове отдых. Можешь понять?

То как зверь она завоет,
То заплачет как дитя.

Простыми словами сказал, а я от радости плакать хочу, когда Пушкина читаю.

Эрвиг. А я думал, вы только об оружии да о революции думаете, не о стихах.

Камо. Революционер всегда должен быть вооружен. Думаешь, очень просто: дать революционеру револьвер, гранату? Мало, это очень мало. Еще много другого надо. У меня вот, черти, динамит отняли, всё отняли. Из-за меньшевиков у меня пароход с винтовками погиб. Меня голым сюда засадили. Знаешь, какая это беда? Не сумел я выполнить волю партии, выходит — не оправдал доверие товарищей. Меньшевики, будь они прокляты, такое святое дело угробили. Волком выл я с горя, места себе не находил. Скажешь, я совсем безоружный стал? Скис? Революционеру запас надо иметь такого, чего отнять невозможно. *(Подымает вверх руку с растопыренными пальцами. По мере того как говорит, загибает пальцы.)* Какой такой запас? А вот слушай... Мужество, силу льва, гибкость пантеры, веру в счастье, бескорыстие...

Эрвиг. Да на какого дьявола революциями заниматься, если люди все из одного теста? Человек человеку волк.

Камо. Врешь, доктор, очень врешь. В том и дело, товарищ, что при социализме никому нельзя будет

хищником оставаться. При социализме человек человеку волком быть не может. Вот Ленин учит, что это царь, это капитал делают одних волками, а народ — их жертвами. Ленин учит: прогнать царя и его шайку, дать власть тем, кто сам трудится, — народу. Но чтобы это святое дело в жизнь провести, нельзя держать в себе какое-нибудь графское непротивление злу. Наоборот, надо большую ярость иметь. Гнев и ярость...

Эрвиг. Скажите, Мирский, какие книги вы читали, какие философы навели вас на эти мысли?

Камо. Все ты про книги да книги. Я же сказал — Ленин учит. Жизнь учит. Я мальчиком на вершину высокой крепости в Гори лазал, вниз смотрел — и всю правду как на ладони видел.

Эрвиг. Опять путаете меня с профессорами, перед которыми вам надо ломать вашу манию паранойю, которой я же вас и обучал. Чудак! *(Хохочет.)*

Сторож *(голова в двери. Говорит без выражения, как печатает)*. Смеяться воспрещается. Тут карцер.

Камо *(вспылил)*. Спрячь голову, мелкий ишак!

Голова прячется.

(Повернулся к Эрвигу.) А ты, доктор, неправильно жил, совсем неправильно. Ты носом в книгу уперся, мимоходом жил, — ты про настоящую жизнь ничего не знаешь! Потому ты и печальный. Хочешь, буду тебя жизни учить, как ты меня наукам обучаешь? Хочешь, я расскажу тебе немного про свою родину, про мой город, — Гори зовется?

Эрвиг. Как же, знаю, Гори — очень старый город.

Камо. Замечательный город... Представляй себе: посреди города огромная гора. Наверху — крепость.

Персы брали-брали, взять не могли. Я на зубцы крепости под самое небо влезу — часами вниз смотрю. Хочешь, давай сейчас вместе поднимемся на самый верх крепости?

Оба встали, ведут себя, как будто стоят на вершине высокой горы.

Камо. Гляди, доктор Эрвиг, сюда *(жест)* и сюда. *(Жест в противоположную сторону.)* Куда глаз ни хватит — это все моя родина. Россию видишь — нет конца, нет края. Степи и леса как в сказке. А Кавказ видишь? Горы лезут в небо, реки рвутся в море... И вот вся эта замечательная, большая земля наша одним богачам отдана. Почему? Бедному вспахать нечего, кушать тоже нечего — почему? А какие люди на моей большой родине живут! В Москве, десятого декабря, на Пресне две русские девушки, простые работницы, несли в многотысячной толпе красное знамя. На них бросились казаки. И вот эти девушки крикнули царским воякам: «Убивайте нас! Пока живы — не отдадим знамя революции!» Вот какие девушки! Про них мне товарищ Макар рассказал, он сам бился там на баррикадах. А Ленин сказал: «Такие образцы отваги и геройства навсегда должны сохраниться в сознании пролетариата!» Вот так Ленин сказал...

Эрвиг *(жмет Камо руку, любуется им)*. Я давно не люблю людей, но чтоб вас не вздернули, я остаток своей жизни отдал бы.

Камо. Опять неправильно думаешь: людей надо любить. Но каких людей! Будем на свободе — тебя научим жизнь любить, настоящих людей любить. Вместе с нами работать станешь — морфий свой бросишь,

и живот твой болеть не будет. Ведь ты товарищ мне, доктор Эрвиг?

Эрвиг. Несомненно! Вообще я черт знает что — отпетый морфинист...

Камо. Слушай, доктор... Если ты заметишь, что меня ваши немцы предать хотят, не показывай виду, не шуми. Ты хватай в прихожей внизу чье-нибудь пальто, котелок и беги к опекуну моему — Оскару Кону. Предупреди. Он социалист... Понимаешь? Очень беспокоит меня, зачем сюда один шпик из полицей-президиума повадился. Будешь другом?

Эрвиг *(протягивая Камо руки)*. Буду. Клянусь.

Камо. Ну, а теперь говори: хорошо я ненормального играю? Есть ошибки? Учи, пожалуйста.

Эрвиг. Вы, Мирский, стали за последнее время слишком выразительно ругать врачей прямо в лицо.

Камо. Устал я, здорово меня мучают. Очень больно иглами колют, поджаривают. Иногда прямо кусаться хочу. В зеркало заставили смотреться — я испугался. Гляжу — не моя рожа. Худой, волосами оброс, глаза дикие — некрасивый. Я вдруг подумал: а может, я вправду сошел с ума? Очень страшная минута. Однако догадался — оскалил зубы и плюнул в зеркало. Они, оба профессора, переглянулись, как жулики. Им понравилось, по-ихнему, вышло верно — человек сам себя забыл...

Эрвиг. Чаще отвлекайтесь от себя. Хорошо, что джигитовки вспоминаете.

Камо. Стараюсь, доктор, стараюсь. Для дела очень нехорошо, если я правда с ума сойду. Сумасшедший, как пьяный, не знает, что говорит. Я товарищам повредить могу... Вчера перед зеркалом я как над

обрывом висел, за что держаться — не знал. Устал я... *(Пауза. Вдруг оживился, опять повеселел.)* Из полицей-президиума, говорю, тут последнее время какой-то шпик повадился. Меня на прогулке из всех углов высматривал. Я рассердился, прямо подошел к нему, спрашиваю: «Стоит ли вам из-за небольшого жалованья быть таким большим мерзавцем?» На немецкий просил ему перевести. Он очень обиделся. *(По-детски хохочет.)*

Сторож *(голова из дверей)*. Смех не...

Камо *(бросился к двери. Она мигом захлопнулась)*. Опять ишак.

Эрвиг *(прислушиваясь)*. Мирский, сюда к нам идут... Слышите шаги? *(Прислушиваются оба.)*

Сторож *(настежь открывает двери)*. А ну-ка, подтянуться: господин директор!

В холодильник входят дежурный врач, переодетый чиновник русской охранки, сторожа, директор «Попечительства о бедных».

Дежурный врач *(к Эрвигу)*. Как вел себя Мирский? Говорил с вами? Сторож заявил, что он буйствовал.

Эрвиг. Больной проявлял все симптомы особого вида истерии — паранойи. Экзальтация чередовалась в нем с полной депрессией. Иногда он как столб стоит в углу и безмолвствует. Вот и сейчас.

Все поворачиваются к Камо. Он молчит.

Дежурный врач *(чиновнику охранки и директору)*. О, этот больной, несомненно, инвалид. Симулянт не мог бы выдержать все те пытки, которым мы были

обязаны его подвергать, чтобы обнаружить, действительно ли он нечувствителен к боли. Умственные способности его находятся в том состоянии, которое именуется слабоумием. Мирский, подойдите сюда!

Камо неподвижен.

Директор *(сторожам)*. Подведите его насильно!

Сторожа тащат Камо. Он передвигает ноги как автомат. Лицо бессмысленное.

Дежурный врач. Я задам больному несколько вопросов. Скажите, Мирский, куда течет река вашей холодной Сибири — Амур?

Камо. Река чертовски холодная, течет куда хочет... Наверно, в Чертово море.

Дежурный врач. Скажите, Мирский, какая разница между деревом и кустом?

Камо. Дерево есть дерево, а куст есть куст. Такие стишки знаю: «От белой акации — акацией пахнет, от белой сирени — сиренью. Недобрые люди меня не оценят — стихи назовут дребеденью...» А дурак есть дурак. Довольно. Хочу быть собакой! *(Становится на четвереньки, лает, очень быстро обегает вокруг чиновника охранки.)*

Чиновник охранки подает знак надеть на Камо наручники.

Камо *(внезапно выпрямляется. Оглядывает присутствующих гневным взглядом. Очень сдержанно, но веско, расчленяя каждое слово, говорит)*. До-воль-но театральных превращений! Я здоров. Два года я дурачил ваших профессоров. Имею диплом инвалида от

вашей немецкой науки. А сейчас я отлично понял, что вы меня хотите выдать царской полиции.

Директор делает знак сторожам, те кидаются к Камо и надевают ему наручники. Дежурный врач показывает правую руку Камо чиновнику русской охранки.

Дежурный врач *(официальным тоном)*. На ладонной поверхности руки заключенного имеются плотные бугры, под которыми ощупываются твердые инородные частички — заросшие осколки от взрыва бомбы...

Чиновник *(понизив голос)*. Изготовлением которых, по сведениям тифлисского жандармского управления, и занимался этот именующий себя Мирским, на самом деле государственный преступник Камо. *(Обращаясь к Камо.)* Следуйте за мной!

Камо *(обращаясь к тюремному надзирателю)*. Вы обязаны о всех переменах в моей судьбе доводить до сведения назначенного мне опекуна Оскара Кона...

Директор. Господин Кон будет осведомлен. Не наша вина, если с некоторым опозданием. Он в отъезде.

Камо. Ложь! Он здесь! Я требую пересмотра моего дела! Я требую суда! Я здоров. Повторяю, я водил за нос ваших профессоров...

Директор. Прошу прощения, вы опоздали с этим заявлением. Вы убедили профессоров в своей болезни. Именно на основании уже не подлежащего сомнению научного определения профессора Гофмана, светила нашей психиатрии, мы передаем вас, как полного инвалида, на попечение вашего отечества. Как немецкие

патриоты, мы не можем долее содержать вас на деньги немецкого народа...

Камо *(в гневе прерывает).* Но, как негодяи, вы меня выдаете русской полиции?!

Сторож. Карета готова.

В ПРИЕМНОЙ У КОНА

Обстановка строгая, но со вкусом. Солидная мебель немецкой готики, ковер, гравюры, шкафы с книгами. Оскар Кон — человек еще молодой, блондин, с бородкой, в очках. Умное дружелюбие в манере говорить. Макар, похудевший, усталый с дороги.

Оскар Кон *(взял Макара под руку, ведет от дверей).* Усаживайтесь поудобнее на диване, здесь нам никто не помешает. Фриц!

Появился лакей.

Говорите, что меня дома нет, пока я вас не позову сам.

Фриц. Слушаю, господин Кон. *(Закрывает дверь.)*

Макар. Я к вам по прямому маршруту от Ленина. Я, знаете, в нашей партии на роли связного. Порой это очень отрадно, как, например, сейчас. Скажите, могу я надеяться на свидание с Камо?

Кон. Никакой надежды, мой друг. Меня, официального опекуна, полицейские власти норовят как можно реже допускать.

Макар. Вы знаете, как Ленин любит Камо! Ведь это он организовал ему защиту. Обсуждал вместе с Красиным, знавшим Камо по работе в Баку...

Кон. Ну как же! Красин посетил его здесь в тюрьме. Это он подсказал ему мысль о симуляции

психической болезни, которую Камо демонстрирует с такой сверхчеловеческой выдержкой. По просьбе Красина, мой друг и товарищ Карл Либкнехт выдвинул мою кандидатуру от социал-демократов как официального опекуна подсудимого. Это по немецким законам допускается... А сейчас, после двухлетнего общения, я привязался к Камо как к родному брату и готов всеми силами спасти его от тюрьмы, от царских палачей и от некоторых «социал-демократов».

Макар. Прошу вас, расскажите подробно про Камо.

Кон. Охотно... Прежде всего это талантливейший актер. Второй год он свершает какое-то чудо симуляции. Это возможно только при исключительных его данных. Великолепное здоровье, стойкость нервной системы и главное — железная воля и ненависть к политическим врагам. Эта ненависть и дает ему нечеловеческую силу претерпевать, не моргнув, самые настоящие пытки...

Начну сначала: сразу, еще в тюрьме, стал он буянить, бросал посуду, избивал надзирателей, — его посадили в подвальный карцер с температурой ниже нуля. Подумайте, девять суток человек, совершенно обнаженный, бегал и прыгал без передышки и... не заболел. Вот когда его водворили из карцера в камеру, я его увидел впервые. Он ощутил тоже сразу ко мне доверие и симпатию и очень ловко, для всех незаметно дал мне понять, что будет симулировать безумие, чтобы из тюрьмы перевели в больницу, а оттуда попытается бежать... Его изобретательность неистощима: вдруг он вырвал половину усов и волос и разложил у себя на подушке. Надзиратели только за

голову хватались и ужасались. Когда Камо рассказывал мне, как профессора жгли его во имя науки, он еще усмехнулся: «Ужасно, как воняло паленым!»

Макар. Узнаю Камо. Но вот чего мы все опасаемся: не сойдет ли он на самом деле с ума в этой страшной обстановке?

Кон. Признаюсь, я сам опасаюсь того же. Ведь второй год этому дьявольскому существованию. Во что бы то ни стало добьюсь, чтобы выдали мне его на поруки.

Шум у дверей. Вбегает слуга, за ним Эрвиг, затем Шлоссман.

Слуга *(указывая на Эрвига)*. Прошу прощенья, господин Кон, я его удержать не имел силы, так к вам и ломится, вот господин Шлоссман свидетель.

Шлоссман разводит руками, выжидательно останавливается у дверей.

Эрвиг. Господин Оскар Кон, я к вам от опекаемого вами больного Мирского...

Кон *(беспокойно)*. В чем дело? Кто вы такой? *(Смотрит пытливо.)* Припоминаю. Я видал вас там... в той же палате, рядом с Мирским.

Эрвиг. Да, я оттуда. Меня зовут Эрвиг. Мы вместе с ним сидели в больничном карцере. Мирский просил бежать к вам и все рассказать... Прошу извинить, моя речь бессвязна. Я убежал из больницы. Как только узнают, за мной придут. И вдруг у вашей двери встретил господина Шлоссмана, депутата парламента. Я его знаю.

Шлоссман брезгливо пожимает плечами.

Я его умолял выслушать меня — ведь социалиста выдали на верную смерть, ведь это позор, позор нашей стране — выдача из больницы политического заключенного на верную смерть!

Шлоссман. Да, я депутат парламента, но я вовсе не социалист. *(Как бы отряхивается.)* И в подобные дела прошу покорнейше меня не вмешивать. Я к вам, господин Оскар Кон, по поручению моей партии, с небольшим докладом...

Кон *(быстро встает, очень сухо)*. Прошу извинения, господин Шлоссман, я сейчас вас принять не могу, вы видите, у меня неотложное дело. *(Кланяется.)*

Шлоссман. Ах, это... *(Презрительный жест по адресу Эрвига.)* Прошу прощенья. *(Уходит.)*

Макар. Вот мерзавец!

Кон. Без него обойдемся! Садитесь, милый Эрвиг, успокойтесь *(поит водой)*, расскажите нам все подробно. *(Указывает на Макара.)* Это большой друг Мирского, он приехал к нам на помощь, при нем говорите смело. Что случилось с Дмитрием Мирским?

Эрвиг. Его взяли прямо из холодильника, ему надели наручники, увезли в карете.

Кон *(недоверчиво)*. Но, позвольте... Вы что-то путаете. Куда его увезли? Не может быть...

Эрвиг *(вне себя)*. Вы не верите мне! А время идет... идет. Они увезут его в Россию. *(Собирается с силами, спокойно и твердо.)* Господин Кон, проверьте немедленно мои сообщения. Они выдали Мирского, как русского инвалида, которого больше не хотят содержать на немецкие деньги. Его не считают политическим эмигрантом, — понимаете их казуистику? Я улизнул, как только меня вслед за Мирским вывели

из холодильника. Я схватил чужое пальто и побежал искать вас.

Кон *(взволнованно)*. Допустим, что я вам поверил. Но подумайте сами: чтобы сделать сейчас в рейхстаге официальное заявление об этом деле, мне нужно иметь...

Эрвиг *(прерывает с горечью)*. Понимаю: нужно иметь свидетельство более убедительное, чем мое заявление.

В парадные двери вбегают два служителя сумасшедшего дома, кидаются к Эрвигу с криками: «Вот он!»

Старший служитель *(к Кону)*. Это ведь наш больной, он убежал. Спасибо почтенному депутату Шлоссману, он сейчас дал знать в больницу, что больной здесь, у вас.

Кон. Лицемер! Ведь сегодня же он пойдет в здание рейхстага для болтовни об укреплении законности в нашей стране, зная, какое в Берлине произошло вопиющее по беззаконию дело.

Старший служитель *(младшему, радостно указывая на Эрвига)*. И пальто мое продать не поспел...

Кон *(служителям)*. Погодите минутку... Передайте врачу, что я завтра приду навестить моего опекаемого, больного Мирского. Вы меня должны знать. Я — адвокат Кон, назначенный опекуном к больному Мирскому.

Старший служитель. Как же, господин Кон, вы нас не однажды навещали... Однако беспокоить себя из-за этого русского вам больше нечего. *(Указы-*

вает на часы.) Как раз с восьмичасовым поездом он укатил к своим землякам в Россию.

Кон. Это неслыханно! Это позорно... Кто распорядился?

Старший служитель. Просим прощенья, господин Кон, нас на улице ожидает больничная карета... *(Эрвигу.)* Советую вам не сопротивляться. У нас на всякий случай захвачена смирительная рубашка.

Эрвиг. И не подумаю сопротивляться, любезные! Я вам в благодарность по стаканчику на последние... Такую вы оказали мне нежданную услугу! Подтвердили мои показания!

Сторожа уводят Эрвига.

Кон *(Макару, беря его за руки).* Вот какая печальная развязка судьбы нашего дорогого Камо!

Макар. До развязки далеко! Не впервые Камо избежать смертной казни! Сейчас надо вам тут создать такое общественное мнение, поднять такой поход в газетах, задеть честь Германии, но заставить Россию отменить смертную казнь Камо. Пока еще выдача политических на смерть считается незаконным делом.

Кон. Обещаю вам, дорогой друг, Карл Либкнехт возглавит нашу кампанию против международной полиции! Камо и на родине у себя будет объявлен душевнобольным. И, следовательно, суду не подлежащим. Что думаете вы предпринять?

Макар. Я думаю немедленно ехать в Тифлис, куда, наверное, жандармские власти направят Камо. Буду держать с вами связь.

Кон. Отлично. Сделайте одолжение, передайте Джаваире, сестре Камо, эти деньги *(дает)*, чтобы и она не скупилась мне на телеграммы.

Макар. До свидания, товарищ Кон.

Занавес.

АКТ III

ШАШЛЫЧНАЯ КАРАПЕТА

На стене грубо намалеван амур с сердечком и со стрелой в руках. Столики для богатых — с белой скатертью, для бедных — с клеенкой. Висят клетки с канарейками. Прокурор и ротмистр сидят справа. У самого буфета за скромным столиком сидит товарищ Макар. Нико вешает на стену картину своей работы. На полу — ящик с красками. Играет шарманка.

Карапет. Хорошо поработал, Нико! Не пожалел краски — первый сорт! Помидор совсем настоящий — скушать можно. Зачем ты, Нико, отказался тогда на эту стену амура рисовать? Вот видишь, я другому заказал, — теперь завидовать будешь?

Нико. Не завидую, Карапет. Вино и шашлык давай мне за мои помидоры!

Макар. Садись, Нико! Вместе обедать будем.

Карапет. Вино и шашлык получай, Нико. *(Подает на стол, где уже сидит товарищ Макар.)*

Прокурор *(лакею)*. Эй, человек!

Подбегает лакей с салфеткой на руке.

Шашлык хороший, жирный. Да травку эту вашу неси, как ее...

Лакей. Тархун, кинза. Лучок зеленый...

Ротмистр. Заткни фонтан! Лучок, братец, это наше, российское. Ни ботвиньи без него, ни окрошки.

Прокурор. Черт с тобой, неси травку! Сколько чепухи на вашем погибельном Кавказе растет! Только живей, братец.

Лакей ринулся выполнять заказ.

Стой!

Лакей ринулся обратно.

Вдову Клико не забудь. *(Ротмистру.)* Угощаю вас на радости шампанским.

Ротмистр. Невесту богатую вспрыснем?

Прокурор. Ну, это пока что — впереди. Не тороплюсь я свою мужскую свободу терять.

Ротмистр. Заинтересован узнать, что именно будем праздновать, по какой, так сказать, линии?

Прокурор. По служебной, батенька. Не ожидали? Ха-ха! *(Вынимает из кармана газету.)* Вот не угодно ли, немецкий «Форвертс»... Нашему министерству внутренних дел заграничный комплимент — и от кого? От социалистов, батенька. Читайте-ка: «Русские власти дали немецкой полиции урок гуманности».

Ротмистр *(смотрит газету)*. Уж вы потрудитесь своими словами изложить...

Прокурор. Вы, конечно, знаете, что немцы выдали нам Камо под хитрым соусом — как иностранца-инвалида, а вовсе не как политического. Однако по этому поводу Карл Либкнехт произнес в рейхстаге громкую речь. Левые газеты подняли такой гвалт, что сам Столыпин был принужден прислать сюда, в Тифлис, секретную бумажку *(понижая голос)*: «Смертную казнь политического преступника Камо отложить. Со-

держать его, как признанного немецкими психиатрами душевнобольного, в лечебнице».

Ротмистр *(с досадой)*. Уж если такого преступника не казнить, то кто же достоин казни?

Прокурор. Успеем, любезный. Не прогадаем.

Ротмистр. Догадываюсь. С настоящего положения дел купончики можно состричь.

Прокурор. И состригли! Наш военный прокурор отправил Кону, бывшему опекуну Камо, отеческого содержания телеграмму: «Не беспокойтесь, больной направлен на излечение». Ха-ха! Этого Кона берлинская полиция намеренно устранила, чтобы он не был помехой при выдаче нам Камо. А мы Кона информируем. Зато и хвала: русские власти дали урок гуманности берлинским властям! *(Смеется.)*

Ротмистр. Чистая работа! И репутацию свою вознесли и преступника заполучили. Остается действительно выпить за гуманность русского министерства внутренних дел. *(Чокаются.)*

Прокурор *(перед тем как выпить, строго лакею)*. Сухое?

Лакей. Совершенно сухое-с. Вашей любимой марки.

Прокурор *(наливает снова)*. За честь русского оружия всех видов. *(Чокаются.)* Да, на сей раз мы будем гуманны. С военно-полевым судом торопиться не станем. Птичка в клетке крепко сидит. Птичка из клетки не улетит.

Ротмистр. Это из здешней больницы-то? Ей-богу, убежит...

Прокурор. Ошибаетесь, любезный мой, ошибаетесь. Сидит он в изоляторе. Стены не пробить и пуш-

кой. В окно решеточка вделана. На ногах кандалы. Специальное ходатайство об этих кандалах я самому наместнику подавал. Начальник больницы протестовать было вздумал... Нет, милейший ротмистр, все меры приняты. Не убежит.

Гиго *(с гармошкой ходит взад и вперед по большому проходу между столиками. Приплясывает, напевая).*

По Куре плывет шемай
С радостным душою.
Если хочешь, так поймай
Удочкам большою.

(На минуту Гиго задерживается около Макара и Нико. Тихо.) Брагин заглянул сюда и ушел. Прокурора с ротмистром увидал — испугался. Буду обоих сейчас выживать. *(Проходит мимо столика прокурора, выкрикивает.)* Сегодня вечером знаменитые куплеты! Мадам Марго споет по-русски, а ножкой дрыгнет по-французски. *(Изображает канкан.)*

Прокурор. Эй ты, пьяный кинто!

Гиго подходит.

Что, действительно Марго сегодня поет?

Гиго. Не просто поет, ваше благородие, — французские телодвижения будет делать. *(Изображает.)*

Хоть красива,
Но спесива...

Извольте, ваше благородие, афишку посмотреть. *(Подает прокурору афишку.)*

Прокурор. В самом деле. Оперетка «Мадам Анго» — она чертовски в ней хороша. Пройдем к ней за кулисы, ротмистр?

Ротмистр. В таком случае надо поторопиться, чтоб успеть букеты купить. С пустыми руками к нашей примадонне и на глаза не показывайся.

Прокурор. И, полагать надо, цветочки эти — начало интересного знакомства?

Ротмистр *(самодовольно)*. Смотря для кого. Для меня — продолжение.

Прокурор расплачивается. Оба уходят.

Нико. Знаешь, Макар, прежде, когда Марго пела, — сердце из груди вынимала. Сейчас поет — все равно что чужой ишак кричит.

Макар *(оглядываясь по сторонам)*. Не идет что-то наш Брагин.

Нико. Скажи, пожалуйста, Макар, много трудов надо было, чтобы этого Брагина приручить?

Макар. Камо его сагитировал сам. Вместе они убегут... А вот и он. Под зеркалом стоит. Ищет нас глазами. Сделаем вид, что мы не знаем его... Он сейчас подойдет.

Брагин, одет как фабричный рабочий. Глазами будто ищет столик. Встречает взоры Нико.

Карапет. Свободных столиков не имеем...

Макар *(равнодушно)*. У нас место есть. Можно сесть.

Брагин. Разрешите? *(Карапету.)* Шашлычок мне, хозяин, да пивка. *(Садится за столик.)*

Макар *(сохраняя безразличное выражение лица)*. Ну, как там у вас, все готово?

Брагин. С кандалами он справился. На одной проволоке держатся. Решетку чуть допилить осталось — пилки все поломал. Я за пилками пришел.

Нико *(зевая)*. Проси у меня ящик, краски посмотреть. Пилки возьми, спрячь за пазуху.

Гиго опять ходит посреди духана взад и вперед и поет. Нико показывает Брагину на палитре, как из тюбика выпускают краски. Брагин прячет пилки.

Макар *(Брагину)*. Теперь внимательно меня слушай: завтра в пять часов. Удобно?

Брагин. Самое время. Чай в общую столовую пойдут пить больные, а ему подадут в изолятор.

Макар. Передашь ему — ровно в пять у Верийского моста товарищи будут ждать с одеждой. Только бы переплыл!.. Совсем близко под его окном Гиго будет песни петь. Скажи, чтобы слушал. Есть песня — открыт путь. Нет песни — ждать надо. Для тебя лично, Брагин, тоже все готово. С дежурства сменишься в четыре часа и — прямо по адресу... Помнишь куда?

Брагин. Чего не помнить? Выучил.

Макар. Сиди там и жди, пока он не придет. Если дело сорвется, мы тебя известим. Сам никуда не уходи. Понял?

Брагин. Чего не понять?

Макар. Итак, завтра ровно в пять...

ПОБЕГ

Изолятор в Михайловской больнице в Тифлисе. На окне решетка. Камо в больничном халате, в ножных кандалах; он крошит птицам хлеб за решетку.

Камо. Гуль, гуль...

Входит Брагин.

Знаешь, Брагин, я прямо удивляюсь, почему святой

дух выбрал для себя голубей? Соловей — птичка лучше, как думаешь? *(Вглядывается в лицо Брагина.)* Что, товарищ Брагин, нового?

Брагин *(мрачно)*. Сказали, нынче в пять. Ждать будут у Верийского моста. Когда песню запоют за окном — вам можно прыгать. Мне сменяться дежурством как обыкновенно, в четыре.

Камо. Значит, сегодня вечером мы с тобой вместе на полной свободе, если, конечно, я себе шею не сверну... Почему ж ты, товарищ, такой невеселый?

Брагин сумрачно молчит.

Боязно стало... На такое дело пойти — навеки подпольным стать. Имя не свое, паспорт не свой, всего опасайся. А тут работу кончил — и вольный казак. Свободен, значит. Ведь так думаешь, Брагин? Правильно я понял? *(Живо.)* А сообрази, товарищ: свободен — для чего? Свободен — можно мертвецки напиться, только и всего. Сам не раз говорил об этом. Образование хотел иметь? Не имеешь. Лучшей жизни искал? Не нашел. Что у тебя здесь в будущем? *(Прямо смотрит в глаза Брагину.)* Ты меня сейчас предать можешь — ну, повышение получишь. Ну, будешь работать в тюрьме. Будешь водить политических к виселице. Еще хуже жить станешь... Если же ты попадешь со мной за границу — человеком станешь. Учиться дадим. К чему способность имеешь — то и будешь делать. Твое дело, решай сам! Если предашь — обязательно сопьешься, потому что ты не подлец. Хочешь пьяную старость, грязную ночлежку? Смерть под забором? Хочешь — не давай мне пилки, что держишь за пазухой. Со мной хочешь за границу бежать, чело-

веком стать — давай скорее пилки, время идет. Обещать тебе, Брагин, наверное — я ничего не могу. Без обмана у нас. Сам рискую — рискуешь и ты. Решай!

Брагин молча подает пилки.

(Берет пилки и тотчас пробует их на решетке.) Отличные. Чуть-чуть подпилить, и все готово. *(Обернулся к Брагину и, уж не тратя ни минуты, говорит деловым, приказывающим тоном.)* Сейчас ты выходишь из больницы. Идешь на квартиру — тебе известен адрес. Там жди меня. Смотри, чтобы за тобой хвостов не было. Иди. Скоро буду. *(Подходит, крепко жмет Брагину руку.)* А если не буду, погибну — товарищи мои тебя спасут.

Брагин, вздохнув, уходит. Камо изо всех сил пилит решетку. Кончил. Вынул ее. Вдруг в коридоре голоса. Камо мгновенно вставил решетку на место, примазал швы черным хлебом. Отскочил, с безучастным видом сел посреди комнаты на стул.

Входит прокурор.

Прокурор. Здравствуйте, Камо. Как здоровье?

Камо молчит.

Все еще не надоела вам симуляция? Сколько лет сумасшествуете? Нас, милейший, не проведете, как немцев. Однако сидеть так месяцы, годы, без книг, без бумаги, без прогулок — не мудрено и взаправду свихнуться. Неужто подобная трусость — достойный ваш конец, такого блестящего неустрашимого революционера? Из страха смертной казни терпеть подобное унижение? Говорят, вы в Берлине для убедительности глотали пауков и мух? Фи, какая гадость!

Камо *(с детской радостью)*. Вспомнил. Щегол Петька мух ест! *(Чуть не плача.)* Приручил я щегла, а он улетел.

Прокурор. Вы ничего не выгадываете вашей симуляцией: кандалы я с вас не сниму. Решетки с окна — тоже. Следующий этап — тюрьма... А там — по нисходящей... *(Показывает на шею, высовывает язык, закатывает глаза.)* Понятно?

Бьет пять часов. За окном раздается песня.

Какой прекрасный голос! Вы слышите? *(Подходит к окну.)*

Камо бессмысленно смотрит на прокурора и улыбается.

(У окна.) Идите сюда, садитесь за стол, сейчас будете пить чай. *(Пауза. Песня смолкает. Прокурор подходит к Камо, безуспешно пробует приподнять его.)* Черт его знает, может, он и вправду спятил... Идите же, говорят вам.

Камо. Не могу идти. Присылайте моего щегла Петьку — мух ловить. Здесь много мух. Много...

Прокурор. Черт его знает, может, и спятил. *(Идет к двери. Со злобою.)* Все равно — ни книг, ни прогулки. День и ночь в кандалах. *(Уходит.)*

Камо продолжает несколько секунд сидеть в прежней позе. За окном снова раздается песня. Камо встает. Спокойными, точными движениями он беззвучно сбрасывает халат и кандалы. Подходит к окну. Вынимает выпиленный кусок решетки. Спускается по веревке вниз.
Песня обрывается.

Сторож *(входит с кипятком)*. Ну вот, чай принес, хлеб принес, пей на здоровье. *(Смотрит вокруг, ища больного; видит открытое окно, в ужасе роняет чайник*

и хлеб. С криком кидается в коридор, оставляя за собой открытую дверь.) Бежал!.. Бежал!..

В изолятор вбегают сторожа, прокурор, начальник больницы.

Прокурор *(кидаясь к окну)*. Такая высота... Как он мог?! А! Веревка!

Сторож помогает втащить в окно длинную веревку.

Начальник больницы. Пособники были. Ясно.

Прокурор *(вне себя от ярости)*. Собак спустить! Он недалеко! Стрелять!..

Начальник больницы. Немедленно спустим! *(Убегает.)*

Сторож *(про себя)*. Пока этих собачек раздобудут — пиши пропало!

Выстрелы.

Разрешите, ваше благородие, сбегать вниз — может, его и хлопнули.

Прокурор. И немедленно обратно.

Сторож уходит. Прокурор в предельном возбуждении мечется по изолятору. То он пытается втиснуться в отверстие в решетке, чтобы подальше увидеть, но не может, вследствие своей толщины, то снова мерит изолятор шагами. Рассматривает оставленную на полу одежду Камо, кандалы. Подбирает с полу пилку. За окном военная музыка, проходят солдаты.

Входит начальник больницы.

Начальник больницы. Собаки спущены... Кинулись прямо к реке и стали как вкопанные. Должно быть, преступник в Куре утонул.

Прокурор *(не владея собой)*. Вы ответите! Порядочки у вас!

Начальник больницы. Больница — не тюрьма для особо важных преступников. Вами же поставленную решетку он умудрился перепилить. *(Язвительно.)* Очевидно, здесь нужны были меры посерьезнее.

Появляется конвойный с ружьем.

Конвойный *(задыхаясь, обращается к начальнику больницы)*. Ваше благородие... так что палили по нем нещадно — чи попали, чи нет — не понять...

Прокурор и начальник больницы кидаются к окну.

В МАСТЕРСКОЙ НИКО

Нико, насвистывая, рисует. Стук в дверь. Нико вскакивает, открывает дверь. Входит Нина.

Нико. Нина, ну что?

Нина. Товарищ Макар велел сидеть у тебя и ждать.

Нико. А я думал — опять отложили...

Нина. Никто чужой к тебе не придет?

Нико. Никто сегодня не придет.

Нина. Они не отложили, Нико... Сегодня побег. Надо ждать. *(Замечает, что Нико ставит на подрамник подмалевок ее портрета.)* Не надо, Нико. Разве могу я сейчас позировать? Разве можешь ты рисовать? Зачем нам притворяться?

Нико *(снимает холст с мольберта)*. Как всегда, ты права, Нина! Я хотел немножко притвориться, чтобы тебе легче было ждать. Как хорошо, что с тобой, Нина, совсем не надо притворяться!

Нина *(подошла к Нико, взяла его за руку)*. Что с ним, Нико? Вдруг его убили или поймали и снова заперли в одиночку, на бессрочные муки. Ведь если во время побега поймают — пристрелят на месте.

Нико *(озабоченно барабанит пальцами по столу. Спохватывается, гладит Нину по плечу)*. Зачем поймают? Мало он им головы дурил? Не баран Камо, а орел... Его не поймают. *(Задумчиво.)* Знаешь, Нина, простить себе не могу, что портрета Камо не сделал. Самое живое в мире лицо. Глаза — пламя, а рот нежный, как у девушки. И весь он стройный, крепкий.

Нина *(берет из банки веточку унаби)*. Опять унаби цветет, как в день, когда так внезапно уехал Камо! Чего только он за это время не перенес!.. *(Ходит по комнате.)* Где он сейчас, как ты думаешь? Убежал? Не схватили?

Нико *(смотрит на часы, заметно волнуется, но скрывает это от Нины)*. Успокойся, Нина. Срок еще не прошел. Ты устала... вижу, всю ночь не спала. Засни на тахте. Я буду лицо твое обмахивать веткой унаби. *(Берет у нее из рук ветку.)* Меня эти ветки с тобой познакомили. А ты, Нина... *(Замолкает.)*

Нина *(быстро оборачивается)*. Что ты хотел сказать, Нико?

Нико. Хочу сказать... хочу сказать... Когда ты Камо в первый раз увидела?

Нина. Когда я в первый раз его увидела? Это было у сестры его, вечером, он только что убежал из батумской тюрьмы и рассказывал, как было дело... *(Пауза. Внезапно.)* Знаешь, Нико, такие люди, как Камо, даже не замечают, когда и как они отказываются от любви. *(Опустила голову на руки.)*

Нико *(подошел к Нине. Хочет что-то сказать, но ничего не говорит. Махнул рукой, быстро подошел к картине. Широкой кистью мазнул по полотну. Бросил кисть. Опять подошел к Нине. Говорит негромко).*

Был добрый Дэв-Гмири,
В груди его сердце билось — очень большое.
Неспокойно текла кровь в его жилах — кипела.
Посмотрел и послушал он землю, чтоб ее переделать,
Чтоб не было бедных. Ни войны. Ни обиды.
Стали злые люди мешать Дэву-Гмири.
Даже ангелы стали мешать ему.
Бог любил, чтобы все жили тихо, а он один шумел.
Дэв-Гмири богу сказал: «Не хочу тебя ждать.
Сам начну все переделывать».

Нина *(подняла голову, улыбается сквозь слезы).* Благодарю, Нико. Это ты сочинил?

Нико. Сам не знаю, откуда в голову залетело. *(С тревогой смотрит на часы.)*

Стук в дверь.

Нина *(кидается открывать).* Это товарищ Макар... Его стук.

Входит Макар, быстро закрывает за собой дверь.

Нина и Нико *(вместе).* Что с Камо?

Макар. Убежал Камо! Лучше меня вам товарищ об этом расскажет. Он помогал. Входи, Захар. *(Открывает дверь.)*

Входит Камо в костюме князя. На нем великолепная черкеска, папаха, богатое оружие.

Знакомьтесь, Захар Дадешкелиани, хороший товарищ, нередко выводил нас из беды. А это — Нина, Нико. Свои!

«Князь» чопорно здоровается.

Нина. Где Камо? В безопасности он?

Камо. В безопасности ваш Камо никогда не бывает. Но в дураках он тоже не любит бывать.

Нико. Где он, где? Кем он теперь прикинулся? Не узнали его?

Камо. Надо думать, что жандармы его не узнали, если близкие не узнают. *(Смеется.)* Ай, Нина! *(Протянул ей обе руки.)*

Нина *(кинулась к Камо)*. Жив! Жив!

Камо *(обнял Нико)*. Нине можно простить, она не занимается рисованием, а тебе, Нико, стыдно — художник. Сколько раз сам меня гримировал.

Нико. А откуда черкеска, оружие?

Макар. Денщик настоящего князя Дадешкелиани нашим человеком стал. Его столько раз хозяин по морде бил, что научил очень хорошо наши листовки понимать.

Нико. Ну, расскажи, как бежал, Камо?

Камо. Из окна выпрыгнул. Веревка гнилая попалась, оборвалась. Упал. Так громко ругался — удивительно, как часовой не слыхал. Ногу ушиб. И хорошо, что нога заболела, — меня ярость взяла. От ярости Куру переплыл. Сейчас чуть хромаю. Сейчас я...

Макар *(прерывает)*. Подробности потом узнаете. «Князь» не имеет времени на болтовню. Через два часа «князь» должен быть на вокзале — едет в Петербург. *(Озабоченно.)* Вот только с паспортом беда: еще нет его у нашего «князя».

Нина *(нерешительно)*. Может быть, немножко отдохнет Камо? Ведь все равно паспорта еще нет...

Макар. Должен быть паспорт. Нужно ехать. Время не ждет. Наступает, друзья, новая эра — возрожде-

ние нашей партии. Жив революционный дух среди пролетариата, среди большевиков-ленинцев. Российская организационная комиссия с твердой верой принимается за великое дело — партийное строительство. Ленину нужны люди, которые могут практически помочь организационной комиссии.

Нико. Героическая работа — собрать в наших условиях общепартийную конференцию.

Макар. Ленин сейчас за границей готовит эту конференцию. Вот помощником и поедет из Петербурга наш «князь»... Готов, Камо?

Камо. Как вихрь полечу!

Стук. Торопливо входит Гиго. Ни с кем не здороваясь, обращается к Нине.

Гиго. Скорей, Нина! Уговорились, что тебя пришлем за паспортом князя. Отправляйся, Нина, на место старой типографии. Там тебя человек встретит, бывший денщик Дадешкелиани. Получишь паспорт князя Дадешкелиани, на вокзал придешь к петербургскому поезду с каким-нибудь большим букетом. В него понадежнее паспорт засунь. Одному только «князю» этот букет продашь. Поняла?

Нина. Поняла.

Макар. Ты, Нико, должен вместе с Ниной быть на вокзале. Мало ли что может случиться. Из нас никому нельзя.

Нина *(подошла к Камо)*. Перевязку тебе надо сделать, а то ведь нога может разболеться.

Камо *(смеется)*. За границу «князь» едет старые раны лечить. Хромать — даже очень кстати.

Макар. Торопись, Нина. А ты, Нико, скорей за букетом!

Камо *(берет из банки цветущие ветки унаби, смеется)*. Старый знакомый! Унаби в цвету. Любимое дерево Нико. Ветки унаби революции служили. Этот букет мне о Вано напомнил. В таком букете Нико прятал шрифт для Вано.

Нико *(задумчиво)*. Наш Вано теперь в ссылке, в Вологодской губернии.

Камо. Большую школу революции проходит.

Макар. Да, для Вано — замечательная школа. *(Заторопившись, обращается к Нине.)* Нина! Паспорт принесешь, спрячь его в букет и — на вокзал. У тебя, Нико, в помощниках краски, у Нины — цветы. «Князя» с его денщиком на вокзале ищите.

Нина. А кто денщик?

Камо. Служитель больничный, Брагин. С ним вместе едет. *(Протягивает Нине руку, крепко жмет. Понизив голос.)* Вот и свиделись, Нина...

Нина *(печально)*. Свиделись! И сейчас опять расстанемся. *(Спохватывается, меняет тон.)* Я боюсь за твою ногу. Хватит ли у тебя сил?

Макар. Хорошо взвесь свои силы, Камо. Если не можешь — лучше отложим твой отъезд.

Камо. Зачем откладывать? Пока я в клетке сидел, столько силы набрал — гора Везувий! Сердце разорвать может эта сила. Взял бы весь земной шар за уши, царей и буржуев к черту стряхнул, и тогда можно земной шар, как дитя чистое, — прямо в социализм. На руках!

Все смеются.

Макар. А теперь, товарищи, попрощаемся с нашим дорогим Камо...

Камо. Уезжаю, товарищи. Ильичу от вас горячий кавказский привет передам. Обещаю, буду работать как десять большевиков, потому что всех вас в своем сердце везу. Все, что надо, сделаю, живой или мертвый. Скорее всего — живой. Это так же верно, как и то, что я совсем не князь Дадешкелиани...

У ВОКЗАЛА

С двух сторон на широкой лестнице вокзала деревья в кадках. Нарядная толпа, едущая с петербургским поездом, и простая публика.

Чистильщики сапог, мальчики *(бегают со щетками и чуть не ловят прохожих за ноги, крича наперебой)*. Мазь — первый сорт! Черный Конго! Самый черный!

Двое мальчишек подрались у ног прохожего.

Прохожий. Полицейский, черт знает что... Гоните их в шею!

Полицейский. Я вам!

Мальчишки — врассыпную.

Среди публики Нико с ящиком красок, рядом Нина, одетая мальчиком, с тремя букетами, еле удерживая их в охапке. Около нее — два пшюта.

Первый *(Нине)*. Мальчик, давай я куплю букет!

Второй. И мне давай...

Чистильщик сапог *(обиженным голосом)*. Ничего им не давай — они даром норовят... Мне не заплатили.

Пшют *(замахивается тросточкой)*. Я тебе задам!

Первый мальчишка *(отскочил, дразнит языком)*. Задам... задам... У самого в кармане — вошь на аркане!

Второй мальчишка *(вынырнул из-за спины полицейского, тоже дразнит языком)*. А в другом кармане — клоп на цепи.

В толпе внезапное волнение. Жандармы.

Нико *(Нине)*. У всех, идущих к поезду щупают правую руку. Понимаешь, почему?

Нина *(в ужасе)*. А его все нет... Попадет под осмотр...

Нико. Вот он идет.

Появляется «князь» Камо, за ним, изнемогая под тяжестью чемоданов, «денщик» его — Брагин.

Камо *(жестом подзывает жандарма, тот подбегает, руку под козырек)*. Слушай, любезный, помоги денщику!

Жандарм угодливо берет чемодан и сопровождает «князя» и его денщика.

(Подходит прямо к дежурному жандарму). Что за осмотр? Почему задержал? Поезд не ждет...

Дежурный жандарм *(рапортует, вытянувшись)*. Ваше сиятельство, велено у всех пассажиров правую руку осматривать по случаю бегства политического преступника из Михайловской больницы.

Камо *(величественно)*. Весьма одобряю рвение корпуса жандармов. Вели пропустить.

Дежурный жандарм. Расступитесь, расступитесь!

Камо с Брагиным и жандармом проходят на перрон. Нина в совершенном отчаянии, что Камо ее не заметил и уедет без паспорта.

Полицейский *(подходит к Нине)*. Эй ты, с букетами... Здесь не место. В сторону... Слышь-ка, в сторону!

Нина, чуть не плача, делает несколько шагов назад. По ступенькам бежит жандарм, который нес чемодан Камо, направляется к ней.

Жандарм. Давай букеты! Князь велел.

Нина. Этот лучше всех. *(Протягивает букет из ветвей унаби.)*

Жандарм. На черта князю трава!... Получше давай! *(Берет другой букет.)*

Нико. Слушайте, князь очень капризный, я его знаю, он любит в морду давать. Берите все три букета. Мы вам верим, здесь подождем, деньги принесете потом.

Жандарм *(хватает все три букета)*. Ну, давай весь огород! *(Уносит на перрон все три букета.)*

Полицейский *(Нине)*. Теперь свои денежки жди до завтра. Плакали твои денежки.

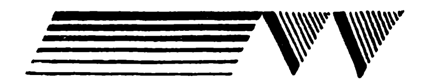
Свистки. Слышно, как отошел поезд. У вокзала пустеет.

Нина *(смеется сквозь слезы)*. Уехал, уехал... В добрый час!

Занавес.

ПУГАЧЕВ

Киноповесть



Базарная площадь. Торговые ряды. Продают скот, людей, вещи. Ссыльные поляки, татары. Высокий помост, где творят суд и расправу. С помоста сейчас убирают спешно какую-то рухлядь. На помост поднимается палач. Гарнизон окружает помост. Профосы с метлами выстраиваются шпалерами в два ряда. Палач пощелкивает огромными ножницами.

У помоста давка. Все стараются занять получше места.

— Пороть будут?

— Нет, должно, ноздри рвать...

— Бабе подол отстригут...

— Ведут!.. ведут!

На помост под руки вводят бабу, — она лягается. За ней поднимается судейский чиновник:

— Ко всеобщему вниманию — слушайте! По сенатскому указу «о неболтании», яко жив в бозе почивший император Петр Третий, учиняется позорное шельмование вдовой женке Прасковье Акудиной. Срама ради надлежит оной Прасковье вырезать подол и скрозь метлы прогнать из города вон. *(Палачу.)* Приступать к шельмованию!

Палач пытается поднять бабе подол, она вырвалась и кричит:

— Я, православные, невиновная! Сказала, что нынче всяк говорит, — идет наш батюшка!.. идет наш мужицкий царь!..

— Молчать, полоротая!

Голодранец, высунув из бочки голову:

— Отбить ее надо, сказала, что все кругом говорят!..

Суматоха, крики:

— Держи!.. Лови!..

Кого-то схватили.

— Окаянные, да рази это я кричал?!

Голос голодранца издалека:

— Жив, жив, идет мужицкий царь!

Судейский кричит, стараясь всех заглушить:

— Барабаны!

Но Прасковья не унимается:

— Да я твои барабаны перекрою! Мужа на войне убили, сына в остроге сгноили, ни кола у меня, ни двора!..

Бьют барабаны, палач поднимает бабе подол и отстригает его. Потряс им над головой, бросил на жаровню — подол горит. Общий хохот. Прасковья спускается вниз:

— Срамники гарнизонные!

Прасковья проходит мимо профосов, которые, вместо того, чтобы ее гнать, с одурелым видом держат метлы вверх, как на параде, — павой прошла.

Судейский чиновник накинулся:

— Чего дуру метлами не стегали?

— Метлами не людей, сор метут! — язвит из толпы тенорок.

— Стройся!

Гарнизон уходит.

На помост вводят свору гончих, молодую женщину, несут посуду, трельяжи, картины.

Пугачев и острожник в кандалах собирают кормовые.

— Подайте, православные, острожничкам голодным!.. — тянет Пугачев.

— Должно, ты цыган?.. Коней крадешь? — зацепила бойкая бабенка.

— За тебя, сударушка, попова мерина дам, — отвечает Пугачев.

Подходит парень и говорит острожнику:

— Телега готова. Филимон велел ждать здесь, у помоста.

Смотрит на кандалы. Пугачев показывает, что разбиты и чуть, для виду, держатся.

Из трактира выходит конвойный. Пьян. Обращается к Пугачеву:

— Ну? Довольно набрали? Айда в тюрьму или еще походите?

— Скупо ноне подавать стали... — говорит острожник и дает конвойному несколько монет.

— Вот все...

— Ладно! Побродите еще... А я отсюда, значит, ни-ку-у-ды!..

Конвойный направляется снова в трактир.

К помосту приближается телега, на которой сидит сын острожника Филимон, жених Марьи, дворовой девушки помещика Сокольского.

С другой стороны на площадь в коляске цугом въезжают помещик Волоцкий и Сокольский.

Пугачев и острожник продвигаются к помосту.

Сокольский указывает на помост и говорит:

— Вот что осталось у меня от наследства. Продам все — и в Париж... — Напевает шансонетку.

Издали песня канатных. Ведут беглых для обратного их водворения к господам.

Сокольский поет шансонетку на мотив песни канатных.

— Сколько скорби! Мне нравится напев... Наш русский народ музыкален... *(Волоцкому.)* Вы хотели купить красавицу Марью? Эй, Марья, выходи! Здесь ты?

Марья выходит из-за своры. Бледна, глаза горят:

— Здесь я.

Волоцкой осматривает Марью:

— Оч-чень недурна... Я покупаю. А вас зову, мой друг, ко мне, в усадьбу...

— Слуга покорный... Тут дай бог ноги унести.

— Чепуха! Наш народ — смиренная скотинка.

Пугачев и острожник подходят к помосту:

— Подайте, православные, острожничкам голодным!..

Волоцкой указывает на них Сокольскому:

— Вот вам живой пример! *(Обращается к Пугачеву.)* Эй, ты... был много бит?

— Без счета, ваша милость...

— А на кого имеешь зло?

— Как можно, ваша милость?.. Известно, спина хоть наша, да все она и ваша...

Волоцкой говорит Сокольскому:

— Вот видите...

Сокольский смеется.

— А когда дерут, кому больно?

— Тому и будет больно, кому прикажете.

Волоцкой дает Пугачеву деньги.

— На, получай, божья скотинка, за умные ответы.

Пугачев кланяется низко, говорит нараспев:

— Воздай вам бог за вашу щедрость...

Сокольский и Волоцкой отходят. Пугачев перемигивается с острожником.

Приближаются канатные.

Песня канатных.

Канатные у водокачки. Долго и жадно пьют.

Волоцкой и Сокольский подошли.

Волоцкой спрашивает конвойного:

— Имею сведения — здесь пятеро моих людей... помещика Волоцкого.

Унтер докладывает с тупым лицом:

— Так что, ваше благородие, их было пятеро, один оставши Курка — хохол. Прочие выбыли в тайгу.

Унтер отстегивает от каната чуть живого человека. Ему трудно узнать своего барина. Узнал. В глазах сначала ужас, потом ярость.

Конвойный указывает на него Волоцкому:

— Вот этот! Выдать не могу. Мне должно сдать его в острог, согласно ведомости.

Волоцкой с усмешкой:

— Время терпит. Запороть успею!

Поворачивается, уходит.

— Ни, не поспеешь. Ни!

Курка выхватывает из-за голенища нож. Конвойные его схватывают. Суматоха.

Пугачев и острожник сбрасывают кандалы, вскакивают в телегу Филимона и скрываются вдали.

ХУТОР ТОЛКАЧЕВЫХ

Комната Пугачева. Большая печь. По стенам лавки, красный угол с образами. У стола, задумавшись, Пугачев. Входит Чика с узлом. Разворачивает, подает богатый, алого бархата, кафтан.

— На вот, одевайся. По всем уметам прогнали слух о чудесно спасенном Петре Федоровиче. Ждут тебя атаманы, подоспели татары, и беглых немало. Все собрались под дубом.

Пугачев держит кафтан в руке, словно его взвешивает.

— И немного, кажись, весу, а надеть тяжело.

Вдруг быстро надевает кафтан.

Чика делает шаг назад, кланяется низко:

— В час добрый!

Лужайка под большим дубом. Ждут появления Пугачева. Он выходит вместе с Чикой. Все приветствуют:

— Царь наш... батюшка!

Выступает от войсковой руки старик:

— Батюшка, велика казачеству обида от царицы. Встаем за обиду твою и свою!

Возгласы из казачьей толпы:

— Идем на Кубань!

— На Терек!

Старик падает в ноги Пугачеву.

— Куда идти с родной земли, надежа? Силушка вся в нее вложена.

Пугачев ласково подымает старика:

— Ребятушки, бежать вам некуда — вся земля ваша. И порядок на земле должен быть ваш.

Всколыхнулись люди.

— Пушек нет, оружия мало... все у дворян.

Пугачев с большой силой и властью:

— А кто на заводах сидит? А кто на пахоте обливается потом? *(Обращается к секретарю своему.)* Иван, читай!

Секретарь читает:

— «И жалоparticularly я вас рекою с вершин и до устья, и землею, и травами, и денежным жалованьем, и свинцом, и порохом, и хлебным провиантом. Император Петр Третий».

Все в голос:

— Царь наш Петр Федорович!

ВЫСТУПЛЕНИЕ В ПОХОД

Толпа около двухсот человек. Казаки, беглые, калмыки, татары. Пугачев приказывает развернуть знамена разных цветов, с нашитыми на них восьмиконечными крестами. Знамена прикрепили к копьям и, сев на коней, двинулись.

ПОД ЯИЦКОМ

Казаки подъехали к мосту на реке Чаган, что пред Яицким городком. На той стороне моста, защищая Яицк, стоит с казаками старшина. Пугачев посылает к нему конного с манифестом. Держа бумагу высоко над головой, казак скачет по мосту.

— Вот вам указ от *государя!*

Старшина берет указ. Смотрит. Отвечает с надменностью:

— У нас *государыня*. А государя Петра Федоровича давно нет на свете.

Посланный скачет обратно. Казаки смотрят указ, передают его один другому. Вдруг отделяется полсотни человек и вслед за гонцом Пугачева скачут к нему. Их примеру следует множество.

ВЗЯТИЕ КРЕПОСТЕЙ

Под звуки набата по степи на конях скачут казаки. Крестьяне сначала идут небольшими толпами. Как снежный ком, падающий с гор в низину, они растут на глазах. Вооружаясь чем попало, крестьяне идут по большим дорогам и проселочным. Идут по тропинкам, лесам, болотам. Идут по первому кличу Пугачева, по прочитанному грамотеем «манифесту» батюшки.

Набат переходит в ружейную и пушечную пальбу. Орды пугачевские врываются в крепости и берут их под перезвон колоколов.

Крестный ход с духовенством, с властями, с хлебом-солью выходит навстречу Пугачеву. Он в зеленом бархатном кафтане, с лентой через плечо, въезжает торжественно на площадь и принимает присягу. Верстает солдат в казаки, остригая им косы.

В УСАДЬБЕ ВОЛОЦКОГО

Барская усадьба. Лужайка. Вдали двухэтажный, с колоннами и службами дом. На скамье под липой сидит Волоцкой. Толпа дворовых жмется по сторонам. Приказчик надевает очки, собираясь что-то читать.

Волоцкой по-хозяйски обвел глазами своих людей — все ли тут:

— Объявляй, Фадеич!

Приказчик старается читать благолепно, подражая дьячку:

— «Матери, жены, дочери и прочие домашние женского пола, готовьте незамедлительно нижеотмеченных мужиков для перевода в барское, вновь приобретенное имение. Нижеотмеченные мужики: Петр Савенков, дед Иван-пчельник, Санька-крутой, Егор-малый. Слесаря, плотники, конюха следующих хуторов...»

По мере того как приказчик называл имена, вскрикивали истошным голосом то одна, то другая баба. Речь приказчика прерывает старуха, мамка барина. Она выбежала, кинулась в ноги Волоцкому:

— Помилосердствуй, батюшка барин! Повели заодно с Петром и меня, старую...

Волоцкой хмуро, не глядя на старуху:

— Ты, кормилица, здесь мне нужней. Куры на птичьем без тебя передохнут.

Мамка хватает барина за ноги, обнимает:

— Батюшка мой, ужель не заслужила тебе всей жизнью своей? Ты молоком моим вскормлен, моей заботушкой выхожен... а с Петром мы вместях сорок годков прожили!

Волоцкой делает знак приказчику отвести мамку. Приказчик, ее урезонивая:

— Что тебе в старике, добро б молодой был!

Мамку оттаскивают, вместо нее перед барином дед Иван.

— Батюшка барин, меня, коль без сына выведешь, в тоску смертную ввергнешь. Пчелки людей горьких не любят, на чужбине медку не дадут. А долго ли жить мне на свете?

Волоцкой хмурится.

— Помрешь — и без сына в землю зароют. *(Обращается к крестьянам.)* Не вашего ума это дело! На то воля государыни — заселять новые земли. *(Старосте.)* Кто завопит — отмечай!

Мужики жмутся пугливо друг к другу, как табун овец под бичом.

Волоцкой с внезапным гневом:

— Все против господ умышляете! Филимошку, конюха, небось никто из вас не раскрыл? Курку — канатного злодея, тайно кормите! Жив еще он? Не сдох?

Приказчик, оробев:

— Чуть дышит, ваша милость.

— Привести сюда Курку!

НЕЖДАННЫЙ ГОСТЬ

Дорога перед усадьбой Волоцкого. Пугачев верхом. С ним крестьяне из только что сожженной усадьбы Сокольского. Вдали — пожар. Крестьяне вооружены чем попало. Подросток Мишка, дворовый Волоцкого, выбегает навстречу Пугачеву.

— Батюшка, торопить к тебе мужики послали. Давно тебя ждут.

Пугачев своим спутникам:

— Ребятушки, будьте в засаде.

Та же лужайка перед барским домом. Вносят на рядне Курку. Он при последнем издыхании.

Волоцкой склоняется над Куркой:

— Ну что? Исповедовался? Нынче последнюю порцию тебе всыпят.

Курка слабым голосом:

— Один кинец... вмирать легше, як таку муку терпеть.

— Зачем бегал? По Украине таскался!

Приказчик угодливо:

— Родной язык позабыл. Хохлом обернулся.

Волоцкой говорит раздельно, без крика:

— Таловых прутьев. Рассолу...

Вбегает Мишка, с деланным испугом:

— Батюшка барин, на околице толпа! Ей-богу, те самые, что Сокольских усадьбу сожгли! Впереди на коне — не иначе Пугач!

Волоцкой командует привычным к власти голосом:

— Дворовым оружие!

Дворовые окружают барина и приказчика. Сзади них скрытно пробираются вооруженные вилами и косами крестьяне-пугачевцы. Они все растут в числе, но пока прячутся от глаз Волоцкого в кустах.

— Тут бой и дадим. Много их?

Мишка врет убедительно:

— Горсточка, батюшка барин! Все пьяные, не разберут, куда кони ведут.

Смеется Волоцкой самодовольно:

— Как кур во щи к нам Пугач угодит! Генералы не справились, а мы его штатским манером...

Внезапно въезжает Пугачев с небольшой свитой.

Волоцкой круто поворачивается, говорит, издеваясь:

— Здравия желаем, ваше величество... Добро пожаловать!

Пугачев насмешливо смотрит в упор.

— Узнал меня?

— На собственный вашего величества портрет очень похожи...

— Значит, ко мне на службу тебе охота?

Волоцкой вспыхнул, кричит, теряя самообладание:

— Довольно шуток! Вязать злодея!

Пугачев делает знак крестьянам. Они кидаются из кустов и хватают за руки Волоцкого. Дворовые тотчас присоединяются. Волоцкой в ужасе и ярости твердит:

— Злодея вязать! Вя-зать!

Курка, приподнявшись на руках, с неожиданной силой:

— Злодей вже связан! Не тратьте силы!

Выбегают из засады все пугачевцы. Связывают приказчика и немногих сопротивляющихся дворовых и барских барынь.

Пугачев шагнул к Курке, приподнял его:

— Канатный! Курка! Здоров будешь, выходим тебя.

Курка восторженно восклицает:

— Хаї живе наш батько!

Пугачев подходит к Волоцкому:

— Ну, барин, а теперь, может, припомнишь, чьей спине больно бывало, когда на конюшне дирал?

Вдруг Волоцкой на самом деле узнал Пугачева. Он в бессильной, безмолвной ярости.

Пугачев, указывая на Волоцкого крестьянам:

— Ну, ребятушки, что нам с барином сделать?

Крестьяне единодушно, вслед за Куркой:

— На березу!

Пугачев машет белым платком. Волоцкого уводят вешать.

Пугачев поворачивается к крестьянам и торжественно говорит:

— А всех вас, ребятушки, жалую свинцом-порохом, хлебом, солью, лесами и реками от вершин и до устья и вечной вольностью. Идете за мной?

— Идем, батюшка, все идем!

БЕРДА. ДВОРЕЦ ПУГАЧЕВА

Пугачев на крыльце. Толпа. Снизу старается пробраться к ступенькам Прасковья Акудина; казак ее не пускает. Она кричит:

— К батюшке!.. к заступнику!..

Казак отпихивает Прасковью:

— Военная коллегия рассудит, туда иди!

Прасковья напирает на казака:

— Сама я военная... на службу хочу.

Пугачев с любопытством смотрит на бабу, узнает Прасковью Акудину.

— Пропустить ее!

Прасковья влезла на крыльцо. Поклонилась Пугачеву. Он, смеясь, говорит:

— Фельдфебелем тебя за молодечество жалуем. Будь отныне над всеми пленными женками командиром!

Прасковья всплеснула руками.

— Ой, батюшка, с бабами мне не совладать! Лучше я помещиков дозирать буду, чтобы по справедливости...

Пугачев ухмыляется.

— Заведуй поркой, фельдфебельша: кому сколько положишь, тому столько и всыплют.

Трубят кратко, но торжественно, трубы.

Чика Зарубин говорит с крыльца, кланяясь на все стороны:

— Всех вас, послов башкирских, калмыцких, татарских народов, и вас, прелюбезные нам уральские мастера заводские, просим милости в покои царевы.

ВОЕННАЯ КОЛЛЕГИЯ

Берда. Помещение военной коллегии Пугачева. Просторная изба. Большой стол — на нем чертежи, карты, книги. Атаманы их смотрят. Заседание. Пугачев входит и держится не «царем», а ровней, товарищем.

Входит Творогов, Пугачев делает шаг к нему:

— Вот и судья наш, Иван. Ну, все в сборе. Решайте, атаманы: войском брать Оренбург аль еще измором тянуть. Там люди уже крыс переели, одной глиной кишки набивают.

Говорит Творогов:

— Я полагаю, город взять. Объявить область вольной казачьей землей, да на Яик.

— С твоим, Иван, планом из царей в псари угодим! Что предложишь, Чика?

— Осаду продлить, — отвечает Чика Зарубин.

Белобородов подхватывает:

— Захват сделать позиций, потребных арьергарду. Заводы — первее всего!

Чика закрепляет мысль Белобородова:

— Верно. Заводы надобно брать.

Пугачев сосредоточен. Он быстрым решением отозвался на мнения:

— Ты, Чика, двинешься на Уфу... Ты, Белобородов, — на заводы. Заводские должны нас укрепить.

Пугачев встает. За ним поднимаются все и расходятся.

Творогов хмуро говорит единомышленнику — яицкому казаку Денису:

— А нас с тобой на подметки, стало быть...

ЗИМОВЕЙСКАЯ СТАНИЦА

Только что, согласно приказу Екатерины, сожгли дом Пугачева. Торчат обгорелые пни. На пожарище — Софья, жена Пугачева. Стоит недвижно, с отчаянием на лице. Казачки, казаки, бродячий люд. Стражники с лопатами стоят у больших возов с солью, которой, позора ради, приказано после сожжения посыпать пепелище.

Старшина объясняет народу:

— Дом злодея Емельки Пугачева, согласно приказу императрицы, предали пламени. Оный пепел развеяли. Место прокляли. Остается нам, во исполнение прикава, сие место, навеки проклятое, посолить крупной казенной солью. *(Приказному.)* Читай жителям, за какие вины сие посрамление свершено над злодейским местожительством.

Приказный вынимает бумагу, читает:

— «Опасайтесь, жители! Сей премерзкий злодей взял со своими ордами наши крепости... *(Перечисляет*

с невольным, все растущим восхищением) Верхнеозерную, Яицкий городок, Та-ти-ще-ву крепость. *(Захлебываясь.)* Он обложил самый город Оренбург».

Старшина выхватывает у приказного бумагу:

— Стой, стой! Каково читаешь? Как осмелился?

Приказный — дурацкое лицо.

— С подлинным печатным сопрягается верно...

— Не в печати есть суть — *голосом* ты нахально подаешь!

Взяв бумагу, читает сам, впадая в тот же соблазн:

— «Сей окаянный злодей обложил город Оренбург. Подверг его жестокому гладу. Все вылазки из города *успешно отражает».*

Старшина к толпе:

— Прекратить болтание! Предстоит последнее позорище окаянного места. *(Стражникам.)* Мечите лопатами соль!

— Бабочки! Хватайте ведрами соль!..

Бабы с ведрами обступают телегу.

Старшина их хватает и оттаскивает.

— Прочь, бабы! Эй, стражники!

Стражники раскидывают соль, бабы подставляют ведра.

Одна вырывается из рук старшины:

— С нас казна за соль последнее дерет, а тут дарма землю солит!

Подходит поп:

— Прихожане! Сия соль на прокляту землю сыпана, проклята есть.

Баба набросилась на попа:

— Тебе небось твоя попадья на всю зиму огурцов

насолила, а мы — пустой квас хлебай? За мной, девоньки!

Драка со стражниками. Драка баб промежду собой. Всех оттащили.

На пожарище пусто. Софья, сидя на бревне:

— Вот теперь у меня ни кола, ни двора. Муж — двоеженец, на какой-то Устинье женился... В церквах царицей ее величают. А я, выходит, безмужняя при живом муже.

Баба садится рядом с Софьей:

— Не хнычь... мужика своего разыщи да вцепись ему в бороду! А царицу Устинью за косы!..

Софья вскочила:

— Двоеженец проклятый! Дай срок, себязванство его обличу! Осрамлю! Загублю! На весь базар крикну: «Это не мазаный царь, а Зимовейской станицы казак! Я супруга ему!»

— Ну и дура! Что деньжищ он теперь стоит! Кабы у меня такой удалец, все б простила ему...

— И что при живой жене на другой женился?

— Глаз-на-глаз облаяла, держись! Ну, а царицей рядком бы с ним посидела!

— А детей на кого? Нет! Детей я не брошу!

ВО ДВОРЦЕ ПУГАЧЕВА

Комната. Пугачев стоит перед зеркалом и пытается сделать плавные жесты.

Входит Курка и надевает на Пугачева ленту и регалии.

— Пора вам, батько, на выход, послы подходят.

— Рукой им салют надо делать, а у меня *(показывает)* ровно медведь оглоблей...

Курка важно прохаживается для примера.

— Переступать вам, батько, треба гордо, як индыку... Зыркать повирх всих голов.

Пугачев смеется и говорит:

— Башкиры и калмыки важность любят. Покличь моих нравных придворных фрейлин.

Курка стучит кулаком в соседнюю дверь:

— Эй, хрейлины! Выводите батька на прием!

Девки, богато одетые в бархат и бусы, берут Пугачева под руки и ведут на крыльцо.

Крыльцо. На крыльце. По одну сторону Пугачева становится казак с бердышем, по другую — казак с саблей наголо. Под музыку происходит торжественный прием послов Нурали-хана.

Заводские рабочие появляются с пушкой.

— Пушку везут... Пушку!

Пугачев забывает всю важность, сбегает вниз по ступенькам, к рабочим, кричит на ходу:

— Откуда, ребятушки?

— С Авзяно-Петровского! Принимай гостью, надежа!

Пугачев поочередно обнимает ближних.

— Спасибо... Спасибо, ребятушки!

Пугачев тащит заводских с собой на помост.

— Идем глядеть, как перед нами регулярные журавлем пойдут. Отряд Чернышева-генерала взят нами...

На помосте стоят заводские. Среди них Пугачев и послы Нурали-хана. Подходит Творогов:

— А куда, надежа, *мне* стать прикажешь?

Пугачев, пожимая плечами:

— Ослеп, что ли, Иван? Где место, там и стань! Не по чинам у нас людям цена.

Выходит отряд солдат Чернышева. Вскидывают ноги, как полагается по военному артикулу. Общий хохот.

— Ну и журавли!..

Пугачев, встретясь глазами с офицером, сделал важное лицо и задрал голову — вспомнил «царя».

Филимон схватил одного солдата, под общий смех пощупал:

— И где это у них пружинки запрятаны? Как есть заводные!

Филимон солдата пустил. Он, как деревянный, догоняет своих.

Парадный покой. Богатое кресло. Над ним портрет цесаревича Павла. Около кресла — казак с бердышем, другой с саблей наголо.

Пугачев в богатом кафтане, с лентой через плечо. Рядом с его «троном» кресло пониже: на нем сидит Устинья. Вокруг нее придворные девки. Они то и дело подносят ей на подушке вырезную печать: «Царица Устинья». Печать Устинья прикладывает к подаркам для жен союзников.

Пугачев — очень важный, чуть кивнув головой, говорит послу башкирского вождя Салавата:

— Передай нашу благодарность храброму Салавату за лихих жеребцов.

Устинья, обращаясь к послу, не без жеманности:

— А мы в свой черед шлем Салавату тюбетейки, золотым шитые... а женам его шлем соболя.

Придворные девки подносят подарки послу.

Дежурный казак с аксельбантом докладывает Пугачеву:

— Надежа, с тобой разговор хочет иметь из Оренбурга некий... сказывается, послан от Ресдорпова генерала. Страховиден!

Пугачев набрал царской важности:

— Привести пред наши очи.

Казаки вводят Хлопушу. Пугачев, с интересом оглядев его, спрашивает:

— Да кто же ты будешь?

Хлопуша очень естественно, внушая сразу к себе доверие:

— Разбойником почитаюсь... Хлопуша прозванье. Клейменый.

Пугачев с живостью:

— С чем пожаловал?

— Убить твою милость подослан. Из тюрьмы на этот предмет вызван был Раздрейфиным генералом. «Заслужи-ка, — говорит мне Раздрейфин, — перед цельным отечеством!»

Общий хохот. Пугачев рассмеялся.

— Ну что же, заслуживай!

— Мне, батька, рука с тобой вместе идти. На вот подарочек...

Хлопуша достает из-за пазухи печатный лист:

— Раздрейфин генерал про тебя публикацию сделал. Ноздри, говорит, у него, как мои, рваны, а лоб — клеймен. То-то шапку не скидаешь *(смеется)*, видать, правда!

Прасковья *(наскакивает на Хлопушу)*:

— Брехня! Нос у Надежи не тронут, и лоб чистый!

Пугачев смеется и снимает шапку.

Казаки восторженно кричат:

— Царь наш батюшка, Петр Федорович!

Пугачев вступает в свою роль «царя». Слегка кивнув на молодого польского офицера:

— А что это ты, пан, все еще не в нашей шапке ходишь? Коли ты наш, Устинья, надень-ка ему казацкую!

Офицер подходит к Устинье, которая с ним кокетничает.

Придворная девка на подушке подносит Устинье казацкую шапку, она надевает ее офицеру и треплет его по щеке.

Прасковья налетает на Устинью:

— Уж коли ты царица, сиди как пава, а не егози!

Устинья вырвала у девки платок, в сердцах хлопнула Прасковью:

— Без понуки мне молвить не смей! Царица я! Перед царицей полагается стоять да молчать.

— А ты батюшку нашего не позорь. Сорокой не крутись!

Пугачев, за ним весь «двор», смеются. Пугачев машет рукой:

— Ну, бабы...

Подзывает нравных девок:

— Проводите царицу в покои, а эту фельдфебельшу — в военную коллегию.

Устинья со своими придворными девками торжественно уходит.

Пугачев берет кубок вина и высоко его подымает:

— Ребятушки, а не любо ль нам выпить за нашего помощника нового, Хлопушу? Вижу, что ладный будет он атаман!

Хлопуша чокается с Пугачевым. Ухмыляется.

— Видывал виды...

Все казаки подымают кубки.

— За нового атамана!

Пугачев, садясь на простую широкую лавку:

— Садись-ка, Хлопуша, рядком, о делах погуторим.

Хлопуша тихо разговаривает с Пугачевым. Через всю палату проносится вприсядку казачишка с песней:

— Ай, Раздрыпа-генерал, каку дуру отвалял!

Все подхватывают песню. Пустились в пляс. На большом столе наставлены блюда и вина. Пугачев много и жадно пьет. Ему девка подносит какое-то особое кушанье, он отстраняет его рукой. Говорит со смаком:

— Нам вот чесночку натолки, поперчи, да с солью!

Хлопуша весело:

— И нам, красавица, того же самого расстарайся!

Появляется Курка. Его пытаются закружить в общем плясе. Курка громко выкрикивает:

— Государственное дело!.. Допустить до батька́!

Пугачев насторожился, увидя Курку; махнул, чтобы музыка стихла.

— Что скажешь, Курка?

— Батька, слухай мини добре...

— Ты это что? Пьян? Иль в уме помрачился?

— Ни, батька. И не пьян и не сказивси. А тильки я государственну измену узнал. Прикажи, батько, Ивану Творогову, хай вин каже, по якому ось ця цидулька писана? Пьяный рейтар обронил.

Курка машет запиской рейтара. Творогов сорвался с места, вспылил:

— Батюшка, одурел этот Курка! Не в свои дела лезет! Толмач сказал: по-немецкому та записка писана. И есть она — глупый билет столичного щелкопера до гулящей женки. Толмач перевел, я под стол бросил...

Курка с лукавой выразительностью:

— А я ж ей пидняв! Я на уметном дворе служив, проезжала мале́нька дивчинка с губернанткой... Поки коням корм накладали, вона мини буквы казала... Ось, бачь: немецки буквы — у их задки дуже гостры... А це буквы хранцюзски — задки, як сливы, круглы.

Пугачев, сдерживаясь, мечет гневные взоры на Творогова. Подает записку своему переводчику:

— Шванвич — переводи!

Шванвич — серьезного вида молодой офицер, перешедший к Пугачеву. Он записку сперва прочел про себя, взволнован:

— Батюшка, Курка прав. По-французски эта записка. И далеко не амурного она содержания. Сия записка есть оренбургскому губернатору донесение, что на подмогу ему двинуты войска с полковником Бибиковым во главе.

Пугачев, еще более сдерживаясь, наружно спокойно, среди гробового безмолвия:

— Привести переводчика и рейтара!

Шванвич слегка иронически:

— А последняя строчка гласит, Надежа, что голова твоя оценена уже в двадцать пять тысяч рублей.

Творогову вошедший казак что-то шепчет на ухо. Он пугается, говорит Пугачеву растерянно:

— Нет, батюшка, моего переводчика, — он сбежал! И рейтар с ним.

Курка нравоучительно Творогову:

— Я ж вам казав, Творогов, треба того толмача придержаты, а вы що? Вы на мене тильки ощерились.

Группа приверженцев Творогова, все яицкие казаки, его окружают. Денис говорит Пугачеву:

— Батюшка, не будь в подозрении на Ивана Творогова! Мы за него все головой ручаемся. Недосмотр на каждом бывает.

Творогов потупил голову:

— Я жизнью готов заплатить.

Пугачев ходит в раздраженье:

— Мне твоя жизнь, Иван, не нужна!

Остановился, в упор посмотрел на Творогова:

— За дело клади свою жизнь. Эй, вина! Вина...

Девки приносят вино. Пугачев залпом много пьет.

СОРОЧЬЯ ТОПЬ

Князь Голицын с отрядом подошел к Сорочьей Топи. Весна. Распутье. Широкий разлив воды.

В гневе Голицын:

— Подать сюда языка!

Солдаты приводят пленного башкирца. Голицын замахнулся на него нагайкой:

— Где тут брод? Показывай!

— Тута летом вода мало будет. Сичас вода много. Сичас тонуть в воде надо.

— Иди! Ищи брод!

Башкирец идет в воду, тонет... К Голицыну подлетает адъютант:

— Ваше сиятельство, переход невозможен.

Голицын отводит пренебрежительным жестом:

— Положить настил!

— Осмелюсь доложить — леса не имеется.

Голицын обвел нагайкой деревню:

— Крыши снять. Заборы, сараи, амбары свалить!

Солдаты к амбарам. Отдается команда мужикам принять участие в разборке. Постройки разорены. Настил готов.

Отряд переходит Сорочью Топь. Мужики долго смотрят ему вслед. Позади — разоренная деревня.

Старик, покачав головой:

— По живому прошли...

Молодой парень для чего-то снял шапку. Опять надел.

— Что ж, братцы, у кого царица... а у кого и царь-батюшка? Идем, што ль, к нему?

— Больше некуда...

БЕРДА. ВО ДВОРЦЕ ПУГАЧЕВА

Пир вовсю. Песенники поют песни. Музыка, пляс. Внезапно за окнами крики:

— Гонец к батюшке! Дело спешное!

Гонец вошел в палату.

— Худые вести, Надежа! Полковник Бибиков прислал Голицына с отрядом к Татищевой крепости. Уже к Сорочьей Топи подошли.

Пугачев, пьяный, кричит:

— Виселицу тому Бибику!

Чика подходит к нему. Говорит вразумляющим голосом:

— Полковник Бибиков, Надежа, не то что Раздрыпа-генерал, не то что Кар...

— Пусть тебе не то... а мне все Катькины генералы — одно дермо!

Пугачев, пошатываясь, выступает на середину:

— До сей поры всех били, и вперед бить будем!

Он сильно возбужден, кричит:

— Чернышева отряд кто взял? Генерал Кар бежал — портки растерял! На заводы пойдем, отольем пушек тьму... На Москву сядем! А Бибика я своею собственной рукой...

Пугачев валится в кресло пьяный. Пляс и пение. Творогов со своими единомышленниками держится в стороне от всех. Говорит гневно:

— Слыхали, казаки? На Москву вести хочет, а на черта нам Москва сдалась?

Молодой казак Денис, склонясь к Творогову:

— Немало нас, Иван, что с тобой заодно мыслим.

Творогов чуть кивает на Пугачева:

— Сами на голову его себе посадили — сами и снять вольны.

В дверях появляется новый гонец. Измучен. Скакал без передышки. Еле держится на ногах.

— Надежа!.. Дело плохо — Сорочью Топь Голицын перешел!

Чика трясет за плечи Пугачева:

— Очнись, батька! Под Татищевой плохо.

Пугачев с трудом подымает голову. Открывает глаза. Наконец слова Чики дошли до его сознания. Он кричит:

— Ведро мне с водой! Морозную воду!

Курка приносит ведро с водой. Пугачев окунает в

ведро голову. Трезвеет. Курка подает ему рушник обтереться. Пугачев стаскивает со стола скатерть и ею вытирается. Стаканы, бутылки летят со звоном на пол. Музыка и пляс продолжаются. Пугачев топает ногой:

— Довольно плясу! Всем в бой! Атаманы, сюда!

Все атаманы подходят к Пугачеву:

— Принимайте приказ! Ты, сотник Падуров, стой в резерве. Ты, Витошнов, оберешь снизу. Ты, Идорка, нагрянешь с татарами с верховой стороны.

Рассвет. Лагерь Пугачева преобразился. Недопитые бочки откатывают в сторону. Всюду кипит работа, снаряжают обоз, артиллеристы собирают пушку. Кавалеристы выводят коней. Атаманы построили свои части.

Пугачев в сопровождении Чики и Хлопуши объезжает войско.

СТЕПЬ

Беспредельная степь. Вечер. Догорает костер. Пугачев сидит на камне. Его платье обтрепано. На лице следы чрезмерного утомления.

Курка чистит котелок:

— А добрый у нас, батька, кулиш удался? Як буду умирать, то заберу с собой добрый шматок сала та кисет пшена сорочиньского. Стары люди кажуть, що у пекли у бисов повсегда е калена пичь, и огня там не треба.

Пугачев ходит взад и вперед. Говорит сам с собой:

— Раньше, чем в пекло нам угодить, в Москву попасть надо. Хоть разбиты мы, да не кончены. Заводы нам пушки дадут, а деревни — людей.

— Дило военно: часом нас побили, часом мы побьем!

— И чего Филимона долго нет?

— Вин кони пасе... Дуже запарились кони...

Пугачев остановился. Глянул на Курку:

— Три месяца кружим мы с тобой по степям. Реки вплавь... через горы... по болотам...

— Одних карих коней не запарили, подарок вам калмыцкого хана.

Пугачев опять ходит перед костром:

— Да, Михельсон-полковник — не Раздрыпа-генерал!

Пугачев вдруг оборачивается, сверлит глазами Курку:

— Как веруешь: царь я рожденный аль казак простой?

Курка, продолжая свою работу:

— Коли б вы, батька, и не царь були, таку заваруху на всю империю подняли, що, сдается мини, вы дуже крепко себе воцарили.

Пугачев хлопает его, смеясь, по плечу.

— Верно. Сейчас я тут с тобой сам-друг, а завтра великую силу скоплю. Эх, соснуть бы перед последним перегоном. Избило меня на седле.

Курка подает свой узел.

— Нате, батько, лягайте...

Пугачев лег, смотрит на угли догоревшего костра:

— Эх, Курка, думы спать не дают. Где-то Софьюшка горемычная?

— Не тратьте, батько, силы. Заплюшьте очи. Я вам буду дитячью писню спивать.

— А ну, спой.

Курка поет свою разбойную песню на мотив колыбельной. Пугачев засыпает. Скоро в звук песни вплетается отдаленный военный визг нападающих башкир.

Визг башкир все сильней и ближе.

Прибегает с тремя конями Филимон:

— Надежа! Салават с башкирами заводы жгет!

Пугачев вскочил:

— Салават! Союзник? Дьявол?!

Пугачев не замечает, как переодевается в хороший кафтан, ловко подставленный ему Куркой. Он бросается в седло. Филимон и Курка за ним следом. Умчались.

Костер вдруг опять разгорелся во всю силу.

ЗАВОД

Заводский двор. В глубине — здание литейного цеха. Башкиры громят заводскую контору. Вытаскивают сундуки с деньгами. Деньги рассыпаются. Башкиры вырывают их друг у друга. Из окон дома языки пламени.

Внутренность литейного цеха. В окнах пламя пожара. Визг и крики нападающих башкир.

Старый рабочий во главе группы заводских:

— Скоро и до нас доберутся! Сгорим, как крысы.

Молодой рабочий вбежал:

— Где немец-пушкарь?

— С начальством в подвале спрятался.

Штрафные рабочие, прикованные за пояса к стене:

— Отбейте замки!

Штрафных освобождают.

В дверях показались — Пугачев, Филимон, Курка. Пугачев властно крикнул:

— Пушку!

Старший рабочий оглядывает его с подозрением:

— А ты что за птица будешь?

Филимон выступил. Говорит с укоризной:

— Ждали, да не признали. Сам царь-батюшка Петр Федорович!

Старший рабочий засветился радостью:

— Надежа наш! Давно ждем! Да не в добрый час пришел ты.

Пугачев:

— Пушку!

Подскакивает проворный слесарь Чуверов.

— Пушка есть, да прицел брать не умеем!

Пугачев командует:

— Катите ее к окну!

Беспорядочная толпа башкир во главе с Салаватом бросается на приступ литейного цеха. В окне показалось дуло орудия. Башкиры остановились. Пушка стреляет. Башкиры пригнулись. В окне Пугачев. Увидел среди башкир Салавата, кричит:

— Первая картечь в небо, вторая — тебе, Салават!

Салават узнал Пугачева:

— Здорова, бачка! Тебе встречу шли!

— Врешь! К самому черту навстречу ты шел! Союзних зовешься, а почто заводы жечь?

Салават выхватывает из толпы конных башкирцев изуродованного «языка» и подлетает с ним к окну:

— Нашему русски нос рвал, ухо резал, язык — все резал, смотри! Ничего нет! Наша войско видал — все пьяный стал. Кровь, пожар... всем русски смерть хочет.

Пугачев гневно Салавату:

— Ты удержать должен.

Салават разводит руками:

— Конь бежит — можешь догонять?

Пугачев со спокойной силой:

— Передай своим: нас без пушек, как баранов, перебьют. Уводи всех да жди меня в поле.

Салават скачет к башкирцам, что-то говорит. Башкирцы по его команде выезжают в поле.

ЦЕХ

Пугачев обращается к рабочим:

— Ребятушки! Когда баба на сносях, покричит, да родит. Придет час — победим. С вами да с башкирцами новую скопим силу. Ребятушки, пушки нужны!

Рабочие теснятся к Пугачеву. Восторженно кричат:

— Будут пушки, веди нас!

Входит Белобородов. Пугачев ему навстречу:

— Белобородов! В самый раз...

Они целуются.

— Принимай, Надежа, войска! Привел я тебе отборных молодцов.

Пугачев хлопает Белобородова по плечу:

— Спасибо, Наумыч.

Подбегает к Пугачеву молодой рабочий:

— Заводское начальство из подвалов повылезло, сюда идет!

Пугачев ухмыляется. Спокойно:

— Познакомимся!

Входят приказчик и мастера. Приказчик, оглядывая всех:

— Который тут башкирцев разогнал?

Пугачев выступает:

— Я буду.

Приказчик благожелательно:

— Иди получи в конторе рубль. Как звать?

Пугачев:

— Петр Федорович, император всероссийский.

Приказчик мастерам и рабочим:

— Вяжите, братцы, злодея!

Пугачев делает знак, рабочие хватают приказчика и мастеров, связывают. Крики: «В топку их!»

Слесарь Чуверов подходит к Пугачеву. Говорит, то приседая, то выпрямляясь. Равняется по звуку сверла, которое порой срывается.

— Чего-то застопорило, батюшка, печку, — козел садится.

Белобородов говорит тоном знающего мастера:

— Должно, мало олова добавили.

— Подвозу нет!

Пугачев быстро:

— А ты выдумай, когда нет! Чай, хозяин не на глине едал? Небось накоплено оловянной посуды пуды.

Чуверов присел, выпрямился, хлопнул себя по лбу и во всю прыть махнул в кладовую. Тотчас тащат посуду и бросают ее в печь.

Пугачев берет лом, пробивает летку. Металл течет сверкающей широкой струей.

В ПОЛЕ ПЕРЕД ЗАВОДОМ

Широким фронтом двинулись пушки. За пушками шагают заводские рабочие. Башкиры на конях.

Съезжаются Пугачев и Салават.

— Нада петь боевой песня! Будем убивать все злодеи. Будем всем давать назад родна земля! Всем бедным жизнь будет очень хорош! Песню я сам, Салават, делал...

Салават запевает по-башкирски. Остальные хором ему вторят.

ВЗЯТИЕ КАЗАНИ

Крепостная стена города. Губернатор фон Брандт и прочие власти, укрывшиеся в крепости, смотрят поочередно вниз в подзорную трубу. Вдали войска Пугачева.

Брандт расслабленным голосом:

— О мейн гот! На нас хочет наступать один грязный сволочь!

Адъютант смотрит в подзорную трубу:

— У них пушки, ваше превосходительство!

Брандт сердито, с бессильным страхом:

— Ваши шутки есть глупые шутки, господин адъютант. Если идут к нам пушки, они не могут быть от никого иного, кроме полковника Михельзон.

Невдалеке ядро пугачевцев попадает в стену. Брандт и прочие спасаются в дальний угол крепости.

В крепость пытаются проникнуть жители.

Брандт кричит из своего угла:

— Ворота закрыть!

Он отдает приказ адъютанту:

— Скачите в тюрьму! Мой приказ: если злодей входит в город — надо стрелять всех заключенных. В тюрьме есть обе жены злодея. Кончать есть необходимость одну. Ту, который есть молодой Устинь, надлежит сохранять целым.

Адъютант отдает честь и уходит. За воротами растет ярость возмущенных людей, которые стремятся проникнуть в безопасное укрытие.

Брандт визгливо командует:

— Завалить ворота бревнами, камнями!

Солдаты исполняют его приказание.

ВОЙСКА ПУГАЧЕВА ТЕСНЯТ ЗАЩИТНИКОВ КАЗАНИ

Брандт в негодовании генералу:

— Это есть великий позор — бегут наши войска!

Генерал с несокрушимым достоинством:

— Не извольте беспокоиться, ваше превосходительство, мы заманиваем злодея в ловушку. Отступление отряда притворно... сейчас с фланга ударят чуваши с татарами.

Брандт, легко переходя в восторг:

— Колоссаль!

Пугачевские войска, преследуя отступающих, переходят овраг. Вдруг из-за холма с левой стороны показываются конные чуваши с татарами. Встреча.

Брандт смотрит в подзорную трубу:

— О мейн гот! Diese Tschuwaschen сходил с ума. Стоят как закопан. Почему им надо стоять?

Отступающее регулярное войско поворачивает обратно и бежит на пугачевцев. Но офицер, увидев бездействующих чувашей, останавливает всех. Офицер мчится к чувашам, командует отряду:

— Вперед!

Из рядов пугачевцев также отделился всадник. Это — сам Пугачев. Он еще ближе подскакал к чувашам. Навстречу Пугачеву из толпы выскочил Филимон:

— Принимай, Надежа, команду! Чуваши и татары с нами идут заодно.

Пугачев привстал на стременах, закричал чувашам:

— Жалую вас землей, порохом, вольностью! Вперед, за мной!

Пугачев бросился вперед. За ним орда чувашей и татар. Примкнули к атаке и пугачевские войска. Защищавшие Казань регулярные отряды дрогнули, побежали.

Брандт и прочие власти покидают в панике свой наблюдательный пункт.

Грохот пушек.

Огненные снопы — возы с горящим сеном — охватывают город.

Улица. Пламя от горящих домов с двух сторон.

По улице бегут с имуществом, каким попало — самоварами, горшками, — люди в самых пестрых одеяниях. Мужчины в женском, и наоборот.

На головах, в защиту от пламени, кастрюли, корзины, кадушки, котлы.

Пугачев, за ним конные башкиры, чуваши, казаки лезут на крепость. Сверху их посыпают камнями. Огонь достиг подступов к крепости.

ТЮРЬМА

Софья с детьми. Совершенно голая камера, окошечко с решеткой. Софья в плохой одежде сидит на тюремном соломеннике, прямо на полу. Около нее копошатся две девочки, лет пяти и шести. У окошка стоит сын Трофим, одиннадцати лет. Ужас на его лице.

— Мама, город горит! Дома падают. Люди бегут. Ой, как боязно!

Трофим подбежал к матери. Софья его обнимает.

— Детки мои горемычные, и денечка красного не дал вам бог.

Загремел засов, вошел тюремщик:

— Ну, мать бесчастная... Приказ из крепости пришел: заключенных прикончить.

Софья прижимает детей.

— Дети мои!..

— О них будь без печали. Баба моя сердобольная упросила в семью нашу детей твоих взять, не обидим их. Ну, прощайтесь. Скоро я ворочусь, деток заберу. А тебя, мать, не прогневайся, выдать должен с рук на руки караульному. Что поделаешь — служба!

Тюремщик ушел. Софья обняла детей:

— Трофим, сыночек! Христя! Фрося!

Дети цепляются за мать, плачут.

НА ПЛОЩАДИ В КАЗАНИ

Пугачев идет по той площади, где он когда-то просил милостыню. Его окружают атаманы. Пугачев остановился:

— Ну, молодцы атаманы, Казань наша! Не забудут нас люди. Царь Иван Грозный семь лет под Казанью стоял, а мы с ребятушками в три часа ее пеплом покрыли! Однако Казань нашему делу только начало, дальше — Москва. Ни минуты нельзя отдыхать — Михельсон близко. Атаманы, пресекайте пьянство в самом начале. Расставьте надежные караулы. Проход у монастыря пуще всего охранять!

ТЮРЬМА

Софья и дети тесной группой у окна. Почти силуэтом на огненном фоне Софья сквозь слезы говорит твердо:

— Ты, Трофим, старший останешься. Сестер береги. К отцу проберитесь. Отца народ почитает — окрестил его недаром «мужицкий царь»! К народу он жалостив. И вас, сирот, пожалеет. Скажи ему: все мать поняла, все простила.

Софья падает на соломенник, дети ее обнимают. Не замечают, как неслышно вошел Пугачев. Он делает знак Курке, чтобы тот вышел.

Софья в смертной тоске:

— Скорей бы уж пришли за мной... истомилась я...

Оборачивается. Вскакивает на ноги. Сразу не узнает Пугачева, думает, что это за нею, чтобы вести ее на смерть. Хватается за детей.

Пугачев шагнул к ней. Протянул руки:

— Софьюшка!

— Емельян! (Софья падает мужу на руки. Пугачев, гладя ее по волосам):

— Полно, родимая, лихо прошло. *Казань нами взята!*

Он поднимает поочередно девочек, их целует.

— Повыросли дочки! А ты, Трофим, вовсе батьку забыл?

Пугачев, обнимая сына:

— Чай, матка честила меня?

Пугачев подмигивает Софье. Трофим с твердостью и чувством:

— Нет, батя, плачет мама, тебя вспоминая, а сказать николи не забудет: «Справедлив отец ваш до народа, справедлив и милостив».

Пугачев растроган. Обнял Софью:

— До тебя я, Софьюшка, истинно лют оказался. Прости, родимая, мне Устинью! Не своей волей я двоеженец перед тобой! Верь слову: Иван Творогов с казаками это дело подстроил. Уши мне прокричали: «Коли нашим царем объявился, нашу казачку себе в царицы бери!»

Трофим, играя поясом Пугачева:

— А зачем тебе, батя, царем надо быть?

— А затем, сынок, чтоб народному горю помочь.

Пугачев встал перед Софьей. Говорит почти торжественно:

— Разумеешь ли ты, родимая, что не из прихоти, а ради дела мирского не смею назвать тебя при людях моим другом первым, моей верной женой?

Софья с глубоким чувством:

— Разумею, мой батюшка.

Они обнимаются. Пугачев с нежностью:

— Все про тебя, Софьюшка, ведаю. Не пошла ты,

как Устинья, на площадях меня поносить и через то муку терпела с детьми.

Пугачев, смеясь, обнимает всю семью разом.

— Велик короб! Сейчас в лагери вас отправлю, палатку дам. И зовитесь вы, мои кровные, семья моего друга ближнего Емельяна. Оно ж и правда?

Софья весело и любовно:

— Как прикажешь, мой батюшка!

Пугачев открывает двери, иным, «царским», голосом:

— Эй, Курка! Отвези-ка семейство Пугачева в нашу лучшую палатку!

КОМНАТА УСТИНЬИ В ДОМЕ ТЮРЕМНОГО СМОТРИТЕЛЯ

Зеркало. Стол. На нем самовар, варенье, стакан и чашка. Тут же музыкальный ящик. Его крутит писарь Ларион Иванович. Устинья очень нарядно одета, по-городскому. В окнах пожар. Устинья не без жеманства говорит:

— Уж перестаньте крутить музыку, Ларион Иванович! Как в городе грохнут, у меня сердце пополам.

Писарь крутит чуть-чуть:

— До нас картечь не долетит, Устинья Петровна. И пожар нас не возьмет. У нас здания все каменные, как ваше сердечко, Устинья Петровна...

Писарь делает попытку обнять Устинью.

Устинья, глянув в окошко, кричит:

— Ах, он!.. Он!

Писарь, испуганный, отскакивает от нее:

— Что вам почудилось, Устинья Петровна?

— Он здесь! Пугачев! Сейчас будет — бегите!

— Куда прикажете? В двери поздно. В окошечко высоко!

Устинья распарывает перину:

— В перину влезайте!

Писарь лезет в перину, пух летит на все стороны.

Пугачев вошел, оглянулся. Усмехнулся, глядя на музыкальный ящик и на два прибора; потрогал стакан рукой.

— Не ждала!

Устинья плачет и боится:

— Я всегда, батюшка, жду вас.

— Не реви, не реви. Все мне ведомо. Продала ты меня.

Пугачев крутит ручку ящика:

— Должно, за эту вот музыку. Молода, глупа! Ну и сиди со своим ящиком! Да с этим вон... стаканом.

Пугачев, уходя, запер за собой дверь.

Писарь вылез из перины.

Устинья кидается в подушки и плачет:

— Сокол он мой, сокол ясный! Ох, прогадала я свое счастье!

Писарь, растерянный, весь в пуху, вертит ручку музыкального ящика. Устинья плачет.

МОНАСТЫРЬ

Монастырь под городом. Тесный проход, глубокий ров. По дороге заводские ребята катят бочку вина, поют песни. Подъезжает Творогов со своими единомышленниками.

Творогов приветливо рабочим:

— Что, ребята, упарились? А вы бы себе бочечку облегчили! И катить ее будет вам веселей.

Рабочие, подозрительно глядя на Творогова:

— Атаман Белобородов настрого приказал под откос бочки спущать.

Денис качает головой:

— Жаль, пропадает добро. Добро-то какое!

Творогов с лицемерным участием:

— Труды великие вчерась ребятушки подняли! Без ваших пушек Казани б не взять! Сам батюшка, чай, не осудит. А ну-ка, долбаните втулку!

Твороговские казаки подзуживают хором:

— И то, долбаните, ребята.

Люди открывают втулки, нацеживают в шапки вина. Пьют. Смакуют:

— Ну и монахи! Знали, что берегли! Пей, ребята!

Все толпятся у бочки, пьют. Второй отряд, глядя на них, со смехом открывает и свою бочку. Пьют чем попало, кто подставляет пригоршни. Творогов и казаки отъезжают в лагерь. Творогов подмигивает Денису:

— Теперь, коль тревога, уж вся честь, весь почет будут первым нам, яицким.

Пугачев с Куркой вышел из тюрьмы. Верхом Пугачев осматривает караулы. Дело плохо: где мертвецки пьяны, где драка из-за награбленного. Пугачев врезается с конем в толпу. Вне себя кричит на присмиревших при его появлении гуляк:

— Воины вы аль грабители?

Пьяный солдат дерзко отвечает:

— Задаром, што ль, Казань брали? Не тебе, чай, все одному!

Пугачев убивает солдата. Кричит прочим:

— К монастырю!

ВОЙСКО МИХЕЛЬСОНА

Поле. Идет войско Михельсона. Утомлены переходом, в пыли, еле движутся, но маршируют по артикулу, держат строгий строй. Михельсон, крепко свинченный, не потерявший боевой энергии полковник, едет впереди на коне. Указывает на страшный дым над Казанью:

— Братцы! Отдых наш отменяется. Сей великий дым — доказательство, что Казань взята. Стой!

Повернув коня, он командует:

— Войско делится на три части. Майор Дувэ!

Дувэ подъезжает, рука под козырек:

— Слушаю, господин полковник!

— Атакуйте врага с левого фланга. Я ударю в центральную батарею. Майор Харин!

Подъезжает, рука под козырек:

— Слушаю, господин полковник!

— Ударьте в правый фланг неприятеля. За глубоким рвом проход у монастыря прорвать. Вперед!

У монастыря появляются Михельсоновы солдаты.

Отряд Белобородова кидается на них.

Отрезвевшие люди геройски дерутся. Их мало.

Белобородова берут в плен.

Подоспевший Пугачев со своим отрядом кидается на выручку Белобородова. Пугачев отрезан от своих.

Обезоружен. Окружен. Курка пробился к Пугачеву со свежей лошадью. Пугачев выхватил у офицера оружие. Ловко обороняясь, садится на коня. Умчался вместе с Куркой.

РОЩИЦА

Остатки пугачевского войска, трижды разбитого под Казанью. Все на конях. Впереди Пугачев. Остановился. Командует:

— Стой! Передохнуть коням надо дать.

Все спешиваются. Курка подбегает к Пугачеву:

— Може, батько, кулиша хлопцам сварить? Сорок верстив Михельсон, скаженный, нас гнал!

— Вари, да не больно разваривайся. Недолог отдых наш. Вот только осмотреться да подсчитать, что от великого войска осталось.

Пугачев взошел на холмик:

— От сотни лихой Падурова-атамана... от Витошнова сотни. Много ли?

Безмолвие в ответ. Казаки понурили головы. Пугачев упавшим голосом:

— Ни единого. От белобородовских, заводских?

Рабочий выступил, за ним около десятка заводских:

— Без головы мы теперь. Нет нашего атамана.

Пугачев в большом горе:

— Да, нет. Не удалось мне отбить Наумыча. Сам чуть жив убрался.

Шум, смех. Казаки ведут к Пугачеву мужика в лаптях:

— Вот, Надежа, к тебе посла привели!

Мужик валится на колени:

— Не вели казнить, ваша милость! По темноте мы... по серости.

Пугачев его поднимает. Обнадеживает.

— Ну, говори, от кого прислан? За каким делом?

— От *деревень*, батюшка. Все под тобой быть хотят! Лошадные мы... и хлебушка тебе навезем! Помещиков мы по деревьям развесили. Правда ли, что ты соль раздаешь?

— Все правда: и соль, и земля, и лес, и угодья — все от помещиков к вам пойдет.

Мужик кланяется земно:

— Премного благодарны... премного. Пойду скажу — и двинемся! Ей-богу, двинемся.

Бьют в набат по деревням. Сбегаются мужики. Горит усадьба. Идет толпа вооруженных крестьян по дороге. Сходятся на перекрестке.

Пугачев снова оброс большой силой. Главный состав его войска — *крестьяне*.

ПЕРЕПРАВА

Раннее утро. Берег реки. На горе догорает усадьба. Бурлаки приводят плоты. Песня бурлаков. Причалили. Вышли двое старших. Никто не встречает. Лагерь пуст.

Первый шарит в недоумении глазами по берегу:

— Где ж мужики? Сказывали, сила их. *(Разводит руками.)* Как в воду канули.

Второй, с досадой:

— Зря, выходит, мы над плотами старались!

Пугачев, спавший на походной постели, проснулся:

— Эй, Курка! Заспался я! Курка!

Курка вошел, сильно расстроенный:

— Батько!..

Пугачев, не глядя на него, потягивается спросонок:

— Кафтан лучший сегодня мне дай для переправы. Чай, в новом уезде тысячи ждут меня. И со мной тысячи идут.

Курка чуть не плачет.

— Батько... тише вы. Не зайдитесь. Побережите здоровье. Батько, нема бильше тих тысяч у нас... бо воны до дома с конями повтикали.

Пугачев вскочил в ярости. В миг одет. На коне.

— Куда ушли мужики? Куда?!

Промчался на холм. Вдали конные ударили по коням, скрылись. Пугачев видит в овраге другую уходящую толпу, мчится ей наперерез. Кричит им во всю силу:

— *Назад!*

Мужики, когда Пугачев вплотную к ним подъехал, остановили коней. Покорно приготовились слушать. Пугачев, видимо, сдерживая гнев, старается говорить спокойно:

— Зачем уйти задумали? Ну, зачем?

Мужики подталкивают старика, чтобы он говорил за всех:

— Как, значит, своих помещиков мы по деревам развесили... а с тобой, батюшка, на своем уезде поработали, нам, значит восвояси пора! Овражки у нас не скошены...

Молодой мужик подхватывает речь старика:

— Как ноне вёдро стоит, хлеба молотить хорошо бы.

Третий мужичок:

— Свой уезд мы с тобой прошли, батюшка, а там (указывая на переправу), — там, значит, не наш, там чужой уезд. Пусть тамошние за себя сами стараются...

Пугачев дал волю гневу:

— Тяжкозадые!.. Эх, пока будете каждый сам за себя — всем вам на шею старый аркан!

Старик пугается, за ним и все:

— Да мы что?.. Коли нельзя, мы не пойдем...

Медленно поворачиваются назад, вслед за Пугачевым. Курка, как пес за стадом, следит сзади, чтобы кто не отстал. Всех пытается загонять к переправе.

ПОКУШЕНИЕ

Походная палатка Пугачева. Два ящика; на одном сидит Творогов. Пугачев ходит. Остановился.

— Чуть светать станет, нам дальше, к Гурьеву городку, надо метить. Ложись, Иван, на постель мою, не до сна мне! Душа горит, что Наумыча я не отбил...

Подошел к Творогову близко. Наклоняется, полуобнял его.

— Один ты, Иван, из всей государственной коллегии нашей остался.

Пауза. Пугачев берет голову Творогова в обе руки, смотрит глубоко в глаза ему:

— Не предашь?

Творогов пожимает плечами:

— Выдумал!

Творогов встает с места и вдруг видит, как зашевелилось подрезанное полотнище палатки. Оно отдернуто. Вставилось лицо казака, наводящего ружье на Пугачева. Творогов кидается, вышибает ружье из рук казака, но тот поспевает выстрелить. Творогов ранен в левую руку.

Остановив Пугачева жестом «тебя убьют», Творогов выбежал из палатки. Казаку с ружьем указал безмолвно: «беги!» Казакам, прибежавшим на выстрел, крикнул:

— Поляка Казимира хватайте! Он стрелял в батьку.

Курка шел от речки с ведром, остановился. Он видел все. Казак с винтовкой пробежал мимо него.

Пугачев выскочил из палатки в ярости. Трубит сбор. Все собираются.

Пугачев быстро ходит. Заглядывает в глаза то одному, то другому:

— Кто? Кто предатель дела?

Творогов, несмотря на обмотанную раненую руку, говорит с большой энергией:

— Надежда, время не терпит расследовать дело дотошно. Стрелял из ружья, сам я видел, поляк Казимир. Один ли он, допытаем после. Поляка сейчас на релю! Не тащить же с собой в дело предателя?

Казаки, верные Пугачеву, с возмущением кричат:

— На релю его!

Кидаются за поляком. Вдали его вешают.

Приверженцы Творогова, подъехав к нему, с недобрым недоумением наблюдают. Шепчутся друг с другом.

Курка вышел из остолбенения. Кинулся к Пугачеву:

— Батько!.. Я ж своими очами бачил, *не поляк* в тебя стриляв! То яицкий, то наш казак.

Творогов с гневным достоинством:

— Довольно, батько, я от Курки брехни видел! Уж и рука моя за тебя ранена, головы моей, что ли, будешь ждать, чтоб мне поверить?

Пугачев Курке:

— Не суйся! Свое кухонное дело ведай!

Курка, опечаленный, отходит.

Пугачев проводит рукой по лбу, как бы отмахивая ненужные мысли.

В КОНЮШНЕ

Конюшня. Филимон чистит коня. В стойле еще стоят кони. Вверху сеновал. Туда ведет узкая лесенка. На верхней ступеньке сидит Курка. Он вполголоса печально напевает свою разбойную песню, чинит уздечку.

— Змея Творогов! Отвел батьку очи. Щось замышляе, гадюка! Все гонит мине подали, щоб не мог я устерегти. Окружил нас Михельсон, скаженный, гонит... Ох, чует сердце, выдадут батька́ на люту казнь!

Филимон подходит, оставя коня:

— Афанасий Перфильев с отрядом вот-вот подойдет. Он за батьку в огонь и в воду.

Слышен выстрел... второй. Вбегает в конюшню Творогов, за ним следом два казака.

Курка исчезает на сеновале. Филимон спешит на выручку Творогову. Первый казак кидается на Творогова, двое других его вяжут. Свалка.

Первый казак, в тихой ярости:

— За измену камня тебе на шею мало!

Второй казак:

— Сам подговорил да предал нас!

Творогов выпутывается с внезапной силой из веревок, встает. Властно кричит на казаков:

— Дураки безмозглые! Да его *живого* властям надо выдать, а вы стрелять вздумали!

Первый казак, не желая вдруг сдаваться:

— А ты с чего ему присоветовал взять наших под стражу?

Творогов гневно:

— Когда вы сдуру пулей его саданули, а Курка видал, как Денис убежал, — что было мне делать? Дурьи головы.

Казаки стоят сконфуженные. Творогов указывает на Филимона:

— Уши лишние, спустить его в погреб!

На Филимона кидаются казаки, вяжут.

Творогов говорит как начальник:

— Выбор нам один, казаки, запомните: либо с ним принять казнь лютую, либо помилование у царицы вымолить. Поняли?

Творогов и казаки забирают по коню, ускакали.

РЕЧКА «БОЛЬШИЕ УЗЕНИ»

Пустынное место, жалкие, редкие кусты, бесконечные пески. Подъезжают двое на одной лошади — Филимон и Курка. Слабым голосом Курка говорит:

— В очах темнеет... клади мине, Филимон, на землю.

Филимон кладет бережно Курку среди кустов.

— Испей воды, Курка!

Курка пьет жадно, откидывается назад, держа Филимона за рубаху:

— Швидче скачи до Опанаса, хай батька́ выручае!

— Вернусь к тебе скоро... А батьке миновать этого места никак нельзя. Еще с ним свидишься.

Филимон крепко жмет Курке руку:

— Держись, Курка!

Филимон ускакал.

За Филимоном гонятся в погоню двое казаков. Он на скаку обернулся, ударил по коню. Один казак стреляет. Филимон взмахнул руками, упал мертвый с коня.

ПРЕДАТЕЛЬСТВО

Тишина в степи. Солнце садится, легкий ветер все сильней. Очень сильный. Он гонит перекати-поле, поднимает и вихрями крутит пыль. Подъезжают верхами несколько казаков. Среди них — Пугачев, Творогов, Чумаков. Они сходят с коней.

Пугачев:

— Где ж тут колодец, где тут землянки? Не видать!

Творогов, стараясь говорить спокойно:

— Посидим на камне; молодые пускай поищут. Здесь два старца живут, у них бакчи. Пить крепко хочется. Раздобудьте-ка, хлопцы, дыни!

Пугачев сидит на камне. Вокруг него — Творогов, Чумаков, Федульев, молодой казак Бурнов. Чумаков лукаво и злорадно спрашивает:

— Ну что, ваше величество, куда ты думаешь теперь идти?

Пугачев с подозрительным удивлением:

— Что ты спрашиваешь? Уж говóрено. Зимовать в Гурьеве, а по весне через Каспий переплывем, Орду подымем!

Творогов твердо, почти дерзко:

— Нет нашей воли воевать! По уши в крови, а дело не сделали.

Молодой казак Бурнов:

— Мы ровно пена, что море взбивает да на клочья рвет!

Железнов, потом другой казак:

— Один день — князь, другой — грязь! Притомились мы, домой хотим, в Яицк.

Пугачев вскочил в сильном гневе:

— По хатам к бабам хотите? А воли народ не добился! Какую силу подняли! Что крови за два года пролито! Бросим дело, ответ за кровь надо дать!

Мечется в страшной тоске.

— Эх, нет при мне друзей верных, молодцов атаманов — Чики Зарубина, Хлопуши, Наумыча! Кого обезглавили, кто в цепях...

Поникает в горести. Курка подает слабый голос из кустов:

— Батько, а батько...

Пугачев вскочил:

— Курка! Где он?

Все ищут. Пугачев увидал первый, кинулся к умирающему. Встал на колени, охватил его голову:

— Друг мой последний, прости...

— Батько, Филимон за подмогой поихав... не подавайте виду... Творогов щось умышляе...

Все казаки подходят, Курка говорит все слабее:

— Батько, не забудьте, як на Москву сядете, червонну свитку надеть... Подымите мине...

Пугачев подымает умирающего Курку:

— Де же вона дилася червонна свитка? Вже не бачу... потухли очи...

Курка умирает на руках у Пугачева. Пугачев целует его. Поднялся, глянул на казаков — Чумакова, Творогова и единомышленников. Понял скрытую угрозу, их измену, — говорит с горечью:

— Обругал я Курку, друга верного, а вот наградить не успел! Да и не надо было наград ему.

Пауза.

— Вот зато вас, атаманы, почтить желаю!

Обращается к Чумакову. Будто хочет иное сказать, но, раздумав, ухмыльнулся:

— Ты, Чумаков, отныне зовись генерал-фельдцейхмейстер! Ты, Иван Творогов, зовись генерал-поручик! — Отвернулся от казаков, шагнул опять к Курке: — А ты, друг мой верный, прости меня.

Творогов подтолкнул Чумакова. Казаки тесно обступили Пугачева. Схватили за локти. Навалились. Держат крепко. Пугачев круто повернулся, изо всех сил отбросил державших:

— Казаки, опомнитесь! На кого руки подняли? Сколько походов-боев вместе сделано?!

Творогов грубо:

— Довольно! Больше слушать тебя не хотим. Отдавай оружие.

— Трусы вы! Что затеяли? *Моей головой свою жизнь откупить?* Черви. Дело... Дело не кончено.

Казаки его обезоруживают.

Творогов, как начальник, прикидывает.

— Езжай, Железнов, в Яицк, оповести властей, что взят нами злодей государственный Емельян Пугачев.

В СИМБИРСКЕ, У ГРАФА ПАНИНА

Приемная графа Панина. Около двухсот дворян и высших гражданских и военных служащих.

Панин крестится, за ним — все:

— Злодей Емельян Пугачев предан в руки законных властей и перевезен ныне в наш город Симбирск.

К Панину подходит архиерей:

— Разделяю, ваше сиятельство, с вами всеобщую отечества нашего радость и проливаю пред источником всякия благости немало благодарственных слез.

Вдруг все бросаются к окнам и на балкон.

На площади везут клетку с Пугачевым.

Сбегается толпа людей.

Пугачева выводят из клетки и ведут к подъезду.

Вводят Пугачева в залу Панина.

На руках и ногах у него оковы. Вокруг пояса — железная цепь.

Конец этой цепи сейчас держит конвойный.

Панин, подступая к Пугачеву:

— Как смел ты мне противиться, *со мной* воевать?

Пугачев с насмешкой:

— Не обессудь, ваше сиятельство, коли пошел я супротив целой империи, довелось заодно и против тебя мне пойти!

— Не смеешь, злодей, дерзновенничать! Погляди *(широкий жест на дворян)*, кто перед тобой?

Пугачев выпрямился, стал грозен, могуч. Гремя цепями, шагнул вперед.

— А знаешь ли, кто *за мной?* Весь народ!

На площади нарастает грозный гул толпы. Панин замахнулся на Пугачева:

— Изверги!

На площади нарастает гул. Панин кричит:

— Разогнать!

Пугачев гордо, с большой силой:

— *Не переказнить вам всех!*

КАЗНЬ

Москва. Болото. Площадь. Посреди — высокий, просторный эшафот, обнесенный балюстрадой. Посреди эшафота — столб. На нем — колесо. Посреди колеса — острый кол.

Мастеровые устраивают плаху.

В разных церквах ударяют колокола. Обедня отходит. Колокола громче. Гудит вся Москва. Народ большими толпами торопится занять место на Болоте. Проходят войска и становятся цепью вокруг эшафота. Люди рвутся сквозь войска занять место поближе.

«Везут, везут!»

Сани. На них — высокий помост. Сидит Пугачев с двумя зажженными восковыми свечами в руках. Он кланяется направо и налево народу.

— Батюшка наш, заступник!.. Родимый! Осиротеем без тебя!..

Пугачев на все стороны, с глубоким чувством:

— За волю я встал. Волю, ребятушки, добыть не поспел. Сами себе добывайте!

Софья и Трофим. Софья говорит твердо, хотя голос разрывается от волнения:

— Гляди, сынок... все запомни!.. Слышь, народ отца жалеет, им не злодей твой отец...

— Мама, батя глядит на нас! Батя признал нас, рукой двигает, кивает.

Пугачев и Софья встретились глазами. Она рванулась к нему, он слегка простер закованные руки. Сани проехали.

Пугачева сняли с саней. Поддерживаемый под руки двумя конвойными, он должен взойти на высокий помост эшафота по лестнице. На минуту он остановился перед скамьей, на которой сидят Творогов и Чумаков. Встречается с ними глазами. Они опускают глаза перед гневно презрительным взглядом Пугачева.

Пугачев — на эшафоте. Спокойно стоит, на нем нагольный бараний тулуп. Голова открыта, ветер развевает волосы. За ним — старший палач с топором в руках.

Полицеймейстер Архаров:

— Сентенцию!

Судейский чиновник входит на эшафот и читает:

«...Отрубить правую руку, левую ногу; повременить; отрубить левую руку и правую ногу; напоследок — голову».

Группа дворян у эшафота.

Творогов и Чумаков у подножья.

Крепостные, оброчные, дворовые, мастеровые, заводские, солдаты, казаки, торговки базарные, Софья и Трофим.

— Ох, сынок мой... ноги не держат...

— Мама, опирайся на меня. *(Поддерживает мать.)*

Судейский кончил читать.

Пугачев взглянул прямо в глаза палачу, и тот понимающим взглядом ответил ему.

Пугачев шагнул к народу, поднял руку, хочет что-то сказать.

Архаров махнул барабанщикам. Частая дробь. Мгновенное страшное безмолвие. Удар топора... Вся площадь ахнула и застыла. Голова Пугачева на колесе.

Софья говорит Трофиму:

— Смотри, смотри, сынок... Запомни...

— Запомню.

ВЧЕРА
И СЕГОДНЯ

ХАМОВНОЕ ДЕЛО

ГЛАВА ПЕРВАЯ

> Слобода под Москвой — Хамовная, ныне Хамовники.
> К ней приписаны были казенные ткачи, поставлявшие на государев обиход столовое полотно. Оно же — по-индийски — «хаман».

Изучить производство писателю, который не имеет специального технического образования, конечно, в два счета немыслимо. Недаром рабочие острят, когда натасканный на технических терминах *литударник* уснащает свои очерки модным «производственным шиком».

Про тот же случай, когда писатель для вящего изучения производства и быта надумает сам засесть за станок, случилось услыхать:

— Туда же, как первачки! Да первачки хоть напортят, а выучатся. Эти же побалуются — и порх из цехов... А хитры! С машин урожай небось в карман сымут.

Из разговоров и опросов стало понятно, что рабочий ждет от писателя справедливого обмена: за «снятый с машин урожай» писатель должен предложить в распоряжение рабочего накопленную собственную ценность, которая отличает именно его от работников других профессий. Ценность эта заключается в той особой зоркости глаза, которую не могут забить никакие «готовые представления». Напротив того, при посредстве художественного воображения и способности к убедительной формулировке писатель может создать положения *новые*.

В работе живописца всегда имеются моменты, когда работа доведена до известного напряжения и — стоп! Временно движения нет — мертвая точка. Что же делает художник, чтоб вернуть себе снова острый, свежий глаз? Он отойдет, он глянет на свою работу вдруг как чужой, избоченится порой пренелепо, подставит зеркало, перевернет этюд вверх ногами. И странно, едва создаст он себе иллюзию непривычного, как почувствует прилив этой особой, новой зоркости.

Художник обязан обладать в придачу к паре глаз, выданных ему природой как всякому, еще скрытым, третьим, творческим глазом. Этот глаз при встрече со всякой новой действительностью незамедлительно приходит в работу и, как сильнейший прожектор, выбрасывает свои световые щупальца. Через голову уже известного открывает новое, неизвестное.

Иронизирующий рабочий неправ: писатель на производстве — не только снимающий урожай, пассивный зарисовщик, он может стать и *творческим консультантом,* едва поймет, что мало описывать уже существую-

щее, а надо делать свой вклад, вносящий в котел производства хоть самомалейший приварок.

Это убеждение окончательно закрепилось после вагонной беседы с одним квалифицированным слесарем.

Попытавшись узнать правдивое его мнение, как незабвенный Гарун-аль-Рашид, скрыв профессию, я навела слесаря на разговор о литударниках. Слесарь немедленно ошарашил:

— Придет этот ударник пустой как мешок, напихается орудиями производства, мешанину сдобрит лозунгами и опростается в журнал. Ему денежки, а нам что?

Кроме индивидуального багажа, у каждого должен быть еще трамплин, от которого ему отталкиваться для прыжка: по ровному месту идти — из-за деревьев леса не увидишь.

Мой трамплин — ненависть к стандартизованному человеку американского типа. Недавно прочитанная книжка немецкого автора, побывавшего в Америке, даже не в слишком гневном изображении, однако давала такое убедительное выражение всего механизированного быта, что встал окончательный вывод.

Техника производственных процессов, пусть доведенных до совершенства, но не подкрепляемая идеей сохранения полноценного человека для осуществления в грядущем социалистического строя, неизбежно приведет к оскорбительному, к убивающему человеческое достоинство вырождению.

Не говоря уже о всем известном фордизме, где весь человек приведен к *одному*-единственному движению, производимому через точные, как ход часов, интервалы, вся жизнь городов вторит обездушенной фабрике:

типизированы дома, частный быт, сама природа. Чудовищные магазины стандартизуют внешний облик человека, буржуазная этика стандартизует мнения и вкусы. Для крепости автоматизма привлечена и наука: психотехника в исследовании индивидуальных способностей и свойств человека так далеко шагнула за последние годы, что любого испытуемого при ее посредстве можно превратить из человека просто в винт. Винт этот тоже известно в какую именно точку производства надо ввинтить, чтобы он дал производству наибольший толк.

Такому однажды ввинченному человеку-винту уже не выбраться никуда. Крутись — пока не износишься! А износишься — ты уже дешевле последнего лома. Лом пойдет в переплав для новой работы, человек-винт, нередко еще вовсе не старый, — только в отпетые инвалиды.

Как далеко стандартизация въелась в общественную жизнь Америки, свидетельствует церемония отбора «человеческого материала», если не ошибаюсь, для целей кино. Перед экзаменаторским взором экспертов, которые взяли за камертон оценки вкус «среднего американца», дефилируют мужчины и женщины на предмет их пригодности для наилучшего возбуждения туземной эротики. Стандартизованными оказались: женщина рослая, саксонского типа, и кавалер — стиля приказчика большого магазина. Победители на этом своеобразном состязании получили немедленно разнообразные ангажементы.

Вот все это и другое в том же роде устанавливалось в моем сознании как вышеупомянутый трамплин, от которого надо отталкиваться в предстоящих оценках.

Но смущало одно: вставали в памяти одновременно те первые элементарные сведения, где уже значилось, что конвейерная система не только самая рациональная, но для процветания производства требует именно прикрепления каждого к одному месту.

Как совместить взаимно исключающие интересы *личности* и *производства?*

Не умея разрешить дилеммы, пошла на фабрику и попала как раз на конвейер. За большим столом в светлой комнате сидело около тридцати женщин разного возраста. Все вместе делали гимнастерку. Одна тачала рукав, другая строчила обшлаг, третья собирала на нитку, четвертая подрубала и т. д. Женщины подавленными не казались, напротив того, они производили особенно хорошее впечатление — веселое и с тем избытком здоровья, когда работу делаешь так легко, что и трудом ее не считаешь.

Впечатление, меня поразившее, проверялось невзначай, несколько раз, и всегда в пользу этого стола за счет других станков.

Что за притча? Ведь конвейер должен действовать угнетающе?

Насмешливый скептик, конечно, скажет:

— Причина в том, что вам попался просто совсем еще плохой конвейер. Дайте срок...

Мне пришла мысль, которая не теряет своей ценности, даже если принять к сведению возражение скептика. Пусть из-за плохого конвейера, но мне стало ясно: нужно предпринять что-то человеку *самому,* чтобы защитить себя от оскорбляющего сознания, что весь он, со всей сложностью своего существа, одаренного мыслью и чувством, обречен в будущем, может быть,

к единственному какому-нибудь движению левой пяткой. Оттого, что эти работницы сидели близко друг к другу и каждая, конечно, могла в совершенстве исполнить давно знакомую ей работу другой, — работница, делая только *свое*, была одновременно и участницей работы *всех*.

Напрашивается вывод: если человек, делая свое однообразное дело, будет одновременно как-то восполнен работою *всех остальных* — он не утратит ощущения своей полноценности. Из наших, еще не осознанных нами, безграничных сил должен проявиться созидаемый путем воображения, чувства солидарности и воли к жизни этот новый вид самозащиты для сохранения в себе полноценности человеческой.

Иного выхода нет. Производство должно процветать, но и личность не может быть нигде и никогда стерта, как медный пятак — запятачена.

Отсюда немедленные обобщения и следствия.

Необходимо, чтобы каждый рабочий знал, как в этом маленьком конвейере швея, знал бы даже не сознанием, а усвоил себе как органическое, неотъемлемое ощущение *работу всех цехов*. Как пособие при каждой фабрике должен быть музей наглядных изображений, истории и орудий производства. В данном случае от зарождения текстильного дела и до наших дней. Без особого руководства рабочий может в таком музее сам разобраться. Ведь из кабинета Осоавиахима даже незнакомый с военным делом уходит с вполне конкретным представлением о винтовке. Никакие диаграммы и объяснения теоретически музея не заменят. Только пластические изображения дадут осязательное знание частей машин, их взаимоотношений. При наличности

музея наглядного обучения производству процветет немедленно и отдел рационализации.

Есть общий закон для человека, связанного с каким бы то ни было делом: чем глубже и разнообразнее он вживается в свою работу, тем больше она ему дает, тем *выше по качеству и радостнее* его продукция.

Писателю, чтобы писать, нужно пребывание в своей, особой, рабочей атмосфере, куда давно включена вся история русской литературы, уже не знанием теоретическим, а как ощущение органическое, обязательное, как дыхание. Мало того — писателю необходимо участвовать в дальнейшем развитии литературы как целого, питаться ее удачами, учиться от неудач. Почему бы этот метод полноценного вживания в искусство не применить и к производству?

Поднять этот интерес совершенно необходимо. И в этом направлении к прочим средствам, которыми уже обладают клуб, ячейка и фабком, могут быть прибавлены от писателей новые вклады. По мере углубления в изучение производства вклады эти будут разнообразиться и расти. Для начала мне представляется полезным сценарий «Текстильное производство».

Начать можно с времен «доисторических», когда текстильные районы только еще намечались, когда работа вся лежала почти на одних женщинах, когда подстерегал кустарей первый хищник — эксплуататор-скупщик.

Это можно дать живописно, как зрелище, особенно понятно и доступно, как содержание. До последнего времени во многих деревнях имелся «стан» и производилось крашенье «в горшке». Показать можно сразу два главных типа текстильщиков — консерватора

«горшечника» и «офеню». От них намечаются в дальнейшем две линии: консерватизм сидящего дома и предприимчивость, смелость, инициатива ходока-офени.

Случалось, офени, чтобы «выпытать» краску, хаживали и в Ригу и далеко на юг. Много видели, приносили слухи домой. Из офени глядит в будущее то ли «первостатейный» фабрикант, то ли революционер.

Несомненно одно: подобный наглядный исторический показ дела, близкого каждому рабочему, незаметно, без усилий отложится в его памяти не только как точное знание, а как материал, обогащающий его политическое сознание.

Сколько ценных выводов сделает рабочий зритель из показанного быта, где продукция кустарей потребляется «людьми», а «господа», брезгая людским сукном, сермягой, посконью, выписывают себе из-за границы тонкие сукна; где в крепостной фабрике рабочие были прикреплены указом Петра и уже являлись ее живым инвентарем! Дальше в записках современника фабрика без дальних слов прозывается «каторжная мануфактура», где рабочие — в цепях, где труд — наказание. Как известно, Петр повелел отдавать на фабрику «татей, мошенников, пропойцев», «сковывая по два человека и шейными и ножными железами». Екатерина прибавила «праздношатающихся, баб, девок, шпитонок, пожизненно и на срок». При ней фабрика — смирительный дом, а заводу закабалены целые округи, от мала до велика. Можно широко показать роль крепостных в текстильном деле, как, созидаемое их руками, растет и ширится производство, а они все живут впроголодь на месячине, теряя здоровье, работая по шестнадцати часов.

Новый набор первачков Ленинградской области, еще подлежащих ликбезу, просмотрев подобный фильм, сразу увидит, осмыслит суть и развитие своего дела и вместе с тем поймет, что *во все* времена, да на *всех* фабриках — посессионной, купеческой, вотчинной и казенной, — для рабочего менялось только одно — *формы эксплуатации.*

И в «доисторические времена», и после первой революции текстильного дела — ввоза хлопка и английских машин, и в эпоху труда вольнонаемного рабочим было одинаково безысходно. По словам декабриста Тургенева, крестьяне с таким выражением говорили, что в такой-то деревне фабрика, словно там была чума.

И вот — неизбежное следствие темного бесправия — бунты. Сначала стихийные, потом организованные, и наконец первая победа, принесшая рабочим сознание своей классовой солидарности, — стачка в Орехове-Зуеве.

Отдельным фильмом можно дать Петра Алексеева, связав его с Октябрем.

Дальше часть современная. Годы разрухи. Ткацкие станки с откинутыми «погонялками», как бы простертыми умоляюще руками, стоят без дела, по-человечески выразительны и безмолвны. Но вот фабрика разморожена, новый набор рабочих — пошла машина! И не просто пошла, а разогналась на пятилетку, на ударничество, на соцсоревнование... И вот событие последнее текстильного календаря — из районов подшефного Узбекистана — сорок вагонов хлопка, подарок узбекистанских пионеров Лентекстилю.

На этой последней части универсального текстильфильма, обращенной к будущему, конечно, нельзя

ставить точку. Эта часть должна пополняться и расти вместе с жизнью.

Самое важное, чтобы вновь поступающий рабочий при помощи подобного всеобъемлющего фильма понимал сразу, в какое *целое* он входит *частью*, какое наследие принимает и как серьезно за него должен он *отвечать*.

Кроме измышлений собственных, писателю надо научиться слушать речи рабочего так, чтобы выделять из них самое ценное.

Любопытен материал, собранный в ответ на одну из главных жалоб — прогулы и текучесть.

— Прогулы нас бьют, весь третий этаж остановили.

— В сортировочной я одна, пряжа рвется.

— Коренных нет, а мне оторваться — моя стоит.

— И со дня на ночь ни мастера, ни масленщиков.

Правда, другие голоса кричат иное:

— Рвань вся оттого, что союзного три кипы, а персидского черт его знает сколько.

— Пусть так, — говорит мастер, — перемена сортировки работу изменит, ну, а сама работа без рабочих рук, как в сказке, все равно, чай, не сделается?

— И прогулы и текучесть будут в два счета изжиты, пусть только фабрика попробует стать рабочему второй родиной. Тогда небось никуда с нее не побежишь...

Здесь, как яблоки с многоплодной яблони, чуть ее тронь, посыпались советы, жалобы и предложения.

Свершив неопытной рукой первый отбор урожая, излагаю без обозначения пола авторов, в порядке «викторины».

§ 1. Есть фабрики, где каждый сам себе достает обед. Большой перевод времени. А на других фабриках правильно: на двадцать человек имеется бригадир, он им и обед промыслит и на стол накроет, так что вся канитель обеденная у них четверть часа берет. Надо всем фабрикам эту моду ввести.

§ 2. Другие неполадки: бывает, что рабочие вынуждены ждать впуска, и вот они топчутся на улице, случается, под дождем, а то и в морозы. Обязательно выделить помещение для ожидающих.

§ 3. Надо скорей систематизировать находящуюся в зачаточном состоянии систему премий. Выдают нередко случайным лицам. В этом деле считаем — вся общественность фабрики должна принять участие. И еще обстоятельство: выдача происходит каждые три месяца, причем сумма меняется от наличных средств. А должен быть «премиальный фонд».

§ 4. Заявление многих рабочих: надо премировать каждый месяц за аккуратную работу без прогулов. А чтобы производственникам окончательно было лестно, надо премировать и прогульщиков — поднести им рогожное знамя да лапти.

§ 5. Шире практиковать анкеты среди рабочих. Притом запрашивать «узкие места» у каждого только по его цеху. А на общие вопросы, касающиеся всей фабрики, отвечать много трудней.

Для тазовщицы на кардной машине будет такой вопрос: как уменьшить рвань ленты?

Для мюльщицы: что надо сделать, чтоб избежать мягких початок?

Для ватерщицы: как лучше смазывать муфточки?

Опытный техпорук сказал мне, что действительно результаты подобной конкретизации получаются очень ценные. Советы, данные рабочими, можно непосредственно применять к производству.

§ 6. А воровство окончательно изжить надо! Машину чистишь, а кисточки не положи — в тот же момент сопрут. И спортсменки... без них перед машиной босиком флюс натанцуешь. Доходит нахальство даже до пальто. Пальто хоть и по ордеру, а выстоять надо. Добро б воровали у каких-нибудь у треплических, а то у своих, у рабочих. Ведь по копейке копили. Это все равно, что по старым временам у мужика конокрад лошадь увел.

§ 7. Вот старики... отдельный шкаф имеют, неужто нельзя предоставить и всем?

§ 8. И хоть какое бы-нибудь зеркалишко повесили. Идем со смены прямехонько в театр, а морда черная...

ГЛАВА ВТОРАЯ

В этой главе мне хочется сказать уже не о том, чем писатель предполагает быть изучаемому производству полезен, а что сам он как художник по первому впечатлению от него получил.

Пейзаж вокруг фабрики в те первые предвесенние дни был призрачен и сквозист. Путь вел по Неве, и с нового, невиданного угла зрения и город и река казались совсем новыми. Как-то по-лондонски из-за беспросветных заборов вздымались хоботы подъемных кранов, и за ними вдали, растеряв очертания в тумане, лиловела Охта. Лед был уже непрочен. Но, конечно, граж-

дане через реку шли. У самой воды, при столбе с дощечкой «Переход воспрещен», стоял милиционер с ружьем. Наконец ему прискучили ослушники и, наведя штык на последнего, который, перепрыгнув через проталину, хотел выбраться на берег как раз у столба запрещения, милиционер сказал:

— Иди взад, откуда пришел, переход запрещается.

— Чего же идти, коли запрещается?

— Вот и топись обратно, если пошел...

Любопытен пар над рекой перед самой фабрикой. Пар далеко бежит извилистой змейкой по снежной пелене, и кажется, что это он из паровоза, который попыхивает по узкоколейке, проложенной близко над берегом. На самом деле это из большой канализационной трубы врывается прямо из фабрики в невские воды самочинным ручьем кипяток.

Фабрика густого цвета любимой детьми сказочной краски «драконова кровь». Она первая перешла на семичасовой рабочий день, отчего немедленно уплотнилась работа с пятисот веретен на семьсот пятьдесят.

Фабрика стара, и чья она была раньше — толком не дознаться. Кто-то речитативом протянул:

— Был тут «Пель», говорят, пил тут эль, говорят... — И деловито настаивал: — Ну, кто б ни был — сплыл, и машины-то нам остались бабушкины. Банкаброш шестьдесят первого года прошлого века, а ватерная, самая молоденькая, — военного времени.

В прохладной конторе рабочий, в очках пушками, вызвонил на устарелом, с дребезгом, телефоне кого надо, проверил документ, впустил. В канцелярии дали главные ориентирующие сведения и «прикрепили» товарища для показа.

Все теоретические объяснения запоминались мертво, как анкетные сведения о незнакомом человеке. Выразительность и жизнь представлений рождает только погляд собственным глазом. Теорию производства профану полезнее изучать после зрительных впечатлений, не то она выпрет вперед и создаст вместо цельности общего — викторину. Непременно станешь цепляться за узнанные части и доискивать к ним остальные. Лучше прийти на фабрику в абсолютном невежестве, чтобы пережить первое впечатление по-детски цельно.

В лабазе в приготовительном отделе мастер ловко вывернул волокно из двух кип хлопка — нашего и персидского. Расправил на собственном рукаве и показал, что наше волокно длиннее персидского, на двадцать восемь копеек дешевле и, как уверял он в хлопчатобумажном энтузиазме, пахнет много лучше.

Однако, даже внимательно нюхая по очереди кипу за кипой, профану определить мудрено, которая именно пахнет приятнее, когда у обеих запах не очень хорош.

Фабрику арендует Московский вигоневый трест до 1934 года, он же разморозил ее для себя в 1924 году, так как пряжи ему не хватало.

— В дальнейших перспективах трест заинтересован нашей фабрикой мало, — сказал прикрепленный, — и ясно, что отсюда наше хроническое заболевание — получка осно́вного хлопка не из нужных районов, а из уто́чных. И текстильснабжение хромает. База устроена недавно и еще не наладилась. Рогожу, веревки и прочий подсобный материал истратили на картофель, а на хлопок — свищи!

Машина для нового человека, оказывается, имеет большое притяжение; она просто завораживает ритмич-

ностью хода, красотою работы, разнообразием шумов и, главное, богатейшей графикой, порождаемою сложным и вместе закономерным пересечением натянутых нитей, крутящихся веретен и взмахами бурного мотовила. Совсем неожиданно для себя увлекаешься в первую очередь самим производством чисто эстетически. И вот уже тянет изучить дома машину по чертежам, чтобы сознательно разбираться в ней, живой. От соприкосновения с новым делом человек непременно помолодеет, и, гляди уже, ненароком хвастнешь перед мюльщиком быстротой сметки в технике:

— Что это, никак у вас в этаже журавль расшатался?

А мюльщик как просыпет:

— Не в журавле тут, в медведе...

А там еще оказались «солдат», «барон» да «собачка» — ну-ка, найди их в чертежах!

«Солдат» на мюле внутри, в каретке. Когда отходит каретка, он честь отдает, а «собачка» и вовсе из станка не уходит.

Словом, едва разбежишься с машиной, сейчас же поймешь, что дилетантски изучать невозможно там, где нужны годы практики. Недаром рабочие посмеиваются, когда не спец «козыряет» техническим знанием в очерках:

— Наврет, сердечный, и сам того не узнает.

Получив урок технической скромности при участии «журавля» и «медведя», главный упор наблюдений делаешь уже по линии собственной, перенеся глаз с производства на человека.

У рабочих настолько свой словарь, что, хотя «прикрепленный» щекочет тебе в самое ухо, теряешься под

жужжанье веретен не только в отношении слуховом, но и в смысловом.

Ну почему, например, «квалифицированный мюльщик дефицитен»?

Или по какой причине вдруг такой финансовый прирост: «если бригадира снять с мокрого ватера, то экономия будет тысяча двести рублей»?

Только натолкавшись среди тачек и цехов, поймешь, что бригадир возильщиков действительно лишний накладной расход, потому что от переброски возильщиков из цеха в цех получается много мешаной пряжи. Что же касается загадочного мюльщика, то разгадка его дефицитности в «печальной текучести» рабсилы из мюлей.

— Никому не секрет, — сказал опрошенный, — что мюли — машина устарелая и в скором времени будет им амба. Вот и текут в металлургию.

Рабочие политически начитаны, воспитаны газетой, любят подкреплять цитатами разговор. Хваля нового технорука, поднявшего высоко отдел, они, порицая старый техперсонал, непременно скажут:

— Так что прав был товарищ Куйбышев: не фабрики — руководители плохи.

Если говорят про единоначалие, то приведут IX съезд и ленинское «Беспрекословное подчинение единой воле для успеха процессов безусловно необходимо».

Сразу бросается в глаза разница между рабочими и работницами в их психологической и интеллектуальной энергии. Притом не столько в смысле уровня развития, сколько в его диапазоне. Женщины не дают обобщающих сведений о производстве, они говорят

о своих веретенах, о ближайшем. Зато женщины сыплют иллюстрацией быта, с именами и подробностями характера личного.

Интересен опыт задавания мюльщикам и ватерщицам одного и того же вопроса:

— Что у вас нового на фабрике за последнее время?

Мужчины обязательно помянут о нововведении в красильном цехе, когда, по предложению одного рабочего, стали красить не на «початках», а на «бобинах», что дало сразу угару на двести пятьдесят рублей меньше. Похвалят нового директора за распорядительность; еще недавно обычным явлением был обход смены за пятнадцать минут до окончания работ, после чего работа данной смены в зачет уже не шла и, по человечьей слабости, машина стояла бездельная. Сейчас зачет идет в конце и в начале. Еще похвалятся мастером прядильного цеха. Он предложил добавочный механизм на мюльной машине, которая увеличила производительность на пять процентов.

Рабочий-активист прежде всего посетует о срыве промфинплана:

— В январе выполнили всего на сто процентов, а в феврале съехали, этот прорыв и является нашей «гвоздью»... Надо ликвидировать. Лопнуть, а вырваться. Не поднажмем — сядем.

Лучшее в речах женщин — черты характера этического, но и к ним в некоторой мере приплавлен бессознательный вкус к суду-расправе и к возмездию.

Это женщина побранит прядильщиков за то, что они не вступают в ударную бригаду, а подъемщиков как раз за то, что вступили. Недоумение слушателя разрешит мужской комментарий: оказывается, подъем-

щики вступить-то вступили, да в первый же день и не вышли — свою ударность вспрыскивали.

— У таких-то, — укажут женщины, — большие прогулы, дать бы им бабочек.

Если товарищеский суд постановил взыскать за кражу калош три рубля на МОПР и вдобавок купить пострадавшей новые калоши, то это работница напишет в стенгазетке: «Слабый взыск». Она же потребует снятия «писарицы, из-за которой в цеху атмосфера сгущается».

Молодые модницы приводят степенных в совершенную ярость:

— У ей короткая юбка, и, конечно, замухрила подмастерье. Сейчас метит мухрить и мастера. Ты вот стой у машины, а она по фабрике крутит.

Или:

— Я вот об этой ватерщице заострю на собрании. Как у одиночной вдовушки, у нее, конечно, ажурные чулочки, помадны губки, глаза колесом и кольцо на левой руке, а, между прочим, стреляет на бедность и взаймы берет — не отдает. Да, есть у нас, что из кожи лезут из-за крепа-шина, недоедают, приобретают малокровие и загоняют себя в преждевременный гроб. А под крепа-шином у них все грязное и с дырьем. Есть которые из-за ажурного чулка до рвачества доходят, в работу себе приписывают, а на бюре коллектива, когда по справедливости присудили повернуть ее в полометки, она нахально вскричала: «Ваше царство! Что хотите, то и делаете!»

— Что необыкновенного случилось на ваших глазах за последнее время? — задаешь работницам, как и рабочим, контрольный вопрос.

— А вот тебе необыкновенное: ясли у нас тут для ребят. Ну конечно, заносим. И вдруг такой факт. Обегает цеха писарица и кричит: «Разбирайте ребят из проходной конторы, шибко ревут». Откуда они в проходной, когда ихнее прикрепление — ясли? А оттуда они в проходной, что ихнюю няньку из ясель скора помощь родить увезла... Ну, смеху, пока ребят разбирали.

— А еще необыкновенного у нас, что алименты не баба, а мужик получает. Ухитрился наш конторщик безо всяких бабьих трудов. Жена в актерки ушла, девчонку ему подкинула. Ну, он и предъявил.

Однако самую суть производства знают все одинаково хорошо и потому сложные вещи формулируют отчетливо, говоря самое главное. Все мечтают о том, чтобы производство шло не на пару, а на электричестве.

— Обида от пара большая. В случае порчи машины стоят, как бездельные, покуда ремонт. А при электричестве бастуют частично. И энергия дешевле.

В общей массе в текстиль идет народ, у которого еще не создалось психики и даже облика рабочего, или, как сказал подмастерье:

— *Необработанный* к нам идет... Для него фабрика не вторая родина, а потому он часто в ней не хозяин, а хищник, обращение с сырьем позволяет себе гнусное, около кардных машин у него валяются ленты — пoлометки выметают. Маслу, веревке, патронам у него перевод.

Вот на собрании наш директор будет говорить за участие нашего комсомола как застрельщика. Повторяю, публика необработанная, есть отсталые — фокстротники и безразличные. Но эти группы исправимые, если, конечно, молодняк явится повертывающим ядром на поднятие промфинплана.

— А тебе молодняк скажет: ядро повернем и с вас спросим. Чтобы никакие мастера по-американски не хитрили, чтобы подмастерья чужака обучали, как родного племянника. А промфинплан не только комсомол, и мы подымать будем! Разве работницы-шпульницы не поставили боевую задачу прядильницам, чтобы улучшили качество?

— А соцсоревнование в крутильном, скажешь, не показывало, что угар можно снизить в пять раз?

— А мало ругались?

— А не поругавши, нам нельзя. Это тебе не муку слизать, а вдвое канителиться. Поверни валик, да на катушку обратно смотай, да нитку просунь под цилиндр. Что же, поругаемся, а смотаем.

Самое сильное впечатление от «первого выхода» получено было мною на пятом этаже другой большой прядильной фабрики, уже по ту сторону Невы.

В большой светлой комнате, где много солнца и воздуха, стоят умнейшие машины, почти люди. Особенно одна, по кличке «Самоходы», действует настолько воспитательно, что ее стоило бы завести интернатам как средство воздействия на неуравновешенных и неорганизованных детей. Она немедленно успокаивает нервную систему, делая в полминуты, с отсутствием суетливости, почти важно, как японец, свою труднейшую эквилибристику — ряд движений и дел, которые отлично знает и делал в жизни каждый, но много хуже и дольше ее.

«Самоходы» наматывают нитку на катушку, чуть надрезают деревянный ее край, заводят осторожно туда кончик нитки, отгрызают его и, разжав зажимчик, выталкивают катушку, готовую для продажи, в общий

желоб. Потом, не посмотрев ей вслед ни мгновенья, схватывают катушку голую, чтобы ее обмотать. И так все три смены.

Чем дольше смотришь, тем больше уважаешь и любуешься «Самоходами», почти пугаясь их приближения к человеку, — тем разительней и тяжелей то, что происходит в другом конце той же самой светлой комнаты. И тоже все три смены.

За столиками, друг против друга, склонившись над упакованными дюжинами гроссов, сотня работниц *высовывает язык пять-шесть раз в минуту,* чтобы, смочив слюной этикетку, налепить ее на пакет.

— Зачем же вы языком? Разве нет губки?

И, отрываясь на минуту от дела, то есть показывания языка, говорит с улыбкой работница:

— Если вы думаете, товарищ, за рака, то тут по двадцати лет работают, а ни одного рака на языках не было. Теперь же мы лижем не восьми-, семичасовой, на один час меньше. Оно, конечно, с Октябрьской революцией о рабоче-крестьянском положении заботы побольше, и выдали было нам мокрые губки. Только губки без последствия. Никто не думает от языка отказаться. На губку лишнее движение идет: положить да нажать, а язык свой, сам знает, куда ему гнуть. А за рака вы не волнуйтесь, рак к языку не прикинется!

К счастью, в отделе изобретения уже поставлено на очередь предложение одного рабочего выжигать номера просто-напросто на катушках. Производству будет от этого экономия, языкам — отдых, а человеку — уважение.

БОКОВАЯ ФУНКЦИЯ

ПАШКА И МОРКОВКА

Пашка увидал первоначально учительницу снизу. Прямо в нос брякнули пылью одна за другой две маленьких сандалии, над ними проголубели носки.

Пашка висел вниз головой, зацепившись ногами за ветку кизила, горизонтальную, как трапеция. Пашка вычитал, что так спят летучие мыши: днем и вниз головой. Хотя Пашка висел так давно, лицо его стало багровым, глаза пучились от боли, но сон совершенно не шел.

Увидя учительницу, пыхтящую, как самовар, тоже багровую от жары и усилия взлезть на крутую гору, Пашка обрадовался предлогу капитулировать и с честью выдавил:

— Эй, тетка, даешь гривенник! Не то на твоих глазах сейчас лопну и во сне тебе стану сниться.

Учительница была спокойного нрава. Она вынула гривенник и сказала:

— Перевернись, мальчик, на тебя тошно смотреть.

Пашка расцепил ноги, хлопнулся в желтую, уже спаленную солнцем траву и, беря гривенник, удивленно сказал:

— Не заелась, раскулачилась.

Учительница протерла пенсне, надела его на нос и с восхищением осмотрелась. Отсюда видны были все три горные быстрые речки курорта, водопад и на горизонте то скрытая облаками, то предстающая взорам снежная цепь.

— Ну и вид отсюда!

— Вид на ять, — согласился Пашка. — Я здесь каждый день, еще ни один дурак, кроме тебя, не забредал. Толстяки любят больше переть по дорожке.

— Однако ты, брат, плохо считаешь — дураков здесь не один, а два. Себя-то забыл.

— Смотри не подначивай...

Пашка оглядел впервые учительницу доверху, уперся глазами в рыжую густую копну волос и вдруг обрадованно рявкнул:

— Тетка, да я ж тебя знаю. Я тебя за ногу укусил. Помнишь, ты обследовать к нам приходила. Мы тебя за волосы Морковкой прозвали. А меня зовут Пашкой.

Пашка необыкновенно высоко вздернул правую бровь и присвистнул. Морковка его тотчас узнала и все вспомнила.

Когда она вошла в коридор детдома трудновоспитуемых, куда назначена была для обследования, и педперсонал, окружив ее, стал сыпать цифрами, «кружками», клубной работой, вдруг что-то заторкалось в ногах и куснуло пребольно икру. Когда она нагнулась рассмотреть, внизу настойчиво прошипело:

— Требуй открыть изолятор.

Морковка была рада, что удержалась от вскрика, потому что тотчас, как ни в чем не бывало, из-под ее юбок, будто споткнувшийся на бегу, вышел вот этот самый Пашка и с подковыркой сказал воспитателю:

— Петр Иванович, а изоляторские и сегодня не будут есть? Я как дежурный по кухне...

— Вздор несешь... — оборвал Петр Иванович. — Когда это они не ели?

— А вчера без завтрака.

Вот тогда, как сейчас, необыкновенно взметнув бровь, Пашка свистнул под хохот ребят и смылся.

Учительница сообщила в своем докладе насчет изолятора.

Педперсонал сменили, ввели улучшения.

— Ребята тебя хвалили, — сказал Пашка, — после твоего обхода обезьянник ликвидировали.

— Ты что же — из того дома убежал?

— А ты бы сидела? — вопросом ответил Пашка. — Только и добра там, что мастерские, да и то пол бетонный, на нем босыми ногами ревматизм нажить — сапоги, брат, свищи на барахолке. Главное — в мастерских струмент растащен. Ведь не ладошкой мне вместо рубанка елозить. А в классах — буза. К тому же весна приключилась. Ленька меня, как туберкулезного, на курорт выслал. Ну и для обследования, конечно.

— А Ленька кто будет?

— Ленька? Предкоммуны кандидатов.

Пашка избоченился, взвихрил к виску бровь и передразнил учительницу:

— Ну, а где то́? А где это? А вынь мне все да положь, а я тебя манной кашей помажу.

Было очень похоже, и учительница засмеялась.

— Ну, расскажи хотя то, что, по-твоему, можно. Предкоммуны кандидатов — что значит?

— Председатель коммуны кандидатов в вожди, — сказал с важностью Пашка. — Нас восемь кандидатов — смена вождям. Полного комплекта еще нет, потому берем с наивысшей квалификацией.

Пашка растопырил черные от загара и грязи пальцы и стал загибать:

— Первое — ликбез в полной мере. Я, брат, читать могу с начала в конец и наоборот — одним махом. Второе — обязательно кандидату надо в кроликах побывать — для трамплину. И третье — надо с лета толковое обследование провести. И хорошо бы — нового кандидата.

— А кролики где?

— А ты ж обследовала. Ну, детдома. Там жвачку жуют, в рот суют. Табунок пасут на подножном. На готовых, брат, хлебах одни чужие мозги зарабатывают. А Ленька говорит: вождям свои мозги иметь надо. Старые, те из каторги бегали, те пешком землю мерили — они всё могут на ять понимать. А в случае перемрут — кто их заменит? Кролики. Ну, хватит... Скажи, чего сама тут? Фунты спущать?

— И фунты и заводы осматривать. Вот разливной, лесопильный...

Пашка презрительно свистнул.

— Без меня определенно засыплешься. Я, брат, второе лето тут околачиваюсь. Ты меня спроси. Я мастеру на стекольном, может быть, усовершенствование подсказал. Лебедку похерить...

— Какую лебедку?

— Да уж не лебедеву самку, — захохотал Пашка. — Лебедка — это, брат, одна штука... Она подает в печку бутылки для закаливания. Она сверху прет, а если трос сорвется — несчастный случай. Так и вышло — сорвался. Вот я на мастера и насел: сколько лет, говорю, на одном месте сопишь, а чердаком шевелить не хочешь. Рабочие поддержали, разожгли мы его. Он и придумай. Вчера был на заводе, гляжу — ту лебедку уже к чертям. Где стоишь?

Морковка назвала последнюю дачу на горе.

— Это мне подходяще, — сказал Пашка. — Как раз на опушке. Ну, давай колдоговор заключать! Ты учи меня немецкому, а я тебя вобче — уму-разуму. Идет? По рукам.

Морковка и Пашка порукались.

КРОНКОРКИ

Красивое краснокирпичное здание при самом входе в парк. Здесь разливают для всего Союза и для экспорта целебную минеральную воду. Сюда в первую голову торопится Морковка вместе с партией экскурсантов.

«В час двести двадцать два литра, в месяц — миллион шесть тысяч...» — записывает Морковка, и торопится, и волнуется. На конвейер глянула и вроде как в детство впала — ну, сплошная игра. Идут по круговым узеньким рельсам пустые бутылки, идут попарно, как тихие в темных платьях старушки-инвалидки. Двое рабочих — раз... перевернули бутылки, насадили вмиг на шпеньки из металла. Уже не чинными старуш-

ками — мальчишками-озорниками на голове, ноги вверх, въезжают бутылки в закрытую галерейку, где их начисто промывают фонтанчики воды.

Из крытой галереи бутылки подъезжают к минеральной воде. Тут их наливают, газируют, забивают пробками, грузят на подъехавшие по узкоколейке вагоны.

Насмотрелась Морковка до ряби в глазах, пока бутылки не пошли кружить в собственной ее голове. Вышла в парк — и скорее к речке: там прохладней и скамейки пустые.

Очинила Морковка карандаш и пошла в записной книжке начисто выводить, дополняя собственной памятью, что не поспела отметить. Изредка голову подымает и в просвет между тополей и чинар на горы засматривается.

Одна особенно интересная, прямо перед глазами, лесистая, мохнатая, будто в надетом овчиной вверх полушубке. Среди густой зелени бегут у нее от подножья к самой вершине ярко-белые тропки лесоспусков. Углубленные дождями, извилистые, как гигантские змеи, они обвивают всю гору.

На вершинном плоскогорье рубят строевой лес и валят большущие бревна в эти лесоспуски. Дальше, к подножью, ползут эти бревна уже без всякого участия человека. Хватят проливные дожди — и проедут они вместе с потоками.

Но бывает порой, как сейчас: вдруг застопорят на самой середине — и никуда. Вот уже несколько месяцев, как загрудили эти бревна лесоспуски, лежат кучами, будто макароны, наломанные для завтрака великанов.

Рядом с Морковкой татарчики из первой ступени, присев на корточки, играют в камешки. Глянули на лесоспуски и заспорили. Глаза как угли, кулаком в гору тычут и вот-вот друг в друга...

— О чем вы, ребята?

Оказалось, о том, на чьем лесоспуске бревна ниже сползли, — следят они за бревнами, кучки считают, вроде как на лошадей призы на них ставят: на чьем лесоспуске скорей донизу съедет вся куча. Откуда ни возьмись, среди татарчиков Пашка.

Трусы на нем чистые, бирюзового цвета, а кроме трусов, как и в первый раз, — ничего.

Татарчики обрадовались — видать, старый товарищ, — все как галчата загуркали, руками на гору машут. Пашка взял у одного кизиловую ровную тросточку, поперек перед горой наставил, один глаз прищурил и по всей справедливости определил, какой лесоспуск ударник, а какой саботажник.

Выхватили татарчики тросточку, поочередно занялись проверять.

— Здравствуй, Паша! — окликнула Морковка. — Откуда тебя принесло?

— А в речке самообслуживался, — указал Пашка на трусы, — глиной выстирал — лучше мыла. А ты где была? Где очки тебе втерли?

— На вот, — протянула Морковка лаваш с сыром, — давай прежде позавтракаем.

Пашка, словно смутясь, неуклюже взял.

— Ты, верно, детная, — сказал он, — которые без детей, те обязательно стервы бывают. Их бы вовсе в дома не пускать. Разговору они не понимают, из-за всякого дерма кишки вымотать норовят.

Позавтракали. Морковка рассказала все, что видела в разливном, и не без гордости прочла из блокнота:

— Промфинплан тридцать первого года — восемнадцать миллионов бутылок. Экспорт за границу — в Китай, Персию, Америку — полмиллиона. Открыт новый источник. Ведутся работы по каптажу. Вот только не помню, что окончательно решено — тоннель или канатная дорога...

— Про затычки спросила? — прервал Пашка. — Чем бутылки-то затыкать?

— Ну как же... — Морковка поискалась в листах. — Вот он, отдел рационализации... В тридцать первом году завод переходит на заграничную укупорку. Предполагают вместо теперешних пробок усовершенствованные, как у бутылок Эмса и Виши, — понимаешь, как за границей. Будет и у нас вместо целой одна тонкая прослойка на металлической пластинке. Пробковое дерево ведь редкость, оно вырождается. Эти новые пробки зовутся по-немецки Kronkork. Подумай, какие достижения!

— А уж ты и рада. В газету Максимычу накатаешь, — избоченился Пашка. — Смотри, кабы в дыру не села.

— Сам не дури. Вот ты по-немецки учиться хотел — как раз с этого слова и начнем. Ну, запоминай: Kronkork!

— Очки тебе втерли этими корками. И как это на производство без понятия вас пускают. Про согласованность небось так и не спросила?

— Про какую?

— А про такую, что со стекольным заводом... Э-эх, тетка за хвост ухватила, морды не повидала, а уж про

всю свинью как умная говоришь. Да чтобы твои новые пробки к бутылкам пришлись — горлышки-то им не разнопсовые полагаются, а определенно на ять. Скажешь — не так?

— Скажите, удивил. — Морковка с сердцем нырнула в книжку. — Ну, вот тебе и постановление! Ме-ха-ни-зи-ро-вать бутылочное производство.

— Эх, тетка, не кусни я тебя вовремя за ногу, ты бы и в нашем обследованье под чужую диктовку вписала. Про механизированный завод говори, когда в него своим носом сунешься. Скатись на стекольный, обсмотри, согласуй с тем, что в протоколе написано.

— Чудак какой! Да я непременно завтра на стекольный пойду.

— Тогда и подытоживай, а то по-готовому норовишь. Мало что в протоколах стоит! Верно про вас Ленька сказал: буйволы. Прет куда ведут — а ну-ка сама? Ты меня не приметила, а я, пока тут в речке трусы стирал, тебя видел. Сидишь как лишенка, на лесоспуски глаза пялишь, а чердаком шевелить не хочешь. А Ленька, он, брат, хозяин. О прошлом годе мы тут вместе с ним были. Он про лесоспуски именно так сказал: «Каждому предмету лестно иметь боковую функцию». Это насчет того, что на бревнах этих ребята счет учат. Однако, говорит, прямая цель важнее боковой функции. А прямая цель этих бревен — добраться донизу определенно в два счета, а не в два года. Да чтоб добраться им без драной коры и без прочего браку. Или как, по-твоему, строевому лесу хватит ползти с дождевой оказией? Что, небось глядела, а не подумала? А Ленька, знаешь, как тут одного оппортуниста

срезал. «Это, говорит, гражданин, в буржуйных обжорных книжках только написано, что карась любит, чтобы его жарили в сметане, настоящий ударник добром республики принужден дорожить. Поэтому знаешь ты, что есть коммунист? Первее всего — хороший хозяин».

— И кулак тоже хороший хозяин, — сказала с хитринкой Морковка.

— Кулак для единственного своего брюха, а заправский коммунист, он для брюха всеобчего. Села в лужу? Хоть всю тетрадь испиши, о пустяках напишешь, если своим чердаком дела не видишь. Я вот у татар живу, так я знаю, что они лучших елок штук сорок стравить могут, пока до звонкой елочки доберутся. Эта же звонкая — знаменитая. Я про нее в музее слыхал. Ее чуть тронь, она как сухая лучина расщепится. Вот татары и охотятся. Вроде черепицы из нее мастерят, себе дома кроют. А директор музейский говорит: из нее именно только рояль и скрипку портачить полагается.

Определенно скатись в музей. Вот, скажу тебе: я, может быть, из-за этого музея, конечно, кроме туберкулеза, сюда и Ленькой послан. Я через этот музей антирелигиозную пропаганду веду — вот что. Одного Гассанку уже сагитировал. Коли крепкий окажется парень, в кандидаты возьму. Я, брат, не так, как в детдоме у вас агитируют, я с научным подходом.

— А как же ты ведешь антирелигиозную пропаганду через лесной музей?

— Пошевели чердаком. До чего вы, бабы, ленивые. Ленька говорит: «Где парня только наведи, там бабу заряди, выстрели, а она только — ах!» Некогда мне... Ну, пока.

МУЗЕЙ

По широкой тропинке, усыпанной прошлогодней хвоей, далеко выбегали горы, громоздясь одна над другой. Не понять было, каким образом люди возделали пашни на такой большой высоте. Полоски густого овса то тут, то там узорились синим отливом, как старинные муаровые ленты. Еще выше на пастбища пробирались по скалам стада. В глубине ущелий прыгали горные речки.

Невольно Морковка, вовлеченная в лесное дело, пока шла с горы вниз, с огорченьем считала, сколько чудесных строевых елей с грубо поврежденной корой обнажили свое оранжевое израненное тело и плакали каплями смолы. Из этих варварски пробуравленных ран, под которыми даже не висело ведерка, смола падала прямо в землю.

Она вспомнила рассказ Пашки про звонкую елочку, из-за которой губят сорок простых, и так как музей был совсем близко, решила перед заводом осмотреть его.

Музей, на приземистых колонках, с шатровой крышей, полон был борьбы с короедами и богатой коллекцией раритетов, болезненных разращений — «рак дерева», ради которых охотно его посещало окрестное население.

Разращения были необыкновенно причудливы и, должно быть, порождали немало легенд.

Вот раненый в юности буковый ствол, он вырос как бы обвитый удавом, и не мудрено появление рассказа о про́клятом муллой вероотступнике, которого, по слову Корана, обвила змея, и оба превращены были в дерево.

Вероятно, свою мифологию имели у туземцев и аномалии клена и дуба — громадная раздувшаяся лягушка и с высунутыми лапами черепаха. Подальше — совсем человечья голова, злая, с волосами, ставшими дыбом.

Соответственно каждому чуду-юду музея приклеена белая карточка с литературным пояснением. С точки зрения искусств и науки это не совсем подходящее дело было, конечно, с самыми лучшими намерениями — ускорить просвещение туземцев.

Так по крайней мере поняла Морковка, сама педагог, любуясь замечательным почерком, которым выведены были следующие надписи:

Печальный демон, дух изгнанья...

Это как раз под взлохмаченной злой головой из темного, мрачного дерева с сучками, дающими иллюзию глубоко сидящих дьявольских глаз. Заодно с этой лермонтовской квалификацией пририсован был к голове нос с горбинкою.

К разращению дуба с намеком на массивную тушу слона приделаны были взаправдашные клыки из кусков вязального костяного крючка. Кизилу, породившему своими узлами и наплывами «фею здешних мест», приклеены мохнатые бровки и вставлены бисеринки-глаза.

Гвоздем же всего литературно-лесного комбината были сложно и буйно переплетенные между собой корни бука, озаглавленные:

ЛЕВОЕ ТЕЧЕНИЕ ФУТУРИЗМА В ЛЕСУ

Водоросли в восемь метров длиной, вытащенные из городского водопровода и бывшие памятной задержкой в городе воды, значились под рубрикой:

Борода черномора

Показал директор и «резонирующую ель», в обозначении Пашки — «звонкую елочку». Действительно, это из нее делают рояли и скрипки. Демонстрировались для наглядности подобранные пластинки обыкновенной ели и резонирующей. Если тронуть палочкой, в первом случае они дают тупой, кухонный звук, пластинки же ели резонирующей — хроматическую гамму.

Морковка все записывала и записывала, а бедный директор в неисчислимый раз пылал надеждой, что от ее записи выйдет для его возлюбленного детища, музея, хоть какой-нибудь практический толк. Директор выражал задушевные мысли о том, как необходима этому краю широкая агитация для охраны леса от местного хищничества. Ведь какие здесь редкие породы! Бук, драгоценный самшит — за границей его на фунты продают. Агитацию же тем удобнее вести, что уже есть опорный пункт — вот этот музей. Горцы и туземцы заинтересованы, — они сами начинают приносить новые экспонаты. Вот на днях большая антирелигиозная победа: Гассан принес священное в их роду изображение...

И директор показал затейливую болезнь бука, где из наплывов раненого дерева выделялся старик с бородой в большой чалме.

А Морковка совсем по-матерински вдруг испугалась: распропагандировал Пашка Гассанку — как бы не пришлось Пашке плохо.

БУКОВЫЕ БОЧКИ

Увлеклась Морковка деревьями, да и покатилась по лесной линии. Вышла ведь из дому, чтобы идти на стекольный, — ну и шла бы по улицам за город. Так ведь нет — понесло ее через гору. На горе занялась поврежденными елками, из-за них попала в музей; уж пусть будет одно к одному, снесло ее совсем уже не на стекольный, а на кле-поч-ный завод. Вот-то высмеет Пашка!

Завод оглушил Морковку жужжаньем ремней, стуком, свистом огромных пил, которые в один миг охватывали куски мачтового дерева, как нож капустную кочерыжку. Строгались механически доски, большие и совершенная мелочь — клепки из драгоценного бука, похожего плотностью, белизной и тонким рисунком на слоновую кость. Из этого бука здесь делали бочонки для масла.

— Ах, — сказала Морковка старшему мастеру, — почему же бочонки не из осины или ольхи? Они ведь дешевле.

— Бук сохраняет благодаря непроницаемости волокна весь аромат масла, — сказал строго мастер. — Комплектов бочонков — три тысячи пятьсот, в каждом комплекте по двадцать пять. Эти комплекты...

Как боевой конь, заслышав трубу, кидается в бой, Морковка, услыхав цифры, сейчас за карандаш — и ну записывать: условия работы, комплекты, экспорт, пропускную способность. Буковые опилки идут на борьбу с саранчой: их жгут, и дымовая завеса прекращает наступление саранчи. Стружки идут на упаковку экспортируемых вин и минеральных вод...

Вернувшись домой, усталая и голодная, Морковка с удовольствием увидала уже принесенный из столовки обед и, прочистив примус, стала подогревать, посматривая на балкон, откуда, ждала она, появится приглашенный гость — Пашка.

Но Пашка пришел не как люди, по лестнице, а возник бесшумно и вдруг прямо в окне. Он на руках въехал с земли по водосточной трубе и в один миг перекинул свои черные ноги через подоконник в комнату.

Ахнула Морковка и пошла хохотать вместе с Пашкой.

— Ну, куда ходила? Где тебе очки втерли? — спросил Пашка, совсем чинно садясь за стол. Вспомнил, как в детдоме обучали, и, чтобы порадовать Морковку, раскорячил ей все десять пальцев, хоть и не совсем, дескать, чистые, но вполне по мере сил. — Побывала на стекольном? Согласовалась? — спросил Пашка.

— Я, знаешь, поспела только на клепочный.

— И то дело. Однако первей хотела не туда. Вышло, значит, — метила в ворону, а попала в корову. Всегда это ты так?

Морковка вспомнила то, что не поспела спросить у мастера: а вот сколько тонн стружек может дать клепочный?

И не моргнув Пашка:

— Шестьдесят тонн. А Заглесбумтрест, запомни, рынка не нашел. Я, брат, уж Леньке про подобное головотяпство написал. Он, может быть, даже в газете продернет. А вот из чего именно бочки делают — досмотрела?

— Ах, — сказала Морковка, — ах, как жалко! Из бука делают. Прелестное дерево.

Пашка есть перестал, нахохлился. Вдруг, вихрастый, как недодравшийся воробей, наскочил на Морковку:

— А знаешь ли ты, сколько именно времени этот бук растет? Да тебе шесть раз сдохнуть надо, обратно родиться, полвека отхватить и обратно подыхать, а ему, буку, только-только впору деревом наливаться! Во! А они, гляди, к пятилетке его целиком вытравят. Я пытал у разных. На сколько именно, говорю, годов вам на бочонки хватит? А они: кто сказал — на три года, кто — этого бука такая сила, что навсегда его хватит. Один, честный, в башке поскреб, сматерился и говорит: «А черт его леший считал. Пока я тут работаю — на мой век хватит». Слыхала?.. А наш Ленька — хозяин. «Обида, говорит, обида всему Союзу этот бук». И точную мне инструкцию дал: «Привози, говорит, цифру, то бишь, две цифры:

1) букоистребление,

2) буконасаждение.

Ежели, говорит, несогласованность окажется, ущемлять будем кого надо в газете...» Ну, а ты что? Стишок с твоими «ахами» привезешь. Ведь толком тебе говорю: катись на стекольный. Мне на днях сматываться отсюда — сядешь без инструктажа. Вот-вот Гассанкин отец муллы своего деревянного хватится. Он у них вроде образ чудотворный был, от зубной боли об него старики терлись. На меня вся подкулачная татарва газават ихний объявит.

— Муллу твоего уже в музее показывают как результат антирелигиозной пропаганды.

— То-то, — сказал важно Пашка, — только прибавлять надо: пропаганда на вполне научной базе. Ну, хватит. Досмотри завтра хоть последнее производство на большой палец с покрышкой. Вечером забегу.

САМОДУВКА

Считая проект отдела рационализации разливного завода уже за реальность, Морковка отправилась на стекольный. Чтобы не рассеяться, шла голой пыльной дорогой, на горы не смотрела, перед глазами стояли у нее заграничные кронкорки Эмса и Виши с гофрированным металлическим ободком, напоминавшим рантик песочного пирожного.

Тщеславие охватило скромную Морковку: подобное накопление производственного материала — и чтобы ей не попробовать, кроме голого отчета, дать очерк в газету! Глупей она разве тов. Деминой... Та, говорят, по справочникам пишет, а тут две пары сандалий по горам стоптано. И Морковка комбинирует: «Начну с разливного, хотя бы так: наследие нерационализированных заводов — бутылки с разнофасонными горлышками, с неэкономно использованными целыми пробками бледнеют перед достижением трехлетки — механизированным однообразием...»

Морковка мучилась — однообразием чего? Если еще раз «горлышек» — будет вроде как институтский лепет, а если, как Пашка говорит, — «горляшки на ять», скажут: блатной язык. В «За коммунистическое просвещение» так писать неудобно...

В преддверии завода долго ориентировалась с карандашиком Морковка, из каких процентов образуется смесь, в которую входят:

1) марганец из Чиатур,
2) песок сурамский,
3) черный камень андезит.

Директор-выдвиженец, из токарей, немного мешал, рассказывая, как он сэкономил сразу две тысячи рублей в год, предложив уже отработанные отбросы после промывки опять пускать в дело.

А может, Пашка скажет как раз, что этого токаря слушать важней — про черный камень андезит можно и по книжке прочесть.

Гордясь полученной премией, директор ввел Морковку на завод.

В первую минуту почудилось ей, что комната полна гигантских Ивановых червяков, которые летают то вверх, то вниз. Оказалось, что это раскаленные «банки», насаженные на металлические прутья, которых сразу глаз не различал, а выходило — почти голые люди безмолвно правят какой-то ритмический танец, а им сопутствуют какие-то вольные самодвижущиеся огни.

Скоро, однако, осмотрелась Морковка и, по своему обычаю, ахнула. Завод этот — не механизированный, а совсем допотопный.

Судя по свистящему дыханию стеклодувов с оттопыренными щеками, с глазами, выпученными как при эмфиземе легких, видно, что цех этот — превредный.

— Что поделаешь? — развел руками директор. — Самодувка у нас. Но будет механизированный завод, обязательно будет. Фундамент уже выведен,

«Не туда я попала, вот разиня-то...» — мучилась Морковка, глядя, как «баночник» берет на голую трубку из стеклодувной ванны огненную массу, а директор поясняет:

— Баночник, повертальщик, мастер-стеклодув — смотрите, он надул собственным духом бутылку и опустил ее вниз, чтобы она свисла как большая груша, — отшибальщица и отдельщица — все вместе это один верстак. У каждого верстака своя метка для отправки продукции в плавильную печь: у кого ромб, у кого загогулина, у кого вроде рачьей клешни. Из вот этой плавильной печи выходят уже готовые бутылки...

Морковка долго смотрела. Да, у этих бутылок горляшки далеко не на ять. Тут не сунуться с пробками Эмс и Виши.

Призналась вечером Морковка Паше:

— Попала я на завод, да, должно быть, не на тот. На допотопную какую-то «самодувку». Щеки у рабочих то надуваются, как арбуз, то вдруг опадут, словно бурдюк без вина. Вредный цех. И никакие кронкорки на подобных разнофасонных горляшках не удержатся. Сведи уж меня сам на новый, механизированный завод.

Пашка свистнул, закрутился вокруг собственной оси — и хлоп. Бирюзовые трусы — единая точка опоры — босые ноги — все вверх. Побрыкал, обновился и сказал:

— Новому заводскому корпусу пока что заложен один фундамент. Однако это, брат, еще не прорыв. До пятилетки доверху выведем. Но все-таки, тетка, коли ты вправду ударница, обзор свой ты обязана подытожить, так — сплошная викторина.

— А почему?

— А потому... Где она, согласованность между разливочным и стекольным? Если от механизированного завода здесь пока вместо всех этажей один фундамент торчит, то почему нет на пробки лицензии? Запас у них пробок знаешь какой? Я-то хорошо знаю: пятьдесят пять тысяч — и амба. Вот поглядишь зимой, как станет завод со всеми твоими экспортами и всесоюзно больными печенками. Да из-за чего станет? Добро б источники не хлестали...

Так ведь нет: хлещут как окаянные — только подставляй. И машины здесь есть, и бутылок целую прорву надули. За малым дело станет — заткнуть чем? Ленька бы сказал тебе чем... Слушай, тетка, когда в журнал строчить будешь, попомни меня. Ставь определенно на повестку дня следующее предложение: образуйте бригады из сознательных беспризорников и шлите их в первую голову на производство. Мы, брат, досмотрим почище тех, что на местах привинтились. Наш глаз как рубанок елозит — он высмотрит. Вот пробовали было нас режиссеры для кино организовать — так пальцы облизали. Однако всего лишь одну картинку поставили и скапутились — с кроликами им спокойней. Все граждане больше спокой любят. Облону, конечно, нас всего сподручней по кролиководству рассовать. А ты присоветуй — пусть нас выкликают в ударные. Из кролиководства мы, брат, все одно — наше вам с квасом — сбежим. Ну, зато боковая функция у нас — что надо. А сейчас, тетка, окончательно тебе скажу — пока. — Пашка протянул свою черную лапу. — Мне, брат, отсюда надо смываться. Гассанкин отец

определенно узнал, что деревянного муллу именно я в музей перепер. Грозится и Гассанку и меня придушить.

— Когда едете?

Пашка подозрительно покосился и сказал:

— Провожать не расчувствуйся. Коли хочешь в дорогу, например, чайничек дать, так давай сейчас.

Морковка дала Пашке чайник и навязала узелок снеди.

В СТАРОМ ТИФЛИСЕ

Дом Като высоко над Тифлисом. За лужайкой, поросшей лимонно-желтыми мальвами, круча; пустить мелкий камень — когда еще допрыгнет до крыши нижних домов. Там же, на дне пропасти, целый лес красных труб института св. Нины. Только месяц назад его кончила Като. А поднять голову, в самое небо гора и на ней белый Мтацминда — монастырь с могилой Грибоедова. Там в склепе навек замерла, рыдая и высоко всплеснув руки, бронзовая Нина Чавчавадзе с горестным возгласом: «Зачем пережила тебя любовь моя!»

Сколько запахов, какое жужжанье пчел, стрекот цикад в горах в час заката. Горьким миндалем курится нагретая повилика, сладкой ванилью цветут деревья унаби.

Като сидит на окне, ноги свесила в сад. Оторвалась от своего вышиванья, сорвала парные сережки с ветвей унаби, надела их на уши. Три дерева унаби в старом саду у Натадзе — по числу детей посадил сам отец. Сейчас деревьев всего три, ну, а детей только двое:

Като и младший из братьев, адъютант дивизионного генерала, — Серго. Старшего брата увезли далеко в Сибирь.

Старший брат офицером быть не хотел, скрылся из дому, и про него узнавали только из газет. Дома про него не говорили. Като и лица его почти не помнила, но часто думала, что же такое Давид мог сделать, за что его так далеко посадили в тюрьму. Не так давно мать прочла в «Новом времени», что Давид Натадзе, бежавший из тюрьмы, снова пойман; мать откинулась назад с газетой в руках и умерла. Скоро умер и отец.

У Като сейчас близких только брат Серго, бабо Шушуника и старая бабка Саломэ. Серго очень веселый. Он сейчас на дежурстве, приедет завтра утром. Перед уходом принес свой мундир, торопил скорей починить. Мундир новый, с иголочки, Серго надевал один раз только на бал и разорвал в локте по шву. Э, зашить поспеется, пустяки! Дежурный Серго, и домой ему только завтра. А завтра замечательный день — первая репетиция.

Като положила мундир на кресло и прыгнула в сад. Под окном, сбросив чувяки, пошла босая по крепкой горячей тропе... Да, завтра генеральная репетиция «Гибели Гуина». Из-за этой репетиции Като не уехала с бабо Шушуникой на Манглис, осталась жариться в Тифлисе, на этой каменной сковородке, покрытой колпаком раскаленного неба.

Нарочно шлепая босыми ногами, бежит Като вдоль аллеи пунцовых и белых роз, дразнит на лужайке ленивую черепаху, пока черепаха, шурша по камням своим панцирем, не спасается в холодный бассейн.

Высоким забором обнесен сад Натадзе, недоступен чужим. Стережет его день и ночь под большим орехом мохнатый Курбас. Пахнет мятой, укропом, чебрецом.

Но как весело думать, что завтра генеральная репетиция. Решили по древней музейной картине воскресить «Гибель Гуина». В давние годы, по обычаю, в память освобождения от монголов разыгрывалась эта «гибель» в чистый великопостный четверг. В богатом костюме бывших владык Тифлиса сидел на ишаке сборщик податей — этот ненавистный Гуин, а молодая, прекрасная и независимая Грузия вознесена была на верблюде. После полагавшихся хоров и танцев, по особому мановению руки Грузии, туземные воины срывали Гуина с ишака и, раскачав, во всем облачении кидали его с «ишачьего моста» в Куру.

Только отличный джигит и пловец мог в этом месте выплыть удачно. Здесь из пропасти возникает древняя персидская крепость, и отроги хребта Салалак от нее бегут к самой реке. А напротив — Махатские скалы. Кура между ними затиснута. Здесь ее русло глубоко обрамлено недоступными берегами и отвесными скалами. А в водоворотах легко утонуть. Но брат Серго выплывет.

И вдруг вспомнилось: давая зашить мундир, Серго так особенно сказал:

— На вот... прими участие в ниспровержении строя.

Однако тут же осекся и перевел на другое:

— Тебе скоро семнадцать?

— Через месяц. А что?

— Посвящена будешь в некую тайну.

— В какую тайну?..

Като с разбегу хотела подпрыгнуть и сорвать ветку черешни, но, как человек, вплотную наскочивший на змею, стремительно отскочила в кусты.

Под гранатовым деревом, сливаясь цветом черной черкески с забором, стоял человек. Он был еще молодой, но очень исхудалый и такой тихий, что Като не испугалась. Из-под папахи, как для прицела, прищурились темные глаза. Лицо было необыкновенное. Лицо все играло, зыбилось, казалось, человеку хочется сразу очень много сказать такого, что невозможно сказать словами.

Встретясь глазами с Като, незнакомец перестал щуриться, но не двинулся, не сделал движения. Глаза у него только стали очень большие, мягкой черноты.

— Не пугайтесь, — сказал человек тихо. — Серго дома?

При имени брата Като сразу поверила, что это не враг.

— Серго на дежурстве и будет дома только завтра.

Человек вспыхнул, как от внезапной боли. Потом что-то прикинул в мыслях и быстро сказал:

— Вы сестра... Вы Като?

— Откуда вы знаете?

— От вашего брата. Время дорого... В семье Натадзе предателя быть не может... Словом, мне необходим мундир Серго. Он, верно, сказал — надо отдать тому, кто его спросит.

— Я вам отдам...

Като покраснела. Ей не захотелось признаться, что Серго ее не посвятил еще в тайну мундира.

Незнакомец как бы угадал ее мысли.

— Передайте Серго — приходится действовать раньше, чем было задумано. Отложить невозможно. О даль-

нейшем сообщу, как условлено. Мундир надо дать совсем незаметно.

Като промчалась обратно в комнату, завернула в бумагу мундир и вдруг, стесняясь своих босых ног, надела чувяки.

Уже не по тропинке, боясь собственных шагов, а бесшумно проскользнула она по траве к забору. Человек в темной черкеске стоял неподвижно все там же, под гранатами, издали странно знакомый. Он взял у Като пакет, ласково чуть задержал ее руку, благодаря глазами, без слов. Внезапно на одних руках, как гимнаст, он притянулся к забору, перемахнул через него и исчез.

Залаял что силы мохнатый Курбас, а Като кинулась к флигелю, где была половина бабо Шушуники.

Прохладный покой, горький запах спелых трав обволакивал уже с порога горенки. Она стоит на каменных столбах с оконцем, задернутым узорной чадрой. Здесь сушит целебные травы и разбирает их по сортам кормилица Саломэ. Должны травы сохнуть без солнца, чтобы не терять своей силы.

Саломэ в седых длинных буклях, в шапочке тавсекрави, только вместо двух жемчужин посреди лба, как у бабушки, у нее подешевле — оправленный в серебро, блестит горный хрусталь. Она, схватив голову Като сухими старыми ладонями, пытливо смотрела ей в глаза, шептала что-то на родном гортанном языке, потом коекак сказала по-русски:

— Кипишь, совсем казан на огне!

— Чай пить хочу.

И, боясь выдать волнение, выскочила Като в галерею, где играл толстый правнучек мамки, Бессо.

Схватила на плечи Бессо и, держа его за голые бронзовые коленки, промчалась лошадью вдоль галереи, топоча ногами, выгнув шею, скосив вбок, словно истая пристяжная, как мокрые вишни блестящие глаза.

Бессо ревел, просил спустить на пол. А Като все крепче сжимала брыкавшие ноги и носилась как ураган. Мамка Саломэ вошла с чаем и с целым подносом сластей.

— Кушай, Като... Саломэ гузинаки варила, кушай мед из Бакурьяни, целебный мед, салгуни жареный, цоцхали свежий, тоже жареный. Сироте хорошо надо кушать. Умрет Саломэ — кто тебе даст?

— Ну, завела... сама возьму, когда захочу. Есть новости?

— Бабо Шушуника письма писала, тебе на Манглис сейчас ехать. Скучает бабо.

Подождет бабо...

— Позови, когда Зораб придет. А я пока на гору...

Хорош Тифлис ночью с горы Давида. Пропадает его дневной европейский вид и настораживается, вступает в силу тот, древний, на тысячу лет старше других городов. Неприступной кажется персидская крепость с круглыми башнями, встающими из пропастей. Рядом с нею остатки храма огнепоклонников. Вот замок Метех, охранявший переправу. Под ним, на майдане, Тимур топтал конями дикой орды согнанную палачом толпу юношей и детей. Подальше султан Джолалдин бросал их сотнями в бурную воду Куры. Али-Магомет-хан в персидский плен увел всех уцелевших.

Огни вспыхнули в Авлабаре, перекинулись в артиллерийский лагерь и сразу двойной рекой охватили проспект, корзиной опрокинутых бриллиантовых звезд

засверкали в центре города. Гибкими лозами дугообразно разбрызгивались огни далеко по предместьям. На Верейском мосту огни были велики и недвижны, как золотые подсолнечники в безветренный день. И, как днем, было видно: шествуют важно по мосту верблюды из Баку, нагруженные керосином, и, скрытые непомерными корзинами с виноградом, семенят тонкими ножками ишаки.

Под тутовое дерево пришли, почуяв Като, две персидские собаки с отрубленными хвостами и плоской головой. Эти желтые длинные собаки похожи были на змей.

Сквозь ветви старой туты следила Като, как разгорался огнями Тифлис.

Здесь еще сильнее пахнут деревья унаби. Это свежие отпрыски на тех могучих стволах, что росли и цвели во времена Магомет-хана и огнепоклонников.

Все огни разгорелись и застыли, уже не мигая. От неба, темного, уходящего вглубь, полилась наконец желанная прохлада на раскаленную сковороду, на весь древний Тбиликалар — жаркий город. На крышах духанов застрекотала зурна, понеслись в плавной лезгинке танцоры, и зажил своей особой ночной жизнью воспетый поэтом многобалконный, многозвездный Тифлис.

Притопал голыми пятками под тутовое дерево толстый мальчик Бессо, позвал Като слушать Зораба.

На галерее старый Зораб уже запивал жирный плов кахетинским. Потом он настроил миствири, украшенное медными подвесками и стеклярусом разных цветов. И запел...

Зораб воспевал древнюю доблесть кавказцев, умевших стремглав летать с зубцов крепости, спугивая

целые облака розоватых скворцов и хохлатых удодов, истребителей саранчи. И про свой родной город с Ахалцихскими веселыми горами и неприступными замками. Пел и новую песню о том, как вдоль быстрой Куры лежат праздно бурьяном поросшие десятины. Хотя князья разорились, больше не строят, но и куска земли не дадут бедняку, — и вот негде ему себе ставить новую саклю.

Простилась, ушла на покой Саломэ, ей завтра вставать на заре, собирать под росою лечебные травы.

— Хорошо слушай, Като, — сказал Зораб, — я спою тебе еще одну новую песню.

Зораб поднял всегда тяжелые веки, под которыми дремали глаза. Сейчас глаза не дремали, они были желтые, как у кобчика, и остер был их взор. Старик, понизив голос, сказал:

— Скажешь Серго: завтра весь день лежи в постели больной. Слышишь? Так надо. Два дня, три дня — все время больной.

— Зачем, Зораб, это надо?

Опять загадки: ничего не ответил Зораб, взял миствири и, бряцая подвесками, запел про Божираса, последнего из древнего племени нартов-богатырей. Этот Божирас хотел взорвать землю, устроить ее во много раз лучше. Он хотел перебить всех ангелов, если вздумают помешать. Он отказался слушаться самого бога, который положил людям страдать на земле.

— Слушай, Като, новый Божирас есть у нас. О нем скоро знать будешь, скоро загадку поймешь. Помогать братьям надо...

Это сказал совсем тихо Зораб, и так же тихо ему вопросом Като:

— Ведь у меня не два, один брат... Серго!

— Зачем один, есть и старший, Давид. Очень хороший брат...

Не закончил старик, запнулся. Прикрыл глаза тяжелыми веками, и тотчас задремали привычные глаза. Так, не глядя, поднял он вверх три черных крючковатых пальца и еще раз, как дятел:

— Три дня... три дня Серго болеть надо!

Утром рано, когда Серго был еще на дежурстве, Като побежала на армянский базар искать разноцветных шелков — газовую косынку матери надо было подправить, чтоб покрыть ею тавсекрави молодой Грузии.

Конечно, она понимала необходимость передать Серго то, что сказали незнакомец в черкеске и старый Зораб. Но, во-первых, Серго будет спать после дежурства богатырским сном до обеда, а потом уж очень ей было обидно, что держат ее, словно какого-то ишака, для передачи, не вводя в суть дела.

На армянском базаре, как обычно, вся жизнь наружу. Тут и бреются и едят шашлык, сидя на корточках, запивая вином из бурдюка. Здесь толпятся мингрелы, лезгины, персы, окрашенные огненной хной. Здесь лудит медник посуду, гремит кузнец молотком, звенит оружейник, оттачивая драгоценный клинок, кричат на верблюдов погонщики, кричит сам верблюд, скаля большие желтые зубы, скрипит арба, наваливаясь всем передком на длиннорогих серых буйволов; водонос-тулухчи с диковинным мехом ведет под уздцы своего мула к Куре. Муша, согнувшись, как перочинный нож, под тяжестью огромного шкафа, привычно ухает на поворотах, и шкаф кажется самодвижущимся

предметом. Базарные писцы в высоких барашковых шапках только что выложили чернила и перья из узких деревянных ящичков и ждут заказа.

Далеко вглубь втянули Като «темные ряды».

Здесь, сидя на порогах своих лавок на корточках и непрестанно жуя белую кеву, армяне торговали папахами, другие, закинув длинные рукава своей чохи за спину, крутили на вертеле сочный шашлык и жирные пальцы вытирали о висевший на бечевке лаваш — тонкий лист дрожжевого пузырчатого теста: он же сразу был им и хлеб и салфетка.

Вот двое заспорили на родном языке, и вдруг в порыве азарта, как это делают часто армяне, сказал один, считая, что так будет доказательней, с сильным акцентом по-русски:

— Для обновления революционной деятельности нам прежде всего нужен деньги. Можешь понимать?

— Ишак... — оборвал товарищ и мигнул черной густой бровью на полицейского.

Под навесами крыш и балконов у старого перса, рядом с благоухавшим розой шербетом, Като нашла необходимые шемахинские шелка. Когда она вошла опять на майдан, на темно-синем небе уже голубейшею бирюзой раскалилась мозаика мечети Али.

Боясь опоздать, заторопилась Като к большой площади — другому центру города, европейскому. На площадь выходят штаб военного округа, управа и редакция двух газет. Недалеко охранное отделение, недалеко и дворец самого наместника. Кажется, одно наличие таких особо охраняемых мест — достаточная защита

для площади. К чему тут еще и городовые с винтовками? Неспокойное время. Разъезжают патрули — в Тифлисе объявлено осадное положение.

Здесь, на площади, кишит толпа богатых людей, особая, жадная толпа людей, имеющих в банке сейфы. Цель всеобщих устремлений — караван-сарай, где найти можно все, от несметной цены бирюзы до простых чувяк, куда войти можно голым, а выйти хотя бы на бал к генерал-губернатору.

Ну можно ли чего-нибудь опасаться на подобной, охраняемой толпой и властями, площади, под этим утренним, уже палящим солнцем?

И пьяным показался Като внезапно возникший вчерашний певец Зораб, когда он одернул ее за рукав и, сверля своими ястребиными взорами, заклекотал:

— Хочешь живой быть? Бежи отсюда. Сейчас бежи!

Не успела осмыслить Като этих слов, вдруг перед ней офицер. Нагибается, подает носовой платок, шепчет:

— Бежать надо с площади... не медли, Като!

Като не роняла платка, это сам офицер нарочно уронил свой платок, чтобы, подав ей, сказать незаметней. Как все не взаправду, как будто в театре.

И вдруг Като по кошачьей легкой походке офицера, по спине угадала его — это переодетый вчерашний человек под гранатами. Офицер чуть согнул локоть и, придерживая шашку на повороте, совсем исчез. Ярко пробелел на согнутом локте распоротый шов — ну конечно, мундир брата Серго, который Като не успела зашить.

Сейчас на площади будет страшное...

Като спохватилась, пробежала шагов двести обратно к базару, но что-то сильнее страха заставило ее остановиться и ждать.

От государственного банка выезжали на площадь два фаэтона с конным эскортом: кассир и счетчик везли, как обычно, денежный ящик на почту, и, как обычно, молодцеватая конная охрана, заигрывая и гарцуя, вызывала волнение волоокиx армянок, продавщиц папирос.

Еще стояло перед глазами Като вихрастое белозубое лицо казака, крутившего нагайкой, как вдруг расселась земля и повалилась вся площадь, раздался оглушительный взрыв... много взрывов. В дыму на уцелевших камнях вздыбились кони, и помчались в панике люди с нечеловеческим воплем:

— Землетрясение!

Однако через минуту поняли совсем иное, и крик испуга сменился бешеным воем:

— Экспроприация!

С выпученными глазами, не владея собой, кричали о похищенном денежном ящике!

— Триста тысяч! Пятьсот! Нет, миллион! Держи их, держи...

Площадь оцепили солдаты, немедленно примчался полицмейстер. Военные и присутственные места — все тут близко, на самой охраняемой из площадей.

Вид полицмейстера успокоил толпу. Раненых не было. В крови билась лошадь, ее пристрелили. Присутствие солдат и полицмейстера в полной парадной форме — он только что был у наместника, — его белые перчатки, его ордена, его военные скупые жесты остановили людей, как узда в умелых руках — закусивших удила лошадей. Паника стихла. Экспроприаторам уйти

некуда, экспроприаторы будут пойманы. И, уж конечно, повешены.

И вот уже толпа кричит «ура» полицмейстеру и войскам.

Солдаты мечутся неуверенно, как свора гончих, еще не напавшая на след.

И вдруг след нашелся. К полицмейстеру подлетел, стоя на подножке экипажа, запряженного великолепнейшим карабахом, тот самый офицер, который шепотом приказал Като бежать с площади. Он рапортовал полицмейстеру, одной рукой отдавая честь, другой указывая на подъем в Салалаки, утверждая, что похитители скрылись туда.

В напряженную толпу было брошено слово: «ату!» И свора, подминая друг друга, сшибая солдат, всей лавиной ринулась на Салалаки. Офицер же, выхватив из кобуры револьвер, крикнул своему кучеру: «Гони!»

Отхлынувшая толпа была высоко на холмах. На горных улицах она поголовно обыскивала всех встречных. На опустевшей площади с немногими охранниками остался стоять полицмейстер. К нему подбежал, запыхавшись, охранник. В руках у него был мундир, сброшенный на землю офицером, только что указавшим на след.

— Он налепил себе бороду, вашество... — торопился охранник.

Полицмейстер из бледного стал багровым, схватился за шею, разорвал тугой ворот и, утратив всякую выправку, махнул руками и завопил, как утопающий:

— Догнать его! Взять живым!

Молниеносно разнеслась весть: след был ложно указан, переодетый офицером злоумышленник одурачил

властей. Толпа, распаленная неудачей, опять хлынула с гор в тесные улицы, чтобы уже не обыскивать, а растерзать.

Като, вытянув шею, на цыпочках, чтобы дальше видеть, так и вросла в стену дома. Оцепенев, как лунатик, она всей своей силой была вместе с тем, кто умчался в мундире Серго. Она уже знала наверное, кто он. И не удивилась, когда старый Зораб, не спускавший с нее глаз, встав с нею рядом, сказал:

— Не бойся, Като... новый нарт Божирас — твой старший брат Давид — и самого шайтана оставит в дураках. Из тюрьмы бежал раз, убежит два...

ФИЛАРЕТКИ

Прекрасно, с любовью и гордостью отпраздновал весь наш Союз юбилей Пушкина.

И вот вспоминаю, как некогда в сиротском дворянском институте и мы воздавали по-своему честь поэту.

Мы переводили прозу его на иностранные языки.

Для удобства своего и нашего учитель-немец разбил текст особого институтского издания «Капитанской дочки» на десятистрочия. При трудных словах стояли вверху номера.

«Я выглянул из кибитки». «Кибитка» — номер тридцать два.

В словарике, приложенном к повести, значилось:

«Кибитка — это не есть фаэтон, не коляска, не бричка. Это возок».

На масленице у нас полагался большой музыкально-вокальный вечер с почетным опекуном и знатью города. Надо было, кроме танцев и пенья, говорить публично с эстрады стихи. В виду преддверия великопостных дней придумали было написать декорацию — монастырская келья, и перед ней Пимен и Григорий

в костюмах. Но батюшка воспротивился: в мужском монастыре девицам пребывать непристойно!

Сцену отменили.

Очень огорчена была по этому случаю рукодельная дама. Она должна была сшить из черного кашемира клобук и мантию Пимену. Ее бы отметили на афише.

Рукодельная дама была честолюбива и мечтала стать выше других наших дам, приставленных охранять дортуары: дамы пыльной и дамы ночной.

По случаю вечера собрали институтский совет. Он создал педагогическую композицию с целью укрепления религиозно-моральных устоев.

Объединили два отрывка из Пушкина и собственные стихи митрополита Филарета.

Говорить должны были три девочки одна за другой: строптивый, плохой Пушкин, потом назидающий его Филарет, и второй Пушкин — раскаянный.

Эту тройку институт прозвал немедленно «филаретки».

Началось со стихов Пушкина:

Дар напрасный, дар случайный,
Жизнь, зачем ты мне дана?

В институте приказано было произносить только два первых, как говорили, «куплета» из этого стихотворения.

Третий куплет:

Цели нет передо мною,
Сердце пусто, праздеи ум,
И томит меня тоскою
Однозвучный жизни шум, —

был осужден, как богохульный. Его зачеркнули в тексте. Его знать запрещалось.

Зато ответ митрополита Филарета на эти стихи Пушкина, добытый из журнала Ишимовой «Звездочка», как принадлежащий лицу высокого духовного звания, произносился целиком.

После Филарета голосом слезного покаяния говорились «Стансы» Пушкина.

— Шесть первых строк — болтовня, — сказала начальница. — Они нам не нужны. Начинайте ближе к делу, с седьмой строчки:

Когда твой голос величавый
Меня внезапно поражал,
Я лил потоки слез нежданных...

— Но в подобном сокращении нет пушкинской рифмы, — защитил было учитель русского языка.

— Не в рифме дело, а в чувстве, — оборвала начальница. — Слезы — залог сердечного покаяния.

На эти роли двух Пушкиных, плохого и хорошего, и Филарета выбирались ученицы разных классов по росту и поведению.

К нам, в младший, пришла сама начальница и спросила:

— Кто здесь ведет себя хуже всех?

Классная дама вывела из-за парты меня:

— Вот эта...

— Какой срам, — сказала начальница, — за это ты будешь «дурной» Пушкин!

В Филареты попала громадная примерная девочка. Она вся ушла в рост, и на шалости ее уже не хватало.

— Второй, «хороший» Пушкин должен быть, натурально, пониже владыки и повыше «дурного» Пушкина, — сказала начальница.

Нашли и хорошего.

Трем филареткам дали сокращенный пушкинский текст, полный Филаретов и велели учить наизусть. Репетировали до одури в узком многооконном зале. Под команду танцмейстера — раз, два — двигались в ногу, все три как одна, к самому краю эстрады. Ныряли плавно в глубоком реверансе. Не смея скосить глаза вбок, подымались вразнобой, танцмейстер хлопал в ладоши.

— Повторить!

Опять все сначала — раз, два — под шепот хора певчих, уходивших из зала:

— Фи... Филаретки...

Ненавидели Филарета, ненавидели Пушкина.

Про почетного опекуна, который должен был посетить вечер, был пущен слух, что он не настоящий человек, а сделанный. Барон носил парик и поигрывал челюстями. Он вставал, садился и кланялся так напряженно, как будто нажимал для этого дела пружину сложного механизма — и тот действовал.

Девочек очень интересовало, где именно и что барон у себя нажимает. Мне поручено было досмотреть.

Наступил литературно-вокальный вечер. Мы надели открытые кружевные пелеринки с розовыми бантами. Нас причесывал парикмахер. Волосы вились, ряда не было. Собрались было круто помадить, но вошла начальница и сказала:

— Она говорит строптивого Пушкина, к тому же он был из негров, — можно ей волосы не помадить.

Вечер открылся хором «Где гнутся над омутом лозы». Потом мы, филаретки, поднялись на высокую кафедру. Мы растаяли в реверансе. Перед глазами горели люстры, лысины, бриллианты дам, украшенных орденом Екатерины.

Барон сидел в креслах, в первом ряду, около начальницы. Он мутно глядел перед собой. Его левая рука, как обыкновенно, смирно паслась на красном бархате сиденья. Правая рука барабанила длинными желтыми пальцами по колену, обтянутому белым сукном камергерских панталон.

«Он нажмет в правой коленке», — решила я и, не отрывая глаз от бароновой ноги, окунулась еще раз, уже отдельно, в глубоком придворном реверансе. Когда все туловище было откинуто назад и весь упор шел на левую пятку, надлежало мне, Пушкину мятежному, начать грешный мой ропот самым толстым, сердитым голосом:

Дар напрасный, дар случайный,
Жизнь, зачем ты мне дана?
Иль зачем судьбою тайной
Ты...

Начальница, сидевшая рядом с бароном, уронила на паркет белоснежный платок. Барон шевельнулся поднять. Я забыла стихи, я чуть присела, чтобы поймать, где именно нажмут желтые пальцы барона.

— Продолжай! — побагровев от усилия, сказала начальница. Пока барон тормошился, она сама достала платок.

«Если испортился механизм, барон не встанет. Так и будет сидеть. С креслом его унесут или нет?» — мучилась я положением барона.

— Про-дол-жай!

Но я забыла стихи:

...Иль зачем судьбою тайной
Ты на... что-то суждена...

Начальница презрительно махнула платком, и Филарет покрыл мое самодельное бормотание невыносимо высокими нотами:

Не напрасно, не случайно
Жизнь от бога нам дана...

Женским визгом, без передышки, сплошным комариным звоном прозвенел в зале «куплет» владыки. Громадный Филарет, испугавшись моего примера, гнал во весь опор, боясь забыть текст и не допуская паузы. Раскаявшись немедленно, Пушкин хороший — девочка среднего роста — прорычала усеченные «Стансы»:

Я лил потоки слез нежданных...

Реверанс мы сделали хорошо — все три как одна.

— Пушкин! — выстрелил барон и поднял вверх желтый палец. — Пушкина похвально выучить наизусть.

Мы ушли под шепот хора:

— Фи... Филаретки!

Я забилась в классе на заднюю парту. Вошла классная дама. Она мне сказала:

— Ты осрамила весь институт. Не можешь запомнить стихи — пока другие танцуют, учи, милочка, прозу!

Она развернула передо мной «Капитанскую дочку» и, отчеркнув ногтем: «отсюда — досюда», ушла.

Я осталась в классе одна. Взяла книгу. И мне сразу понравилось: «Ветер завыл: сделалась метель. В одно мгновение темное небо смешалось с снежным морем. Все исчезло.

— Ну, барин, — закричал ямщик, — беда — буран!

Я выглянул из кибитки...»

Кибитка... Кибитка?

«Кибитка — это не фаэтон, это не коляска, это не бричка, это возок».

Я размахнулась и хватила «Капитанской дочкой» стекло висячей лампы.

Меня увели в карцер.

И еще один раз я пострадала за Пушкина.

Я и моя подруга были обе с Кавказа и очень тосковали по горам. Особенно весной.

Мы садились спиной к бледному северному небу, смотревшему из казенных окон, мы впивались в географическую карту, висевшую на стене. На Казбек налепляли мы жеваную резинку — клячку, и Казбек торчал выше всех на свете.

И я говорила от всей души:

Кавказ подо мною. Один в вышине...

Я говорила «Кавказ» Пушкина с начала до конца не раз и не два, а до тех пор, пока мы с подругой из холодного сиротливого класса не переселялись в «зеленые сени, где птицы щебечут, где скачут олени... где мчится Арагва в тенистых брегах».

Из моих глаз слезы восторга лились перед географической картой, и, прижав палец к вершине Казбека, всхлипывала другая кавказская девочка.

— О чем вы плачете? Какие казенные вещи вы испортили? — спросила подошедшая классная дама.

Я еще не успела вспомнить, что надо соврать даме понятное, и сказала правду:

— Мы плачем над стихами Пушкина.

— Ты лжешь, — нахмурилась дама. — Признавайся скорее, какие казенные вещи...

— Честное благородное слово! — сказали мы в голос. — Мы ничего не разбили. Мы только над стихами...

— В таком случае вас надо лечить. Нормальные люди над стихами не плачут.

Нас свели в лазарет, и доктор нам прописал холодное обтирание по утрам, до звонка.

Меня, как девочку плохого поведения и зачинщицу, обтирали целый месяц, другую — всего две недели. Это было холодно и неприятно...

ШАПОКЛЯК

Прошлой зимой мы со Шкловским пошли вместе на московскую кинофабрику, и там произошло событие, которое определило мой возраст неоспоримей самой честной анкеты.

Я смотрела на Шкловского, как его носило из комнаты в комнату словно посторонней силой, потому что быстрота его движений превышала нормальную подвижность человека.

Внезапно его затормозили два молодых сценариста. Они едва открыли рты, как Шкловский уже понял, что они хотели сказать, от чего-то отмахнулся, на что-то утвердительно покивал. Одновременно он прокричал мне, тыча пальцами в сценаристов:

— Бешеные мужики! Весной на экране.

Шкловский внезапно исчез, а бешеными мужиками оказались не юные сценаристы, а только картина, которую они вдвоем делали.

— Картина историческая, — сказал мне старший, — она о событии, которое произошло в восьмидесятых годах в Смоленской губернии.

— Вернее, картина наша научно-историческая, — уточнил другой, — она изображает медвежий угол России, деревенскую бедноту, крестьян, подвергшихся нападению бешеного волка. Крестьян этих возили на прививку к Пастеру в Париж, и это у нас часть научная. Прививка от бешенства была только что изобретена.

Сценаристы ушли. Еще выскочил Шкловский. Прощаясь окончательно, он дернул меня за руку книзу, как за старинный звонок, и убежал сразу в два места, а я в задумчивости пошла по московским бульварам.

Бешеные мужики сценаристов знакомы мне поименно, они были Смоленской губернии, Бельского уезда, и деревня их рядом с имением, где я живала в детстве.

Сценаристы сказали: «Наш фильм исторический», и я догадалась, что живу очень давно и то, что знаю и помню с ранних лет, уже является историей. И пора мне ее записать.

В 1885 или 1886 году крестьян-лесорубов действительно покусал в лесу бешеный волк, их отправили на казенный счет в Париж, прямо к Пастеру. Там какой-то досужий русский барин возил их по французским салонам, и вошедшим в моду русским мужикам надарили кучу вещей и, между прочим, цилиндры.

Вернувшись в свой Бельский уезд, выздоровевшие назывались уже не «бешеные», а «французы». Их цилиндры имели у женского пола неотразимый успех. По воскресеньям «французы» в них щеголяли. И сейчас, когда память в подробностях воскресила бельских мужиков, покусанных волком, перед моими глазами прежде всего встал, как живой, великолепного воронье-

го черного лоска высокий французский цилиндр. Его вертит в руках сухопарый Спиридон, по былой кличке «журавель», ныне — «француз».

Крутя цилиндр, Спиридон непроизвольно нажал пружинку, цилиндр, щелкнув, сложился. Спиридон не без гордости сказал:

— По-тамошнему оно зовется — шапокляк.

Спиридон стоял в помещичьей большой зале. Перед ним помещик, Петр Иванович, в поддевке тонкого сукна, в мягких сапогах, шагал раздраженно по паркету.

Он был лысый деловой человек, большой почитатель знаменитого в губернии А. Н. Энгельгардта и его книги «Письма деревенского хозяина». Сам хозяйничал скуповато, но если не надо было тратиться, советом готов был помочь, приговаривая: «Мужику я всегда родной отец».

— Ну как это тебя, братец мой, угораздило... — остановился Петр Иванович перед Спиридоном, — ведь из-за тебя теперь и к благочинному и к губернатору ехать...

— Не оставьте, ваша милость Петр Иванович. Злого умысла, видит бог, не имел, — кланяется Спиридон, — а только, как вошел я с ним в церковь, — Спиридон взмахнул блестящим цилиндром, — а в церкви куды его деть? Подержал его спереди... подержал сзаду — хохотки по рядам. Ну, взял да и надел. Не русская, думаю, шапка, может ее и не грех...

— Чего же ты не щелкнул ее, как сейчас?

— Запамятовал, батюшка Петр Иваныч, враг память отшиб.

— Запамятовал... Да ты знаешь ли, в чем тебя благочинный обвинил? В кощунственном дерзновении. Он губернатору жалобу подал на «неблагонадежных вдохновителей»! По уезду ищут, кто тебя, дурака, вдохновлял.

Раскатившись по паркету, Петр Иваныч недвижный вырос перед Спиридоном.

— С непокрытой головой предстоит мужской пол в божьем храме. Не знаешь?

— Да какое же оно есть покрытие? — обиделся Спиридон, покручивая шапокляк. — Ни на вате оно, ни на меху, ни вроде фуражка у запасного. Фуражку в божьем храме я бы вовек не надел. А ведь это куды ж было деть?

Спиридон щелкнул по шелковой черной штуке, и опять она стала высоким цилиндром.

— Занес, говорю, спереди — хохотки, занес ее за спину — того пуще...

— Довольно ерунды, — оборвал Петр Иванович, — едем сейчас к благочинному, вались ему в ноги, проси прощенья. Не потрошить же уезд из-за твоего идиотского шапокляка!..

— Воля ваша, Петр Иваныч, прощенья просить я не стану, — сказал с тихим упрямством Спиридон. — Какую вежливость мы в Париже видали... А вернулись домой — обида. Ведь я есть от волка покусанный, Петр Иваныч. Да, может, это поведенье мое идет от него, от волка. Память я, Петр Иваныч, утериваю, ведь вот запамятовал, что оно щелкает.

И опять Спиридон нажал пружинку, и цилиндр стал лепешкой.

— Эврика! — воскликнул Петр Иванович непонятное для Спиридона слово. — То есть самая настоящая «эврика», и на твоем же вранье. После волчьего укуса, говоришь, память утериваешь? Ну, так проваливай домой, авось и один я твое дело улажу.

Петр Иванович угасил дело о «безбожии» бельского мужика, побывавшего в Париже, а местная власть отобрала от «французов» цилиндры.

ПЛОМБИР

Девочку звали Топочка. Уменьшительное от зверя — тапир. Девочка была долгоноса.

Жила она в городе Северного Кавказа, где цвело много каштанов и белых акаций, которые сладко пахли на высоком бульваре. Гора из арбузов была на базаре, и немцы-колонисты продавали куски ярко-желтого масла, слабо пахнувшего чесноком. Кругом на жирных полях рос в траве дикий чеснок, он очень нравился коровам. Масло из этого молока, намазанное на черный хлеб, превращало его сразу в бутерброд с колбасой.

Девочка жила в военном доме. Перед парадным ходом стояли часовые. У отца пальто было на ярко-красной подкладке. Подбородок в черной бороде был пробрит; так было прилично, так носил бороду царь. Матери не было, была молодая гувернантка, приходил учитель танцев. Танцевали с губернаторскими детьми, иногда эти дети приезжали на обед. Но больше всех воспитывал девочку денщик, белый Янек. Он сажал Топочку к себе на колени и без всякой хитрости обу-

чал ее, чему считал нужным. Гувернантка охотно ему спихивала девочку и предавалась собственным интересам.

— От, якась собачка бежит, — говорил ласково Янек, — а ну, будем сейчас узнавать, чи та собачка девочка, чи она мальчик. Вот слухай: у обоих двоих е хвосты. У девочки один хвост, а у кобелька — и хвост и тюрочка. Ну, кто там бежит?

Девочка ошибается, денщик огорчен:

— Не можно так. Я ж тебя учу: у девочки тюрочки нема. Ну, остатный раз: кто знов бежит?

Девочка долго со вниманием смотрит на следующую собаку и наконец говорит верно.

Денщик гладит ее по голове, хвалит:

— От-то умница.

Прибегает испуганная гувернантка: губернатор приехал с Зизи.

Девочку от денщика ведут в ванную, моют, плетут две косицы, надевают платье с вышивкой, приводят в столовую.

Белый Янек несет вслед «Всемирную иллюстрацию», чтобы ее положить на сиденье стула. Топочка из своего маленького стульчика выросла, а для большого еще мала.

Обед очень парадный, подает не денщик, а лакей Казимир, вольный, во фраке, в белых перчатках. Будет пломбир.

Сидит губернатор с сестрой и девочкой Зизи. У нее пять ровных локонов, ее гувернантка всегда ставит в пример. И тут же — два сына, они умеют шаркать, как большие, и еще гости...

За столом очень скучно. Говорят большие, и маленьким есть дают не то, что большим, а котлеты. Но пломбир, наверно, положат; вот уже на огромном блюде его вынес из дверей и держит в обеих руках Казимир.

И вдруг противная сестра губернатора говорит:

— Пусть наши девочки нас порадуют. Что выучили хорошего наизусть?

Отец Топочки обращается к девочке с пятью локонами:

— Ты, Зизи, старшая, скажи первая, а Топочка приготовится.

Зизи тотчас, как кукла ворочая глазами, сказала по-французски то, что всякому известно из первой части Марго, про четыре сезона: весну, лето, зиму и осень. Все захлопали, даже Казимир, самый важный из всех, улыбнулся и положил Зизи много пломбира.

Тогда губернаторская сестра указала лорнеткой на Топочку:

— Теперь твоя очередь.

Топочка, желая всего больше обидеть губернаторскую Зизишку, сказала:

— Я не хочу наизусть, что мы учили в Марго, я скажу одну штуку. Эту штуку знаю только я да белый Янек.

— Ну-ну, — заранее любуясь остроумием дочки, заторопил оживленно отец.

— Вот какая штука, — сказала с гордостью Топочка, — у кобелька есть не только хвост, но и тюрочка!

Отец потемнел и слабо махнул Казимиру рукой. Казимир на минуту отставил на боковой столик блюдо с

пломбиром и вынес девочку вместе со стулом вон из столовой.

Пломбира не дали вовсе. Белого Янека за что-то отправили на гауптвахту.

Когда он вернулся, сколько Топочка ни плакала, он с ней разговаривать не хотел. И непонятно обидел ее мимоходом:

— Ой, ябеда!

ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ

Окончилась русско-турецкая война. В журнале «Будильник» рисовали Османа-пашу. Бежит Осман-паша через горы, и с его ног падают туфли-шлепанцы.

Пришел другой военный журнал с картинками. В нем среди других генералов был портрет отца, рядом с ним — звездочка. Внизу подробно написано, как он был ранен, долго не слезал с лошади, и, чтобы спасти ему ногу от ампутации, сестра милосердия пожертвовала со своей руки лоскут кожи.

Это было интересно; этим можно было похвастаться на улице.

Топочка побежала на лужайку, где были мальчики и самый главный, уже большой уличный мальчик Иванов. Его все слушались: под его предводительством ходили обчищать фруктовые деревья в большом соседнем саду.

Мальчик Иванов подставил свой жилистый кулак, перехватив Топочку на бегу, когда она неслась к лужайке. Она упала; от боли стало плохо. Мальчик Иванов испугался, стал трясти ее и зверски сказал:

— Если ты сейчас умрешь, я тебя убью!

— Я нарочно не умру, — сказала Топочка и назло Иванову хотела еще раз похвастать сестрой милосердия и отцовской ногой, но ее кликнули обратно домой.

Дома оказался пленный турок Абдулла эль-Рахман.

Это был очень красивый турок в своей турецкой форме. Он немного говорил по-русски. Ласково поцеловал Топочку, сказал:

— Твой папаш — мой папаш.

Гувернантка объяснила, что Абдулла папашей взят был в плен. Приехав в город с другими пленными, он получил приглашение остановиться в доме своего крестного.

Турок был ранен; он ходил на костылях. За ним ухаживали все дамы города, и все они возили Топочке конфеты, и она думала, что все ездят для нее. Но всех добрей с Топочкой был турок Абдулла эль-Рахман. Он целовал Топочку и шептал ей на ухо:

— Душинка Машинка!

Топочка поверила, что турок любит ее больше всего на свете и если зовет Машинка, то потому, что ему очень трудно выучить ее имя по-русски. Абдуллу она сама стала любить, как любила белого Янека, и даже гораздо больше его. Очень сильно стала любить.

Турок ходил уже без костылей и, как лошадь, возил Топочку на плечах, сколько ей было угодно.

И вдруг однажды утром Абдулла эль-Рахман исчез. Ни к завтраку, ни к обеду его не было дома. А к ужину собралось очень много дам, и все, вместе с гувернанткой, бранили турка. Они говорили:

— Неблагодарный азиат, свинья, — и еще как-то...

И так же сильно бранили дамы жену одного штабс-капитана, шипя хором:

— И нашел с кем бежать? С Марьей Ивановной!

Топочка сидела тихо в углу; никто ее не искал. Она шептала сама себе:

— Душинка Машинка... и вовсе не я!

НОВЫЙ ПАМЯТНИК

Это было в те годы, когда менялись правительства в Киеве: входили галицийские войска, их выгоняли беляки, беляков — красные.

Последний бой шел в предместье, рядом с усадьбой художника, где жила я с детьми.

Сад был большой и фруктовый. Толстые, треснувшие от спелости сливы часто висели на ветвях, которые туго хлестали по плечам, когда мы неспешно бежали к соседнему кабельному заводу, где рабочие обещали нас спрятать.

После фруктового сада начинался виноградник. Казалось, ему не будет конца. Гроздья мелких, не совсем южных сортов запомнились странно недвижными, словно они были из камня. Это происходило оттого, что рядом с этими гроздьями то тут, то там, как бы произвольно, от одной собственной силы, вздрагивали вырезные листы виноградной лозы.

Небо было синее, без облачка, без малейшего ветра. Виноградные листы шевелились от множества пуль, пролетавших с густым шмелиным гуденьем.

Мы бежали, я и двое детей, не думая об опасности, не давая себе отчета, что гуденье шмелей и вздрагиванье зеленых листьев, не овеваемых ветром, — не что иное, как смерть.

Смерть была кругом нас в этом саду с ярко-синим небом над головой. Если бы мы это поняли, мы бы испугались, прекратили наш бег и погибли, потому что жаркий бой перешел через несколько минут в эти места. Но мы добежали вовремя и были встречены знакомыми рабочими. Они живо, без лишних слов спустили нас в огромный котел для вулканизации кабеля, задвинули сбоку не совсем плотно крышку и крикнули:

— Будем живы — откроем!

В котле было темно и жутко, дети заплакали. Я им стала рассказывать сразу все сказки в одной бесконечной: Гулливер, Робинзон, хитрые звери, оловянный солдатик.

Не выдержав такого извержения образов, дети уснули, а я стала думать о котле для вулканизации кабеля. Недавно рабочие в свободную минуту объясняли мне, советской служащей во Всеиздате, доставившей им книжки, каким способом на катушку наматывается кабель, намазанный сырым каучуком, смешанным с порошком серы. Катушка вставляется в этот котел, крышка на тросах подъезжает сбоку. Сейчас она закрывает нас не совсем плотно, но если придвинуть еще, если просунуть сквозь медные кольца, вделанные в крышку и в обод котла, винты, зажать их гайками, — закупорка будет герметической.

Сколько пройдет времени, пока не задохнемся? И если победят враги...

Крики ближе, пулемет зачастил совсем рядом. Как трудно ждать в темноте и знать, что без посторонней помощи отсюда не выбраться. Внезапно и меня, как детей, сморил сон.

Очнулись мы под ярким солнцем на земле, рабочие нас поили холодной водой: «Воскресайте, граждане! Победа наша!»

Детей взяли знакомые, и я отправилась в русскую секцию Всеиздата, чтобы узнать, когда восстановится наша работа.

Когда я поднималась по Житомирской улице, я увидала большую толпу у памятников «Исторического пути».

По предложению Общества ревнителей древности на этой площади должен был начаться путь просвещения Киевской Руси с мифологических статуй Кия, Щека и Хорива. Но почему-то всех раньше поставили из бетона громоздкую фигуру княгини Ольги с крестом в руке. По сторонам ее, много мизерней, пониже ростом, поплоше телом, стояли на пьедесталах учителя славянские — Кирилл и Мефодий.

Сейчас украинцы всякого возраста, от сивых мужей науки, педагогов, учеников рисовальной школы до бойких, неизвестных занятий хлопцев, накинув веревки на грузный корпус княгини Ольги, тащили ее прочь, на землю.

Умелые люди острыми молотками каменщиков отбивали бетонную широкую одежду от кирпичной кладки подножья. Фигура дрогнула, накренилась...

— А нуте, наддайте...

— Геть... геть! — закричали взрослые мальчишкам, и они брызнули в стороны, освобождая обширную, тесно

убитую камнем площадь в том направлении, куда Ольге предстояло упасть.

Как из пушки, бахнула бетонная статуя, разбившись в куски.

Выступили люди, держа высоко над головами огромный бюст Тараса Шевченко, и под могучее пение «Заповита» бережно водрузили его на опустевший пьедестал.

Под златоглавым Михайловским монастырем, среди зеленых, веселых, кудрявых деревьев над поверженной в прах древней княгиней чуть склонилась в своей смушковой шапке умная, затуманенная печалью голова великого народного поэта Украины.

А с двух сторон глядели на новый этот памятник просветители славян Кирилл и Мефодий и, словно дивясь, вспоминали, как за принадлежность к братству, носившему именно их объединенное имя — Кирилло-Мефодиевское, у этого вот Тараса Шевченко загублено было десять лет творческой жизни.

Причудливая вещь «исторический путь»!

Члены Общества ревнителей древности его мыслили в планомерной расстановке мифологических фигур, а история, живая история наших дней, ворвалась в размеренную затею степенного просвещения школяров и на место мифологической княгини, с подозрительным для ее святости формуляром, вознесла дорогого всей стране и всем другим странам великого поэта.

Как от злого ветра осыпается сухая листва и стоит дерево осенью черное, с голыми прутьями, так в минуты страшных испытаний жизни совлекается с человека все наносное, и остается при нем одна его, только смертью отъемлемая, сила.

Такой силой, неистребимой никаким гнетом его «щербатой» судьбы, могучей и юной, было творчество Шевченко, его чудесный песенный дар, питаемый душой и словом всего украинского народа.

Недаром называл его, взамен его имени собственного, черный друг его, великий африканец, трагик Олдридж, — просто *артист*.

Сейчас рядом со своим белоснежным памятником стоит будто сам он, живой, в том близком нам облике, который донесли до нас современники.

Широкоплечий, приземистый, коренастый казак с высоким умным лбом, с глазами, горящими великой нежностью и печалью и как бы мольбой подкрепляющими властный приказ:

«Други мои, искренние мои, подайте голос за эту бедную, грязную, опаскуженную чернь! За этого поруганного, бессловесного смерда...»

Словно в ответ на эти слова, невольно вставшие в памяти, молодой оратор, глядя на склоненную в думе голову поэта, выкрикнул:

— Гляди, батько! Исполнен твой заповит! Новая жизнь, которую ты хотел, жизнь без панов и без холопов — ныне стала явью. Простелятся пути широкие, а не верстовые, протянутся неразмежеванные поля... гляди!

Говорили над новым памятником один за другим люди. Своими и его словами, его крепким стихом, гневным, далеко зрячим, чуявшим победу дорогого его сердцу «смерда»:

Боритеся — поборете,
За вас правда, за вас слава,
За вас воля святая.

Множилась, несметно росла толпа вокруг нового памятника «Исторического пути», непредвиденного членами ревнителей древности, но вознесенного самой жизнью.

Меня оттерли и вынесли вон из круга. Захотелось пройтись на простор. Хорош был спадающий тихий день, хорош синий Днепр с высокой Андреевской горы.

Но от памяти о Тарасе было уже никуда не уйти. Сам Киев говорил про Тараса...

Какая жизнь! Верней сказать, и у этого величайшего народного певца, как у собратьев его, величайших певцов других народов, — не жизнь, а *житие*.

Детство под убогой «батьковской стрехою» сменяется ужасом службы у собственного барина крепостным казачком. У такого барина, о котором художник Карл Брюллов, приехавший выкупить Шевченко, уже талантливого ученика Академии художеств, сделал такое заключение: «Это самая крупная свинья, которую я видел до сего дня!»

Барин ни копейки не хотел спускать из заломленной цены. Пришлось «великому Карлу» написать портрет Жуковского и устроить лотерею для сбора денег на выкуп Тараса Григорьевича. Когда Жуковский привез молодому художнику в своем кармане вольную, Шевченко от напряженного ожидания и страха, что мечта о вольности опять рухнет, лежал в нервной горячке в больнице.

Вот собор Андрея Первозванного, удивительное воздушное творение Растрелли, над самым Днепром. Здесь поблизости была квартира Костомарова. У него в сорок седьмом году, злополучном году ареста, бывал здесь Шевченко.

Впервые пришел к нему весной, принес в кармане своего «Кобзаря» и всю ночь напролет, когда сад благоухал в открытые окна цветущими яблонями, читал его вслух, как он один умел читать, доводя слушателя до слез восхищения.

С тем же Костомаровым, в квартире общего товарища Гулака, велись по ночам пламенные разговоры о соединении славянских народов в одну семью, без крепостного права, без господ и холопов, с училищами для народа, с издательствами книг...

Говорили громко, полагали в речах светлый ум, мечту о лучшей доле, о свободе. А за стеной, в смежной квартире, тупой негодяй, студент-предатель, искажая смысл горячих речей, строчил донос. Доносом выслуживался на чужом вдохновении...

Но Тарас не знал о предательстве. Сейчас настал расцвет его грустных дней. «Кобзарь» вышел в свет, он дал ему не только славу, но и глубокую любовь почитателей. Так, невеста Панько Кулиша, его друга, порешила продать все свои драгоценности, чтобы дать возможность поэту прожить года три в Италии... Кулиш, не объясняя, откуда свалились деньги, убедил Тараса ехать с ним и женой, и, как дитя, радовался поэт попасть в «вечный город», о котором ему давно, как художнику, мечталось.

Перед отъездом Шевченко отправился в Черниговщину собрать свои рассеянные по чужим усадьбам песни. Множество нецензурного, ходившего по рукам, сложил он в свой чемодан. Были там и стихи про царя Николая и про его жену: «Как засушенный опенок, длинная, худая...»

Мог ли он думать, что этого «опенка» не простит ему не только Николай, но и заступивший его место Александр II?

Давая амнистию более важным, чем Шевченко, преступникам, Александр высокопоставленным почитателям поэта, просившим о его помиловании, нахмурясь, сказал:

— Он писал непочтительно про мою мать, я простить не могу.

Однако вот и Днепр...

Во времена Шевченко тут поблизости приставал паром, который ходил в половодье с черниговского берега. В тот злополучный день, когда поэт вез с собой чемодан запретных стихов, на паром с ним вместе вступил какой-то неизвестный, ходивший за ним по пятам, усатый полицейский чин.

Один из почитателей поэта, оказавшийся тоже на пароме, безмолвно мигнув ему на усатого, прошептал:

— А не скинуть ли мне ненароком ващ чемодан прямо в Днепр?

Но Шевченко упрямо запретил, он только что собрал разметанные по приятелям свои стихи, а от полицейского чина презрительно отмахнулся:

— Хай себе доглядает, то ж его служба.

Но едва вступили на берег и Шевченко сел на возок, усатый вскочил рядом и крикнул вознице:

— В канцелярию губернатора!

Тем временем взяли Кулиша, Костомарова и прочих «братчиков» злочинного Кирилло-Мефодиевского братства. Все покаялись, все от себя отстранили вольнодумство и дерзость Шевченко. Их покарали слабо.

Но когда поэту предъявили его «возмутительные и пасквильные» стихи, он не только не отрекся от них, но твердо сказал, что, насмотревшись в своих странствиях по Украине, в какую бездну страдания и порабощения повергнуты люди, какие издевательства над ними творятся именем царя, он не мог не воскликнуть:

Наш край острогами богат.
От молдаванина до финна,
На всех наречьях — все молчат!

Поэта посадили на «чертопхайку» и отвезли в Оренбург.

Расстояние в две тысячи верст проскакали в несколько дней, загнав, как доносил кучер, всего одну почтовую лошадь. Вдогонку по начальству был послан дополнительный приказ Николая: «Под надзор строжайший! С запрещением писать стихи и рисовать».

Все дальше вглубь, в пустынную Орскую крепость. Под особым номером зачислен поэт Шевченко в рядовые Пятого линейного батальона сроком на десять лет, самых могучих по силе возраста, по возможному расцвету дарования.

«Поют ли здесь птицы?» — горько вопрошал он себя, озираясь на скупые желтые пески, на безлесный, пустынный Яман-Кала — очень плохой город, как говорили про Орскую крепость туземцы.

Отсюда писал он друзьям на серой оберточной бумаге:

«Ни, не плачу, а щось ще поганийше диеться з мною. Писати заборонили за баломутни вирши, а за що заборонили малювати?..»

Но если в том проклятом краю не пели птицы, пел сам Шевченко, дерзко произнеся в ответ на запрещение царя: «Та вже нехай хоч розпнуть, а я без вирш не улежу!» И писал он незримым пером...

Мои лита, мои печали,
Тии незримии скрижали,
Незримим писани пером...

Оскар Уайльд гораздо меньше Шевченко пробыл в каторжных условиях после приговора английского суда, но обратно в жизнь вышел он сломанным, обобранным человеком. Он не мог не только творить — жить.

Почему же Шевченко после десяти убийственных, могильных лет не только сохранил, но умножил свои творческие силы? Кроме творений великой поэзии, он в искусстве смежном, живописи, занял высокое место.

Потому что в своем изгнании Шевченко не был одинок, его наполнял своею жизненной мощью весь украинский народ. И сам поэт, плененный телом в пустыне, где даже птицы не пели, сознанием и чувством растворялся в душе своего народа.

Когда я снова вернулась к памятникам «Исторического пути», все та же огромная толпа окружала новый памятник, и, высоко взгромоздившись над обломками поверженной в прах древней княгини, торжественно говорил немолодой коренастый человек:

— По постановлению Всеукраинского Центрального Исполнительного Комитета день смерти Тараса Григорьевича Шевченко будет отмечаться на всей Украине.

В ПАРИЖЕ

И французы ждали его приезда.

Мосье Франсуа говорил неплохо по-русски. Он готовился делать переводы классиков «пробудившегося Востока» и вместе с тем пугался широты их размаха.

Полушутя, им в противовес, он приводил изречение модного скептика о признаках зрелости нации, когда люди уже ни во что не верят и только стремятся прожить «ограниченно и красиво».

Мосье Франсуа раздобыл подстрочник Маяковского и, как сам признавался, был им взволнован больше, чем ожидал. В последние дни перед назначенным вечером он был в гневно-повышенном состоянии.

Сохраняя последнюю вежливость, мосье Франсуа избегал говорить прямо о занимавшем его предмете, но все равно, о чем бы ни шла его речь, это были тайные, ядовитые стрелы, направленные в Маяковского.

Если, например, он перечислял с подчеркнутым пафосом, по его мнению, похвальные условности, благодаря которым во французском стиле достигнуто высокое мастерство, он был тот язвительный педагог, кото-

рый хвалит ученика примерного единственно в позор и обиду ученику самовольному.

— Сам Поль Валери, сегодняшний мэтр славы, восхищенно взволнован, поминая Расина и божественный классицизм!

Мосье Франсуа коварно улыбался и щурил глаза, отчего на суховатом лице его вдруг проступало много морщин. С таким выражением, будто расставляет невиданной птице свою хитрую сеть, Франсуа восклицал по адресу классицизма:

— О, это — алгебра красоты, это — ее непреложный закон! Вы мне скажете: естественность муз в строжайшем плену? Поэт — раб особого словаря? Не возражаю...

Мосье Франсуа поднял острое, чисто выбритое лицо и произнес с важностью:

— Однако наш великий Расин, опутанный этой традицией, этим пленом, умудрился одарить нас искусством бессмертным!

Распаленный собственным красноречием, мосье Франсуа вынул из кармана подстрочники забавно написанных латинскими буквами русских строк.

Он постучал по листкам карандашом и, едва сдерживая возмущение, спросил:

— Это тоже — стихи?

Он хлопнул по бумаге ладонью и, пресекая все возражения, воскликнул:

— Это графика, это узор... Это просто шалости! И это сейчас, когда покаялся сам Пикассо, зачеркнув самочинный, разорванный на части прием, соблазнивший столь многих. Пикассо погрузился в старый классический синтез, как блудный сын, он пришел к Энгру.

Мосье Франсуа склонил над стихами свой лысеющий лоб и, делая смешные, нерусские ударения, прочел:

Мы —
        голос
                воли низа,
                        рабочего низа
                                всего света.

— О, я хотел бы понять этот ритм! Я непременно хочу услышать, как русский автор читает свои вещи сам.

Неизвестно почему, но с особой горячностью просилась на русский вечер и Алиса, старший манекен в большом модном доме.

— Я умоляю... — прошептала Алиса, встретясь со мной в коридоре отеля, где наши комнаты были рядом, — мне это так важно, это моя надежда... Зайдите ко мне вечером, я все объясню...

Алиса торопилась на работу. Когда вечером я к ней вошла, она, утомленная своим тяжелым днем, сидела в кресле. Несмотря на искусную подрисовку, природная бледность проступала в прозрачности маленьких ушей и за голубой жилкой виска, где случайно раздвинулись светлые волосы.

Работа Алисы состояла в том, чтобы часами прохаживаться взад и вперед под жадными взорами богатых клиенток, приехавших из Америки за парижским шиком. С быстротой трансформатора Алиса должна была менять платья и, согласно их покрою, расчетливо играть своим телом. Манекену, который умел вызвать оценку деталей, изобретенных фирмой, хозяин жаловал премию.

Алиса не двигалась в кресле, она тихо плакала, с ней что-то случилось.

— Вы лишились места, Алиса?

— Разве в Париже манекен с талией сорок восемь, как у меня, может остаться без работы? — несколько высокомерно отозвалась Алиса и, вынув зеркальце, прошлась пуховкой по лицу, чтобы слезы не оставили после себя следов. Она только что сделала себе «лицо», и это стоило недешево. Продолжая пудриться, Алиса рассказала без выражения, без гнева, что новый гарсон, смахивая с кукол пыль перед поднятием с витрин жалюзи, прошелся метелкой и ей по лицу.

— У нас в ателье сегодня час, когда мы должны стоять на выставке вперемежку с деревянными болванами в модных платьях. Мы стоим — не дышим, не моргнем... И это все ради того, чтобы зеваки на улицах бились об заклад, где женщина живая, а где деревянная. Уходим под аплодисменты — это реклама.

— Вероятно, гарсон не нарочно... — неудачно сказала я.

Алиса горько усмехнулась:

— В том-то и дело, что не нарочно. Гарсон имел основание обмахнуть меня, как болвана. Когда сам забываешь, что ты человек, забывают и все.

— Вы меня звали, чтобы объяснить, почему вам так важно попасть на вечер русского поэта, но я не вижу причины...

— Причины есть, — сказала сурово Алиса. — Из всех, кто будет его слушать, поверьте, мне он необходимее всего. Ведь я все медлю посылать мое объявление в газету.

Алиса протянула бумажку. Это было предложение, адресованное неизвестному, написать ей до востребования, когда он желает с ней встретиться. Тут же стояло перечисление качеств, способных обольстить воображение ситуаена, жаждущего авантюр: девица, блондинка, свежая кожа, талия сорок восемь.

— Не правда ли, совсем как про лошадь? — усмехнулась Алиса. — В газете подобные объявления печатаются на четвертой странице. Многие из моих товарок, потеряв терпение, уже прибегли к таким публикациям. Иным повезло... Но вот я медлю... Почему? Меня, знаете, очень расстроила Элиза — тебе, значит, не стоит брать жизнь такой ценой! На этом пути везет только тем, кто не думает. Элиза дала мне какие-то революционные листки и портрет Луизы Мишель. Она показала на листки и произнесла строгим голосом: «Но уж если ты начала думать, доводи мысль до конца... здесь ответ!» По правде сказать, листки мне было скучно читать, но портрет Луизы сказал мне многое.

Алиса указала на фотографию знаменитой коммунарки, висевшую у нее в изголовье рядом с благословением Лурда; вот она, Луиза Мишель, в фетровой шляпе вольных стрелков. У нее короткие волосы, они зачесаны назад, пелеринка из жалкого, дешевого меха, солдатские сапоги. В этом костюме она обходила лазареты Коммуны. Она некрасива, Луиза Мишель, но ее улыбка сверкает такой неистребимой силой, такой верой в правоту своего дела, что просто повелевает идти за ней.

— Я вернула Элизе брошюры, но портрет попросила оставить. Элиза улыбнулась, что я, как дети, могу понимать вещи только по картинкам, и вот тут-то она

мне сказала: «Тебе бы послушать русского поэта, он только что приехал в Париж. Может быть, ты тогда захочешь прочесть и наши листки». Возьмите меня с собой! Я сяду в угол, я буду в самом скромном платье, я, право, вас не сконфужу.

Маяковский приехал.

Я повела на его вечер двух своих французских знакомых — мосье Франсуа и Алису.

Мы подошли к дому, где во втором этаже сдавался зал для выставок и разнообразных выступлений. Узкая, показалось, какая-то многооконная комната, ступени, возвышение. Широкие подоконники, пустые ящики. Люди сидели где и как попало, и похоже было — это мастерская живописи, когда натурщик ушел отдыхать.

Маяковский по своему большому росту был сразу отличен от всех. Он стоял, прислонившись к деревянной колонне, и хотя отвечал говорившему с ним, но думал о чем-то своем и грозно смотрел перед собой.

— Ангел... — начал мосье Франсуа.

— Которая? — оживилась Алиса.

— Я не про даму, я про поэта. Это его написал художник на стене киевского собора. Ангел Страшного суда, он держит в руках весы правосудия. То же самое грозное лицо.

Маяковский стоял и тяжелым, твердым взором окидывал аудиторию. Он будто взвешивал, отбирал, выбрасывал негодных. Презрительно смигнув их, он переводил глаза на другую группу людей. Он давил глазами. Его нижние веки не доходили до темного яблока глаза, отчего узкая полоска белка оттеняла темный зрачок ярче, нежели это бывает обычно у людей. Взор его был проникающ, глаза сидели глубоко под бровями.

Внезапно от легкой застенчивой улыбки лицо сбросило тяжесть и стало как у юноши. Задорно откинулась голова, отмахнув с белого лба темную прядь.

Маяковский вдруг одним шагом прошагнул на эстраду. Расставив ноги, он чуть вперед двинул голову. Так с капитанского мостика безошибочно, ответственный, глядит капитан. Он налился огромной внутренней силой. Выражение его рта, широкого и словно нарочно надменного, подчеркнулось до дерзости благодаря своеобразному жесту, каким он сунул руки в карманы брюк.

Маяковский чуть покачался на высоких ногах, отвел руки за спину, углы губ нервно дернулись книзу. Он стал говорить.

Он рождал свои слова, как первый человек, когда он в самый первый раз называл по имени вещи. Такая новизна была в его интонации, что стих его, как ядро, попадал прямо в цель.

— О, этот голос знает, что делает, — одобрительно сказал мне мосье Франсуа.

> В бешеном автомобиле
>   покрышки сбивши,
> тихий,

и с невыразимым презрением, словно давал он премьеру-беглецу, порочному школьнику, вдогонку шлепка:

> за Гатчину,
>   забившись,
>   улепетывал бывший...

Вдруг лицо Маяковского дивно изменилось: в нем сейчас были нежность и целомудренная гордость сына,

обожающего гений отца, и большой вкус поэта, умеющего легчайшим любовным юмором прикрывать свои чувства:

...в пальтишке рваном, —
ходит,
никем не опознан.
Сегодня,
говорит,
подыматься рано.
А послезавтра —
поздно.

Маяковский долго гремел и ласкал своим единственным по могуществу голосом. То он жарким словом трибуна валил с ног врага, то пробуждал своим волнением лирику чувств. Он гнал свои строки неистовым бегом, он испепелял благополучие мещан, он заражал доверием к силе великих идей, которые одни могут дать счастье всему человечеству.

Маяковский находил стиху новую, свежую убедительность, он давал слову оттенки, до него не бывшие, то пронзительные, как свист занесенных бичей, то нежные, как детская жалоба. Он словно брал в руку свое полновесное слово и доносил до сознания каждого, убеждая, вовлекая в стремительность обновления жизни.

И даже ленивые волей сливались на миг с его силой, и каждому с ним вместе хотелось гордо сказать:

Я с теми,
кто вышел
строить
и месть
в сплошной
лихорадке
буден.

Отечество
славлю,
которое есть,
но трижды —
которое будет.

Маяковский кончил. Его окружили. Мы молча пошли домой.

Прощаясь, мосье Франсуа произнес без обычной иронии:

— Я счастлив, что услышал его. Конечно, я не смогу это перевести, но я честно признаю, что слова такой силы и правды законно нашли себе новую форму благодаря гению этого человека.

Алиса заговорила только у порога своей комнаты и тихо, как бы стыдясь своих слов:

— Когда-нибудь передайте ему, что, конечно, не бог весть кто, но все-таки живой человек, поддержанный его душевным огнем, это, знаете ли, доходит без слов, нашел в себе силу изменить свою жизнь.

ВИЕВ КРУГ

Мне было не много лет, когда братья, зазвав меня в сад под черешню, наперебой рассказали мне о том, как привели к Хоме Бруту железного Вия, как Хома не должен был на него глядеть, как он, не выдержав, обернулся и был схвачен чертями.

Вечером рано ложились спать. Почему-то в генеральской квартире, при двенадцати комнатах, дети спали, девочка и мальчики, все вместе, далеко на отлете.

Нянька Агафья, по обычаю, надолго сгинула к денщикам, а братья, едва меня одолел первый крепкий сон, вытащили из кровати, посадили среди пола и сказали:

— Надо всем отречься от бога, и тогда увидим фокус-покус. Ты самая младшая, говори первая: «Бог, ты дурак!»

Мне было очень интересно увидеть фокус-покус, и я скороговоркой сказала:

— Бог, ты дурак!

Но братья вслед за мной этого не сказали. Они вскочили, очертили меня быстро мелом, страшно вскрикнули:

— Если выйдешь из круга, тебя возьмут черти!

Навсегда помню, как было холодно, как смертельно страшно. И вдруг, будто на качелях, когда летишь вниз...

Нянька нашла меня в обмороке, но старшим не пожаловалась, потому что боялась, как бы не влетело ей самой. Не жаловалась и я, запуганная мальчиками, что в случае моего фискальства Вий нагонит мне в постель целую тысячу черных, ужасных тараканов.

Сошедший безнаказанно опыт с вызовом Вия мальчики повторили еще раз, в одном важном случае.

Созрела в саду прокурора, рядом с нашим садом, замечательная слива ренклод. Внизу обобрали, а на самом верху сливы остались. Огромные, налитые янтарным соком, они даже треснули от спелости.

Но на самом верху ветки были тонки, большие лезть на них не решались, и постановили в совете на черном дворе, на крыше погреба, поросшей дикими желтыми мальвами, отрядить на верхушку сливы меня.

— Все сливы сбросишь к нам вниз; если начнешь есть сама — кругом облепят тебя тараканы.

Поздно вечером, когда нянька, по обычаю, ушла к денщикам, мы пробрались в сад прокурора. Мальчики, став под деревом, крепко держали в руках простыню, чтобы подхватить сливы.

Лазить по деревьям мне очень нравилось, но было строго запрещено. Сейчас, да еще ночью, это было особенно интересно.

Мальчики мне сказали:

— Вокруг дерева мы очертим сейчас Виев круг, и назад тебе нельзя слезть, пока мы тебя не расколдуем. Сиди, бросай сливы, жди сигнала: ку-ка-ре-ку!

Я легко влезла на ветвистую старую сливу до самого гибкого верха, и страшно мне не было. С верхушки, прямо вниз, как на ладони виднелась ярко освещенная плоская крыша духана; там играла зурна и происходила на площадке какая-то веселая кутерьма.

— Бросай сливы, — угрожающе зашептали внизу, — Вия вызовем...

Я стала рвать толстые теплые сливы и бросала их на широко белевшую простыню, словно камешки в пруд.

— Ага! — крикнул вдруг сторож, подкравшийся к мальчикам. — Ходи в участок! Ходи!

Но мальчики ловко увернулись от сторожа и убежали со своей простыней. Сторож вдогонку их лениво обругал и вернулся дремать к себе в сторожку. Я осталась одна на дереве.

Что теперь будет? Мальчики побоятся вернуться обратно меня расколдовать — значит, сидеть мне тут до утра, а я уж и спать хочу.

А засну я на дереве — свалюсь, попаду за черту круга, могут черти схватить. Если долго смотреть вниз, они уж мерещатся, длиннохвостые, и рога наготовили...

Чтобы не заснуть, я стала смотреть на площадку духана, где все пронзительней ликовала зурна и неутомимо, как плеск мелких волн, в ладоши хлопали зрители, сидевшие на скрещенных ногах в широком кругу. А среди круга я увидела такое, что позабыла все страхи и даже последнюю мне перепавшую сливу не отправила в рот, а только крепко зажала в руке.

Моя няня Агафья, толстая, немолодая, носившая на голове повойник с ушами, отплясывала под зурну с татарином Мустафой, который часто приводил к нам во двор своего ишака с виноградом.

Няня, в широкой своей юбке со сборами и в фартуке, плыла павой, махала платочком и, конечно, пела свою любимую «По улице мостовой...». Мустафа в черкеске, с длинным кинжалом, метался перед нянькой, то взмывал рукавами, как птица, то с визгом бросал вверх папаху и ловил ее бритой головой.

Зурна надрывалась, ладоши били все жарче. Карапет-духанщик, схватившись руками за серебряный пояс, опоясывавший его толстый живот, хохотал во всю мочь, откинув далеко назад седую волосатую голову. Когда Мустафа, отбивая каблуками последнюю мелкую дробь, подметнулся вприсядку совсем близко к Агафье, она вдруг пронзительно взвизгнула, бросила свой платок и закрыла лицо фартуком.

Няньку обступили, что-то с хохотом ей кричали, сверкали зубы, серебро поясов.

Мне стало почему-то стыдно за няньку, и я стала смотреть на то, что виднелось там, дальше, за освещенной площадкой духана.

Бриллианты огней рассыпаны были по черному городу; вот они собрались кучкой, и угадать можно было то или иное важное здание; вот огни разбежались по длинному мосту и, прыгнув поодиночке на гору, скрылись во тьме.

По освещенной с двух сторон середине моста медленно продвигались с вьюками пришедшие издалека верблюды.

У меня захватило дух от внезапного счастья. Завтра пойдет караван непременно мимо нашего дома. К открытому окну высокого первого этажа нашей квартиры всегда какой-нибудь верблюд протянет длинную шею и, мягко касаясь губами, из моих рук возьмет вкусную булку.

Пониже духана ворчала большая ночная река. Она все же казалась добрее, чем днем. Попадая в отражение огней, шедших вдоль моста, на миг освещенные бревна разбитых плотов словно нарочно кружились на месте или мчались по течению, подпрыгивая на волнах.

А над городом, над рекой и верблюдами небо было такое черное, но легкое и нестрашное, потому что сквозь него пробилось совсем близко к земле множество звезд.

Они были разные: мохнатые, недвижные, как фонари, мигающие переливами всех цветов, как люстры в театре, были большие и далекие малые, и все ясные, все красивые.

Это вот и есть ночь...

И я в первый раз в жизни вижу ночь, оттого что не сплю, когда детям надо спать.

На крыше духана опять суматоха: мерный плеск ладоней, и притихшая было зурна сменилась громким смехом и возней.

Карапет со своими гостями просил мою няню Агафью еще раз протанцевать с Мустафой, а она не хотела. Няня отмахивалась руками, толкала прочь от себя Мустафу, и наконец, переваливаясь как утка, она сбежала вниз по узкой лестнице с крыши духана.

«Домой няня торопится, — догадалась я, — надо мне поспеть в кровать раньше, чем она придет».

И, забыв про чертей, колдовство и тараканов, я неслышно сползла с дерева и только когда прыгала на траву, то хрустнула веткой, но сторож мирно храпел.

Стремглав я взбежала по нашей черной лестнице прямо в детскую, к себе в постель. Через минуту вошла няня Агафья. Братья притворились, что спят.

Наутро старший повел меня за руку на черный двор, нарочно скосил глаза и закричал:

— Как ты смела слезть с дерева? Кто тебя расколдовал?

— Сама расколдовалась. И Виева круга теперь не боюсь...

А няню Агафью, когда она пошла со мной, как обычно, гулять по бульвару, совсем нечаянно я спросила:

— Отчего сегодня ночью ты так плохо танцевала? Как прыгнешь от Мустафы, а лицо фартуком закрыла?

Нянька, ничуть не поражаясь моим ясновидением, до краев полная своими любовными чувствами, отвечала мне, как лучшей подруге:

— А Мустафа, он собака! Только подкатится — сейчас за ногу щипнет.

И, зардевшись как маков цвет, она прошептала:

— Мустафа мне сказал: глаза имеешь как пшаты, нос как унаби -- это такие хрукты ихние...

ДВА ШТРАФА

Это, конечно, правильно, что у нас в зоопарке запрещено посетителям кормить зверей: мало ли кто что сунет...

В публике говорили, какой-то негодяй слону в мякиш иголку вверпул, а бедный слон проглотил и то ли долго болел, то ли окончательно помер.

Я признаю, что зверей от возможного хулиганства надо охранять, но я не могу удержаться, чтобы не снести медведю-губачу яблоко.

Медведь сам меня на это дело подбил, а пример подал один знакомый рабочий, Карпов. Как и я, он большой почитатель зверей. Стояли мы долго с этим рабочим у клетки губача, очень приятного, с черной шелковой шерстью и таким человеческим губастым лицом.

— Поверьте, гражданка, — сказал Карпов, — никакой фальши у меня в характере нет, а вот из-за этого зверя постановление нарушено...

Он показал на дощечку *«Кормить запрещено»*.

Тотчас медведь, глянув на меня умными мелкими глазками, присел на корточки, открыл пасть с розовым

языком и, собрав когти горсточкой, стал мне показывать, будто он что-то в пасть положил, и тотчас круто повернулся спиной и распустил широченный мохнатый зад.

— Ну и шельма, — смеялся рабочий, — во мне уж уверен, а вас, значит, вербует, чтобы яблоко приносили.

Медведь словно понял, повернулся, еще потыкал горсточкой в пасть и опять задом.

— Ну и дьявол, — заливался Карпов, — это ведь он разъяснил, что умеет так съесть, что никто не увидит и вас не поймают. Обожает он яблоко...

Карпов осторожно положил между двух прутьев большое красное яблоко, и Мишка, укрывшись собственной тушей, как черной мохнатой горой, безнаказанно его съел.

В день, о котором ведется рассказ, я уж сама пришла к губачу с яблоком. Он сидел в той же клетке, народу в парке было мало. В смысл медвежьего танца никто не вникал, шли поскорее к варану — противному ящеру, который заглатывал живьем белых мышей.

Оставшись с медведем одна, я сунула ему, как давеча Карпов, большое яблоко прямо в лапу. Вдруг из соседней клетки раздался обиженный всхлипывающий рев. Это новый сосед губача, маленький желтомордый малайский медведь, ревел во всю мочь.

Он подсел в упор к железным прутьям клетки, выставил передние лапы далеко наружу и всем вертлявым облезлым своим существом указывал подходящему сторожу на медведя-губача, который, по уговору со мной, сидел уже задом и только чуть видным движением шерсти за ушами обнаруживал, что поспешно нечто жует.

— Гражданка, — сказал, подходя ко мне, сторож, — давайте будем платить штраф. Вы только что кормили губача.

— А вы видали?

— Желтый сигнализирует, — с почтением указал на малайского медведя сторож, — он от одной зависти не солжет. Как его к губачу подсадили — штрафов не оберешься. Уплатить вам, гражданка!

Принимая штраф, сторож говорит, смеясь:

— Недогадливы, гражданка: скормить бы вам половину желтому, он бы на вас не пожаловался!

Стало весело мне от этой звериной истории: ну и медведи...

Иду пешком к бирже, любуюсь на пловцов с пляжа «Африка», что сейчас идет вдоль Невы от самых страшных мест царского прошлого, от петропавловских бастионов. Среди белых северных тел то тут, то там черные, блестят, словно смазаны гуталином.

— Негры! — гордится прохожий. — Они на своей родине небось за отдельной рогаткой ныряют, а у нас — нате, пожалуйста! Нам что черный, что желтый, что белый.

Дошла до остановки четвертого номера, хочу сесть — и никак. Сплошные мужчины с портфелями. Изловчилась я, да на ходу, вслед за мальчишкой-беззаконником. Вдруг трамвай — стоп. Молодой милиционер, и прямехонько ко мне; даже не говорит, одной рукой приглашает к выходу. Ну, я поскорее за ним.

— Гражданка, это же вас не может касаться, куда вы? — уважительно останавливает меня пожилой пассажир.

А уж я знаю, что касается. Мальчишка-то проскочил, как блоха, ну, а я позаметней. Плачу три рубля, беру расписку в получении, сконфуженно говорю:

— Ничего не поделаешь, законным путем мне б до вечера не попасть.

Милиционер молодой, истовый, по форме подтянут. Приложил руку к козырьку и с этакой, ну прямо с сыновней лаской в голосе:

— А на будущее время, гражданка, запомните: не столько вы молоды, сколько неумны!

Под лаской этого сыновнего голоса прошла я весь мост, и только у памятника Суворова меня вдруг осенило: «Не столько вы молоды, сколько неумны»... да ведь это же — старая дура! И вдруг весело, ну на редкость как весело. И будто ни болезней, ни старости...

ЖАК

Жаку было двенадцать лет, когда грянула война с Пруссией. Вместе со всей улицей Жак, не жалея глотки, закричал: «На Берлин!» А в свободное от работы у башмачника время он стал колотить соседних ребят, воображая их пруссаками.

Жак был круглый сирота. Он жил со своей очень старой бабушкой на самой окраине Парижа, куда выгоняли пастись коров и овец. Жак очень гордился войной. Он был уверен, как и взрослые, в скорой победе. Ведь французы тогда еще не узнали, что они обмануты; им говорили, что благодаря заботам императора Франция готова к войне. На самом деле провиант был весь раскраден, нарезные стволы и новые боевые орудия оказались редкостью даже в пограничных крепостях.

Императором был Наполеон III, в насмешку прозванный — Малый. Его никто не любил. Беднякам и рабочим жилось при нем худо, и даже бабушка не бранила Жака, когда он распевал про этого Малого дерзкие песни.

Скоро пришла весть о позорной сдаче крепости Седан. Эта крепость была главной точкой на линиях

снабжения армии. Беда обрушилась на Францию, словно землетрясение: при сдаче Седана громадное войско и сам император попали в плен к пруссакам. Наполеон III сдал знамена, орудия, сто тысяч лошадей. Жак прокричал со своей улицей:

— Империя рухнула! Навсегда, навсегда!

Бабушке Жак сказал:

— Мы императора к черту...

Бабушка охнула:

— А кого ж нового?

— Никого! — крикнул Жак. — Мы решили всей улицей: никого... никогда...

На площадь Согласия вышел весь Париж. Из тысячи глоток бурей вырвалось:

— Да здравствует республика!

Шеренги полицейских попятились перед штыками Национальной гвардии. С империей было покончено навсегда.

Жак не показывался ни домой, ни к башмачнику.

Он жил на улице, питался каштанами. Их жарили на всех перекрестках, и за пустяк можно было ими наесться досыта. Еще подкармливали его национальные гвардейцы, с которыми он пел Марсельезу.

Собрав соседних ребят, Жак теперь вел их к громадной статуе сейчас осажденного Страсбурга и, вскарабкавшись к ней на колени, говорил, подражая актерам большого театра:

Заря над Парижем встает,
И в пламени новой зари
Вставай, пробужденный народ,
Великое дело твори!

Жак, наконец, познакомился с необыкновенными людьми. Про них говорили:

— Ну, эти в обиду народ не дадут, эти — защита бедняку. А слово их — взрывчатый снаряд.

И Жак слова эти слышал...

Он особенно полюбил первого стрелка — громадного негра Юпитера.

Из разговора с ним Жак скоро понял, что глава нового правительства, премьер-министр Адольф Тьер, совсем не друг народа. За маленький рост и коварство его прозвали «злой карлик Футрике». Боясь, чтобы народ не взял власть в свои руки, Тьер вступил в тайный союз с пруссаками, которые обещали ему поддержку. Новая власть оказалась такой же продажной, как и старая.

Вместо побед, о которых лживо возвещал Тьер, пришло известие о втором, окончательном истреблении французской армии: маршал Базен сдал крепость Мец со стотысячным войском, оставив без защиты и север и юг.

Тьер объявил народу о перемирии с пруссаками. Это перемирие Париж счел изменой родине, и когда пруссаки взяли Шильонское плато, Париж решил сгореть, как когда-то сгорела Москва, но не сдаваться врагу, как решило правительство предателей.

И новые друзья Жака, истинные друзья народа, расклеили по городу красные афиши с кратким требованием:

Поголовное ополчение

Сотни добровольцев стали теперь упражняться в стрельбе, и Жак днем и ночью мечтал быть зачислен-

ным в отряд юных вольных стрелков. Тьер с приближенными переехал в Версаль, и те, кто хотел еще признавать его власть, стали зваться — версальцы. И Версаль стал Парижу худшим врагом, чем пруссаки.

Париж себя чувствовал несокрушимым, потому что на его стороне была правда.

Правда была в том, что народ должен сам, в собственных руках держать власть. Истинные друзья народа призывали к великой борьбе. Уныние было далеко, несмотря на то, что Париж начал голодать. В ресторанах все чаще читали меню с перечислением блюд, доселе неслыханных: «собака под собственным соусом», «фрикасе из кошек», «ворона в отваре».

Тьер, втайне от народа, решил отнять главную защиту города — пушки Национальной гвардии. Пушки стояли на холмах Монмартра. Юпитер приказал своему отряду держаться на этих холмах, и Жак тоже за ним туда переселился.

Как-то, увлекшись стрельбой в бараках, он поздней ночью подымался на холмы и вдруг приметил под каменной стеною какой-то необычайный, слишком аккуратно сложенный костер, всячески замаскированный. Жак лег на живот и тихонько подполз. Он увидал странную картину: генералу, скрывавшему под плащом свою форму, какой-то рыхлый, белесый человек в штатском показывал небольшого размера план и говорил с ним... по-немецки. В темноте Жак рассмотрел сидевших на камнях безмолвных солдат — их было много...

Быстрее кошки взлетел Жак на холм, чтобы рассказать Юпитеру. Тот уже был на ногах и скомандовал отряду:

— Защищать!

Посланные Тьера обезоружили часовых и, окружив пушки плотным кольцом, уже собирались тащить их вниз, с холма, когда население Монмартра выбежало из домов и, вооруженное чем попало, примкнуло к национальным гвардейцам. Звуки набата, сигнальные выстрелы, трубы, возгласы гнева и бешенства, казалось, помогали рассеять предутренний туман, и яркое солнце взошло над Монмартром.

— Стреляйте в эту сволочь! — кричали солдатам начальники, посланные Тьером, но солдаты не стреляли в народ.

Тогда женщины кинулись впереди пушек, и Жак вздрогнул от восхищения, когда одна сказала солдатам:

— Как дураков, вас заставили идти против нас. Стреляйте же в ваших сестер, жен, матерей...

Гражданин Дисбон объявил:

— Национальная гвардия умрет, но не отдаст своих пушек!

Тьеров генерал — Жак узнал его, это он слушал пруссака с белым, как тесто, лицом — крикнул в ярости:

— Стреляйте, черт побери!

Опять солдаты не двигались. И вдруг из их рядов вышел унтер-офицер и, подняв вверх руку, сказал пронзительные, как молния, слова:

— В своих мы не станем стрелять! Ружья вверх!

Солдаты подняли ружья вверх, и женщины Парижа надели им на штыки красные розетки. Жаку показалось, как в сказке, — под ярким солнцем на холме Монмартра расцвело вдруг целое поле красного мака.

Генералов арестовали и увели.

Женщин и детей посадили на пушки, и солдаты Тьера побратались с солдатами Национальной гвардии. Все торжествовали первую победу настоящей, народной революции.

Жак вместе с Национальной гвардией был и на площади Грев. Он видел статую Свободы в красном плаще, он слышал, как пушка грохнула над Сеной, как сотни труб заревели Марсельезу — это было как большие волны океана в могучий прибой.

Все батальоны склонили пред Думой штыки. Знакомый Жаку гражданин Ранвье вышел вперед на эстраду и крикнул:

— Именем народа мы провозглашаем Коммуну!

Среди таких событий Жак не мог улучить и минутки, чтобы заглянуть на окраину к бабушке. Совсем было собрался — пришлось бежать смотреть на «смерть гильотине»! На куски ее искрошили, эту адскую машину, облили керосином и сожгли, как падаль. Ну и отпраздновали...

На площади водрузили карусель. Вместо обычных лошадок здесь двигались по кругу большие смешные коровы с позолоченными рогами, за которые так ловко было держаться.

Взрослые расселись парочками, а ребят насыпалось штук по пяти на корову. И все под музыку пели песнь про ненавистную сожженную гильотину, пока не взошел на высокий помост член Коммуны объявить очередное постановление: сегодня коммуна приглашала всех стариков, больных, слабых подавать ей заявления о пенсии. Вот тут Жак так ярко вспомнил свою бабушку — и больную и старую, что скатился на ходу с зла-

торогой рыжей коровы, едва успев крикнуть товарищам:

— Докатаюсь потом, мне осталось пять туров! Чур, за мной...

Жак несся к бабушке в предместье, где паслись настоящие, живые коровы. Бабушкина комната была в глубоком дворе. Старуха кое-как еще видела и жила тем, что брала починку на дом. Когда Жак постучался, бабушка, наспех открыв ему дверь, сейчас же опять взялась за иголку. Заказ у нее, видно, был очень спешный, и она минуту боялась зря тратить. Даже не заворчала на Жака бабушка, как он того ожидал, так что ему даже стало вроде как обидно.

— И не спросишь, бабушка, где я был?

— Воробьев, конечно, ловил, — не отрываясь от работы, сказала бабушка.

— Бабушка... — У Жака от волнения схватило горло. — Не воробьев я ловил. Я на площади Грев вместе с первыми гражданами провозгласил Коммуну! Потом я сжигал проклятую гильотину! И тебя, бабушка, я совсем не забыл...

Тут Жак вывернул оба кармана штанов и выложил на стол все, что скопил, вплоть до большого куска «зебры из зоологического сада».

Бабушка, бросив работу, кинулась на куски и без разбора стала их запихивать в беззубый свой рот.

«Проголодалась», — защемило сердце у Жака, и он смущенно перевел глаза на работу бабушки. Внезапно Жак залился яркой краской — только сейчас он разглядел эту работу. Из цветов проклятого Версаля —

красного, синего, белого — бабушка шила флажки и нарукавники.

— Зачем у тебя эта дрянь?! — воскликнул Жак в гневе.

— Не дрянь это, а хлеб, — прошамкала бабушка. — Деньги за работу обещали. Все глаза проглядела — сшила первую партию, забрал заказчик... и ни одного су! Кончишь, говорит, все, тогда и получишь. А ну как снова обман?

— Бабушка, — сказал как можно спокойнее Жак, хотя ему хотелось растоптать ногами версальские флажки, — ведь нам — правительству народа — один только нужен цвет — красный. Ты работаешь на врагов... ты понимаешь?

— Где мне понимать, — сказала бабушка, — я ведь бедная...

— Бедных больше не будет, — начал Жак.

— Не вчера завелось, — рассердилась бабушка, — богачи и бедные — уже это от бога.

«Ничего-то ей не понять», — с отчаяньем думал Жак, но, сознавая всю важность открытого им дела, не дерзко, вразумительно спросил:

— Заказчик твой ночью приходил?

— Ну да, глубокой ночью, я было испугалась — жулик! А он-то с материалом.

— Бабушка, — чуть не плача, сказал Жак, — ты участница заговора. Я должен свести тебя в трибунал, чтобы тебя расстреляли.

Но тут же, спохватившись, что, запугав бабушку, он не откроет заговора, Жак выложил перед бабушкой свое последнее, самое ценное, — две блестящие пуговицы.

— Возьми себе на память, — помягче сказал он и отправился в свое любимое место, на самый верх, где можно было сесть на пустой конец балки. Здесь еще уцелел крюк для колыбели, в которой Жака, бывало, качала эта самая бабушка — сейчас изменница родине. Жак стал изо всех сил думать, что ему надо делать. А бабушка шила флажки и ласково ворчала:

— Выдумал тоже... расстрелять свою бабушку! Так тебя и послушают.

И лицо бабушки при улыбке пошло морщинами, как печеное яблоко.

Прехитрая мысль пришла вдруг Жаку в голову:

— Бабушка, помнишь ты большого негра? Ты ему чинила белье?

— Негр Юпитер? Он щедро платил за починку; бывало, еще кроликом угостит.

— Ну вот, сейчас он заведует питанием стариков. Он мне сказал: приведи свою бабушку, пусть ужинает каждый день!..

Жак легко спрыгнул с бревна.

— Идем сейчас же со мной, тут близко. А не то Юпитера пошлют на форты. Пожалуйся ему на заказчика, который тебя обманул. Сейчас собирайся, и керосин сохранишь, — спокойно и решительно, как взрослый, приказал Жак.

— Разве что керосин! — соблазнилась бабушка. — Да и поужинать хорошо. А к ночи доберемся домой? Не упустить бы заказчика-то!

— Его-то уж не упустим, — многозначительно сказал Жак и повел бабушку на площадь, где была карусель.

Подойдя к Юпитеру, Жак сказал:

— Я привел мою бабушку. Она, как индюшка, не понимает, для своих ли работает или для врага. Неизвестный заказчик дал ей очень срочно сшить груду трехцветных флажков.

— Давай сюда бабушку, — оживился Юпитер, — молодец, что привел!

Подойдя к члену Коммуны с красным поясом, отделанным золотой бахромой, бабушка оробела.

— Ничего, матушка, — сказал Юпитер, — ваша иголка еще нам окажет услугу. Когда ждете своего заказчика?

— Да нынешней, верно, ночью. Стук у него такой особый.

— Вот и застукнем его самого, — улыбнулся Юпитер. — А вам, матушка, приличней работать на таких же бедных, как вы сами. На пользу народа...

— Дешево бедные стоят, — начала свои глупости бабушка, но Юпитер строго ее оборвал:

— Сейчас бедные дороже всех стоят. Марго, подойди-ка сюда, — крикнул Юпитер женщине, грузившей на тележку вещи, собранные для детей Коммуны.

Марго подошла.

— Накормить, верно, бабушку?

— Сперва накорми, потом найдешь ей работу. А попоздней мы вас проводим домой, — сказал Юпитер бабушке, — и будьте счастливы, что у вас такой умный внук.

Жаку Юпитер сказал:

— До вечера ты свободен! А там сделаем засаду и шпиона схватим живьем.

Жак стремглав кинулся к своей большой рыжей корове — кататься пять туров. Однако на ней плотно висел какой-то черный вихрастый мальчик.

— Я отлучался по делам Коммуны, — сказал важно Жак, — пусти меня докататься пять туров.

— Прозевал черед, так не лезь вперед! — сказал мальчик, и кругом засмеялись. Жак освирепел, сдернул вихрастого с рыжей коровы и покатился с ним в драке до выпуклой крышки большой сточной трубы. Если б не зашиб больно ногу, он бы осилил вихрастого, но сейчас дал ему убежать. Жак лежал у самой трубы, стараясь не крикнуть от боли. Вдруг лицо его выразило необычайный испуг, волнение и, наконец, безумную радость человека, сделавшего важное открытие.

Жак вскочил, как мог, и, прихрамывая, подошел к Юпитеру, с которым вел разговор другой член Коммуны.

— Граждане члены Коммуны, — захлебнулся Жак, — в трубе сидит сам черт или Тьеров шпион... рычит!

Член Коммуны с Юпитером подошли к сточной трубе, нагнулись, прислушались: в трубе кто-то бешено колотился и хрипел, будто застрял и задохся.

— Отвинтим крышку, посмотрим, что тут за улов? Цепь вокруг! — скомандовал Юпитер.

Национальные гвардейцы окружили трубу.

— Держите ухо востро, — сказал член Коммуны, — для тьеровских шпионов все пути хороши, а грязные лучше всего.

Сбежались все, кто был на площади, и Марго с бабушкой оставили тележку с вещами. Всем было до смерти любопытно, кто вылезет из трубы. Водопровод-

чик пришел с инструментами. Он с усилием отвинтил плотно прилегшую крышку, и все невольно шарахнулись от зловонного отверстия.

— Как полагается дьяволу — серный дух! Эй, кто там, вылезай! — крикнул Юпитер в трубу.

— Ух... ух! — рычала непонятная туша.

— Застрял, как свинья, — хохотали кругом.

— Своим брюхом вычистил нам трубу!

— За хорошим делом в такое место никто не пойдет!

Тушу подцепили под мышки крючьями и вытащили на мостовую. Оказался большой толстый человек с лицом вроде грязного теста, весь, как репейником, облепленный дрянью. Человек вдруг стал на колени и с сильным немецким акцентом сказал, сложив руки ладонями, как маленький:

— Не убифать меня... я все буду говорить!

— Пруссак! — крикнул Жак, пробравшийся сквозь толпу к самому выходу сточной трубы. — Гражданин Юпитер, это тот самый... помните, когда хотели у нас выкрасть пушки? Он генералу показывал точную карту... он шпион!

— Я буду все говорить, — твердил, подло струсив, пруссак, — я не один... труба имеет нас два.

Оказалось, что другому сделалось дурно, и он, остановившись, заставил застрять и толстого. Полезли в трубу, вытащили небольшого сухопарого, привели его тут же в чувство. Когда он встал на ноги, бабушка Жака с неожиданной для ее старости силой накинулась на него.

— Подай мои деньги, — кричала она, — за работу подай!

— Ну, дружище, — сказал Жаку Юпитер, — удачный у тебя выдался день! Сразу, как говорится, двух зайцев убил. Нашел целых два ключа к заговору врагов.

Обоих шпионов допросили. Пруссак и сухопарый — агенты Тьера — пробирались к изменникам Коммуны, скрывавшимся под личиной сочувствующих ей. Они должны были на днях сдать один из очень важных фортов. Трехцветные нарукавники должны были при входе версальских войск надеть приверженцы Версаля, а флажками отметить свои дома.

На этот раз гнусный замысел не удался.

А Жака в награду за услуги, оказанные городу, несмотря на его малолетство, зачислили в число юных вольных стрелков. И хотя он оказался там самым младшим, но стрелял не хуже других.

ИНЖЕНЕРНЫЙ ЗАМОК

Инженерный замок, выстроенный против Летнего сада, при слиянии Фонтанки и Мойки, — одно из тех зданий, которые немедленно возникают в памяти, как только назовут имя нашего великого города.

Как шпиль Петропавловской крепости, как монумент Фальконета, и этот замок рисует архитектурный характер города, его лицо, единственное в мире по своему своеобразию и красоте.

Свое наименование «Инженерный» бывший Михайловский замок, основанный Павлом, носит только с 1823 года, когда, по распоряжению Николая, сюда переведено было Военно-инженерное училище, в котором обучались Достоевский, Григорович. Тут обучался и севастопольский герой генерал Тотлебен и другие военные, прославившие нашу родину.

Первый основной план замка, по свидетельству историков, принадлежит гениальному архитектору Баженову, который очень скоро отошел от этой работы, а замком всецело занялся Винценто Бренна, придворный архитектор Павла, сумевший особенно угодить его

вкусу пышным сочетанием военных трофеев: орлов, венков, марсиальных уборов...

Место, где стоит ныне Инженерный замок, отмечено было еще Петром I. Здесь он выстроил для своей жены Екатерины небольшой летний дом, великолепно украсил его картинами и разбил вокруг «императрицын сад».

На этом месте, уже по своему вкусу, выстроила новый дворец Анна Иоанновна, а Елизавета, дочь Петра, вступив на престол, убрала его мебелью, конфискованной у Миниха, и особенно его полюбила, когда у невестки ее, впоследствии Екатерины II, родился здесь долгожданный сын Павел.

В этом Летнем дворце прошло детство Павла, здесь Екатерина принимала поздравления дипломатического корпуса по вступлении своем на престол. Сюда она торжественно возвратилась из Петергофа — с войском, на третий день воцарения. Здесь же она получила известие о кончине Петра III.

Впоследствии императрица разлюбила этот дворец и покинула его, а Павел в 1797 году приказал сломать его и в баснословно короткий срок воздвигнуть на его месте новый — Михайловский замок.

Обуреваемый манией преследования, Павел хотел создать себе недосягаемую крепость и в ней укрыться от врагов действительных, созданных его деспотическим правлением, и врагов мнимых, созданных усилившейся к концу его дней болезнью. Он капризно торопил постройку замка. И около шести тысяч рабочих день и ночь — при свете факелов и фонарей — возводили стены толщиной в два-три метра. Непросыхающая сырость стен была следствием этой спешки, но

меньше чем в три года замок был все-таки окончен и в 1800 году 8 ноября торжественно освящен.

Стиль замка — образец итальянского Возрождения. Как говорили искусствоведы, «возвратом к мирному, интимному барокко — вот чем веет от великолепного творения Баженова — Бренна. Его пышность и вместе с тем интимность — шедевр русской архитектуры». Значение его как памятника эпохи Павла приобретает исключительную важность.

Внешний вид замка — громадный четырехугольник. Цвет замка, по рассказам современников, является свидетельством рыцарского вкуса императора к средневековому культу «прекрасной дамы» — стены замка окрашены в цвет перчатки, оброненной Гагариной на балу.

Как великолепно пламя этих замковых стен среди темно-зеленых кущ старых деревьев на закате солнца! Как пленительно поражает он неожиданно мягкими, приглушенными тонами, когда весь окутан серебристым осенним туманом! Неотъемлема от лица города его нарядно-причудливая громада.

У парадного входа в замок стоят два обелиска из серого мрамора. Ионическая колоннада подымает портал, над которым из паросского мрамора братья Стаджи изобразили Историю в образе Молвы. Еще выше две богини Славы держат герб Павла.

Если обойти замок и остановиться со стороны Летнего сада, то предстанет торжественная лестница из сердобского гранита. Она вела в обширные сени с мраморным белым полом и дорическими, красного мрамора колоннами. На площадке лестницы стояли прекрасные статуи Геракла и Флоры, отлитые из бронзы в Академии художеств. На гранитных консолях

две бронзовые вазы-аттик с шестью кариатидами и обширный балкон над колоннадой, барельеф работы Тибо из белого мрамора.

На фасаде, обращенном к Фонтанке, очень живописен полуциркульный выступ с шестью колоннами. Над этим выступом купол и сторожевая башня с древком, предназначенным для поднимания штандарта, когда Павел находился в замке.

Перед замком находится обширный плац-коннетабль, который при Павле был окружен каналами и садами. Посреди плаца стоит замечательная статуя Петра I. Памятник отлит скульптором Мартелли, но замысел принадлежит великому зодчему Растрелли. Лошадь, гордясь своим великим седоком, идет триумфальным шагом. Петр в одежде римского цезаря, с лавровым венком на голове, простирает жезл и смотрит далеко вперед.

При Екатерине статуя была забыта в сарае. Павел велел ее извлечь и водрузить на площади. Надпись на пьедестале гласит: «Прадеду — правнук».

Этой надписью и многочисленными вензелями своего имени Павел словно пытался еще раз утвердить и заявить свои законные права прямого наследника по крови, правнука Петрова. Слишком долго он пребывал «вечным наследником».

На площади коннетабля производились смотры и парады, которые при деспотическом, неуравновешенном характере Павла редко обходились без отсылки провинившегося под арест, а порой и прямо в Сибирь. Это могло произойти со всяким, и потому офицеры при Павле имели обыкновение брать на службу за пазуху бумажник с деньгами, чтобы не оказаться в без-

выходном положении, попав под сердитую руку императора.

Внутрь замка вели четыре больших и две малых лестницы. Наверху, у величественных дверей красного дерева с бронзой, стояли два гренадера. Из передней налево находилась овальная зала, где неизменно из одного и того же полка дежурили тридцать солдат с офицером. С четырехугольной залой античной статуи Вакха соприкасалась другая караульная комната, где постоянно находился взвод конногвардейцев. В конце галереи Лаокоона два унтер-офицера лейб-гвардии с эспадронами в руках охраняли вход в овальную гостиную, убранную с необыкновенной роскошью. Рядом с библиотекой государя в маленькой комнате, из которой потайная дверь вела на кухню, где готовились кушанья только для царской семьи, стоял еще один караул из лейб-гусар...

Однако никакие караулы, ни подъемные мосты, ни даже пушки, которыми был окружен Михайловский замок, не помогли деспоту, в припадках безумия четыре года терзавшему свою страну, сохранить свою жизнь. Он был убит в собственной спальне 11 марта 1801 года.

Эта одна из самых мрачных страниц русской истории мне вспомнилась летним днем, когда я подходила к площади коннетабля посмотреть, как ведутся бригадой, командированной трестом «Монументскульптура», работы по поднятию зарытого от фашистских бомб памятника Петру. Глубокий тайник, куда зарыли Петра с его огромным мифологическим конем, находился недалеко от сиротливо белеющего своим мрамором пьедестала.

Когда я в первый раз пришла к памятнику, он еще лежал в своей глубокой яме, полузасыпанный песком. Кто-то набросил на коня темно-зеленую кудрявую ветку каштана, и, чудесно оживший, выглядывал из-под его крупных лапчатых листьев круглый, как бы чего-то ужаснувшийся зрак.

Конь ужаснулся происходившему в великом городе, тому, ради чего его должны были зацепить крюками, сорвать с пьедестала, зарыть в землю. Ужаснулся варварской беспощадности и коварству лютых врагов.

В 1941 году в Инженерном замке был эвакогоспиталь. Жилые комнаты замка были заняты ранеными. Над замком развевался флаг Красного Креста. Фашистский летчик снизился к самому флагу и, варварски нарушая веками освященное требование человечности, сбросил две фугасные бомбы на головы раненых. Это было 4 апреля 1942 года.

Погибли люди, и бомбы разрушили на северо-восточной части замка все этажи до цокольного. Обрушился дворцовый флигель, уничтожены предтронный зал Павла, внутренние апартаменты дворца. От падения вблизи замка артиллерийских снарядов пострадали лепные и скульптурные украшения всех фасадов. Сорвана крыша, разрушена стена с перекрытием. Вырваны переплеты с рамами, двери с дверными коробками. Снесено двадцать пять метров чудесной наружной чугунной ограды.

И государственный акт о разрушении здания Инженерного замка с полным основанием заканчивается горькими, негодующими словами: «Разрушение и бомбежка этого здания были совершенно бессмысленны и бесцельны с точки зрения военных действий. Они дол-

жны быть отнесены за счет варварских тенденций немецко-фашистских войск к уничтожению памятников русской культуры».

Но мы разгромили врага. Навеки разрушены его замыслы, направленные против величия нашей Родины! А нанесенные ей раны и разорение залечим и восстановим мы сами.

Сейчас в Инженерное училище пришла новая, молодая жизнь: здесь теперь курсанты-краткосрочники. Настойчиво и неустанно идет работа по восстановлению разрушенных фашистскими бомбами частей замка.

Пусть бледно-голубое северное небо еще глядится в провал крыши — растет уже новая крепкая стена взамен уничтоженной, воздвигаются каркасы и перекрытия...

До мелочей простирается забота людей, ведающих восстановлением замка. Невольно привлекают внимание белые дощечки на старых деревьях с надписью: «Осторожно! Не повредить!»

Мимо этих деревьев подвозят к замку строительные материалы. Восстановительную лепку, орнаментальные архитектурные работы выполняет Академия художеств.

Перед замком с правой стороны, где до войны был каток, разобран большой дот. Это место напоминает раскопки. Множество девушек, пришедших на работы по восстановлению города, просеивают через металлические громадные сита землю, и ложится она по другую сторону тончайшим порошком, легким и плодородным, который завтра пойдет на клумбы вновь разбиваемого здесь цветника. А по эту сторону остаются комья и камни, которые увозят в тачках.

Как великолепно в своей строгой гармоничности выделяется в конце этого пустыря ничем сейчас не заслоняемый красный павильон с белыми колоннами, построенный еще Баженовым и прекрасно сохранившийся!

Инженерный замок с его вновь засверкавшим на солнце ярко-золотым шпилем стоит, как исполин, победивший врага, уже отдохнувший, но еще не успевший привести себя в полный порядок.

Помню, как вынули из тайника Петра с конем и на катках подвезли к пьедесталу.

...На белом мраморе вместо Петра стояла девушка в рабочем комбинезоне и красном платочке на голове. Она мерно взмахивала молотом и била по железной скобе, создавая необходимые закрепы для ног коня.

Девушка взмахнет — гулок удар, и словно это конь в нетерпенье хватил копытом, а Петр вот-вот взметнет жезлом, указуя на барельеф своих славных побед, вылепленных по сторонам пьедестала, и самовольно взлетит на него.

Внезапно хлынули к памятнику мальчишки.

— Вчера мало начистили, сегодня надо кончать! — крикнул один из них, должно быть бригадир, на что многие откликнулись:

— Кончим!

Мальчики вынули тряпки, скребки и разбрелись по памятнику, как муравьи: кто тер лавровый венец, кто волнистые пряди ниспадавшего до земли хвоста.

— Из какой вы бригады? Как оплачивается ваш труд? — спросил подошедший прохожий.

— А никак не оплачивается, — сказал старший. — Мы пришли сами от себя. Что мы, «Полтавы» не читали?

ВЕРНЫЙ СПУТНИК

Они шли уже месяц по бурятской степи. Долго ожидаемый новый острог в Петровском заводе наконец был окончен, и всех из Читы переводили туда.

Пройти надлежало более шестисот верст, разрешили частые привалы. Минуя казенные почтовые дома, для этих привалов разбивали собственный лагерь из легких бурятских юрт.

Лунину, старейшему из партии, предложено было ехать вместе с Волконским в возке с кожаным верхом. У обоих еще в каземате разболелись старые боевые раны.

Поначалу продвигались под непрерывным дождем. В закрытом возке, как в памятной тюремной камере, было и тоскливо и тесно. В ответ на чирикание каких-то местных непуганых птиц, пронесшихся совсем рядом с возком, Волконскому вздумалось вспомнить стихи Одоевского:

> Птицы! Как вам петь не стыдно?
> Вы смеетесь надо мной...

— Я предпочитаю другие стихи, — прервал хриповатым, но приятным голосом Лунин, — есть и такие: «Во глубине сибирских руд храните гордое терпенье...» Поверьте, Волконский, если внешняя судьба человека не зависит порой от его воли, то внутреннее отношение его к событиям этой судьбы *всегда* в его власти. В этом сила человека. И слава тому, кто эту силу помогает крепить, а не превращает в студень...

— Не обижайте моего Одоевского, — мягко заступился Волконский, — он ведь достойно сумел ответить и на эти необыкновенные строки, которые привезла нам Александрин Муравьева, а вы сейчас процитировали: «Мечи скуем мы из цепей и вновь зажжем огонь свободы!» — разве плохо?

— Однако дождь перестал — пора бы открыть наш возок, — сказал суховато Лунин, не выносивший и намека на жалобу. Он приказал ямщику остановиться.

С легким шуршанием упал мокрый кожаный верх, и глазам путников предстала необыкновенная холмистая степь. День быстро спадал. Солнце только что закатилось, и дымный лиловатый сумрак спешил охватить все кругом. Наскоро разбив юрты, усталые люди уснули...

До места назначения оставалось всего два перехода, и Лунин решил, что даже в случае дождя он больше в душном возке не поедет, а двинется пешком вместе с партией. Вдоволь надремавшись за долгий путь под мирную качку возка, Лунин сейчас не мог спать. Вызванная памятью строка Пушкина, как музыкой подхваченная необъятностью представшей в сумраке ли-

ловой степи, привела за собой все его послание и наполнила сердце волнением и болью.

Лунин встречал Пушкина у Карамзиных, у братьев Тургеневых. Пушкин звал его — «друг Марса, Вакха и Венеры» и заочно восторженно о нем говорил: «Лунин человек поистине замечательный». Они одинаково презирали тот блистательный круг светской черни, с которым невольно были связаны, они с уважением сердечным одинаково любили тот простой русский народ, про который знали, что хотя он «безмолвствует, но *мыслит*». Обоим знакома была и горькая нужда, и вдохновенный труд, и труд простой, чтобы не умереть с голоду. Они были друзья. Больше того, они были — *ровня,* и при первой встрече они мгновенно угадали один в другом несметные, до конца не раскрывшиеся силы. Пушкин был счастливее — его пламень вырывался гениальными стихами, Лунин со своими никем не понятыми великими государственными замыслами поневоле отдавался дуэлям, чудачеству, озорству... Но его замыслы были поистине таковы, что он имел право сказать с гордостью: «Мысли, за которые приговорили меня к политической смерти, будут необходимым условием гражданской жизни».

Лунин вспомнил, как он вместе с Пушкиным и друзьями-арзамасцами провожал больного Батюшкова за границу. Он увидал, едва подумав о нем, еще молодое, печальное лицо Батюшкова, обрамленное белокурыми вьющимися волосами, его тревожный взгляд, его необычайные голубые глаза. Батюшков надеялся поправиться в Италии, избежать рокового в семье его безумия. Растроганный Пушкин, как бы желая заклясть

эту страшную обреченность, подняв бокал, возгласил молодые стихи Батюшкова, которые любил, как свои:

И пока бесценна младость
Не умчалася стрелой,
Пей из чаши полной радость
И, сливая голос свой
В час вечерний с тихой лютней,
Славь беспечность и любовь.

На рассвете Лунин двинулся со своей партией. День обещал быть чудесным. Нога его почти не болела, и всем существом своим ощущал он радость шагать по земле, такой большой, не ограниченной нигде частоколом надоевших казенных строений. Глаз, как на волнах безбрежно широкого моря, отдыхал на зеленых холмистых пространствах Забайкалья. Взошло солнце, и все истомленное тело Лунина помолодело, расправилось среди запахов серебристой полыни и незнакомых душистых трав безлюдной земли. Последний свободный переход перед новым слепым острогом...

Кибитка с Волконским ехала рядом, и Лунин с веселой улыбкой указал ему на Завалишина, шедшего впереди всех. Мелкий ростом, какой-то всегда петушистый, он шагал с высоко поднятой головой в шляпе необъятных полей, в черном самодельном одеянии, как смеялись товарищи — квакерском. В одной руке у него была саженная палка, в другой книга, которую, по своей деловитости, он читал на ходу.

Волконский выглянул из кибитки, забавно выставив свой родовой хищный профиль, которому так не соответствовали большие добрые глаза, и указал, в свою очередь, на Якушкина в детской курточке с отложным воротником. Он, в ботаническом азарте, срывал раз-

ные стебельки и листочки и оглашал звучной латынью степные просторы.

Смешно, подумалось Лунину, что вот этот чудесный человек, Якушкин, университетский товарищ Чаадаева, насмотревшись в Петербурге фрунта и шагистики, бывало, негодующе кричал:

— *Они* правят нами, они! А мы-то ушли от них на сто лет вперед!

Вот за эти «сто лет» и шагает сейчас шестьсот верст пешком. Да еще рад, что шагает, а не гниет в норе. А наверху как была, так и есть шагистика.

К вечеру достигли переправы через быструю речку, и Завалишин с Якушкиным, не дожидаясь наводки мостиков, пустились было вброд. Тотчас налетел на них грузный комендант на белом коне и завопил к всеобщему удовольствию:

— Немедля назад! Вам ничего, если потонете, а мне за вас отвечать.

Развеселились. Стали настаивать на раннем привале, чтобы развести костры и спасти купальщиков в вечерней прохладной воде от возможной простуды.

Побега государственных преступников комендант справедливо не опасался. Куда здесь бежать? Но ему предстоял скорый выход на пенсию, а при сдаче поднадзорных в особую заслугу вменялось хорошее состояние их здоровья.

Подводчики-буряты разобрали свои обозы и с особой ловкостью и быстротой разбили для всех юрты: малые, для государственных преступников, в середине лагеря, сбоку большие белые — коменданту и штабу.

Чуя долгую стоянку, ласково фыркали распряженные кони. Широколицые бурятки, поблескивая яркими

бляшками на расшитой груди, проворно разводили костры. Вспыхнул, разгорелся огонь, бурятки затянули длинные тихие песни, помешивая в котелках кашу. Осветились и юрты. Входные циновки были откинуты, и ярко выделялись люди, то сидевшие на ящиках, то лежавшие на траве. Вокруг лагеря стояли казаки с высокими пиками в руках. На пиках играли огоньки костров, казаки протяжно перекликались, держа дозор. Эта перекличка при огнях костров на открытом просторе степи казалась какой-то игрой, а не грустным напоминанием государственным преступникам о их вечном лишении свободы.

— Бессмысленно подумать, — сказал Волконский, разделявший с Луниным юрту, — что после такого приволья нас опять ждет острог, к тому же, как я слыхал, на этот раз он будет совсем без окон. С намерением будто отстроен слепым.

— Отстроен по личному замыслу его величества, — усмехнулся Лунин. — Комендант очень дорожит мнением наших дам, он по секрету им и признался, заверяя свою неприкосновенность к этой очередной гнусности. Что ж, приготовимся и к слепому острогу!

— И только вспомнить, Лунин, как мы вслед за вами твердили, словно молитву: «свобода мысли, воли и действий...»

— Мысль моя как была при мне, так и есть неотъемлема, — сказал веско Лунин. — Еще посмотрим, как и куда я ее направлю, может, удастся и Петербургу насолить.

И, легко перейдя на прочно усвоенный в ссылке веселый, насмешливый тон, Лунин гибко выпрямился

во весь свой высокий рост, засучил рукава и, сжав кулаки, предложил Волконскому пощупать свои мускулы, словно вылитые из чугуна.

— Недаром я сохраняю бицепсы прежней мощности. Эх, на медведя бы, как, бывало, один на один, с рогатиной...

И друзья стали вспоминать, по безмолвному уговору минуя недавнее прошлое — крепость, суд, приговор, — те годы юности, полные неуемных сил, когда они, молодые кавалергарды, стояли летом на Черной речке и пугали полицию своими ручными медвежатами.

Вспомнили, как в жаркое петергофское лето командир вдруг запретил купаться в море, измыслив, что публике неприлично узреть свою гвардию обнаженной. И Лунин, при появлении коляски с командиром, прыгнул в воду как был, в полной парадной форме, с кивером и в ботфортах. Отрапортовал: «Купаюсь согласно данному приказу о приличии».

— А помните, — улыбнулся Волконский, — как восхитили вы полк вашей отповедью государю? После очередной какой-то вашей эскапады Александр надменно вам вымолвил: «Про вас говорят, Лунин, вы не в своем уме...»

— То же самое говорили и про Колумба, — ответил я ему, как пишут в романах, «звонким молодым голосом», — засмеялся Лунин. — А вот послушайте, Волконский, что случилось со мной, когда вы копали руду в Благодатном, а я сидел в сквернейшей из тюрем — выборгской. Вообразите, дождь так и хлещет на пол сквозь дырявую крышу, а ревизор-губернатор любезнейше ко мне пристает: «Не имеете ли в чем нужду?»

Я указал на лужу и отдал приказ: «Дождевой зонт! Притом экстренно!»

Волконский вдруг насторожился и, слегка отвернув циновку, сказал:

— Перед нашей юртой толпа бурят с переводчиком. Чего это они?

— Да ведь это ко мне, — поднялся Лунин, — переводчик мне давно говорил, что почитают меня главным преступником и очень интересуются знать, что я совершил. Я обещал им объяснить.

— И мне любопытно ваше объяснение. — Волконский шагнул вслед за Луниным из юрты.

— Уж извиняйте их, — сказал Лунину переводчик, указывая на молодых бурят, сверкавших любопытными узкими глазами, — дети они, как есть, заслышали смех в вашей юрте, залопотали: «Веди нас — он сейчас добрый, он уважит».

— И уважу, — улыбнулся Лунин. — Вот скажите-ка мне, ребята, знаете вы своего местного начальника, по-вашему — тойша?

— Знала тойша, все его знала, — поняли буряты.

— Так вот разъясни им, — сказал переводчику Лунин, — что самому главному тойша, который имеет власть всех прочих запрятать в острог, я хотел положить конец. По-вашему, сделать угей, — крикнул по-бурятски Лунин и выразительно провел ребром ладони по собственной шее. Смышленые буряты защелкали языками, одобрительно закивали Лунину и, смеясь, разошлись по юртам, твердя: «Угей... о, угей!»

— Не лишены чувства юмора эти буряты, — сказал Лунин, усевшись на свой ящик в юрте, — отличный народ, умный.

— Экспозиция нашего дела вам удалась, Лунин, — одобрил Волконский, — но спроси у вас буряты, почему этот угей не удался, вам бы много трудней было ответить.

— Потому, что могла быть и удача, — вдруг побледнев, сказал резко Лунин, — могла. Еще в семнадцатом году я предлагал, и не какой-либо мальчишеский, а вполне ответственный, разработанный план — захватить царя по дороге в Царское Село. Не моя вина, если тайное общество только через шесть лет дозрело до этой моей мысли...

Подвижное лицо Лунина застыло на миг в сдержанной муке, когда он медленно закончил:

— Единственное, что при мыслях о судьбе моей охватывает меня гневом, это то, что я, человек дела, угодил в эту каторгу, как молокосос, за одни слова!

— И слова могут быть делами, — сказал Волконский.

Лунин вспыхнул:

— У кого? Я знаю только одного человека, великого гения русского — Пушкина, у него слова действительно большое дело. Кто с такой силой вдохнул в сонные души надежду на «святую вольность»? Кто нас властно уверил: «взойдет она, звезда пленительного счастья...»

— «И на обломках самовластья напишут наши имена», — подхватил Волконский и взволнованно добавил: — Одних Пушкин пробуждает, других утешает, дает новую жизнь. Какая нам поддержка эти стихи его, привезенные Муравьевой!

Лунин, как бы для себя, вдохновенно продолжал своим тихим выразительным голосом:

— Слова Пушкина были как молния в руках наших вождей юга и севера. Его стихи «Кинжал» и «Вольность» есть чуть не у каждого грамотного русского. И влияние этих стихов и глубже и шире неудавшихся наших усилий! Чье сердце хотя бы невольно не забьется ответным эхом на его пламенный призыв к свободе, против тирании, к торжеству разума над тьмой? И это сказано не только на вчера и сегодня, Волконский, это сказано на все времена. Но поистине надо иметь сердечный пламень и гений Пушкина, чтобы потомством зачтены ему были слова как важнейшее из важных дел. Нам, прочим, надлежали иные свершения... где же они?

— Вам, Лунин, первому из всех суждено было свершить великое, и, поверьте слову, мы бы вас уберегли, — вспыхнул Волконский. — Вы бы сюда не попали, имени вашего никто б не назвал, не будь у Пестеля, как у всех прочих, уверенности, что вы в полной безопасности и переправлены за границу. Ни для кого не секрет была особая к вам любовь цесаревича Константина. И вы находились в Варшаве...

— Цесаревич, точно, настаивал на побеге, — усмехнулся Лунин. — Он сам принес мне заграничный паспорт и дружески пробасил: «Убирайся подобру-поздорову! Братец мой так вцепился в корону, что всем вам, посягателям, — карачун».

— И вы отказались от паспорта... от свободы? — Волконский с восхищением глядел на побледневшее прекрасное лицо Лунина.

Лунин просто сказал:

— Разделяя убеждения уже арестованных товарищей, я считал справедливым разделить их участь. А перед Сибирью, Волконский, я отпросился на охоту, цесаревич поверил моему слову, побегом я бы теперь уже мог его подвести, он отпустил меня на три дня. И поохотился ж я напоследок. Вернулся, как сказал, и прямо в объятия к фельдъегерю! — с былым удальством закончил Лунин.

За юртой раздалось чье-то почтительное и настойчивое покашливание. Лунин крикнул:

— Кто там топчется? Дело есть — входи.

Молодой караульный офицер, особенно почитавший Лунина, вошел тихо в юрту. Протянув мелко сложенную газету, он значительно сказал:

— Нарочный из Читы еще утром привез коменданту.

Лунин пробежал газету, вздрогнул. Темные глаза его вспыхнули, румянец залил бледное лицо. Он в волнении вымолвил:

— Волконский, во Франции революция! — И выбежал с газетой из юрты.

Это была революция 1830 года. Товарищи собрались у отдаленного костра. Тесно сгрудились над газетой. Каждому собственными глазами хотелось прочесть необычайную весть. Слышались отрывистые, восторженные возгласы: «Баррикады... трехдневное народное восстание... Вся Европа взволнована!»

Лунин сдержанно, с глубокой силой сказал:

— Дайте срок, дело свободы подхватит весь мир, — и тихо добавил: — Какой счастливый сегодня день! Недаром всю дорогу незримым спутником я ощущал Пушкина. Недаром как музыка, рожденная этим

простором, этой необъятностью, звучали в сердце моем дивные строфы:

Оковы тяжкие падут,
Темницы рухнут, и свобода
Вас примет радостно у входа,
И братья меч вам отдадут.

Молодой караульный офицер деликатно тронул Лунина за рукав и указал на исправника, подходившего в сопровождении какого-то купца. Словно ворочая булыжники, он предупреждающе вымолвил непривычные французские слова:

— Парле франсе!

Все невольно расхохотались.

— Спасибо, что напомнил, — воскликнул Лунин и грянул хриплым, но все еще мощным голосом «Марсельезу».

ПАМЯТНИК ИСТОРИИ

Я рисую ее, сидя на садовой скамье напротив въездных ворот...

Луч солнца вдруг ударил в длинный шпиль с ангелом, и весь пейзаж стал веселым, весенним. Сейчас нет грозных пушек на бастионах. На въездных Иоанновских воротах дощечка с золотыми буквами: «Государственный музей истории Ленинграда. Филиал „Петропавловская крепость“».

В 1924 году Петропавловская крепость была превращена в музей. Под ней, на Неве, зимою тренируются лыжники, ребятишки катаются на коньках, перебрасываются снежками. А летом пляж у Петропавловской крепости становится самым любимым местом веселого и здорового отдыха ленинградской молодежи. «Африка» — зовется этот пляж. Здесь загорают.

А вспомнить только, какое это было страшное место! Ужас охватил меня при посещении этого памятника жестокости царского режима, когда я в начале революции совсем по живому следу стала подробно

его изучать, замыслив писать свой первый исторический роман, «Одеты камнем»...

Экскурсовод повел нас тем самым путем, каким в черных каретах с зелеными занавесками возили арестованных. При каждом были два жандарма и офицер. Везли вдоль Екатерининской куртины или с другой стороны, мимо осевших в землю казарм Анны Иоанновны. У одноэтажного дома обер-коменданта карета останавливалась. Офицер соскакивал, исчезал в подъезде — с докладом коменданту, а жандармы довозили арестованного до серых ворот, где с правой стороны как бы врастают в небо бурые трубы Монетного двора. С этого места уже угадываются серые нижние камеры, черный, беспросветный карцер, двойные стены, тройные решетки на окнах.

В нескольких шагах влево от Трубецкого бастиона — Васильевские ворота. По туннелю кареты спускались к подъемному мосту, перекинутому через канал. Здесь, в Алексеевском равелине, в этом одноэтажном здании с четырнадцатью небольшими камерами, на котором стоит надпись: «Секретный дом», — держали особо важных преступников.

Днем и ночью засматривал к ним в «глазок» зоркий дежурный стражник. Отсюда никто никогда не убегал. Отсюда узники не выходили, отсюда их выносили. Правда, Радищева, закованного в железа, вывезли отсюда в дальнюю сибирскую ссылку, а пятерых декабристов отправили на виселицу...

Совсем недавно я снова побывала в крепости, где уже образовался целый городок. Хотя черный с белым казенный николаевский столб все еще стоит около собора против гауптвахты, но на длинном доме комен-

данта крепости зеленеет вывеска продуктового магазина. Рядом с древними Петровскими воротами в мастерских Военторга шьют одежду для бойцов и командиров Советской Армии.

Девушка-экскурсовод водила нас по камерам и в заключение показала то, чего я раньше здесь не замечала: перед входом на узкую лестницу Трубецкого бастиона стояли пушки.

— Это те самые пушки, — пояснила экскурсовод, — которые по приказу Николая дали семь залпов по декабристам на Сенатской площади. Эти пушки Николай подарил брату своему Михаилу, а мы обрекли их теперь на вечное заточение... — И она засмеялась.

Все ушли, я задержалась, чтобы осмотреть пушки. Экскурсовод ласково дотронулась до моего плеча.

— Очень хорошо, бабулечка, что не отстаете от молодых, интересуетесь нашим революционным прошлым. А хотите знать об этой крепости подробней, прочитайте роман «Одеты камнем». Записать вам?..

— Ничего, благодарю вас. Я запомню...

Мне стало весело, и, как Гарун-аль-Рашид, себя не обнаруживая, я ушла «бабулечкой».

А через несколько дней в красном уголке древнего Монетного двора мы голосовали за депутатов в местные Советы трудящихся, и невольно подумалось: ни Екатерина II, заточившая Радищева, ни Николай I, погубивший декабристов, не могли бы представить себе даже в минуты самого жгучего страха за русский трон, что крепость, оплот самодержавия, станет такой нестрашной, превратившись в памятник истории.

РОВЕСНИКИ

Работа собственного воображения может отлично воскрешать прошедшее по сохранившимся доныне памятникам былого. Вот, например, наша сегодняшняя ленинградская площадь Революции, с ее клумбами, зелеными бордюрами и дубками, недавно посаженными, но уже шумящими густой зеленой кроной; ведь это же была Троицкая площадь — самое значительное место в возникавшем Санкт-Петербурге, с его Троицким собором и домиком Петра.

Заложив 16 мая 1703 года Петропавловскую крепость, Петр велел плотникам срубить поблизости домик для него. Плотники срубили домик царю, как рубили собственные избы, из местной сосны, и поставили его у самой воды. Стены и потолок обтянули некрашеным холстом, крышу выложили деревянной черепицей. На коньке крыши установили посредине маленькую резную из дерева мортиру, а по углам — пылающие бомбы. Пламя у бомб размалевали ярко-красной краской. Все это служило выражением военного значения домика как лагерной постройки и подчеркивало пребывание

здесь «капитана бомбардирской роты», как числился Петр в армейских списках.

У дома нет фундамента, он одноэтажный, длина — двенадцать метров, ширина — пять с половиной. Семь очень больших окон мелко расчерчены свинцовыми переплетами. Окна на ночь прикрывались дубовыми ставнями с железными болтами. Самая высокая дверь оказалась ниже роста Петра, так что ему пришлось нагнуться, чтобы в нее пройти. Косяки, двери, ставни были расписаны букетами цветов.

В трех небольших комнатах — кабинете, столовой и спальне — убранство крайне простое, почти все самодельное. Петр, как известно, отлично знал четырнадцать ремесел. Запоминаются добротные скамьи его работы и стулья с очень высокими спинками. Стоит нерушимо более двухсот лет токарный станок, на стене — плотничьи инструменты. Характерны для своего времени узенький головастый буфет и медные замысловатые подсвечники. Удивляет, что в домике нет ни печей, ни дымоходов. Но Петр живал здесь только летом, наблюдая за постройками в порту в новом городе, а зимы проводил всего чаще в походах...

Деревянный домик покрасили «под кирпич», и 28 мая 1703 года при пушечной пальбе со всех шести раскатов крепости царь с блестящей свитой своих приближенных, как пишет историк, «вошел во дворец и изволил в нем кушать».

Так на Троицкой площади, под защитой Петропавловской крепости, на старинном «Березовом острове» (былое название Петроградской стороны), стало развиваться строительство Санкт-Петербурга. Возникла здесь Троицкая пристань — первый петербургский

порт. К его причалам начали приходить корабли с голландскими и немецкими флагами. Появились корабли из Венеции и Гишпании.

Скоро домик Петра так густо обстроился палатами его вельмож, что сам стал неприметен.

На Троицкой площади, кроме торжеств по случаю встречи иноземных гостей, публичных праздничных гуляний, производились и публичные казни, причем отрубленные головы, «дондеже не истлеют», устрашали народ, насаженные на вбитые нарочито железные колья.

С 1731 года домик защищен был от влияния погоды особой постройкой, которая в 1844 году приняла свой окончательный вид, сохранившийся до наших дней. Во время Отечественной войны футляр спас домик Петра от немецких зажигательных бомб.

В 1875 году разбили вокруг домика сад с чугунной решеткой, воздвигли посреди небольшую колонну, а на ней бюст Петра — упрощенную копию с известной работы Растрелли-старшего. Почти тридцать лет использовал домик как часовню соседний Троицкий собор. После многих пожаров и реставраций в 1930 году этот собор снесли совсем, а домику Советская власть вернула первоначальный вид и открыла его для обозрения как музей.

Петр жил в домике с 1703 по 1708 год. Когда архитектор Доменико Трезини отстроил ему настоящий прекрасный, хотя небольшой дворец в Летнем саду, Петр стал жить в нем. На крутой четырехскатной крыше дворца еще издали сверкал, как солнце, большой медный золоченый флюгер с изображением Георгия Победоносца. По углам крыши были трубы для

стока воды в виде драконов. Вдоль наружных стен терракотовые барельефы, прославляющие в аллегорических образах славу русского оружия в Северной войне.

В Летнем саду устраивались торжественные приемы иностранных послов, купеческие гулянья, «смотрины невест» и проводились «ассамблеи», введенные Петром для скорейшей ломки окаменевшего боярского быта.

...Деревья, ровесники нашего города, разбросаны в разных местах, и большое удовольствие с ними познакомиться лично. Старшее поколение почему-то их мало знает; шофер, с которым мне пришлось колесить по Каменному острову в поисках «дедушки-дуба», посаженного собственноручно Петром, так и не смог его найти. А группа школьников, к которым мы наконец обратились, радостно завопила: «Да вот же он!» Они указывали на что-то громадное, незаконно растущее на самой середине улицы.

Подъезжаем. С одной стороны за высоким забором, в красивой бывшей усадьбе, — дом с колоннами, ныне детский сад; с другой стороны за деревьями видать — стройка: новая столовая для кардиологического санатория. А посреди улицы — дуб. В три обхвата, сказочно изогнувшийся, какое-то древесное чудище среди пушистой, сквозной зелени молодых садов. Вокруг дуба чугунная решетка, подальше четыре чугунные искривленные тумбы, на них цепи. Не хватает пушкинского сказочного кота. Могучий гигант словно уперся нарочно, не сдвинется по своей воле. Какой-то особенный, волевой дуб. Его огибают и машины и люди.

Других дубов-ровесников я еще не успела посмотреть, но знаю: есть еще в городе Сестрорецке полуостровок «Дубки», засаженный дубами. Среди них указывают на деревья собственноручной посадки Петра. На Карельском перешейке, у станции Рощино, выросла целая лиственная роща большой красоты и древности. Она тоже считается посаженной при участии Петра.

...И вот еще один памятник петровской эпохи. Как я его искала! Метались, метались с машиной по всей гавани. Заехали далеко с тыла, в какие-то заводские дворы, куда без провожатого и не доберешься. Потом стали спрашивать встречных и поперечных, выбирая тех, кто постарей. Нашли седого, бородатого старожила. Никто не знал, где петровские кроншпицы. И повторилась та же история, что с могучим дубом. Едва обратились к школьникам, они согласованно ткнули пальцами в море и, сказав: «Мы их проходили», — впрыгнули в нашу машину.

Школьники привезли нас к самому заливу, где для пляжа уже расчищался береговой сор. Сметали его в частые, мелкие кучи. В холодной еще воде ребята купали своих собак, купались и сами в штанишках, которые потом сушили под солнцем на собственном теле.

— Прежде всего тут Петр канал велел прорыть для галер, — сказал один мальчик. — А сторожевые эти башни уже потом...

— Они назывались «дозорные», — прибавил другой. — В 1721 году выведены. По-тогдашнему назывались «кроншпицы».

— К юбилею города готовились? Специально о кроншпицах выучили?

— А как же! — не без гордости сказали мальчики. — Ведь двести пятьдесят лет этим башням, как и самому городу.

Я села рисовать: передо мной был пейзаж совершенно петровского времени. Крепкие, большеголовые дозорные башни как бы перекликались со своими современниками — и Петропавловской крепостью и Троицким собором на одноименной площади, который я еще сама видела и отлично помню. Эти кроншпицы не только драгоценный памятник архитектуры восемнадцатого века, но и последний сохранившийся свидетель военной славы петровского гребного флота, одержавшего блестящую победу над шведами.

Петр отлично понимал необходимость создания хороших гаваней на Балтийском море и в год заключения Ништадтского мира издал указ о постройке Галерной гавани на Васильевском острове.

Рисуя высокие шпицы, столь характерные для петровского времени, я с почтением вспоминала, что работы в гавани шли под руководством замечательного архитектора Трезини, что для битья свай приказано было отпустить пять тысяч бревен, что дозорные башни были первоначально деревянными и только в 1754 году по проекту архитектора Башмакова «повторены каменные кроншпицы». В 1854 году, во время Крымской кампании, решено было, что на случай появления в Финском заливе английского флота кроншпицы должны превратиться в огневые точки...

Опустошительные пожары несколько раз уничтожали все здания гавани, одни эти петровские кроншпицы продолжали стоять без изменений, только обсыпалась штукатурка да крыша поржавела.

Осенью 1949 года советский архитектор реставрировал дозорные башни.

Кроме своего исторического назначения: быть в Петрову эпоху «дозорными» стражами, преграждая врагу доступ в гавань, — кроншпицы как тогда, так и сейчас являются живописным, выразительным сооружением среди голубых волн Финского залива.

БЕЛАЯ НОЧЬ

Несмотря на то, что замечательные постройки архитектора Карла Росси создали ему всемирную славу, он был отставлен Николаем Первым от больших работ еще в полном расцвете сил и таланта.

Сейчас Росси жил в конце Фонтанки, у Калинкина моста, в том самом трехэтажном доме, где в ранней молодости живал Пушкин. Это место называлось Коломна. Здесь, среди лавчонок, маленьких деревянных домов с мезонинами, только и возвышался этот каменный дом.

Пушкин жил во втором этаже. В эту квартиру возвращался он с заседаний «Зеленой лампы», полный надежд и вдохновения. Это были годы мечтаний о свободе. Тогда пушкинская ода «Вольность» была у всех на устах, так же как и рассказ о том, что поэт, не скрываясь, показывал в партере театра портрет Лувеля, на котором сам написал: «Урок царям».

Из этого дома в Коломне молодой Пушкин уехал в свое первое изгнание на юг. Через много лет он в стихах вспомнил эти места.

Когда Карл Росси поселился в этой пушкинской квартире, ему уже было за семьдесят лет. Он все еще был красив и очень походил на собственный нарядный портрет, каким его изобразил художник Митуар лет двадцать назад. Только глубже запали яркие голубые глаза и морщины обильнее избороздили тонкое бледное лицо. Но одаряющая лаской и вниманием улыбка, привлекавшая к нему сердца учеников и подчиненных ему рабочих, обличала все того же вдохновенного художника и доброго человека.

И только когда он оставался один и сидел, как сейчас, на скамье под густыми сиренями старого сада, разросшегося в глубине двора, тяжелое горе сутулило его стан и недвижно глядели его вдруг потухшие глаза. Кроме большой обиды от вынужденного бездействия, у него в душе таилась незаживающая рана — недавняя смерть жены и смерть любимого сына...

Росси, старый и больной, оказался к концу дней вдобавок и разоренным. И вот, почти нищий, кончил он дни свои в той самой квартире, где, полный надежды и силы, молодой Пушкин жизнь свою начинал.

Росси не однажды встречался с поэтом. Он любил и высоко ценил его стихи.

Люблю тебя, Петра творенье,
Люблю твой строгий, стройный вид.
Невы державное теченье,
Береговой ее гранит.

Как часто твердил он эти строки, оживая духом, гордо сознавая, что немалым вкладом в украшение воспетого поэтом великого города вошли и его работы!

Пусть он сейчас не у дел. Но о настоящей, вдохновенной архитектуре свидетельствовать будут в веках его создания: арка, Дворцовая площадь, театр, дворцы...

Росси еще не подозревал, какая новая большая беда ожидает его. Ему предстояло выслушать от начальства грубый выговор: на днях в ложе Александринского театра, которая дана была ему в «безденежное» пользование, произошла драка. По бедности архитектор эту ложу кому-то сдал внаймы, и подгулявшие зрители устроили в ней скандал. Когда недоброжелатели оседомили о том Николая, он грозно воскликнул: «Как, торговать моим подарком?» — и приказал заодно с выговором пригрозить Росси, что ложа будет у него отобрана, если он не перестанет неуважительно к ней относиться.

Старик Тарасов, замечательный резчик по дереву, немало работавший вместе с Росси над отделкой дворцовых комнат, высоко ценил его как гениального зодчего и сердечно любил как всегдашнего заступника. Старик был вне себя от обиды, которая была нанесена великому архитектору:

— Шутка сказать, на шестьдесят миллионов настроил нам Карл Иванович, во всех заграницах признали его величайшим, а сейчас ему выговор и афронт. — И велел сыну немедленно навестить опального мастера и передать, что все рабочие за него на царя в обиде.

В тот же день, после классов академии, молодой Никита Тарасов заторопился в Коломну.

Он еще издали приметил Карла Ивановича в сиреневой беседке и, боясь его потревожить, стал прохажи-

ваться по аллее. Росси сам быстро пошел ему навстречу и сказал с улыбкой:

— Пари держу, Никита, отец прислал тебя, чтобы меня утешить за царский выговор. А я, вообрази, как вспомню о драке зрителей в моей ложе, так развеселюсь.

— Не вам, конечно, Карл Иванович, — царю срам, что столь заслуженный архитектор принужден свою ложу сдавать...

— Да, да, — засмеялся Росси, — выручаю с нее на табачок. Однако я ждал тебя все эти дни, чтобы прокатиться на ялике. Ведь уже белые ночи стоят!

Взяли ялик. По Фонтанке поплыли к Летнему саду. Безмолвный сидел на руле Карл Иванович, любуясь особым светом петербургской белой ночи, не похожим на лунный, не имеющим источника, заставляющим предполагать, что с небосвода до земли светится сам собой легчайший воздух.

— Ведь только Пушкин нашел слова, чтобы описать эту неописуемую белую ночь, не правда ли, Карл Иванович? — сказал тихо Никита. — «Прозрачный сумрак, блеск безлунный...» Как изумительно!

— Пушкин все на свете сумел назвать, — отозвался Росси, — и навеки живо сказать. Таков удел совершенной искренности и красоты.

Тихо плыли мимо темных лип Летнего сада.

— Не пристать ли нам тут, Карл Иванович? — спросил Никита.

— Да, причаль, и пройдем через Летний.

Знакомый до подробности сад, с могучими деревьями, современниками Петра, и со своей знаменитой

вазой-плакальницей из эльдальского порфира казался сейчас иным. Ровный зеленоватый свет облегчал тяжесть контуров, создавал призрачность. Сверкавший над Петровским дворцом флюгер, изображающий Георгия Победоносца, был недвижим. Колонны серого гранита великолепной решетки Фельтена легко, как стройные юноши, подымали над капителью строгие вазы. Концы копий высокой решетки, орнаменты ворот, вызолоченные огнем, сейчас темным резным узором прочерчивали небо. Сквозь решетку вставал сказочный город с золотыми точками огней.

— Всякий раз, как сюда попадаю, — сказал Никита, — я живо чувствую Петра. Вот-вот выйдет из своего простого дворца и пойдет осматривать лекарственный садик. И с какой любовью он здесь все выращивал! Деревья выписывал откуда возможно; вот эти липы, уж конечно, помнят его.

Никита указал на деревья с железными скобками и заплатами на шишковатых многоохватных стволах. И, переводя взор к Фонтанке, воскликнул, словно встретил приятеля:

— А вот и ваш Кофейный домик, Карл Иванович!

— Это я на месте искусственного грота выстроил. Скульптурой, точно, хорош, — скромно добавил он.

— А напротив Фонтанки, за Канавкой, при Петре было Потешное поле, — продолжал Никита. — Какие празднества, гулянья, карусели! Народу отдавал Петр эту площадь, чтобы веселились... А ныне царство пыли, особенно после парадов!

— Ныне Марсово поле сменило Потешное, — сказал Росси. — И в этом новом виде опять бессмертно закре-

пил его Пушкин в воображении не только нашем, но и наших дальних потомков:

Люблю воинственную живость
Потешных Марсовых полей.
Пехотных ратей и коней
Однообразную красивость...

— Карл Иванович, — доверчиво сказал Никита, — ну до чего хорошо! Я все, что из истории знаю, могу себе тотчас представить! Ведь вот берег Невы был прежде в саду, и вдоль него можно было пройти к почтовому двору, где сейчас Мраморный дворец Ринальди. Там же, во дворе, была и виноторговля; здесь, по голландскому обычаю, по праздникам играла роговая музыка. Я иной раз так задумаюсь тут в уединении, что трубы слышу.

— На здоровье! — улыбнулся Росси. — Вот так и надо воскрешать воображением историю, чтобы «камни заговорили».

— Я тут иной раз и слонов вижу. Ведь рядом с почтовым помещался зверовой двор, площадка им была сделана для купания, и водили их, должно быть, на Фонтанку проводники-персы в высоких загнутых шапках с красными крашеными бородами.

— А слонов, Никита, ты мог бы не только в воображении, а на самом деле увидеть. Надир-хан подарил нашему царю целый десяток, и пока они не стали буйствовать, «осердясь между собою», как написали в газетах, их по этой слоновой площадке водили на водопой. Но какие-то вырвались и ушли в город. Что было переполоху! Отец твой помнит, тогда еще срочно Аничков мост чинили, боясь, чтобы не провалился под слонами.

Со стороны Марсова поля, над самой Мойкой, стояла каменная беседка, постройка Росси. Как небольшой сказочный замок, она мягко белела колоннами над водой, красивым полукругом выбегая в сторону сада.

В Михайловском саду стоял дворец. Глазам открылась широкая лестница и безмолвная колоннада.

— Здание надо уметь не только построить, но и хорошо поставить, — сказал Росси. — Эта просторная лужайка, эти купы дерев, легкий мостик и тихие воды — все необходимая рама для спокойного величия дворца. Соотношение пропорций взято так, чтобы здание не высилось мертвой громадой, а была бы в нем жизнь. Если чуть ниже взять, если не дать гранитных стремительных въездов, не быть бы движению, которое наблюдается сейчас. Время — лучшая проверка. Кажется, я здесь не ошибся...

— Ни в одной вашей постройке, Карл Иванович, вы не ошиблись, — восторженно сказал Никита. — Но пройдемте к вашей арке, я боюсь, что становится сыро, а отец строго мне наказал беречь вас.

— Береги, — улыбнулся Росси. — Ну, пройдем не задерживаясь.

На Дворцовой площади справа темнел дворец Растрелли — громадный, с обилием украшений. При этом сумрачном освещении он казался тяжелей, чем при солнце. И странно: знакомая могучая арка как бы утратила свою весомость.

Только гранитный, очень высокий цоколь, обегавший всю дугу здания монолитной твердыней, казался сейчас отлитым из одного куска. Над ним высился первый этаж.

Пустынна была большая площадь, и не хотелось шуметь.

Грандиозная арка казалась необыкновенно легкой. Секрет в том, что каждый ее устой опирается на две колонны. Между колоннами — скульптура. Не ощущаешь плотности и глухоты материала, наоборот, создается впечатление легкой прозрачности. Над аркой — аттик «Колесница победы». Шесть влекущих ее коней и два воина, сдерживающие их рвение и мощь, чудесно увенчивают простоту и могущество всего здания.

— Демута-Малиновского и Пименова-старшего эта скульптура, — поспешил сказать Росси. — Да, она поистине великолепна. Однако, Никита, показывать мне тебе решительно нечего, сам ты все в подробностях знаешь. А ну-ка, резюмируй мне общее впечатление.

— Общее впечатление от вашей арки — великий покой. Торжественное сознание силы.

— Страна жила тогда военной гордостью, — сказал задумчиво Росси. — Наши войска победителями вступили в Париж. Я лично доволен, что этого впечатления мне удалось достичь, не прибегая к нагромождению деталей, излишней пышности, грубости. Все дело в том, что угаданы размеры.

Росси взял Никиту под руку и провел его под аркой на Морскую. Постояли минуту молча, потом снова прошли по узкому проходу, под тройными сводами арки — до Александровской колонны.

— Вот теперь смотри! С этого надо начинать...

Скромный въезд с Морской улицы — и вдруг колоссальный разворот площади. Поистине величественная картина!

Росси вдруг омрачился и печально сказал:

— А ведь немало у моей арки было врагов! Чуть не в день открытия нашептали царю, что лесов невозможно снимать — арка рухнет.

— Вся наша Академия помнит ваш ответ и восхищена им! — воскликнул Никита. — Вы сказали царю: «Как только снимут леса, я взойду на самых верх первым».

Росси весело засмеялся.

— А твой отец, Никита, и все мои рабочие заявили: «Мы пойдем с вами вместе!» Это была лучшая мне награда. Однако не предала меня моя арка. Уже двадцать лет стоит.

— И века стоять будет, века! — сказал горячо Никита.

МЕДНЫЙ ВСАДНИК

Больше чем полтора века несокрушимо стоит этот памятник — символ творческой, побеждающей силы русского народа, олицетворенный в образе основателя великого города.

Памятник от города неотделим, он его исторический выразитель. И когда, опасаясь вражеских бомб и снарядов, варварски разрушавших нашу культуру, пришлось укрыть творение Фальконета, город как бы осиротел.

Торжество салютов над Невой известило о полном поражении врага. И вот памятник Петру был снова освобожден от укрытий, и взлетел конь на вершину скалы, и, словно ликуя, гордясь нашей победой, с новым зовом: «Вперед!» — простер Петр над городом свою руку.

Создатель памятника Петру Морис Фальконет приехал в Петербург по рекомендации Дидро. Он был уже немолод, ему было за пятьдесят.

Екатерина приняла поначалу Фальконета прекрасно. Она восхитилась прелестью его ума и затеяла было с ним переписку, как она это любила, в стиле изящной игры иронией и переброски мячом острословия. Но, приступив к работе, Фальконет очень скоро утомил ее серьезностью своих требований и уважением к своему делу.

Особенно недоволен ваятелем оказался вельможа Бецкий. Он сам было представил в сенат пресмешной проект собственного памятника Петру. Самым достопримечательным в этом проекте был придуманный Бецким доселе неслыханный способ возвеличить самодержавие: Петр должен был одним своим глазом охватить Адмиралтейство, двор, крепость, Россию, другим же глазом упереться в обе академии, в Прибалтику.

Когда в Петербурге стал известен проект Фальконета, с его малоодетой фигурой Петра на вздыбленном коне, поползли по городу из дворца Бецкого пересуды:

— Голый царь на взбесившемся жеребце!

Поговаривали об «оскорблении величества», но Екатерина, обольщенная новизной и остротой Фальконетова облика Петра, его проект утвердила. По нраву пришлась ей и лестная надпись на памятнике: «Петру Первому — Екатерина Вторая».

Конь под Петром был первым конем Фальконета. И он замыслил его необычайным, полным великой силы. Конь был сплошной вихрь. Конь одним махом возносил своего седока на скалу. И сколь рискованно было показать его зрителю, приученному к одним манерным коням на условных, почтенных памятниках!

Но Фальконет был великий ваятель, он не испугался создать еще небывалое.

В поисках пьедестала к этому памятнику неугомонный Фальконет потребовал широких публикаций, чтобы вызвать доставку камня необыкновенных размеров.

В Академии появился вдруг некий крестьянин и заявил, что в двенадцати верстах от города имеется громаднейший камень, именуемый «Гром», ибо есть в нем глубокая расселина от попавшей в него громовой стрелы. Расселина давно заполнилась черноземом, и на ней выросли березки. Камень оброс мхом и, как утверждали окрестные старожилы, хранил в себе следы ботфортов царя Петра, который многократно на него всходил для обозрения окрестностей. Предание понравилось Фальконету. Он потребовал для подножия памятника этот камень.

Бецкий спервоначала рассердился, послал в сенат записку, именуя требование ваятеля «фантазией непрактичной».

Но адъютант Бецкого шепнул своему вельможе, что эта неслыханная гранитная громада, по его, Бецкого, приказу доставленная в столицу из болот и лесов, прославит его. И тщеславный вельможа вдруг заявил: «Расход во славу отечества казне не убыточен» — и дал свою резолюцию на перевозку камня.

Продвижение шло медленно. Четыреста человек едва протаскивали двести саженей в день. Люди запряжены были в медные сани, катившиеся на медных же шарах. Дорогу в лесу расчистили на большую ширину. Наконец с великими трудами камень «Гром» спустили на воду и в день коронации Екатерины провезли торжественно по Неве мимо Зимнего дворца и выгрузили

на отведенном для памятника месте — площади Петровой.

Памятник Петру Великому был открыт 7 августа 1782 года. Погода была дождливая, но к полудню само солнце решило участвовать в празднестве. Солнце выглянуло и обсушило несметные толпы народа, покрывшие площадь и вал, окружавший Адмиралтейство.

К памятнику церемониальным маршем двинулись полки Преображенский, Измайловский, Семеновский, Бомбардирский и прочие.

В три часа дня фельдмаршал Голицын принял рапорт от полковых командиров и присоединился на берегу Невы к сенату, который ожидал прибытия императрицы.

Выйдя из царской шлюпки в сопровождении кавалергардов, Екатерина прошла в здание правительствующего сената, откуда появилась в короне и порфире.

По сигналу слетели щиты с полотняными расписными горами. Из недр словно вихрем взлетел на вершину скалы неслыханный конь. На том коне Петр, увенчанный лаврами, простирал над своим градом отеческую десницу.

Торжественно грянули трубы, преклонились знамена...

ВЧЕРА И СЕГОДНЯ

Мне довелось жить на рубеже двух столетий, я знала разные общественные формации и людей моего города в самые разные годы его жизни.

Память моя сохранила образы людей, с которыми встречалась я в Петербурге, Петрограде, Ленинграде. О некоторых из них я и хочу рассказать сегодня...

Смольный, штаб Октябрьского восстания, в нашем сознании вот уже сорок лет неотделим от имени великого Ленина. Здесь клокотало сердце, кипела мысль пролетарской революции.

А я помню этот прекрасный памятник зодчества Растрелли населенным совсем другой жизнью и совсем иными людьми. Здесь до революции помещался институт благородных девиц. Странно в наше время звучит эта классификация — «благородные девицы», девушки высокого дворянского происхождения, нередко знавшие французский язык лучше родного русского.

Императрица Мария Федоровна, мать последнего русского царя, была постоянным шефом Смольного института, а начальницы менялись: титулованные особы,

вдовы или старые девы, чтимые при дворе. Из них я знала близко княжну Елену Александровну Ливен, известную тем, что в прошлом она скромно, но решительно отказалась быть воспитательницей царских дочерей при дворе, предпочтя им круглых малолетних сирот, собранных в Сиротском пансионе графа Разумовского в Москве. Среди этих малолетних воспитанников была и я... Там, кстати сказать, рос и Александр Куприн, классом старше меня.

Брат княжны Ливен, князь Андрей, стал потом одним из министров Временного правительства.

В Петербурге, когда княжну Ливен, уже старую, часто болевшую, назначили начальницей Смольного института, я ее нередко навещала. Это была умная и добрая женщина, заменившая мать не одному поколению детей-сирот, светлейшая княжна, жившая в постоянном труде, умершая в бедности.

Первое ясное сознание пошатнувшейся власти царя возникло во мне именно в стенах Смольного института, подшефного императрице Марии Федоровне, и пришло это сознание от, казалось бы, совсем маловажного случая...

Я поднялась по мраморным лестницам, устланным красной ковровой дорожкой, и зашла в покои старой княжны. Она сидела в просторном кресле, большая, грузная, прибранная, как всегда: на седых волосах — кружевная наколка, на груди форменного синего платья — резная камея.

Перед княжной стояла стройная девушка с двумя косами, заложенными на голове «корзиночкой». Она смотрела своей начальнице прямо в глаза и говорила спокойным, ровным голосом по-французски:

— Никакого злого умысла у нас не было. Не понимаем даже, что обидело его величество...

Кивнув мне, княжна сказала строго, тоже по-французски:

— Что касается злого умысла, и мысли не допускаю. Но ведь все вы отлично знаете: вам надлежит лишь отвечать государю, задавать же вопросы почитается неучтивым. За эту неучтивость и будете наказаны. Идите!

Девушка чуть подалась вперед, видно хотела возразить, но раздумала. Сделав небрежно реверанс, она вышла из комнаты.

Княжна усадила меня на диван.

— За что будет наказание этой смелой девице? — поинтересовалась я.

Княжна улыбнулась, махнула рукой:

— Никакого наказания не будет. Все это для формы, для порядка. А случай презабавный...

И она рассказала, что на балу, несколько дней тому назад, институтки окружили царя и стали наперебой спрашивать, как ему нравится Шаляпин в «Борисе Годунове». А дело в том, что граф Протасов рассказал своей дочке Лине, как при нем императрица-мать советовала сыну-императору: «Ники, пойдите в Мариинский, посмотрите «Бориса Годунова». Вам весьма полезно поучиться царственной осанке у Шаляпина». Лина Протасова рассказала об этом подругам. Уж конечно, не без яда интересовались они мнением его величества о Шаляпине. Царь обиделся и уехал.

И княжна молодо засмеялась.

Уже на улице, оглянувшись на прекрасный фасад Смольного, я вспомнила, как знаменитый Кваренги не-

изменно снимал шляпу перед творениями Растрелли. Но вот культ престола, долгие годы царивший здесь, пожалуй, уже рухнул даже в сознании «благородных девиц»...

В двадцатом году в Петрограде поручили мне вести литературный кружок на конфетной фабрике Жоржа Бормана. Тогда уже начали распространяться по фабрикам и заводам эти литературные очажки, расцветала у рабочего человека жажда творчества.

Группа собиралась примерно раз в неделю, часов в семь вечера, и засиживалась допоздна. Занимались в конторке фабричной кладовой, сидя за липким столом и на громадных, тоже липких весах.

Опыта литературной работы с людьми у меня в ту пору не хватало, сначала я робела больше, чем мои слушатели, и не знала, что и как делать, чтобы им было интересно и полезно.

Однажды, пересказывая содержание пушкинской «Полтавы», я, увлекшись, сгоряча прочитала наизусть чуть ли не всю поэму. С этого дня каким-то образом контакт был найден. И к моему скромному «заработку» на фабрике — кульку простых конфет — кружковцы добавляли от себя леденцы — прямо из карманов, порой облепленные махорочной крошкой.

Были в группе живые, талантливые люди. Например, сортировщик Федор, остороносый и круглоглазый, похожий на птицу. Он самозабвенно любил книги, рисовал, писал стихи. Я хорошо помню плакат, очень неплохо нарисованный цветными карандашами: беловолосый старик в очках и юноша, такой же

круглоглазый и остроносый, как сам автор, стоят на фоне какого-то станка, а под ними подпись:

Старый пролетарий юному сказал:
— Нам великий Ленин жизнь свою отдал,
Опыт свой и книги, знанья и мечты.
Ну, а ты, парняга, чем ответишь ты?

Надолго запомнила я и другого человека.

Рабочие называли Кондратьичем этого костлявого, беззубого старика. Он всегда сидел тихо и, глядя темными, запавшими глазами куда-то в угол, напряженно, набожно, точно в конторке нашей свершалось важное государственное дело, слушал чтение художественной прозы и стихов, мои рассказы о литературе и искусстве. Приходил Кондратьич раньше всех, уходил позже всех. Меня поражало его рвение.

Однажды, в надежде определить способности каждого, я предложила кружковцам написать коротко на заданную тему: описать памятник Петру I, сказать, какие мысли и чувства рождает он.

Кружковцы разложили перед собой листки старой бормановской рекламы — чистой стороной вверх — и принялись писать, часто слюнявя карандаш. Кондратьич сидел, поджав беззубый рот и устремив запавшие глаза в угол. Потом начал писать, медленно выводя буквы...

К одиннадцати часам вечера люди стали расходиться по домам, оставляя мне исписанные листки. Кондратьич на этот раз ушел не последним. Он протянул мне листок, свернутый трубочкой, и торопливо вышел вместе с другими, как будто опасаясь, что я прочитаю его сочинение сразу же, при нем.

Дома я действительно первым посмотрела листок Кондратьича. На одной стороне бумаги, яркой, глянцевитой, значилось: «Сливочный шоколад — Жорж Борман. Полезен детям» и лесенкой расположены были названия конфет «на чистом сахаре и натуральных соках — фруктовых и ягодных». На оборотной стороне мелким, мучительным почерком, со многими ошибками написан был короткий рассказ. Рассказ о том, как старый мастер фабрики Жоржа Бормана, двадцать лет изо дня в день ходивший на работу и с работы по Неве, через Сенатскую площадь, ни разу не поднял глаза на памятник, ни разу не увидел его... «Недосуг мне было...»

Ранней весной этого года я пошла в Михайловский сад с намерением сделать набросок павильона Росси. Взяла с собою деревянный этюдник, карандаши. Снег кое-где еще покрывал землю, но уже ненадежный, рыхлый. Тяжелые, словно отсыревшие вороны низко летали над древними липами, по-весеннему оживленно суетились воробьи. Холодные капли срывались с черных, еще голых ветвей, и нужно было лавировать под деревьями, чтобы вода не попала за ворот.

В саду было безлюдно.

Я присела на скамейку около павильона и принялась рисовать.

Минут через пятнадцать ко мне деловым шагом подошел милиционер, еще совсем молодой, но полный гордой ответственности за этот сад и за все, что тут происходит.

— Пожалуйста, гражданка, рисуйте! — сказал он строго. — А только есть в саду еще лучше места. И под навесом. Сухой останетесь.

— Благодарю вас. Мне здесь хорошо.

Милиционер козырнул и ушел.

А еще через полчаса я услышала шорох за спиной: два подростка-нахимовца засматривали через мое плечо на рисунок.

— Любите рисовать? — спросила я.

Они сконфузились. Тот, который казался старше, кивнул.

— Да, любим...

— В Эрмитаж ходите?

— Ходим. Вчера смотрели Рембрандта.

— Что же вам понравилось больше всего?

Они переглянулись, пошептались, потом ответили в один голос:

— «Блудный сын».

Я спросила, чем же понравилась эта картина.

Они замялись, помолчали. Наконец старший объяснил ломким голосом:

— А пятки какие у сына, видели? Сразу понятно: ходил человек, ходил, ходил. Намучился. Ноги, наверно, гудят. А отец... он отец и есть...

Мы разговорились. Выяснилось, что из всех станций ленинградского метро им больше нравится «Пушкинская».

— Он там сидит, — сказал про скульптуру Пушкина младший, мечтательно щуря светлые глаза, — и сочиняет стихи. А за спиной у него утро в Детском Селе. Рано еще, прохладно...

— Тогда называлось Царское Село, — поправил старший. Лицо его было уже обсыпано веселыми рыжими веснушками.

Ребята взялись проводить меня до дома. Подхватив этюдник, карандаши и даже мою сумку, они зашагали в ногу, а я со своей неизменной палкой, задыхаясь, поспешила за ними, стараясь не очень отставать. На автобусной остановке, прощаясь, мальчики посоветовали:

— Нарисовали бы «Аврору»! Она теперь наша, нахимовского училища. Наглядное пособие!

Старший, Олег, кивнув на мою палку, спросил с озабоченным лицом:

— Ручка отвинчивается?

— Нет, а что? — удивилась я.

— Можно сделать, чтобы отвинчивалась. Выдолбить, ножик вставить...

Я не успела обдумать это заманчивое предложение: подошел автобус.

Я тяжело вскарабкалась с передней площадки. Мальчики энергично тянули ко мне руки с моими пожитками. Но дверца захлопнулась, машина тронулась, нахимовцы с моей сумкой остались на остановке. И вот я стою, растерявшись от сложности посадки и еще оттого, что мне нечем заплатить за проезд. Я говорю об этом кондуктору и готовлюсь слезть на следующей же остановке. Но мне уступают место, за меня платят...

Почти у самого подъезда моего дома я услышала за спиною топот и крик: «Она! Она!» Нахимовцы настигли меня. Лица у них были такие, словно я оказалась ускользающей от них шпионкой.

— Как вы узнали адрес? — спросила я.

Олег сказал:

— А мы открыли сумку, там ни паспорта, ничего. Денег пятьдесят, что ли, рублей и старое письмо. На конверте этот адрес. Мы и поехали следующим автобусом...

Лифт не работал. Выхватив у меня доску, карандаши и даже палку, мальчики взлетели по лестнице, я слышала их голоса, усиленные эхом лестничного пролета.

Меня пронзила мысль, что они уже занялись модернизацией моей палки. Я ускорила шаги.

Уже дома, за чайным столом, я спросила младшего:

— Как твоя фамилия, Витя?

— Ермолаев, — рассеянно ответил он, кося светлые глаза на книжные полки.

— А твоя, Олег?

— Ермолаев, — не сразу ответил старший: он крутил в руках старинные настольные часы с музыкальным секретом.

Потом я спросила братьев, где сейчас живет их отец, и они сказали, что отец похоронен в братской могиле около Сестрорецка, под Ленинградом...

Я живу на площади Революции, рядом с дворцом Кшесинской, который вошел в биографию Ленина. Из окна моей комнаты видна Петропавловская крепость. За спиной нашего дома — домик Петра в охранном футляре, а чуть дальше, на Неве, против нахимовского училища, стоит на приколе «Аврора», памятник революции...

Белой ночью фантазия оживляет картины прошлого, история глядит в мое окно сверкающим шпилем крепости. Но во сто крат дороже всех сокровищ истории оказываются живые люди, молодые, полные жажды найти свое место в жизни, применять свои силы.

Думаю о моих внуках и их друзьях. Думаю о братьях Ермолаевых, детях Ленинграда... В них наше будущее.

СТАТЬИ

НОВЫЙ ГАМЛЕТ

(П. П. Гайдебуров)

Изверившись в силу театрального действа, перебирая в памяти наиболее крупных виденных Гамлетов — и прелесть дикции старого, уже отяжелевшего Росси, и виртуозность Густава Сальвини, и ложноклассическое рычание Мунэ-Сюлли, при великолепии изученной «позы», и «трагизм» многих русских, — лениво думаешь: что еще будет прибавлено к этому грузу сегодня, с чем внутренно поспоришь, что захочется исправить.

Погасло электричество в зале, осветилась сцена: два трона на черном бархате — хороший фон вечности для вечной трагедии. Король, королева, придворные — навсегда пригвожденные ко времени люди, все имеющие такие земные дела и заботы; и только один он, совершенно свободный, в черном плаще, скорбный Гамлет.

Гайдебуров взял облик принца в легкой, акварельной законченности, что очень выгодно оттеняет его на

густой живописи красных, желтых, золотых тонов двора.

Первые, определяющие слова: «О если б тело твердое рассеяться могло росой», произнесенные в большой внутренней собранности, до изумительно сказанного: «Весь мир насквозь отравлен, а меня злой рок поставил бороться с злобой дня», — пленяют, как невиданный и прекрасный дар. Артисту вдруг доверяешь и уже без всяких сопоставлений радостно принимаешь то новое, что он дает.

А новое Гайдебуров дает несомненно; вкладывая особое решающее богатство содержания в это противопоставление — *весь* мир отравлен, а *меня* злой рок назначил бороться с злобой *дня,* — он делает его краеугольным камнем своей роли. Сложностью, как бы воздушностью, не исключающей тонкой духовной страстности, переводит Гайдебуров всего Гамлета в новую философски-мистическую проекцию.

Идею Гамлета, просто трактованную Гете как слабость воли при сознании долга, с более сложной поправкой Белинского: слабость воли не по природе, а по причине временного распада душевных сил, — Гайдебуров минует совершенно. В его Гамлете о слабости воли нет и речи; мастерским проникновением выводит он трагедию из проблем психологических в проблему духа. Он углубляет образ принца датского до жертвенности, до трагедии избранника мысли, предающего свой духовный тип созерцателя — деятелю. Обреченность Гамлета-Гайдебурова — в муке свободного (уже познавшего отрешенность — «die Abgeschiedenheit» — Мейстера Экхардта) — вновь начать действие во времени,

да еще в таких грубых, чуждых призрачному духу формах, «бороться с злобой дня».

Изумительно вскрывает Гайдебуров эту новую, такую сейчас близкую, такую нашу обреченность.

Это ведь все равно, что для шестнадцатого века и наивных датчан чувство долга все еще заключается в ответном убийстве: суть не меняется перед «отрешенным», нисшедшим в глубины своего «я»; тягчайшей будет всегда последняя из жертв: возврат к формам, приятие бедной вседневности, «злобы дня», иными словами — выход из созерцания к действию.

По образу, создаваемому Гайдебуровым, так очевидно, что если бы жизнь Гамлета не сложилась катастрофически непременно после Виттенберга, путем философии, а может быть, Беме и Экхардта, Гамлет далеко ушел бы от «отравленного мира» и, кто знает, обогатил бы избранных учеников, а через них человечество, каким-нибудь драгоценным манускриптом. Но условия жизни Гамлета катастрофичны: как древний Эдип, слишком рано разгадавший загадки, Гамлет ввергнут волей рока в насильственную, преждевременную грубую действенность, столь далекую от служения «всему миру», жребию, к которому, когда-нибудь, несомненно, привел бы его собственный выбор.

Обреченность Гамлета, принуждающая его изменить своему духовному типу, в известном смысле как бы предать душу свою между строк тонко обоснована у Гайдебурова, причем жестокость произвола древнего фатума как бы смягчается человечностью индусской кармы, ибо очевидно: не будь «катастрофичности» условий, Гамлет Гайдебурова слишком бы медлил «служением», погруженный в свое самодовлеющее и пассив-

ное созерцание; хотя он уже знает, как и старшие завершители его типа, что «все преходящее только символ», но у него еще нет того совершенства вéдения, которое порождает неутомимую деятельность да Винчи, «Божественную комедию» Данте...

Гамлет Гайдебурова еще только на пути к творчеству, он еще только дошел до отрицания плохой действительности: «Человека я не люблю, и женщину тоже...» — какой нежной скорбью звучат эти слова у артиста и как вместе с тем выдает он интонацией, мимикой, легким беспомощным жестом руки, что за мучительной работой *постижения* у Гамлета нет еще *созидания*, нет того могучего влечения от плохой к истинной, прекрасной действительности — результата полной зрелости духа; словом, еще нет прозрения, что за плохим, негодным подобием таятся великие сущности. Для Гамлета в передаче Гайдебурова здесь еще не родился тот «новый день», как это возвещает Ариель о Фаусте, но и пребывать в днях ветхих ему уже нет охоты: «весь мир тюрьма». От плохой действительности Гамлету нечего взять для себя; он с нею не связан; оттого так многозначительно, насыщено оттенком у Гайдебурова: «О боже! мое честолюбие могло бы поместиться и в ореховой скорлупе».

Знаменитое «Быть иль не быть», как и весь монолог, Гайдебуров говорит исключительно просто, не подчеркивая, не выделяя фразы, как это напрасно делает большинство актеров, словно предполагая, что мысли монолога должны прийти в голову Гамлета в первый раз. У Гайдебурова Гамлет — мыслитель, привыкший мыслить. Бессонными ночами не однажды пытавший себя о том, что же ему: «быть иль не быть».

И не для публики — для себя одного, еще один лишний раз перебирает он все тот же вопрос, которым Шекспир так гениально, так навеки породнил его со всем человечеством.

Эта простота у Гайдебурова большого вкуса и чувства и для русского восприятия несравненно музыкальнее и милее каких угодно тонкостей декламации мировых гастролеров.

Но высшего мастерства достигает Гайдебуров в сцене с актерами, когда слушает «Гекубу»: тут в мимике, почти неуловимой при отсутствии жеста, поглощенного громадной внутренней работой, сжигающие, решительные минуты; тут чувство ритма прекрасно совпадает с проникновенностью психологической. Пластически — это недвижно-внешнее как бы окаменение необходимо для глаза, в связи с последующим великолепным прыжком к рампе; если это не сознательное построение, то и чутье не обмануло художника: зрителю, чуткому к ритму, оба движения пластически запомнятся разом, чем создадут большую эстетическую удовлетворенность.

Психологически во время слушания актера происходит нечто до того важное в духовной жизни Гамлета, такое событие, как бы «посвящение», что никакой иной формы, кроме избранной Гайдебуровым в его воплощении Гамлета мыслить нельзя. Форма найдена совершенно.

С одной стороны, под влиянием незамысловатого восприятия мира актером Гамлет как бы отдыхает от себя самого, спускается из своего малопонятного окружающим внутреннего мира в естественную эмоциональность элементарного, и вместе с тем именно горячность

чувства души простой обостряет боль собственной леденящей многосложности, еще не нашедшей гармонии и исхода, до муки голгофской...

В подернутых слезою глазах у Гамлета, как у жертвенной лани, пробегает что-то предсмертное: сгорает в муке старое, зарождается новое, совершается некое прозрение: «Хо-рошо... доскажешь после». Разрешительно, как отпускная себе самому, в заключение тайно пережитого, выходит у Гайдебурова это удивительное, слегка растянутое «хо-рошо». Гамлет прозрел; и измученная бесплодностью душа его согрелась искренностью чувства большого ребенка — «актера», как бы от него зажглась и вдруг по-настоящему захотела принять свой крест: пусть ограниченное, пусть только исправляющее бедную злобу дня, но все же действие. Иначе говоря: созерцатель решается принести свою «отрешенность» в жертву *служению.*

И эту новую эмоциональность, зажженную от простоты чужого чувства, столь необходимую для свершения действия в положенной ему злобе дня, Гайдебуров заставляет Гамлета обреченно нести до конца.

Сцена с матерью — первая проба принятого Гамлетом служения: до сих пор иронически, презрительно отметавший настоящее общение с людьми, он теперь находит не один яд укоризны, но и чувство, чтобы развеять ее расчетливую бессознательность и пробудить в ней человека. Сколько покрывающей, человеческой доброты вложено Гайдебуровым в слова: «Отбрось твою дурную половину, останься с лучшей...» Гамлет, обняв нежно мать, хочет как бы зажечь ее трезвую, вседневную душу своей душой: сам взяв пламя у ребенка по сознанию, передать его, в свою очередь, ребенку по духу,

выполняя закон великой круговой поруки, первый из законов любви: души зажигаются одна от другой...

Интересно и выдержано в духе общего задания роли отношение Гамлета к Офелии. И по этому поводу опять вспоминается кое-что из «Фауста»: в нисхождении Фауста к глубинам собственного духа есть момент познания одной из мучительных тайн бытия, после которого и женщина как бы теряет свою индивидуальную реальность, а становится, как и все прочее, только символом вечно женственного. Таинственный андрогинизм человеческого духа вскрыт, женщина-душа, оплодотворенная мировым духом, рождает то состояние сознания, при котором «браков больше не будет»...

Так, любовь Фауста к Гретхен, благоуханная любовь только «мира сего», уже неосуществима для Фауста «второй части» к Елене Троянской: не оттого ли в объятьях его исчезает она, как облако: человек, рожденный к высшей жизни духа, познает последнюю тайну божественного андрогинизма собственной природы уже только в его глубинах, а не вовне. Таково в этой области познание Леонардо, такова встреча Данте с Беатриче; в созвучности этим великим встречам ведет Гайдебуров отношение Гамлета к Офелии. Но участницей иной, прозрачной и творческой любви, преобразившей Монну Лизу в Джоконду, Офелия для Гамлета быть не может: при всем своем очаровании она еще не зрячая, дух ее дремлет, и совпадения с прозревшим сознанием Гамлета, истинно великой встречи у них быть не может; отсюда художественно необходимы становятся у Гайдебурова постоянный срыв Гамлета, недосказанная боль, резкости в разговорах с Офелией — словом, та обоснованность психологии, которая совершенно

исчезает при иной трактовке этой, еще не созревшей любви.

Прекрасен конец у Гайдебурова: не смерть — великое разрешение прозревает отлетающее сознание Гамлета. «Конец... Молчание». Легко, свободно, почти радостно говорит он, когда, отравленный шпагой Лаэрта, стоит, широко раскрыв руки, как бы навстречу восходящему солнцу. Великое разрешение — награда Голгофы преодоленной, бескорыстие жертвы избранника мысли, предавшего свой духовный тип созерцателя — деятелю.

В заключение можно сказать: то новое, что дает Гайдебуров в своем воплощении Гамлета, есть не только драгоценный художественный вклад, но вместе с тем это и большая работа, раскрепощающая бессмертное творение Шекспира от последних уз места и времени.

ХУДОЖНИК-МУДРЕЦ

I

В архиве, оставшемся после П. П. Чистякова, в черновике его письма к отцу есть знаменательное лирическое отступление. Сначала будто описывается действительное происшествие, но затем следует фантазия автобиографическая, доказательством чему служат инициалы: П. Ч., данные герою, художнику «без языка».

Вот этот набросок:

«Была теплая лунная ночь. В одиннадцать часов на углу Рипетто и Кондотти, прислонясь к стене у трубы, стоял человек и горько плакал. Проходил патруль — три французских солдата и два римских карабинера. Фигура стояла неподвижно, — их это поразило, и они подошли узнать, в чем дело. Среднего роста, в синем пальто и такого же цвета шляпе, иностранец встрепенулся, услышав шаги, мутно и упорно посмотрел на патруль и, проговорив что-то по-итальянски, тихо, не оглядываясь, побрел вдаль, по направлению к почте. Карабинеры следовали в расстоянии, пока не скрылся он, поворотивши направо, в бесконечных и непроходи-

мых улицах этой части города. Карабинеры, продолжая идти по тому же направлению, увидели его еще раз, переходящего маленькую пьяцетту S. Appollinaria; тут он остановился, посмотрел и, отворив ключом тяжелый портал одного древнего палаццо, скрылся. Карабинеры пошли дальше.

На другой день, часов в семь вечера у ... собрались к обеду русские художники. Лица у всех были несколько повытянуты и грустны; здоровались молча, взглянув, значительно покачивали головой.

Утром, в тот же день, они узнали, что в палаццо Альтелис на лестнице, ведущей наверх в студию их товарища, найден сидящим в углу неподвижно и без языка товарищ их, художник П. Ч. Сидел он притулившись, испуганно уставив в одно место глаза, на веках виднелись слезы, и ничего не говорил и не отвечал.

Прошло три дня. Он тихо умолк навсегда, несмотря на старания докторов и товарищей. Так молча и умер, из глаз катились слезы».

Символическим оказался этот трогательный образ «художника без языка» в судьбе Павла Петровича.

Дело в том, что, подобно близкому ему по духу и любимейшему мастеру Александру Иванову, П. П. мог по праву сказать:

— Я работаю, чтобы удовлетворить вечно недовольный глаз мой, нежели для снискания чего-то.

Этот вечно недовольный глаз, от несоответствия *постигнутого* с *выполняемым*, заставит и П. П. Чистякова начатую в Италии «Мессалину» не только не окончить всю свою жизнь, но с мудрым великодушием сказать: пусть на ней учатся, как *не надо* писать!

Помню, стоял он в своей мастерской перед этим громадным холстом. Солнце ярко падало на осевшую на пол, обессиленную страхом Мессалину. П. П. сказал: «Ишь солнце-то! Световую задачу и разрешило. Убийцы-то вон в какой глубине. Я во всю жизнь не добился, а солнцу — момент».

Он в своей черной шапочке, круто выступает орлиный нос, а глаза, яркие, глубоко сидящие, смотрят далеко.

О чем-то, видно, давно стоит тут и думает. По обычаю своему, увидя все равно кого вошедшего, говорит он этот последний свой вывод: «Ну что же, на мне пусть и учатся, как не надо...»

Молча глянул на стоящее рядом с Мессалиной «Благословение детей», на монаха, про которого пояснил: суда Страшного боится. Выписанные в свету, сжатые крепко руки, лицо в тени. Обе картины не окончены. Дальше Аннушка — красавица-боярышня с косой, еще дальше «Свидание» на тургеневский мотив. Все не кончено...

Помолчал и сказал:

— А ведь большие у меня знания! Только работу свою не угадал. На миллион лет жизни рассчитывал. И хорошо бы вышло, если б миллион. Все бы поспел...

А Иванову, для того чтобы привести в исполнение его замыслы о грандиозном храме и выполнить все композиции, едва ли понадобилось бы времени меньше. Ведь и для того чтобы оставить все то, что он нам оставил, пришлось художнику пожертвовать в себе человеком. Многолетняя нужда, оскорбления невежд, приставленных следить за его работой, мания преследования от одиночества и неудач — все ради собственного

требования «самоотвержения вполне» — во имя искусства.

«Самоотвержение вполне» было присуще и П. П. Чистякову, но выражено оно было в форме, для художника мало обычной. Свое живописное откровение и себя самого как человека он роздал всем, кто хотел и умел у него взять.

Отсюда слабая продуктивность живописца, неоконченные вещи, неосуществленные замыслы, но отсюда же почетное звание «единственного учителя», честь творца «школы». А для тех, кто подходил к нему ближе, и пленительная мудрость своеобразного философа.

Родился П. П. Чистяков 23 июня 1832 года в селе Прудах, Тверской губернии, несуществующего сейчас уезда Весьегонского.

Пруды — имение генерала Афанасия Петровича Тютчева, у которого крепостной его человек Петр Никитич Чистяков был управляющим. Петр Никитич женился на четырнадцатилетней крестьянке Анне Павловне Найденовой, выкупленной им от помещика соседнего села. В бумагах сороковых годов она числится «женкой крепостного человека». Помещик Тютчев очень любил своего управляющего, а вольной ему не давал; но всем его тринадцати детям, трем мальчикам и десяти девочкам, вольная давалась при крещении.

П. П. Чистяков, третий сын Петра Никитича, пробыв от рождения три дня в крепостном звании, как и старшие сестры и братья, получил свою вольную.

Часто за вечерним чаем, в светлой столовой, затканной живым виноградом, любил П. П., если был в духе, вспомнить свое детство. Сидит, бывало, на кресле за очень узким длинным столом; против него «Преображе-

ние» Рафаэля на стене. На голове неизменная дома Тицианова черная шапочка, мягкий серый халат, как на последнем портрете В. Е. Савинского.

Говорит П. П. по-тверски, с сильным оканьем, кратко, ясно, по-своему. По манере, богатству интонаций, по нелюбви к округленной длинноте разговор его совсем иной, нежели большинство писем, переписанных с черновиков. Главная прелесть в внезапности образа, в меткости слова, пущенного на «о». При этом — глубина и охваченность искусством до пребывания в нем, как в событии личной жизни.

Хотя много болел он в последние годы, но если спускался сверху по лестнице к вечернему чаю, всегда веселел и оживлялся. Как только сойдет — сейчас к нему звери: толстый белый кот вспрыгнет на колени и убежит, за ним нелепый пес Чурка затычется мордой.

— Это он на мне кота нюхает! У меня, когда я был маленьким, тоже кот такой жил, это когда я в Прудах учился с сестрами у пономаря, да выучиться ничему и не смог. На Илью-пророка все смотрел, образ отличный висел. Так из-за Ильи-пророка азбуку и не выучил. Перешел к Нефеду-писарю, потому что он лошадиные морды умел рисовать; и у него ничего не выучил. А вот лежал как-то с азбукой под забором, да читать вдруг и начал.

По десятому году в Красный Холм отдали, в приходскую школу. Жил тоже у пономаря. На полу спал, под образами. Да там из угла перспективу тоже вдруг понял и на всю жизнь полюбил.

А в Красном Холме я стал первым учеником...

— Нет, братец, вы говорили, Миша Суслов-то первый, — оторвется вдруг от посуды тетя Груша, одна из

сестер П. П. По деревенскому обычаю она говорит старшему брату «вы», голова у нее в белом платочке, сама тихая, полная, то и дело приплывает с подносом из кухни.

— А вот и спутала, я был первый!

— И я помню, братец, что Миша Суслов, — вступает тетя Юля, другая сестра, совсем не похожая на первую. Тетя Юля мелко «на щипцы» завивает седые волосы, носит шляпку с свисающей кистью, за что П. П. зовет шляпку — индюк. На шее у нее бусы, на руке браслет. Она говорить любит так, зря. — Сами, братец, сказали.

— А вы-то переврали... Мишка Суслов только читал лучше меня, скорее да почаще, а по прочему первым был я. А переменили учителя, приехал другой, Полозов, — родители Миши Суслова сейчас ему сахару да полфунта чаю. Он и заставил нас нарочно читать, одного за другим, и как Суслов-то поскорей да почаще, то и посадил его на первое место, а меня на второе. Да мне это все равно и тогда было... А отец наш обиделся и меня из училища взял. Отдал в Бежецк, в уездное, четырехклассное. Еще мать отвезла.

А в приходском-то разочек посекли. У смотрителя жена была толстая, я про нее стишок и пустил. И не со зла, а рифма одна больно подходила. Поймали, штаны тут же спустили — на полу и высекли.

Ну, а в Красном Холме я сам авдитором был, первый ученик, значит, на спине розгу носил. И что значит — всюду искусство! Ведь сечь понравилось, как изловчился. Уж смотритель кричит: «Довольно!» А возьмешь да еще и прохватишь! Да ведь тоже не со зла.

Окончил училище — землю мерить пошел помощником землемера в Ярославскую губернию. Деньги скопить хотел, в академию ехать. Работу сделал, — а меня обманули, ничего не заплатили.

В Академию очень хотелось, да денег свищи. Наконец, уж лет шестнадцать мне было, отец отправил и дал мне семнадцать с полтиной. А через одиннадцать лет я опять на родину приехал, и глядь, в кошельке-то опять семнадцать с полтиной: не приобретатель...

В нем не было болтовни, но говорил он охотно. Со всякими, кто был около, без обычной людям скупой и расчетливой расценки по рангам. А про себя говорил, как про постороннего, иногда очень важное, иногда совсем пустое, но всегда пленяя редкой, совершенной искренностью.

— Вообще никогда я не лгал и маленький: чашку разобью, стою над ней, пока не придут, чтоб увидели — я разбил, не другой кто. А вот сахар крал — он сладкий!

Причина его внутренней освобожденности была, вероятно, в той любви к красоте, которую особенно остро воспринимал он непосредственно от природы, о чем не раз вспоминает и в своих письмах: «Я счастлив тем, что полюбил с детства природу больше, чем дела и сокровища людей. Счастлив, что полюбил самое высокое и самое прочное на земле... Я и теперь еще люблю бегать по полям и играть с детьми в бабки».

Но если «дела и сокровища людей» он не высоко ценил, их самих, живых, он жалел бесконечно. Всегда жили в доме не только бесчисленные тверские родственники, но и совсем чужие, случайные подростки.

Иногда они выводились в художники, но чаще спивались и сносили в залог что придется, до шубы Павла Петровича.

— Спроси, Вера, чтобы он, дурак, хоть квитанцию дал. Объясни ему: сами выкупим.

— Вот видишь, Павел Петрович, вот видишь — моих ты бранишь, а мои как твои и не делают!

— Да твои-то глупей моих... А то б и не то сделали! — и поссорятся на минуту.

Вера Егоровна Мейер, ученица П. П. с восьмилетнего возраста, впоследствии жена его, была женщина доброты необычайной. С ней не могло быть ничего приконлено или отложено. Все лишнее как-то естественно протекало дальше, тем, кому, казалось ей, было еще нужнее. Так было всю долгую жизнь их, несмотря на своих троих детей и поддержку родных «в провинции», как по-старинному говорилось в семье.

До последних дней своих Вера Егоровна, в восемнадцатом году, сама буквально шатаясь от голода, норовила тайком унести из дому узелок холодных картошек и жалких лепешек из дуранды. Если ее на этом ловили, она, по своей манере, притягивала к себе близко за руку и шептала: «Не говорите, что я потихоньку... все равно сытее не будем, а она-то, может, и продержится». Это она утаивала из последних крох для одинокой неприятной старухи, приговаривая: «Хороших небось всякий любит».

Вера Егоровна была очень способна в живописи; двенадцати лет она получила первую медаль на выставке в Академии и четырнадцати лет — вторую, но вскоре после этого, вследствие семейных обстоятельств, писать перестала. Всю свою одаренность и неутомимую

раздающую доброту она направила на окружающих, и ближних и дальних.

Это были люди какого-то грядущего века, когда все лучшие человеческие чаяния станут наконец из отвлеченных представлений, оторванных от жизни, достоверностью вседневной.

Жизнь в искусстве, жизнь в любви.

О своем браке с В. Е. Мейер П. П. говорил:

— Ведь это я на ней по приказу, по видению женился!

Еще в Бежецке, когда мне лет четырнадцать было, мы с мальчишками на святках гадали. Смотрю и я в щелочку в церковь Иоанна Богослова и вижу: стоит девочка и глядит исподлобья; запомнил лицо-то. И вот, когда я уже двадцати трех лет вошел к ним в дом, вздрогнул. Сон вспомнил — она! Стоит и смотрит исподлобья.

— И все было совсем просто, — говорит В. Е., — надели на меня в тот день нелюбимое коричневое платье с белыми полосками, и было мне неприятно, что новый учитель придет.

— А вот и не просто. Когда я в Италию уехал, тебе было четырнадцать лет и ничего я тебе еще ее сказал. А в Италии мне невесту сватать стали. Богатую, миллионщицу, купчиху. Да и не плохую, хорошую и то-ол-олстую. Боткин-то понимал! Товарищи уговаривали, что можно будет работать вволю. А вот поди ж — не мог. Себе самому дал слово внутри. И призрак тот, что в гаданье увидел, счел от судьбы. Вот вам и рыцарь с прекрасной дамой! По мечте женился, изменить себе не хотел. И ничего, ведь неплохо вышло... Да я и всю жизнь так: «по мечте» живу.

В немногих письмах П. П. из академического периода, к родным и к брату, в зачатке выражены все основные свойства его характера, манеры работать и отношение к искусству.

В 1851 году П. П. пишет матери: «Чудный, многолюдный, веселый Петербург не заменит мне вас и меня не переменит; я каков есть, таким и выйду отовсюду, не унося чужого, не только плохого, но и порядочного. Я не виноват, если у меня такой самостоятельный характер. Мне все кажется понятно, хотя и трудно, я как будто все могу сделать; заимствуюсь прямо от природы, и потому мои собственные, ни от кого не заимствованные суждения товарищи называют натуральными.

...Не могу работать так, чтобы во время производства дело казалось хорошим; жертвую самолюбием, жертвую похвалами и работаю весь месяц непорядочно, надеясь на счастливое окончание, которое всегда мне удается, и я всегда, если только кончу, бываю первым. Так и будет в отношении к вам и к художеству, обоим заплачу, если буду жив, а теперь пока верьте и снисходительно прощайте сына, любящего вас всей душой».

«Снисходительно прощать» просит он за то, что не обладает «словесной благодарностью», и еще за то, что мало может помогать денежно. Последнее обстоятельство мучает П. П. с той минуты, когда он едва сам становится на ноги, еще не окончив Академии.

В 1853 году в письме с обращением «Милостивая государыня, любезная маменька Анна Павловна» говорит он: «Готовлюсь еще только на серебряную медаль, на сей неделе получу деньги за образок и пошлю сколько придется бабушке с Лизою.

...Милая маменька! Не знаю, что с вами говорить: целую вас и руки ваши сто раз. Милые сестрицы и братцы! Обнимаю вас, я люблю вас, сильно люблю, и посреди шума столичного, беспрестанных занятий я каждый день хоть две минуты да подумаю об вас, и мне делается и грустно и весело, и что-то старинное, давно прошедшее, как сон, приятно представляется воображению: не юность ли эта, которая текла, совершенно противоположно молодости, в деревне между вами тихо и безмятежно. Я рос, постоянно восхищаясь природой и людьми, которые мне казались не такими, какими теперь вижу их вокруг себя».

Но хотя люди и оказались «не такими», чувство особого всемирного родства было одним из основных качеств широкой и свободной души П. П. Один родственник как-то непомерно требовал поддержки, спекулируя на чувствительности П. П. к тексту о любви к «ближнему».

— Ну какой же ты ближний, — сказал П. П., — ты, батенька, *родственник!*

Из Рима в 1865 году так пишет П. П. об этой своей тяге к «всемирности», знакомой ему еще с детства: «Мне всегда досадно, тяжело, что я не всех людей видел, что не все около меня. Эта страсть у меня выражалась в детстве тем, что я злился, когда мне говорили, что и за домом живут люди и где солнышко закатывается. Слушая это, я всегда задумывался, мне грустно делалось; и отчего я не гляжу, не знаю».

За родственников, оставшихся в провинции, особенно за младшего брата Петра, у которого с детства обнаруживались способности к рисованию, у П. П.

огромное чувство ответственности. Еще не зная, «отдан ли брат в лавку» или нашлась возможность и его кое-как снарядить в Академию, он пытается хоть в письме развивать его художественное восприятие.

«По полю идешь — замечай облака, да не так смотри на них, как все смотрят, во все глаза, на все облако сразу, нет, рассмотри каждую группу отдельно, заметь ее тушевку, контур. И если на лицо смотришь, также рассматривай по частям, линии, тогда и останется в памяти портрет. Замечай отражения в воде, в самоваре, и хотя ты и не отыщешь причины многих явлений — все-таки наглядно их изучишь и твоя рука будет натуральна. Рисовать же если что будешь, то рисуй строго, выполняй каждую безделицу, это есть внимательность, правота, наблюдательность и, значит, глубокое изучение натуры».

Жил П. П. в Академии на скудные гроши, зарабатываемые маленькими заказами и уроками. «Живу с сыном бежецкого соляного пристава г-на Розенталя и в другой комнате, за которую двое платили семь рублей серебром в месяц, значит, повыгоднее, потому что пополам».

В 1854 году у П. П. неожиданные личные издержки, и он объясняет, почему и прежней небольшой поддержки не может высылать родным. «В апреле набор одиночек в рекруты заставил меня позаботиться о себе и прибегнуть с просьбой к конференц-секретарю Вас. Ив. Григоровичу. Он, увидев мои рисунки и живопись, остался доволен и готовый сделать для меня, с своей стороны, все».

Тут следует курьезная бытовая подробность, вызванная тем обстоятельством, что президентом Акаде-

мии художеств была великая княгиня, от которой зависело окончательное решение судьбы академистов:

«Но, как голых мужчин нельзя показать президенту — женщине, то и велел (В. И. Григорович) написать голову... по этому случаю я начал писать голову с натурщика, но, задолжав ему целковых пять, бросил не окончивши».

Самое обеспеченное положение П. П. в Академии относится к 1862 году, когда он пишет отцу: «Обстоятельства мои поправились: написал маленький портрет масляными красками с генерала Гаевского за тридцать пять рублей серебром и еще нарисовал карандашом портрет Боткина, за который он обещал мне платить, пока я работаю картину» («Три мужика», которая сейчас висит в Русском музее под большим портретом матери Павла Петровича).

Но рядом с некоторым улучшением материального положения у П. П. новое огорчение: младший брат, который, не заражаясь его любовью к искусству, не поддается никаким увещаниям и продолжает свои кутежи. П. П. не выдерживает и жалуется отцу: «Я гоню брата прочь. Нет сил, просто зверь. Впрочем, ему обещали дать место, где он может, кроме хозяйских работ, и в класс ходить. На всем хозяйском пятнадцать рублей, там и комнату дадут. Я бы мог его и при себе держать, но, отец мой, прости меня! У меня дело из рук валится при нем, и я знаю, что я погибну из-за него. Бог с ним, пусть поживет на своих трудах и поймет и полюбит ближнего».

Впоследствии брат П. П. спился и умер от удара.

П. П. совершенно связывал рисование с этикой; он понимал талант не как придаток, «шестой какой-ни-

будь палец», а как результат, как цвет личности; отсюда связь между выраженным и выразителем. Он говорил про брата Петра: «с малолетства был лгун, так и в рисунке все лгал».

По отношению к отцу у П. П. та же грустная обреченность, что и у А. Иванова. Он не застал его, самого близкого себе человека, в живых после возвращения своего из заграничной поездки.

Отец П. П. и в крепостном состоянии умел широко себя образовать, чему П. П. нередко дивился, а про дедушку своего, рыбака с Белоозера, рассказывал, что легко делал он на глаз деревянные астролябии, пленясь этим прибором у одного землемера.

Матушка П. П., Анна Павловна, была тоже женщиной незаурядной: с большим даром рассказчицы, прелестью особенной доброты и веселости она соединяла способность к прозорливости, переходящей в ясновидение. В семье хранится много рассказов об этом ее качестве, особенно развившемся после того, как она ослепла. Свою мать П. П. любил и берег до глубочайшей старости. А с отцом ему даже не удалось попрощаться в свой последний приезд в Красный Холм, перед Италией. Отец был в отлучке, когда сын из Академии приехал на короткое время к родным; ехать еще раз не было средств, и П. П., уезжая, пишет отцу: «Не сокрушайтесь о том, что не можете проститься со мной, дорогой мой родитель; благословите меня заочно... я от души поверю и приму ваше благословение, и оно будет мне в пользу».

Душевная красота и самобытная цельность обоих родителей навсегда заложила в характере П. П. высо-

кий тон культуры внутреннего человека, брезгливого ко всякой пошлости и суете.

Если в судьбе братьев-писателей лежит «роковое», то и право наших лучших художников на высшее художественное развитие — немалый мартиролог. А. Иванов свою заграничную поездку получает после унизительной проверки самостоятельности поданной им программы, после отказа его от брака с любимой им дочерью музыканта Гюльпена. «Самоотвержение вполне» любимому искусству, конечно, победило, как всегда, в жизни А. Иванова, но победа эта стоила ему тяжелой нервной болезни — кто знает, не ставшей ли источником его позднейших заболеваний в Риме. П. П. Чистяков свое право работать должен был как бы вырвать у судьбы, платя за это право муками своей слишком чуткой совести.

В ожидании отъезда за границу, когда его, получившего право на поездку, за отсутствием у Академии денег медлили посылать, П. П. продолжал все еще ревностно, на положении простого ученика, посещать натурный класс. Он этим очень мучился: приходилось отказываться от выгодных заказов, благодаря которым могли бы родители быть обеспечены.

Вскоре после получения медали за программу П. П. предлагали доходную работу в Зимнем дворце, но он от нее отказался, прося лучше отправить его возможно скорее за границу. Вот этот отказ свой он звал «пятном» перед родителями: «Мог бы обеспечить вашу старость, был случай, впредь не буду, не упущу, постараюсь».

И в свое оправдание скромно прибавляет: «Я ведь учился все-таки...»

Во время заграничной поездки еще и еще вспоминает он о своем «пятне», урывает от платы за натурщиков, чтобы послать и сестрам и матери. А вернувшись из Италии, как мог он отдаться свободной работе, обремененный уроками, связанный с бесчисленными земляками своей Тверской губернии и с неимущими художниками, которых сам приучал считать его дом своим домом. И, наконец, почти тридцатилетняя пытка в «складочном месте», куда его почетно замуровал совет Академии, назначив заведывающим мозаичным отделением.

II

Эта прекрасная освобожденность была у П. П. уже в зрелых годах. В Париже в 1862 году он заболел тяжкой раздвоенностью, от которой ему «трудно, очень трудно, труднее этого периода в жизни не было».

Но разве не борьбою с догматом, до преодоления этой борьбы непроизвольно найденной живописной формой и необычайными композициями последних лет, отмечена и вся биография А. Иванова? Недаром так были тревожны ему слова Гоголя о том, что «русские лишены от природы *база*, на котором можно было безопасно ставить и строить».

Не от страха ли остаться без этого *база* его упорство в защите порядков и верований, принятых по наследству? И долгое, не соответствующее собственному гениальному глазу усвоение живописи академической «как исправления природы»?

Нечто аналогичное переживал и П. П., на которого Париж подействовал особенно остро, как возбудитель

чувства этического. Выросши в деревне, в глубоко религиозной, патриархальной простой среде, впервые очутился он один в городе, «где все блестит и дешево, и хорошо на вид, да гнило, как говорится. Все состряпано на живую нитку. Вот оно как, вот как народ направлен — не совсем прочно и честно».

«А вечером волшебство, газ, зеркала, просто ослепление...»

«Все города, которые я проезжал, вечером против Парижа — тьма».

Брату своему П. П. про Париж пишет особенно выразительно:

«В Париж приедешь, сейчас угоришь, и только, а потом пройдет — и одна пустота в башке. Одним словом, газ жгут, как в аду, да еще зеркальные стены, ты думаешь, что невесть какая зала, понапрешь вперед, да и хватишь лбом в зеркало; себя не узнаешь, думаешь, мусье какой ни на есть глупый на тебя смотрит, — ан это ты сам в зеркале, вот как! Вместо одного фонаря сто кажутся, и все газ; ну, одним словом, угоришь, а в комнате у себя озябнешь, потому что окна открыты и двери со щелями».

И вот в этом-то городе, «где народ легкомысленный... каждый день балы да концерты да черт знает какие увеселения», П. П. на тридцать первом году жизни читает как-то так по-особенному Евангелие, что, по собственному рассказу, «три дня ходил как пьяный, живопись хотел бросить».

Он пишет В. П. Яхонтовой: «Читаю Евангелие и Апостола и много переменился в своих убеждениях... всех стал более любить, о всех жалею, все меня

трогает, так что год — и я без волос от мечтаний... трудно...»

И еще: «Я стал очень рассеян, то есть растерялся. Часто за обедом у Леже заглянусь в окно, задумаюсь... сердце заноет. Отец родной, поля, люди русские — все пройдет в тумане предо мною, и слезы льются, льются, как у ребенка... и пойдешь, как обиженный, один-одинешенек, а над тобой небо чистое, светлое, а кругом тепло и весело. Что со мной — не знаю, хочу быть христианином, а силы и воли нет».

От всех своих «мечтаний» П. П., как он выражается, «плакса стал... ребятишек маленьких французских обнимал на улицах и собак даже».

«В Новый год так при всех плакал и смеялся вместе — от бокала шампанского сделалась истерика; вспомнил Россию, вас, знакомых и не удержался — рыдал, как ребенок, при французах и русских в кофейной».

Надо знать, как чужда была П. П. всякая слезливая сентиментальность, чтобы понять, что то состояние, о котором говорится в этих письмах, было временным надломом от непосильно строгого и мужественного закала души. Кто хоть раз подметил этот сверлящий ястребиный блеск его глаз, кто слышал его твердые, не терпящие компромисса слова об искусстве, тот знает, что никакой дешевки в этом человеке быть не могло. Иначе как мог бы он так учить, как учил. И как власть имеющий говорить про учеников: «Да я их, словно щенят, без жалости в воду. Пусть тонут! Сильный-то выплывет. А искусству трухи не надо. Искусство ревниво».

Когда один русский художник, уже давно знаменитый, опять, как юноша, пришел к П. П. «порисовать»,

он задал ему «поставить» гудоновскую анатомию «от бедер». И замучил художника до того своим «плохо стоит», что тот сказал: «Нет, больше не могу», — и бросил рисовать.

— Так он фигуру-то по закону и не поставил! Ну, а если б поставить сумел, он куда бы меньше картин-то своих написал, хотя и хорошо писал.

Несмотря на внутреннюю ломку, в Париже П. П. все-таки работал. Он написал картину «Француз». Он пишет о ней в письме к Яхонтовой: «Картину я кончил, и порядочно... франт француз в нетопленой комнате перед зеркалом надевает чистые воротнички на дырявую рубашку — вот и все».

А. Иванову в его религиозных исканиях нужна была, как европейцу, точная дифференция, отчетливость, зарегистрированность религиозного мышления. П. П., свободного человека, даже не беспокоило существование в нем как бы противоположных состояний.

— Куды, Юлия, собралась? Индюк парадный надела...

— В церковь, братец.

— Опять ладан нюхать да поповскую ручку целовать. Ну, иди, иди, хорошую службу и я люблю. А когда причащался — то лучший день в году. А понять ничего нельзя!

Но это было опять-таки в последние годы, а тогда, в Париже, в 1861 году, ему хотелось непременно *«понять»*. Из своего двойственного состояния П. П. надеется выйти в Италии.

Он пишет отцу: «Там уединюсь и буду серьезно работать и читать книги».

У Гете — Фауст восстанавливает свою разорванную личность, погрузившись в красоту древней Эллады и вступив в символический брак с прекрасной Еленой; иначе — обаяние красоты убивает скепсис, убеждая его доверять лишь реальности формы. Такую художественную целебность Италия и принесла в свое время и А. Иванову и больному Гоголю.

«Здесь я бываю до такой степени восхищен, что не бываю в состоянии ничего делать», — говорит Иванов, а Гоголь ложится спиной на аркаду, чтобы часами недвижно смотреть прямо в небо: «Италия! Она моя!.. Россия, Петербург, подлецы, департамент, кафедра, театр — все это мне снилось! Я проснулся опять на родине».

Такой родиной была Италия и для П. П. Больше того, как у Фауста с Еленой, у него с Италией какой-то восторженный «космический брак», следы которого дадут впоследствии повод людям, приверженным к классифицированию, навязать П. П. кличку: «пантеист».

III

В Италию П. П. ехал через Mont-Denis.

«За пять верст до Генуи меня встретила итальянская весна; ясное, светлое небо, по сторонам зелень, цветы, кипарисы, а с залива от Генуи ласково, приветливо охватило теплым южным ветерком, и все это новое и невиданное для меня».

Из Генуи морем он плыл до Ливорно. Оттуда на машине через Пизу и другие города во Флоренцию.

Да, он любил Италию, как вторую родину. До последних своих дней помнил ее до мельчайших подробностей, до отдельных, особенно поразивших его своей формой или цветом, скал, деревьев, морского дна. К городу Субиако была благодарная нежность, как к родному Красному Холму и Тверской губернии. В. П. Яхонтовой П. П. пишет: «Переселился в Субиако, верст за семьдесят от Рима, в горы, где с наслаждением работал пейзажи и жил в то же время такой жизнью, что, право, лучше и не надо».

Римом и Флоренцией восхищается П. П. совсем в ритме и манере Гоголя:

«Что за Италия, что за ночи — просто рай! Представьте наш август, луна... представьте наше лето, наше небо, только все краски ярче и в то же время несколько туманнее, сквозь флер как будто; и мнится, что все вам видится, — вот эта-то полусонная замирающая нежность и есть исключительный характер Италии».

«Я бы мог верно очертить итальянский воздух, но это было бы нескромно, но верно, верно как нельзя более и лучше. Сладкая страсть и вместе с тем как бы закрывающая очи, полуутомленная, изнеженная, засыпающая природа...

Нет, Италия одна и есть на свете — счастливый уголок меж двух морей...»

(К Яхонтовой:)

«...что я испытал при взгляде на Флоренцию. Смотришь, и чудится, что это сон, — с громадным куполом Брунелески, и горы, и кипарисы, и внимание — все засыпает, все дремлет, и как в знойный полдень у нас в июле...»

И дальше: «...мертво кажется — зной, тишь, скучно. Но Италия и тут Италия, одна, и тут смеется, и тут живет. Весь лес, вся округа дрожит от звучного, мерного лязга жучков, а вдали, низвергаясь, шумят водопады... И жарко, и сыро, и тихо, и звучно, и сладко, и грустно, и негою клонит ко сну, а не спится. Италия женского рода».

«Торкватова страна» со своими бессмертными памятниками живописного гения, со всей «обедней» эпохи Возрождения навеяла Павлу Петровичу вдохновение на размах картины громадной, той самой Мессалины, которую, при «вечно недовольном» собой глазе, окончить ему не пришлось.

В докладе в Академии (Рим, 1868 год) П. П. пишет: «Картина пять аршин с четвертью длины. Фигуры в рост. Всех фигур главных четыре: Мессалина, мать ее, раб Эвод и трибун. В тени, в коридоре, шесть человек солдат. Вот и все».

«Мне понравился сюжет из римской истории. Последние минуты Мессалины, жены императора Клавдия. Я начал сочинять его. Так как дело происходило после обеда, то и пришлось писать картину в сумеречном тоне, что очень трудно. Потребовались этюды отдельные, хотя и небольшие. А поэтому и времени вдвое, да и сочиняю-то я очень долго, медленно как-то. Два года тому назад я имел честь уведомить совет, что пишу эту картину».

В 1867 году П. П. писал отцу: «Картину тихонько продвигаю вперед, но конца не вижу».

Еще раньше, в ответ отцу, должно быть на упрек в выборе неблагодарной задачи, он говорит: «Вы пишете, тятенька, о Тайной вечере г-на Ге, моего преж-

него товарища по Академии. Пишете, что писать следует то, что художника тронуло и что в характере. Второе: если б я написал так, как г-н Ге, то уверен, что вы были бы недовольны, потому что как эта картина заслужила похвалы, так и порицания. Многие даже советовали ее сжечь! Я сам ее видел во Флоренции. Хорошо, чувство есть, но работа исполнена неважно».

С громадной Мессалиной у П. П. начинается в Италии та же мука, что у Иванова с Мессией. Натурщики стоят дорого, денег не хватает: «Не знаю, как напишу руки и головы. Трудновато нынче в Риме, все дорого. Вот ведь и комнаты нанять не на что. Живу в студии. А студия-то здесь что сараи наши. Моя семь сажен в квадрате, — как ее, чем натопить?»

Или еще: «Скоро придется работать перестать... или, отказывая в пище, работать. Если же ни то, ни другое, то останется корчить полу-Адама. Деньжонки, что мы получаем, никуда не годятся, если начать работать. Так жить можно хорошо. Но ведь мы едем сюда работать».

А тут, как нарочно, из дома идут письма о том, что дочь Юлию надо выдавать замуж, а нельзя без приданого. Отец старел и болел. П. П. отрывал из скудной академической пенсии необходимые для дела гроши: «Сестра Юлия второй год просит на шубку, и вот теперь посылаю ей двадцать рублей. Не из чего, право не из чего!»

«Дал несколько уроков, тем и тянулся, кое-как свел концы с концами. Ведь сообразите: ведь картину-то писать — не мутовку облизать, особенно когда фигуры-то размером в рост; дорогонько обходится, нечего сказать».

Конечно, денежные недохватки много тормозили работу П. П., но все-таки истинная «подводная» причина великолепно начатых и неоконченных холстов его гораздо сложнее, гораздо глубже. В письме к К. Т. Солдатенкову П. П. говорит уже так: «Картину большую, то есть Мессалину, почти не работаю, а почему — и сам не знаю. Для вас ничего не сделал. Все придумывал, видите. Дрянь я человечишко-то, ни себе, ни людям. А еще что далее будет...»

Подлинное проникновение в сущность искусства таит опасность плениться соблазном созерцания его как ценности абсолютной; но собственная многоликость — зачеркивается, но воля к творчеству собственному, всегда несовершенному — опадает.

И вот из Рима П. П. пишет отцу: «Очень картиною занят я, дела пропасть, а что выйдет, не знаю. Очень трудная задача. Наш брат всегда так: умеет на грош, а дела берется делать на сто рублей. Конечно, этим учишься, да выгодно ли, вот что, ведь не век учиться. Возьми я теперь простую, обыкновенную сцену, ведь как бы написал отлично. Нет, вишь, трудности нужно, *всего искусства науку в уме держишь, с нею хочется побороться, а о другом и не думаешь»*.

Аналитик — всегда убийца художника-мастера, но, с другой стороны, никто, как он, в союзе с художником-созерцателем рождает художника-учителя.

Если же этот учитель к тому же и большой человек, то он становится тем единственным, как определяли П. П. Чистякова, каждый по-своему, Врубель, Репин и Серов.

В 1868 и 1869 годах у П. П., очевидно, еще были надежды на окончание Мессалины в Италии; несмотря

на то, что он много хворал, он пишет отцу: «Картину начну окончательно работать, — времени мало осталось — всего один год, даже меньше».

И в том же 1868 году, уже после смерти отца, в письме к матери: «Как только кончу картину, так и прикачу...»

Но это была последняя надежда на окончание. Следующие строки о Мессалине уже таковы: «И картина не удается моя — не сокрушайтесь, неважно — другое сделаем и принесем пользу родине».

Если спросить тех, кто, не подходя близко к П. П., от одних мимолетных встреч — на выставке, в Академии или частном доме — запечатлел в своей памяти его яркий облик, — впечатления могут оказаться настолько противоположными, что трудно будет их отнести к одному и тому же человеку. У одного может оказаться злое подозрение в Мефистофелевых упражнениях «подрезать дарование», у другого пошловатое умиление перед старичком «под Суворова» с его знаменитым — «чемоданисто взято».

П. П. сам себе хозяин, не заботился о чужой оценке. Далекий от мещанского тщеславия *казаться,* он действительно *был.*

Но кем он был, понять было не так-то просто; ведь, как заметил еще Гейне, «всякий имеющий нечто за душой, охраняя свое сокровище, невольно обнесет его высоким забором, дабы скот не стоптал».

Неослабевающая любовь к людям, какое-то помазание служить им, не убиваемое ни обманами, ни ничтожеством, нередко скрывались у П. П. под формами как бы им противоречащими, во всяком случае не теми, какие в расходе у большинства.

На самом деле, при большом безжалостно-остром уме П. П. чувством был беззащитно-нежен. Он настолько не умел забронироваться от чужих страданий, что это его качество человека немало помешало работе его как художника.

Очень выразительно в этом отношении одно письмо П. П. из Рима к Вере Егоровне Мейер, которое невозможно не привести целиком:

«Помню, однажды здесь, в Риме, один из моих товарищей, глядя на меня и слушая, заметил, что я со временем с ума сойду. Он, может, шутил, а мне так кажется, что это правда.

Судили здесь четырех разбойников. Я едва-едва удерживался, чтобы не зарыдать, глядя на их жалкие лица и на рубища, одежду этих людей-животных, слезы же текли незаметно для меня; увижу ли нищего или бедного компаньона в лохмотьях, сердце заноет, заноет... Так и отдал бы ему все, что имеешь! Да ведь этим не поможешь, их миллионы! Пою ли я песню, все будто плачу; и если бы не застенчивость моя... да что и говорить, переехало, зацепило, видно! Все для меня родное; чужое горе — мое горе, все меня мучит, все тревожит.

А вид художника, пробирающегося по Condotti в магазин, чтобы продать свои акварели за самую пошлую безделицу.

Mamma mia! Да что же это, а? Что тут делать-то? Болезнь, так называемая тоска по родине, до сих пор меня не оставляет; несмотря на дивную природу Италии, все тянет туда, далеко на север, домой; а в особенности теперь, зимою, тяжело.

Выйдешь часов в девять вечера на улицу. Пусто, темно, магазины запирают; над головою глубоко-глу-

боко в лазурево-темном небе приветливо мерцают звезды, а тебе грустно. Боже мой, что же это!

...Один, один. Кругом все чужое, и не знаешь куда деться, что делать... Театров нет, пост, в кафе сидеть противно, скучно; в студии холодно. Что же, куда, в Россию, что ли? Перенесешься в Петербург, к вам и вспомнишь тоже, что я от вас убегал часто, не досидев вечера; меня все гнало куда-то. На родину, к отцу, к матери, что ли? Задумаюсь. Нет, и там соскучусь и через неделю потянет вон, а куда, и сам не знаю... Так в раздумье бредешь и поглядываешь на пустые и темные дома старика Рима. Нет, видно не в окружающем, а в нас самих забралась эта непоседная скука.

Думаешь, думаешь, да и решишь, что только труд, только одно любимое искусство прочно и в состоянии спасти от закрадывающейся пустоты. Вот эти-то две способности, плакать о каждом и потом грустить и скучать невыносимо о чем-то, меня и погубят. Они-то и доведут меня до того, что я начинаю маяться, да еще если одна-две неудачи, одно огорчение — и я погиб. Все из рук повалится...

...Рассудок, знание всегда во мне были впереди практики, что делать, я родился и живу для других. Пусть же знание мое будет в пользу кому-нибудь».

IV

П. П. вернулся из Италии в Россию в 1872 году. Он скоро женился на В. Е. Мейер. Пошли дети, пришлось содержать слепую старуху мать, сестер и, по обычаю его, всех, кто был или казался ему беднее его. О сво-

бодной углубленной работе не могло быть и речи. Огромная, даже не вся прописанная Мессалина вместе с другими холстами навсегда опочила в мастерской собственной дачи П. П. в Царском Селе.

Но недаром последние слова П. П. родным по поводу своей картины были просьбой не сокрушаться о неудаче: «неважно — другое сделаем».

Это «другое» было сознание своего призвания как учителя. Но и этому призванию во всей своей мощи развернуться тоже не удалось.

Перед историками живописи лежит новая печальная обязанность — подробно рассмотреть и записать в объемистую жалобную книгу «лучших русских людей», — как могла произойти такая бессмыслица, что *«единственный* в России учитель» оказался запрятанным в «складочном месте», вместо того чтобы быть профессором при новой Академии. Вот недоумевающая выдержка из письма В. А. Серова от 1 октября 1894 года:

«Непонятно и обидно, что вас минули, — не пойму никак. Да, единственно ваше мнение в Академии было для меня высоко и дорого».

И второе письмо его же, из Москвы, от 2 октября 1908 года, когда уже незадолго перед смертью попадает П. П. как заместитель Репина всего года на два в руководители мастерской:

«Дорогой Павел Петрович. Недавно узнал, что вы — заместитель мастерской И. Е. Репина. От души радуюсь вашему желанию *учить*. Помня вас как учителя, я считаю вас единственным (в России) истинным учителем вечных незыблемых законов формы, чему только

и можно учить. Буду думать, что и ученики (достойные) поймут вас и оценят. Ваш В. Серов».

В 1910 году П. П. окончательно переехал в Царское Село, в собственную дачу, почти за чертой города, в екатерининской Фридентальской колонии. До 1908—1910 годов П. П. еще ездил в Академию на уроки. Весной 1910 года П. П. от нервного переутомления заболел, на уроки ездить ему стало невозможно.

«Нам на земле работать... остальное все не наше!» — встречается в одном из писем П. П. Часто целыми часами он молчал, скрестив по обыкновению своему на груди руки, и большая грусть была в лице его. Не следы самолюбивых мук, а бремя большого, хоть и принятого страдания: «Я один и один. Ну и пусть один! Ни взглядов, ни убеждений своих менять не буду; тем более что все блага мира уже давно не составляют для меня сути».

Так писал он М. П. Боткину еще в 1881 году, тем более было так теперь, когда живописный и жизненный путь был весь позади.

Или, быть может, в эти безмолвные часы он погружался в те живописные мотивы, которые называл он «альтовые средние», о которых так хорошо написал В. М. Васнецову, говоря о Диспуте Рафаэля. Картину эту П. П. любил исключительно: «Я решил, что это все мне мерещится, когда я был младенцем, когда кучер Игнатий, столяр Зотыч и другие окружали меня, мальчика, а я сидел у столяра в стружках, на полу. И чисто и красиво в стружках. А затем старик, большой-большой, добрый, ласковый, любовно меня мажет, а кучер Игнатий, с желтой бородой, румяный, голубоглазый, тут же, и я на полу бессловесный еще, а они

великаны... Не их ли я вижу на картине Рафаэля? Ну, а звуки-то альтовые что? А это средние, которыми петь человеку следует, это не крик, это благодать, нега, спокой».

— А ведь большие были у меня знания, недаром учиться ко мне приходили уже художниками, да с азов, — скажет он иной раз после такого долгого молчания. Скажет твердо, будто не о себе, а оценивая кого-то постороннего. — Да система-то моя трудновата, не многие поняли ее — Серов, Савинский да племянница Варвара Баруздина... Все же не след было меня в мозаичном хоронить. Учителей-то, как я, ведь не много. Ну да постыдятся когда-нибудь!

Отвращение от догматизирования, от всякой нарочной закругленности и приведения к благолепному единству давало речи его, общению с ним особую прелесть. Он не подбирал, не создавал своей биографии. И, живая, волнующая своей художественной силой, она сама врастала в память каждого, кто к нему подходил ближе.

Он любил вспоминать Италию в иной жаркий июльский день, глядя вниз на лужайку, где далеко во все стороны разбежался пурпурный японский шиповник.

— Вот и у нас розы, ну, да там-то получше... Однако ни роз итальянских, ни Флоренции написать невозможно, никому не удалось. Как бабочку нежную схватишь — пыльцу стряхнешь, так и Италию: колера как ни бери — не то, вялые. Только в Средиземном море с душой вместе и выкупаешься, да душа-то нужна детская! Вроде рыбки, что там, в тепле, плещутся, ничего себе не требуя. Люди же всего требуют, а художнику не надо бы! Вот Бенвенуто Челлини такой художник! Серебро от заказчика крал и мужей в канал

стряхивал, разбойник! А душа чистая, детская, а у Рафаэля ангельская, хотя с Форнариною жил.

А греки-то! Да не эти, что с губками ходят. Те, старые, в этой дымке нежной, в этом воздухе звонком секрет-то ваяния и узнали. Богов налепили!..

Как-то говорил так П. П., глядя вниз на пурпурный шиповник, а маленький внук его, держась за штанишки, которые по всем признакам надо было ему немедля сменить, подымался по лестнице. Но только нацелился шмыгнуть мимо дедушки, как тот положил ему обе руки на плечи и, не видя отчаянного его состояния, продолжал свое про греков:

— Таких богов никому не слепить, а знаешь ты почему? Греки человека будто в тонком шелковом чулке видели, без пакости, одной красотой, вот все и оказывалось. Запомни: высших людей-то богами надо лепить, да такими и всем надо стать! А теперь иной пошляк в солнце плюет, а кости-нервы выделал, все как вправду, а они и не правда! Да ты танцуешь-то чего? А... ну беги, да скорее.

Ну и хитры эти греки: вот Геркулеса не зря к пню приставили, от пня его отвести — он повалится. Не поставлен.

Об этом последнем десятилетии своей жизни «на воле» так пишет П. П. Васнецову в 1912 году в ответ на приглашение посетить его выставку в Москве:

«В Москву я давно собираюсь, но ведь я третий год хвораю. Нервы расстроились. Вот и сижу третий год в Царском Селе. С 1 июля 12 года из мозаичного отдела вышел в отставку, на волю, и на восемьдесят первом году начал работать с величайшим увлечением свой портрет. Считая мои двадцать два года, проведенные

в мозаичном отделе на службе, большою потерею для себя, утешаюсь тем, что и здесь я сделал много хорошего».

«Святая и блаженная жизнь». Внутренняя настроенность его на «средние альтовые», которыми человеку петь следует, в которых шла к нему гармония от Рафаэля, никогда не выражалась каким-либо ханжеством или стилизованной елейностью. До конца дней речь его была свободна и текуча. То вдохновенная, то совсем простая. Часто метнется в этой тверской окающей речи крепкое русское словцо.

Но всегда к такому слову или усмешка, или такая острая манера сказать, что никогда не грубо, а как-то по-русски, особенно круто и ласково.

Взойдешь в сад через калитку, и уже от березы, которая, как свеча-великанша, белеет средь тусклых осин, видно, сидит П. П. на террасе и кто-то читает ему. Из многолетних лиловых флоксов, разросшихся в кусты, выскочил нелепый пес Чурка, до того пятнистый, что походит на испещренную кляксами белую промокашку, а не на собаку.

— Сумасшедший! — крикнул на него П. П., привстал глянуть из-под руки, кто идет. — А, здравствуйте! — протянул руку с сломанным пальцем. Сюртук на нем новый, как, бывало, в Академию ездил. На ногах сапоги мягкие, у которых, засучив штанину, предложит непременно пощупать голенище, прибавит окая: дво́рянские сапоги! На голове не обыкновенная черная Тицианова шапочка, а белая, крупно вязаная, из толстой бумаги, совсем похожа как надевают в старомодных домах на чайник.

— А в Стокгольме съезд теософский... Много говорить будут, а для чего — и сами не знают! Главные-то ихние, должно быть, от бедности все это затеяли, тоже мусорщики... впрочем, от бедности иной человек и не то сделает. Ну, а другие-то прочие по дури... А столовую теософы хорошую открыли на Двенадцатой линии! Хоть без говядины, а сытно и дешево. И они, выходит, полезные. Вот только на что им про астральное тело узнавать? Если б и было такое, и то не к чему.

Солнечный день, но осень небогатая. Обыкновенно в это время сад еще стоит золотой. А тут хватил ранний мороз зеленые еще листья, и они, грязные, прибились дождем к земле. Бабушка в белом платочке, по-зимнему, сидит спиной к печке, а П. П. в кресле, халат запахнут туже. Вязаную шапочку снял, Тицианову шелковую черную носит. Слушает разговор на диване. Говорят о том, как один человек двадцать лет Евангелие изучал и к нему свое толкование написал.

— Это словами-то? Зря время перевел! Так и скажу ему, если придет. На биллиарде б лучше играл! Христа все равно ведь не понял. Проверить можно, что именно Христа понял только в старости, когда ноги уж стынут, а в душе не отходит умиление. Это уж не от крови, это без ошибки — Христос. Не только от людей — ото всего как есть. Собачка хвостом вильнет, весной грядка вспухнет, по любовным делам кот пошел — смотрю, а во мне теплота, хоть спина и ноги стынут. Рассказал одному, ученый... он как бацнет: это вы пантеист! Дурак, сейчас назвать надо.

А вот в Риме, в храме Петра, в праздник красные тряпки на чудесный мрамор вешают, папу до морской болезни на троне носят. Герцен даже высмеял. А сол-

даты в честь бога ружьями о землю как хватят, я вздрогнул, испугался. И мне это не надо, а богу-то на что? А у нас в архиерейскую службу красиво. Только ведь тоже театр...

Бога-то я сильней всего чувствую, когда урок даю. Оттого и учил хорошо. Всех учеников люблю, а какого-нибудь сукина сына, который искусство непременно продаст, — его всех больше люблю. Подойду, положу ему руки на плечи, вот так, чтобы руку почувствовал, тепло. Через руки-то человеку понятней. Много говорить нельзя, а про многое и совсем не надо. Зря слова.

Не по той дороге, скажу, поехал; хотите в Киев, а снесет вас в Царевококшайск какой-нибудь. Поймет! И даже рисунок поправит.

— Братец, пожалуйте чай пить, — позвала старшего брата, по деревенскому обычаю на вы, бабушка в белом платочке, сестра П. П. Стол узкий, длинный, в столовой по рисунку П. П. обшиты стены белым деревом. Посреди арка: зеленый плющ заткал ее всю, стелется вниз по широким окнам. За стеклом, побиты дождем, опущены головки оранжевых и лиловых астр. На столе по белой скатерти перед каждым чаепитным местом — бережно кинуты кусочки желтой клеенки.

— Заплатки эти хозяйка гостям, чтобы скатерть не пачкали... а про то, что оно уродство, и позабыла.

А вот скажите мне: есть ли другой такой идиот, чтобы, как я, тридцать лет просидел в складочном месте и свой талант погубил? Все откладывал уйти из этого места. Думал я, молодой, поспею, — а мне-то уж восемьдесят два. Сегодня писал, да и позабыл, сколько часов пишу, а годы-то сами и вспомнили: шея запыла, спина да глаз один.

А мне, чтоб начатые картины окончить, хоть девять бы лет еще! Сейчас, когда уроков давать не надо, я бы кончил: «Мессалину», «Свиданье», Шувалову образ да свой портрет. Нет ведь моего портрета. Даже Репин не меня — пьяницу красноносого написал! А еще я давно задумал большую картину: «Два мира». Да нет, не расскажу, а то не напишу.

Он был уж очень слаб в 1918 году. Часто болел, писать стало трудно, глаза отказывались. Он не выходил почти из своей комнаты наверху.

— А у меня виденье было. А может быть, помирал, да недопомер. Я мужик упрямый: хочу весну увидать! Чтобы цветы распустились и моя береза. Я ее ведь спас — она усыхала... А помирать-то примерялся! Перед тем как спать лечь, нагнулся над постелью и вдруг из своей же коленки как искорка вылетел. И вот уже я пузырь голубоватый, нет — я облако. А краски-то все замечаю — хороши! И переливаются, живые краски. И все понимаю, даже думаю: вот и помирать! Да я такой красоты и в Италии и в Субиако не видал. По краскам-то.

А Серов? Какого дал Петра! Как никто! Это когда он идет город строить. Как ломовик прет. Ломовик когда едет, особенно если пьян, так он на пути все и вывернет. Фонарный столб свернет. Так и Петр: он ломовик. И Серов это понял, изобразил-то как верно. А над картиной смеялись. Помню, встретил его в коридоре, говорю: «Отлично, батенька!» Он покраснел, обнял меня, поцеловались. В коридоре, в Академии.

А Ломоносов-то о Петре: «И душу нову нам водвинул!» Сук-кин сын! Оттого немцы и бьют, и всякий побьет, кому не лень. Своя-то душа у нас была. А он

водвинул!.. Ломовик! Ну, а за трудолюбие я Петра люблю.

А Серову почему удается: сочетал! Краски-то — женское, рисунок — мужчина. Художнику-то прежде всего мужское полюбить надо.

Глупый ученик, когда рисует, в одно место упрется и знай себе мусолит его. А надобно так: ставишь нос — смотри глаза да на рот, нос сам вылепится. Да и в жизни то же, что в искусстве. Кротами живут. А кругом не смотреть — до срама можно дойти.

Я все ученицу одну в пример ставлю. Молоденькая и голого натурщика мало видела. Рисует вот так-то по частям, как не следует рисовать. И прилежная: раньше всех приходит. Пришел и я как-то пораньше: учеников нет, она одна. Гляжу: ба-атеньки! в непоказанное место уперлась, и уж в целый бурдюк оно у ней выросло. Шагнул к ней. «Нехорошо, говорю, ученики засмеют!» Уж и резинкой я ей тер и белым хлебом...

Барышни-то рисуют больше от безбрачия, рисунок редкая осилит, а краски лучше нас видят: на тряпках да на вышивках у них глаз наметался...

Всегда ровность. Острая зоркость к жизни и такое прочное пребывание в стихии искусства, а через искусство в каком-то непреходящем бытии.

Бытие это так и высвечивало из самых простых его разговоров, создавало особую, каждому близкую мудрость. Дар его великой правды — было вовлечение в свой круг, интимное осязание всего, о чем он думал и что знал.

— Давид-царь какой художник! Псалмы без слез не прочтешь. А ведь Давид дурной болезнью страдал. Я это из псалмов понял: «Воссмердеша и согниша рана

моя!» Дуракам покажется обидно, что я так говорю, того не поймут, что только из большой своей боли этак написать можно, что каждому станет нужно. У каждого боль. А у Давида триста жен по наследству от Соломона было, которая-нибудь и занесла.

Кто-нибудь скажет: «Да ведь отец Давида совсем не Соломон».

— Нет, Соломон. Книга-то у него Екклезиаст. Больше подходит, чтоб он. А в истории наврут, не ответят. Но хоть и с болезнью и с женами — он, царь Давид, — святой. Уж очень художник большой...

А никакого бессмертия человеку и не нужно... когда до умиления дошел. Тогда ему все равно: он сгниет, а мир-то останется. Как я радуюсь, что чужая картина хороша! И всегда всем делиться любил, даже краску удачную найду — нет покою, пока дальше не пущу, хоть кому угодно скажу.

Себе ничего ведь не нужно, когда есть умиление — царство божие внутри. А вот о мужике думаю, как его лучше устроить. Говорят, он свинья. Небось забыли: миллионы гноились в деревне — тысячи гуляли, топтали их, — это мы, образованные! А начальство-то все из правоведения: ну и сволочи!

Кот-то, смотрите, белый был, а по любовным делам сходил — хуже трубочиста. А ведь на кушетку прыгнул, завернул морду в лапы, как в муфту, и спит, собачий сын. Да не гони ты его, бабушка, все равно уж нагадил.

Ведь с самого детства мне все хотелось жить в окне между стекол, стекло особенное такое казалось. И сейчас нравится, я б пожил. Художник-то должен быть сумасшедшим и даже неженатым!

Перспективу я очень любил. Особенно. Ничего еще не зная, всё углы избы рисовал. Поставил столбы, да к забору веревочкой, — и ведь вышло похоже. Везде и во всем *законы* я вижу, вот жизнь-то мне и хороша, да и смерть тоже совсем не то...

И всегда так. И больной и умирающий. И умер — жив. Для него смерть и вправду оказалась совсем не то...

В день именин его, Петра и Павла, сейчас, как и раньше, любимыми цветами его и зеленью украшается дом и не панихиду служат — молебен.

КАК Я ПИШУ

Прежде всего я пишу потому, что не писать не могу. Это необходимость.

После каждой работы только на короткое время испытываю радостное опустошение, но очень скоро опять прихожу в особого рода беспокойство. Оно отдаленно похоже на неотвратимую потребность найти во что бы то ни стало куда-то засунутую и совершенно необходимую вещь.

В своей работе наблюдаю три периода. Два первых условно можно назвать — «геометрический» и «зрительный»; третий — рукописный.

Первые два состояния очень трудно поддаются анализу, потому что хотя они и построены на своей, *особой* логике, она отлична от логики общепонятной. Из собственного опыта заключаю — по интенсивности творческой энергии и по остроте впечатлений, что здесь, вероятно, происходит наибольшая работа *в преодолении материала.* И потому эту, еще незримую работу, предваряющую «рукопись», я считаю у себя наиважнейшей. Состоит же она вот в чем.

Часть «геометрическая».

Из пространства во что бы то ни стало хочется и надо выхватить и со всех сторон отчеканить какой-то объем.

Это особое, ни с чем мне сознательно известным не схожее, чисто *волевое усилие* продолжается до тех пор, пока явится ощущение, что нужный для работы объем есть.

Быть может, вышеописанное состояние — не что иное, как подсознательное определение объема будущего романа или повести. Я не знаю, я только наблюдаю. Едва выхваченный мною из пространства объем, уже не расплываясь, станет в твердых гранях, в моей работе начинается период второй — «зрительный».

Вероятно, оттого, что из всех искусств мне живопись ближе всего (прежде чем начать писать, мне пришлось пройти рисовальную школу), мне и в литературной работе, как для рисунка, стало необходимым идти только «от общего к частному». А героев своих я не слышу, не осязаю, но прежде всего «вижу».

В первых двух стадиях моей работы — «геометрической» и «зрительной» — я еще не беру в руки пера. Я лишь с неослабным напряжением наблюдаю, как наблюдает зритель сцену, в том объеме или форме, которую выхватила и очертила *моя воля*, всю предстоящую мне работу. В этой творческой стадии из *ничего* надо сделать *все*. В зрительный фокус стягивается весь жизненный запас мысли, эрудиции, чувства и воображения. Записная книжка здесь не помогает, а, напротив того, мешает. Она — атрибут «рукописи». Словом, прежде чем приступить собственно к писанию романа или повести,

мне необходимо их предварительно «просмотреть» до конца. В тех случаях, когда у меня не хватает воображения и я вещь не досмотрю на воображаемой сцене, я уже знаю, что, сколько ни бейся, художественной убедительности в тексте не выйдет.

Третья часть работы — «рукописная» — ясна сама по себе. Ее уже легко контролировать. Ее задача — довести возможно ярче до сведения читателя то, что пока известно только автору.

Здесь, мне думается, уместно посоветовать каждому пишущему не только принять к сведению, а каждой фиброй органически запомнить чудесное правило художественного письма, преподанное Флобером Мопассану: возможно меньшим количеством слов, с предельной яркостью и своеобразием давать характер героя, вещи, пейзажа, события.

Технически это, конечно, очень трудно. Главное условие свежести образа — это опять научиться воспринимать как ребенок, как в самый первый раз. Но одновременно с этой детскостью важно и необходимо обладание немалой культурой и вкусом, чтобы делать нужный отбор.

Первый импульс к работе дает мне обычно не книга, а живая жизнь и природа. Так, два романа под объединяющим заглавием «Современники» пришли мне в голову при созерцании огромного пня, который получился от ровной, красивой распилки. На пне очень отчетливо видны были все отложения концентрических кругов — так называемых «годичных». Их все пересекал радиусом от центра пня к его коре «сердцевинный» длинный луч. Изучение этого пня, помню, внезапно помогло мне сформулировать давно необходимую мысль,

«Современниками» обычно называют людей одного времени, объединенных вот этими концентрическими — годичными — кругами быта. И вполне безразлично для определения «современников» — творит ли кто историю своего века или пребывает в ней просто, по гоголевскому выражению, «существователем».

Ну, а если расположить современников только по длинному сердцевинному лучу, который от центра, пересекая все годичные круги, упирается в круг последний — круг сегодняшнего дня?

Не произойдет ли перекличка в веках с нашим сегодняшним днем истории по признакам более важным, чем безразборное сосуществование в одних и тех же годах?

Вот как графика большого пня подсказала мне установку проблем личных и общественных, намеченных историей до нашего времени, но родственных нам.

Отсюда всплыли соответствующие герои и положения в двух романах. Из них осуществлен пока только первый — о Гоголе и А. Иванове. Тему же общественности, связанной с временем Н. Новикова, я еще не могу досмотреть до конца на моей воображаемой сцене, и потому из периода «зрительного» к «рукописному» мне перейти нельзя.

Думается мне, что молодым писателям, помимо необходимых записных книжек и иного накопления точных знаний, в интересах чисто художественной стороны работы необходимо развивать воображение и зрительную память. Они достигаются лучше всего путем творчества из ничего.

О СТЕНГАЗЕТЕ

Из очерка А. Ф. Добрынина «От стены к станку», посвященного переходу стенных газет в фабрично-заводские, мы узнаем, что еще с начала 1928 года эти газеты насчитывались единицами, а уже к апрелю 1930 года в одном Ленинграде их сто пятьдесят пять.

Автор очерка указывает, что качественное улучшение шло попутно с количественным; он же дает перечень всех общественно-политических заслуг заводской газеты. Из этого перечня становится очевидным даже и малознакомому с этим делом, как велико и серьезно значение заводской газеты, этой силы, организующей революционное сознание масс, дающей немедленные, чисто практические результаты.

И спрашивается: в чем может быть выражено участие писателя в этом самодовлеющем аппарате, если и без его стараний его двигают вперед и всячески совершенствуют сами рабкоры?

Но если рабочему от станка гораздо интересней становится его работа после того, как он освоится с орудиями своего производства, то и рабкору для большей

выразительности и действенности его речи необходимо осознать эту речь *аналитически*. Для усовершенствования рассказа, статьи, даже краткой заметки немаловажно обращать внимание не только на содержание, но и на форму, облекающую мысль.

Вот в этой области фабрично-заводской газеты, думается, совет и глаз профессионала писателя может быть не без пользы.

Анализ элементов, составляющих литературную речь, способствует развитию вкуса, чувства ответственности в выборе того или иного слова и, самое главное, дает точку опоры для дальнейших, новых словообразований.

Народ, раньше чем перейти к письменной литературе, творит устную безыменную словесность. Коллективное творчество выражается, как известно, в анонимном создании пословиц, басен, сказок, былин, поговорок. Рабкор в первых шагах своих на поприще писателя бессознательно повторяет процесс, уже пройденный историей.

Первые влияния, сказавшиеся на языке рабкора, — это тяга к народным пословицам, поговоркам, ко всему словесному багажу семейной и бытовой мудрости. Дальше идут воспоминания о выучке школьной — басни, песни, цитаты из русской литературы. Влияние религии становится все слабее и слабее, из текстуально точной цитата снижается до аллегорически бытовой. Еще дальше вливаются новые влияния: иностранная терминология, словообразования, порождаемые перестройкой нового быта. Наконец, как результат усвоенного положения о том, что «без революционной теории не может быть революционной практики», — обилие ци-

тат из книг представителей теории исторического материализма.

Со стороны классификации влияний и составных элементов языка рабкоров нами рассмотрены несколько крупных фабрично-заводских газет с 1929 по 1931 год.

Предлагаемый текст является первой, конечно, далеко не исчерпывающей и не полной, попыткой подобного разбора.

Специалист газетного дела тов. Авдеев («Хозяйство фабрично-заводской печати»), считая, что подбор шрифтов для газеты являлся «основой всего оформления», делает упрек фабрично-заводским газетам в том, что они, идя по линии наименьшего сопротивления, перешли чуть ли не на стопроцентный петит, вместо того чтобы обратить больше внимания на обработку и сокращение рукописей, на изжитие «воды» в газете и «перепевов старого», забыв о завете Ленина: «лучше меньше, да лучше».

Упреки, конечно, основательные, которые надо принять к сведению. Однако и с этим недостатком в большинстве случаев благодаря разнообразию шрифтов и рисунков внешний вид заводской газеты кажется и сейчас полным оживления и выразительности.

Немало этому способствуют лапидарные заголовки и резкие, яркие, как американские рекламы, создающие впечатление целой демонстрации, «шапки» вверху газеты:

12 000 тракторов — во что бы то ни стало
12 000!

Очень скоро является и умение привлекать внимание хитроумной разбивкой на мелкие эпизоды с интри-

гующим воображение подзаголовком, толкающим пассивного читателя на усвоение текста.

Удачно и то, что текст пересыпан карикатурой и рисунком — где одной воздетой рукой с указующим перстом на тот или иной злободневный лозунг, где полнозубым до отказа разверстым ртом, откуда во всю мочь вылетает:

Даешь квалификацию!

Отдельные темы, выделенные прописью, освежают текст и делают страницу веселой:

Тебе, чертежница!

Вообще рисунок, фотоснимок, карикатура, пусть еще несовершенные, но выбранные ловко, к моменту, удовлетворяют потребностям этого момента. Они доходчивей слова:

Гляди, друзья, плакатами
Увешан весь завод,
Словами простоватыми
Зовут на бой вперед.

Рисунки, плакаты, как радио и громкоговоритель, первые «вбивают в миллионы голов» новое сознание. Действие слова глубже, а главное, прочнее охватывает сознание, но зато гораздо труднее добиться настоящего действенного слова, способного стать «полководцем человечьей силы». Тем более трудно это сейчас, когда рабкору надо включить в свою программу по-новому обостренный взгляд художника, отмечающего диалектику явлений.

Рабкор и сам отлично сознает, что для этой цели, то есть для овладения *словом,* ему надо впитать в себя,

между прочим, и опыт старой речевой культуры. Поэт «Красной зари» своеобразными стихами отмечает этот момент:

...не мог я удержаться,
Схватил за хвост коня
Пегаса.
Вцепившись в хвост
Сего крылатого коня,
Умчусь сейчас околицей дороги,
Той дороги,
Где Лермонтов и Пушкин
Всемирный совершали путь.

Желание, конечно, похвальное, но, думается, незачем рабкору, как беспризорнику «колбасой» на трамвае, прицепляться к хвосту хотя бы и Пегаса.

Пегас, чего доброго, брыкнуть может; главное, если прецедентом подобной символической езды, по словам рабкора, ему являются «Пушкин и Лермонтов», то уже не лучше ли, оставив «хвост», поучиться, подобно им, Пегаса «взнуздать». В той же «Красной заре» другой поэт как бы дает программу нового поэтического служения:

...должен стать
рядовым рабочим
«Лит-цех!»
Плюнув в лицо
соловьиным защитникам,
Тарантящим где-то
в обозе,
Станем обычные
мы кирпичи таскать,
Песней на стройке
вколачивать гвозди.

Гвозди вколачивать здоровым молотком, пожалуй, все-таки будет прочнее, но прекрасно и нужно, чтобы

«песня» помогала нашей «стройке». Но для этого поэту мало уметь плеваться, а надо бы почаще твердить себе ленинское: «Учиться, учиться, учиться...»

Деятельность рабкора на редкость разнообразна: ему приходится давать рецензии на театральные представления, статьи, заметки, отчеты, писать сатиры, комедии, торжественные оды, нигде не упуская из виду диалектику явлений, то есть давая текст не пассивно-описательный, а динамический. В каждодневном быту в простейшей форме «противопоставлений» рабкор очень удачно находит для своей газеты выражающее его резюмирующую мысль заглавие. Например: пролетариат ведущий, ударники, герои труда — словом, гордость завода. И полярные им — пьянка, волынка, бузотеры, рвачи и т. д. Последние покрыты «шапкой»:

В семье не без урода.

Другой, не менее распространенной пословицей:

А воз и ныне там,

характеризуются «наши мертвые души», которые «плетутся в хвосте», не могут «раскачаться», «кого дозарезу нужно срочно изжить», «головотяпство», «одернуть зарвавшихся типчиков» и т. д.

В ус не дуют —

летуны, прогульщики, рвачи, рыцари длинного рубля, бюрократы, наплеватели и т. д. Все эти «шапки», заголовки, «гвозди» статей, выведенные прописью, бывают сами по себе нередко удачны и метко попадают в цель. Но, поскольку ведется борьба с «обезличкой», нельзя не досадовать, что остроумие изобретателя осеняет

лишь чье-то одиночное воображение, а прочие пишущие ограничиваются только тем, что чужую удачную «шапку» нахлобучивают на сотни собственных текстов.

Между тем утомительным повторением даже удавшегося определения создается ненужное однообразие, и выдумка лишается своей первоначальной остроты. От частого употребления стирается, как медный пятак, сатирическое жало.

На неисчерпаемую тему «Волокита-матушка» непременной «шапкой» бывает «Улита едет, когда-то будет» и т. д.

Многие пословицы приводятся не точно, с приставкой лишних поясняющих слов, отчего нарушается ценность изречения, замечательного именно своей лапидарностью, тем, что нет в пословице и лишней запятой. Разве удачнее вместо краткого: «На охоту ехать — собак кормить» ослабленное и вялое: «Когда им ехать на охоту, они начали собак кормить». Или вдруг искажение самого смысла: «У семи нянек дитя без глаз». Понимать приходится, что без глаз — органа зрения, между тем как в пословице стоит «без глазу», в смысле — без догляду.

Примеров аналогичных привести можно много. То, что мы обращаем внимание рабкоров на точность приведения текстов, пословиц, цитат из классиков, на недопустимость стряпни из двух пословиц одной и т. п., не должно принимать за мелочную придирку. Присутствие подобных ошибок сообщает тексту неряшливое и малограмотное впечатление. Вообще недопустимо никакое механическое отношение к старой речевой культуре: выхватывание из литературного известного

памятника «на случай» слов и фраз для пересадки на собственный текст, без создания нового *органического* целого.

Так порой использован бывает Некрасов, хотя литконсультанты особенно приучают уважать именно его, как поэта, способного дать «зарядку пламенного бойца».

«Идет, идет зеленый шум», — взывает поэт «Красной зари» на неоригинальный перепев:

Идет волной могучею
В цехах соревнование,
Гудит, потоком катится
По солнечной стране.

Неприятны своим безвкусием перефразировки из Пушкина, Лермонтова и других. Самые слабые *собственные* стихи были бы свежее и лучше на месте каждому памятного начала «Цыган», искалеченного газетным сотрудником:

Фабзайцы шумною толпой
По общежитиям кочуют... и т. д.

Или — «Вожатый есть, чего же более?», еще «Клянусь ударным днем квартала»...

Вообще *вялость* воображения, легкость подражания, вместо усилий собственной выдумки, несут опасность обезлички, приобретения всеми газетами одного общего штампа.

Другая опасность, на которую натыкаемся при обозрении низовой печати, — это своеобразная «уравниловка» — подыгрывание под отсталые группы читателей. Это уже политически вредно и не подходит к ответ-

ственному званию рабкоров. Вот образцы ненужно «сниженной» прозы:

«СОЗНАТЕЛЬНОЕ РВАЧЕСТВО

Т. Константинов, стараясь поднять соцсоревнование на все сто процентов, когда взяли его второго партнера на полтора часа, просидев в уборной это время, ничего не делая, он стал требовать от Резинкина справку на предмет ему оплаты за двух человек».

«СПЕЦ ПО АМУРНО-ЛЮБОВНЫМ ДЕЛАМ

Этот факт далеко выходит за пределы нарушений правил внутреннего распорядка. Амурно-любовные действия завбюро распределения с конторщицей в стенах фабрики — не рядовые шутки на производстве, за которые увольняются рабочие, а удар по нашей нравственности».

«40 ГЕРЛС,
ИЛИ АФРИКАНСКАЯ НАГОТА В 44-м

Чернорабочие вечерней смены ходят в баню в чем мать родила через 44-е отделение, где работают *женщины*, и есть хулиганы, которые не стесняются выставлять себя напоказ, нагло демонстрируя все подробности своей наготы».

После пословиц чаще всего для иллюстрации своего текста фабрично-заводские газеты берут басни Крылова.

Их аллегорические афоризмы выгодно применимы к самокритике и разоблачению.

«Уж сколько раз твердили миру...» — обычно начинает обличитель и, вставив свой злободневный текст, завершает неизменным, а «воз и ныне там». Здесь уже твердые, во всех газетах распространенные штампы.

Так: бестолковщине, головотяпству, всеумению — соответствуют «Лебедь, рак и щука», или в виде «шапки», или картинкой. Бюрократизму, безответственности — «Иван кивает на Петра».

К запаздыванию культработников с учебой текст басни подобран менее удачно. Вместо того чтобы вызвать полную смысловую параллель, текст басни механически перерезан современным словом «учеба», что создает безвкусицу:

«Лето красное пропели, оглянуться не успели, как *учеба* катит в глаза».

От *сказки* рабкору уже помнится не много. Приводится порой традиционное начало: «В некотором царстве, в некотором государстве» и концовка: «Скоро сказка сказывается, да не скоро дело делается». Для обозначения летунов пущены в ход «гуси-лебеди». Для посрамления прогульщиков — «спящие красавицы». Встречается «тысяча и одна... сказка шпульного цеха».

«Красная шапочка» или забыта, или слилась с другой сказкой. Встречается, например, такой текст:

«Глушков, как Красная шапочка, моментально пропал в подземелье». Случается, сказочный стиль перенесен в стихи:

И не в тридевятом царстве,
Не за тридевять земель,
В пролетарском государстве
Время действия теперь.

Или он дается с поправкой: «Не за тридевять земель, а под боком», или с новым толкованием, применительно к злобе дня:

«КОТ В САПОГАХ

Многие из нас знают детскую сказку «Кот в сапогах». Васька-кот важен, горд, задирчив, всему причина у него — сапоги. Появился «Кот в сапогах» и на Путиловском, и звать кота — заводское коопбюро».

В песню и в поговорку рабкор тоже нередко вносит собственную поправку, чаще дидактического характера:

«Эх, дубинушка, ухнем, а то сама не пойдет».

«В тесноте и в обиде».

«Один человек предполагает, а другой... располагает».

Или бытовая поправка: «Кто работает, тот не ест» — потому что не бросает работу для хвоста в столовке.

Поправка антирелигиозная: «Как у бывшего Христа за пазухой». Поправка неосмысленная: «Польза от него, как от козла», между тем как от козла не бывает только молока, а пользы немало.

Отрывки из песен чаще всего встречаются как заголовки хозяйственно-обличительных текстов:

«Ничего в волнах не видно...».

«Провожали — руки жали, проводили—позабыли...».

Есть строчки из цыганских романсов:

«Эх, раз, еще раз, еще много раз...»,

«Кого-то нет, кого-то жаль...»,

Сказываются и культпоходы в театр. По характеру цитат из «Евгения Онегина» можно заключить, что знакомство с Пушкиным идет не от книги, а от оперы: обличительны в этом смысле арии: «Куда, куда вы удалились...» или «Что день грядущий мне готовит», «Слыхали ль вы певца любви».

Старая политическая песня, в общем, забыта. Цитируя связанную с известным разгоном демонстрации студентов против Казанского собора популярную песню: «Нагаечка, нагаечка, нагаечка моя, попомнишь, попомнишь ты 8 февраля», — рабкор делает сразу две ошибки, определяя эту песнь «народной» и созданной в память 9 января.

С развитием заводской газеты множится и словесный багаж рабкора. Для своих внутризаводских нужд он черпает уже материал не только из устной народной словесности, даже не из басни, а, применительно к моменту, из поэта, близко стоящего к народной песне, — Кольцова.

Употребителен прием брать из него для антитезы «проклятому прошлому»:

«Сяду я за стол да подумаю,
Как на свете жить одинокому,
Нет у молодца друга верного,
Бороны-сохи, коня-пахаря.

Это из хрестоматии. В детстве нас заставляли изучать эти стихи Кольцова о крестьянской доле. Безрадостной, безнадежной доли единоличника. Сидел молодец у стола и думал, а за окном жалобно выли пурга и волки.

Но что мог придумать молодец без лошадей и нищий? Что мог придумать русский мужик, закабален-

ный, стиснутый и обобранный кровопийцем-барином...» и т. д.

Картине этого проклятого прошлого противопоставляем современную:

«Сели за стол, чтобы подумать, — директор подшефного нам Вешненского зерносовхоза, помощник директора и весь совет совхоза. Сели они, чтобы подумать, как помочь провести весеннюю посевную кампанию окружающим колхозам...

Сидели за столом, думали, обсуждали, выработали точный план и смету.

И, когда наступит весна, тридцать девять тракторов «Интернационал» выедут разворачивать дедовские межи.

Пусть песен еще не сложили, но песенною стала жизнь» («Красная заря», 1930, № 23).

Пушкин, как было указано выше, встречается больше «из оперы». Или перефразируется применительно к случаю:

Он и пахарь, он и плотник,
Он и первый на селе работник...

Прибежали в избу дети,
Второпях зовут отца:
— *Батя, батя,* наши сети
Притащили мертвеца.

К стихам иллюстрация: «мертвец в сетях» — сельскохозяйственный прорыв. Ноги мертвеца — «простой» и «делячество».

Подошвы — «прогулы» и «брак».

Картинка не без остроумия, но для чего надо было заменять избранное Пушкиным «тятя» — «батей»? Словечко «батя» — мещанского говора.

Смысла эта замена, правда, не нарушила, но небрежность по отношению к Пушкину недопустима.

Лермонтов встречается не часто. Неосновательных хозяйственников одергивают «шапкой»:

Без руля и без ветрил.

Внутренние разногласия подытоживаются:

Был великий спор.

Под картинкой со спящим безбожником и кадящим над ним попом подписывают: «Спи, безбожник мой прекрасный» и т. д.

«Горе от ума» известно оттого, что шло в театре, но цитируется редко, и то одна фраза: «Ну, как не порадеть родному человечку...»

Под несомненным грибоедовским влиянием такой заголовок:

Пупинское радение

в смысле отеческого расположения некоего Пупина к своим родственникам.

Из прозаиков-классиков больше всего известен Гоголь. Больше того — он совершенно вошел, слился с заводским бытом и упоминается уже без всяких ссылок и пояснений.

«Мертвые души», «Хлестаковы», «Держиморды» и многие другие персонажи «Ревизора» идут как нарицательные и всем близко знакомые. «Балтиец» окрестил «потомством Акакия Акакиевича» всех «принципиально не подписавшихся на заем». «Большевик» проводит параллель: «Как в груде вещей на столе у Плюш-

кина, так в СНБ затеряли заграничный видиевый инструмент».

Есть целые эпизоды на гоголевскую тему: «Красный путиловец» сообщает: «Недавно осуществилась фантазия одного нашего русского фантазера — Н. В. Гоголя. В завкоме повторилась миргородская история с грамотой. Среди бела дня, при всем честном народе в канцелярию завкома вламывается какая-то свинья и вырывает из дела протокол...» и т. д.

Какой-то мастер «опасался оказаться в позе унтерофицерской вдовы».

Подобно «Мертвым душам», повезло и «Обломову». В каждой из больших заводских газет ежегодно по многу раз встречается:

Против обломовских темпов,
Выгоним обломовщину,
Партийные обломовы.

Из Щедрина известны всего больше «пошехонцы».

«Когда Салтыков-Щедрин писал о пошехонцах, в трех соснах заблудившихся, он, конечно, не имел в виду наше заводоуправление, и вот, живи старик в наше время, он, безусловно, написал бы после «Пошехонской старины» — «Балтийская Пошехония». Уж очень благодарный материал для стариков. Пусть бы люди *блудили* в трех соснах, тащили бы коров на крышу пастись — но не дезорганизовали бы работу завода» («Красная заря»).

«Балтиец»: «...у Салтыкова его знаменитые пошехонцы, как известно, долго *блудили* в трех соснах» и т. д.

Авторы этих выдержек, как видно, отлично усвоившие смысловое значение приводимых литературных ссылок, не усвоили разницы между глаголами «блуждать» и «блудить».

Из Чехова наиболее часто упоминается «унтер Пришибеев», видоизменяясь порой в Пришибаева.

Поминается и «Человек в футляре» («заведующий организацией по подписке на газету чиновник в *футляре*»).

Охотно подражают Есенину из его популярной лирической темы «Письма к матери». Одно из трех «Писем», вызванных оригиналом, приводим из «Красной зари» 1929 года:

...Я на шашку ручник променял.
Что ж ты клонишься низко головкой,
Что ж печалишь свой милый овал?
Не топчи же в раздумье бурьяна,
Мне не так еще много лет,
Все равно я когда-нибудь стану
Настоящий печатный поэт!

Возможно, что автор приводимых стихов станет «печатным», но, упражняясь на подобных подражаниях, поэтом стать *мудрено*.

Цитаты из Горького встречаются редко. Есть выдержка из ответа его «Красной заре», которая предложила ему стать почетным рабкором и приглашала в гости на чашку чая.

Анкету Горький заполнил, обещал, что скоро будет, «пугает только зарубежная печать, которая пишет, что в СССР трое носят одну пару брюк и чай пьют двое из одной чашки с отбитой ручкой».

Еще в «Красном путиловце» за 1929 год: «Если вспыхнет война против того класса, среди которого я живу и работаю, я тоже пойду рядовым бойцом в его армию».

Кроме вышеупомянутых, другие писатели поминаются совсем редко и мало. Особенно это удивляет по отношению к Островскому и Л. Толстому. Фонвизин поминается в «Красной заре», там же с переделкой Жуковский: «Раз в крещенский вечерок дедушки гадали».

Лев Толстой: «От ней все качества» («Голос рабочего» и «Красный путиловец»).

Островский: «Чего моя нога хочет («Голос рабочего» и «Красный путиловец»).

Кузьма Прутков сказал, «что, ежели на клетке с попугаем написано — слон, не верь своим глазам» («Красная заря»).

Рассказ *Чехова,* приписанный Короленке, применяется не без педагогической язвительности:

«У Короленко есть рассказ «Каштанка», в котором барского ребенка, боготворимого матерью, и деспота прислуги, Трилли, кормят обедом, причем все кланяются, упрашивая выпить ложечку молока...» И мы, мол, должны так же упрашивать неграмотного ликвидировать свою неграмотность («Большевик», 1930, № 1).

Влияние прочитанных книг по русской истории сказывается на тексте всех фабрично-заводских газет. Охотно цитируют «Земля наша велика и обильна» и т. д., откуда сокращенное «без варягов».

Нередко встречается: «Зав, себя мнящий Иваном Грозным», или он же уходит «с видом Наполеона». Выпивка мастера сравнивается с «обильной выпивкой

по образу и подобию удельной Руси, справлявшей тризну по *любимому человеку».*

Реже встречаются следы знакомства с древней историей и мифологией, и то в одной «Красной заре».

«Пегас», «Парнас», «Нимфа из намоточной», «Дела и дни нашей ячейки почивают на лаврах», «Ахиллесова пята помзава».

Любопытны и по большей части удачны в языке рабкоров новые глаголы и слова, не поддающиеся точному определению и склонные изменять смысловые оттенки. Из них прочно вошли в новый быт — буза, бузить, бузотер.

Совсем еще недавно, во время войны, слова эти (произведенные от плохой восточной водки «буза») обозначали *дешевку, последний сорт, дрянь.* Сейчас это слово уже обозначает хулиганство, фронду, агитацию против трудовой дисциплины. В ином тексте — даже контрреволюцию:

«Бузотер, подмочивший свой клеш во время Кронштадтской волынки» («Красная заря»).

Смыться, смотаться — в смысле исчезнуть, удрать:

Чего бы мне избрать —
В Крым ли ракушки сбирать,
Или на Каспий смотаться?

«Неувязки» и «неполадки» — совсем недавние слова. Об их тонком различии остроумно писал в «Красной заре» Зощенко, впрочем, в конце резюмируя, что хоть эти два слова и обозначают разные вещи, но, по существу, «хрен редьки не слаще».

Новые слова заслуживают особого изучения и разбора, как отражающие с сатирической лапидарностью

новый быт. Они растут с каждым годом. Пол-литровка, подкулачник, стенновка, шамовка, тошниловка, барахолка, духовик (духовой оркестр) и т. д.

Слово «побудка», к сожалению, упоминается как производное не от глагола *побуждать*, как бы ей полагалось, а от неправильно понятого «будировать» — в смысле: подстрекать, толкать. Неправильность эту разъяснил еще Ленин, но она так прочно прижилась в языке, что встречается сплошь и рядом в фельетонах больших газет. Для сведения рабкоров напомним еще раз, что «будировать» происходит от французского глагола «дуться», а значит, обозначает противоположное подстрекательству состояние — пассивное. Можно сказать — такой-то будирует (затаенно недоволен, фрондирует), а не «будем *будировать»* или «сделаем побудку» в таком-то отсталом цехе.

Рабкор любит для иллюстрации злобы дня прибегать к животному символизму. Помимо общеупотребительных, издавна вошедших в бытовой язык зверей крыловских басен, на заводах создалась своя, новая зоология. Так, местный донжуан, «ухажер» прозывается «павлин». Товарищи, уличенные в комчванстве или служебной спеси, — «индюки». Лгуны — «зайцы с хвостом в два аршина». Самонадеянные комсомольцы, набившие руку без подготовки делать доклад на любую тему, — «комсопопугай». В большом ходу «крокодильи слезы», «лисьи хвосты», «во все воронье горло» и т. п.

Иные рабкоры имеют особое пристрастие к переведенным с иностранных языков пословицам, поговоркам, «трудным» словам и просто таким, которые приводящему их автору ложно кажутся остроумием.

Например: Фон-барон, мерси вам, а результат таков — тре маль. Не договоры... а пляска св. Витта. Бум на всю коммутаторскую. Они итальянят и льют воду на мельницу врагов. Кланяюсь всем прочим *антрикотам.*

Пристрастие некоторых авторов к иностранным словам вызвало в «Красной заре» сатирическое произведение:

«ИНОСТРАНЕЦ

Если бросить ретроспективный взгляд на промышленность, то ее аккумуляция равна такой ассимиляции, что через пять лет мы будем иметь индивидуализированные эффекты с большими стабилизированными объектами и реляциями».

И примечание: «Примерно на таком языке занимается словесной физкультурой агитпроп первой цехячейки».

Цитаты, вошедшие в русский язык из церковных книг, уже встречаются не часто. Поясняется в «Большевике» это следующей причиной:

Наша церковь — новый быт,
Трезвый и здоровый,
Рай в коммуне трудовой,
Жизненной, веселой.

Однако отдельных слов и выражений, связанных с культом, очень много, подчас в довольно оригинальной ассоциации, как, например:

«Проволока — как Ева, голая, без эмали».

«Голос работницы» (1930, № 25) поместил целый иронический обзор на тему «религиозных навыков»:

«Прости господи, напугала ты меня. Когда это было? Дай бог памяти, не то в покров, не то в успение, не то в спасов день...»

«Эти партийцы боятся безбожного союза, как черт ладана. Упаси бог, чтобы я в бога верил, ей-богу, не верю в бога» и т. д.

Для полноты этого далеко не всестороннего и беглого обзора надо сказать, что, кроме бессознательных, органических речевых влияний — семьи, школы, производственного и нового революционного *быта,* язык рабкора подвержен и влияниям сознательным, связанным с усвоением революционной *мысли.*

Первым и главным учителем рабкоров является Ленин. Его жизнь, идеи и труды. Афоризмы Ленина, выдержки из его статей — большие и малые — красной нитью проходят в тексте всех фабрично-заводских газет, каждый рабкор знает, что «слово — великое орудие. Всякий пролетарий должен свободно владеть словом. Слово — это стрела самокритики. Слово — искра, способная вызвать взрыв».

В ПОРЯДКЕ МЕЧТЫ

I

Как-то на днях пришлось мне наблюдать следующее: вошла в трамвай молодая мать с двухлетним весельчаком на руках и заняла положенное ей первое место. Мать объявила с гордостью, что весельчака зовут Ким и что он едет в самый первый раз.

Трамвай тронулся. Ким, едва глянул в окно, так и зашелся. Вместо улыбки до ушей — на лице ужас и крик благим матом: «Хлоп домá!»

Ребенку, в первый раз ехавшему в трамвае, почудилось, что, если дома двинулись с мест, они вот-вот упадут.

Этот Ким вскоре успокоился на том, что дома при движении трамвая не падают, а бегут, а мне его внезапное волнение явилось подсказкой одной формулировки: что есть самое главное, самое центральное для понятия чисто художественной квалификации нашей литературы?

Нужна вот такая сила, такая яркость восприятий, как у ребенка перед явлением, не ставшим ему еще буднями. В работе над словом самое трудное и тонкое качество — становиться у источника первым. Пить

пусть из собственной пригоршни, но никак из чужого ковша, будь он из «толстовского музея» или «пушкинского дома».

Литературное произведение, не отмеченное «лица не общим выражением» или подражательное, не должно считаться художественным. Оно неполноценно. Если в нем не свои слова, не свой ритм, как бы замысловато ни была вышита тема, вещь вскормлена не своим, а чужим иждивением.

Эмоциональный разряд веселого Кима на его первую встречу с новым явлением напомнил мне о необходимости развития этой первичной силы и у того, кто хочет иметь звание художника.

То бесклассовое общество, к которому мы стремимся, признавая его лучшей жизненной формой, на механических началах построено быть не может.

Механистическим в нашем словесном деле является произведение, чей автор — иждивенец чужого творчества.

И принадлежность к художественному слову справедливо равнять по признаку, который иметь необходимо, зовется писатель очеркистом, романистом, фельетонистом.

Этот признак — наличность *своих* глаз и слов, *своих* встреч с людьми и миром. Наличность собственной пригоршни вместо чужих ковшей.

II

Писатель, затративший немало сил на свою работу, имеет право желать, чтоб и читатель его не «почитывал», а прочел.

Понятия писатель и читатель — как еще многое — требуют пересмотра. И прежде всего с читателя надо снять безответственность ложной скромности: между нами-де пропасть! Пропасти нет. Писатель берет свой материал и язык от читателя, который, в свою очередь, осознает себя до конца только в художественном воплощении.

Наши крупнейшие литературные типы, как известно, не бесплотные фантазии, а лишь воедино собранные, воссозданные в целое отдельные черты современников. Они же — читатели.

Писатель никак не может быть выделен из жизни общей, ведь даже в старых хрестоматиях писалось, что он «выражатель лучших, невысказанных запросов» этой жизни.

Пропасти между писателем и читателем нет. Они сделаны из одного теста. И не расстояние между вершиной и подножьем их разделяет, а лишь отдаленность по той же линии.

Протянем знак равенства и дальше. Если писатель затрачивает всю свою силу, чтобы работу свою написать, то обязать потрудиться и читателя, чтобы у него с этой писательской работой вышла не формальная, а *творческая встреча.*

Это такая встреча, где читатель из пассивного слушателя превращается собственными усилиями в полноправного участника творческого волнения писателя.

Наилучшим укором в отсутствии нужного пыла и пробужденности чувств для творческой встречи со стороны читателя и сейчас звучат одни замечательные стихи. В них говорится о той муке, с которой поэт обре-

чен ловить «птицу» своего вдохновения, а читатель — равнодушно созерцать ее, уже заключенную в клетку:

Любите вы под окном постоять?
Песни вам нравятся? Я же, измученный,
Нового жду и тоскую опять.

Справедливость требует заявить, что у писателя с *новым* читателем теперь все чаще случаются встречи не формальные, а творческие. В подобных встречах, в ответ на прослушанную вещь автора, читатели уже не грохают, как бывало, справочным голосом:

— А сколько именно времени вы это писали?

Если же среди слушателей случится управдом, который все еще не утерпит, спросит, что ему ни прочти: А какова была за эту вещь зарплата? — на управдома дружно зацыкают.

В заключение выражаем пожелание к Первому Всесоюзному съезду писателей, чтобы все писатели были художниками, чтобы все читатели сделались птицеловами.

«НАДЕЮСЬ, ЧТО ПЕТИТНЫХ КРИТИКОВ НЕ ОСТАНЕТСЯ...»

Товарищи, я скажу только два слова, при этом в конце концов — деловых и почти хозяйственных.

Я могу беспристрастно говорить о критике, потому что я не имею ей ничего предъявить. Я существую как писатель только благодаря семнадцати написанным мною книгам и наличию читателей. Критики у меня нет, так что я могу говорить беспристрастно. Но перейдем к делу.

Это неправильно, что во всех нападениях на критику мишенью является какой-то обобщенный *один скверный* критик. Необходимо ввести корректив: есть критики хорошие и есть критики плохие. Всем ясно, что это совершенно различные ценности. Что такое хороший критик? Я не хочу называть имен. Я буду говорить о качествах.

Хороший критик — это вовсе не дополнение писателя, не прикладная какая-нибудь величина. Он существует сам по себе. Это — писатель, который имеет такое же творческое хозяйство, как и писатель-художник,

но у него превалирует над всеми качествами *суждение*. Он умеет мобилизовать гораздо скорее, чем художник, свои творческие силы, и они более подчинены его сознанию и воле.

Вторым качеством хорошего критика я считаю присутствие в нем некоего камертона в виде абсолютного слуха на нарушенную, простите, старое слово, *гармонию произведения*.

Эти два необходимые качества — самостоятельность суждения и тонкое восприятие фальшивой ноты — за собой тянут и все другие: *способность видеть, слышать, владеть образом*.

Если критик полноценен, он равноправен писателю. Он должен печататься большими буквами, как печатают беллетристов. Мне представляется это страшно важным обстоятельством. Нельзя всех критиков почему-то загонять в петит.

Правда, есть другой сорт критики, состоящий из рецензентов, подходящих без собственного капитала к писателю. Работник этого сорта обладает вместо только что описанного багажа лишь одной низшей способностью: *глотания*. Он подходит, как пустой мешок, и проглатывает писателя. Затем он его выбрасывает, ничего к нему не прибавляя от себя.

Он хватает писателя, как резвый мальчик — бабочку. Мальчик зажимает бабочку в кулак, ее драгоценная пыльца пропадает, остается один каркас.

Эти жалкие остатки подчас большой работы писателя плохой критик петитом выбрасывает в журнал. Вот такой критик пусть при петите и остается!

Это и есть то хозяйственное предложение, которое я хочу ввести: для хорошего критика — крупный

шрифт, петит — плохому. Предложение немаловажное: оно создаст в среде критиков соцсоревнование, и сама собой произойдет дифференциация. Выражаю надежду, что петитных критиков не останется вовсе.

Еще два слова к хорошим критикам от лица писателей: товарищи, не будьте торопливы в оценках. Это — по отношению к молодым, потому что мы... что же, мы все равно будем писать! А вот молодые — это очень серьезное дело! Ведь потом придется грехи критиков нам, писателям со стажем, расхлебывать.

Профессионал писатель *не может не писать,* что бы ни говорила или как бы ни молчала о нем критика.

Но вот, например, начинает молодой, который и сам не знает, писатель ли он. И вот критика относится к нему как к своему материалу, то есть со страшным неуважением, моментально его возносит и объявляет «талантом». Критик даже не посмотрит, что есть у молодого за плечами. И точно ли его стихия — *слово.*

Нужно, чтобы за плечами молодого была накоплена собственная критическая сила и невероятное чувство своей работы, чтобы преодолеть эту первую похвалу, на нее не оглядываясь.

И еще последнее слово: критики должны поднять свой *критерий* оценки писателя. Есть ведь тоже писатель — и «писатель». Один *открывает* новые земли, другой всего лишь в них *поселяется.* Один подходит совсем по-новому и к материалу и к теме, у него огромная работа, незримая, заполняющая все его 24 часа. Другой приходит и списывает с первоисточника. Он становится без всякой работы у открытого не им источника.

Для публики и даже для большинства критиков это качественное различие незаметно. Между тем только оно определяет удельный вес художника. Здесь уже мы — писатели — являемся оценщиками. Здесь мы не ошибаемся, у нас тоже есть свой камертон.

Критики, требуйте, чтобы писатель был художником!

ЭРНЕСТО РОССИ

Это было в Москве, в девяностых годах, и, кажется, в последний приезд его в Россию перед смертью. Труппа у знаменитого итальянского гастролера была летняя, набрана из случайных мелких актеров, довольно невежественных. Они усвоили крепко одно: едут в страну вроде как варварскую, с зверской историей, с неслыханно чудовищным царем Иваном Грозным. Этого царя должен был играть Росси.

Зритель повалил. Однако отнеслись с недоверием, шли больше для проверки мировой репутации гастролера и в надежде посмеяться, как итальянцы будут ломаться, разделывая русских бояр. Надежды оправдались, смеяться пришлось.

Бояре вышли на пустую сцену как стадо баранов; теснясь друг за друга, искали пугливыми взорами Иоанна. Все делали одно и то же забавное движение, которое, казалось им, должно быть очень русским.

Бояре всей рукой забирали длинную, плохо навешенную бороду и оглаживали ее далеко книзу, как это делают доярки на скотном дворе с сосцами коров перед

дойкой. От времени до времени бояре рекомендовались Борису Годунову, чтобы он доложил царю об их приходе.

— Ля думма тутта... — бормотали они, — буояри тутти...

Это означало в переводе: вся дума... все бояре.

Борис Годунов заучил твердо одно: он честолюбец, злодей, а потому, едва увидел пустой царский трон, на минутку быстрым итальянским движеньем присел на него и жгучими честолюбивыми глазами изверг молнии. Это означало, что он хотя бы ценой преступления, но завладеет русским престолом.

Публика грохнула смехом. Было и смешно и досадно, что Росси позволяет себе так мало нас уважать, что привез столь дурацкую постановку именно русской пьесы. И уже не было доверия, что он сам своим появлением будет в силах зачеркнуть неудачу своей труппы.

Текст показался изломанным режиссерским нагромождением выходов с бесконечным топтаньем всей *думы*, то есть бояр, усердно доивших свои бороды, и канканно-неправдоподобной резвостью русской царицы.

Зритель потерял терпение: кругом возмущенье, смех и шиканье. Требовали деньги обратно, бранили Росси.

И вот, при таком настроении зрительного зала, распахнулись двери из опочивальни Грозного, и, пятясь раком, от подобострастия тряся бородой, как козел, дьяк открыл шествие, держа в руках какую-то грамоту.

Росси показался, и театр онемел.

Нет, это не был итальянский актер, прославленный такими-то ролями, это вышел стремглав, как бы с раз-

бегу, показавшийся высоким, безмерно утомленный старик, с длинными, плохо расчесанными волосами желтоватой седины.

Хищный нос, ястребиный взгляд. Он перещупал глазами утонувших в поклоне бояр и перед троном вдруг остановил свой разбег, как бы споткнулся. На лбу его стало заметным красноватое пятно, он его только что натрудил земными поклонами. Вообще старик продолжал еще жить той особой жизнью, которая протекала у него в опочивальне, перед киотом, с раскрытой на аналое распухшей от древности большой священной книгой.

В открытой опочивальне чернело на полу сброшенное царем монашеское одеяние. Скуфейку, сдернутую с головы, он крепко зажал в руке. Он молился, его прервали.

Конечно, это он сам дал гневный приказ нарушить даже его молитву, если произойдет нечто, жадно им ожидаемое, важности для него необычайной, если прибудет гонец от князя Курбского, изменника и личного врага. Быть может, еще минуту назад Иоанн каялся в особо страшных убийствах, молитвой пытался прогнать тени умученных им бояр, о холодный пол бился высоким лбом с прорезанной между бровей грозной морщиной, вот набил его до багровых пятен... быть может, рыдал злым рыданьем без слез. Глаза его были красны, взор отчужден.

Все существо Грозного не участвует в полученном им известии, он только едва угадал, что пришел ответ от злого ворога. Угадал по немотствующим губам поглупевшего от страха дьяка, когда тот без доклада, как было приказано и отчего душа ушла в пятки, вошел в

опочивальню. Дьяк трепетал: он на минуту осмелился быть свидетелем того, как царя мучила совесть, как самому богу царь рычал о прощении.

Иоанн догадался, с чем вошел к нему дьяк, но полностью не охватил события ни сознаньем, ни чувством. Однако он скомкал в руке скуфейку и стремглав вынесся вон. Прежде всего ему надо было физически выйти из состояния молитвенного покаяния.

Иоанн подошел к трону, выпрямился, застыл. Засаленный подрясник сразу стал на нем маскарадным. Уже не страдающий от укоров совести, уже не согбенный покаяньем старик — грозный царь холодно глянул на бояр, одним движеньем руки вымел их вон из палат. Коротким, небрежным кивком как бы вытолкнул подошедшую было царицу. Безмолвно, глазами приказал дьяку подойти ближе.

И вдруг опять по-стариковски, охваченный горем и слабостью, рухнул на трон, обронил зажатую в руке скуфейку, упал на руки головой. Страдал...

На минуту опять это был только старик, насмерть раненный борьбой с безумием и болезнями, сраженный горем по убитому своей рукой сыну.

Пришел в себя, во всей полноте понял событие, которого ждал, — пришел ответ от Курбского, «послание, полное яда». Опустил руку на ручки кресла, поднял лицо, оно было без взгляда. Собирался с силами, чтобы выдержать собственный ужасный надвигающийся гнев.

Первые заговорили руки, пальцы обеих рук. Они были как у ястреба, они, казалось, кончались когтями. Унизаны перстнями, худые, с надувшимися жилами. Пальцы дергались непроизвольно, как в судороге у смертельно раненного хищника-орла.

Пальцы скребли бархат, сжимались с неестественной силой в кулаки, словно пытались кого-то раздавить. В пальцах был приговор. Уничтожение.

— Читай... — хотел царь приказать дьяку, но от прилившей ярости вместо слов вырвался хрип, столь повелительно-страшный, что дьяк уничтожился. Маленький плохой актер, охваченный отраженным вдохновением актера гениального, он вдруг сам заиграл хорошо. Дьяк, нарочито бесстрастным голосом смазывая цветистый яд красноречивого послания князя Курбского, только что привезенного гонцом, уже преданным в когти Малюты, трусливо косился на Иоанна, готовый принять смертный свой час.

Грозный вдруг вырвал у дьяка грамоту таким жестом сумасшедшего произвола, как мог сделать только он один, и сам стал читать письмо Курбского.

С интересом писателя-профессионала, на миг охваченный бескорыстным чувством предвкушаемого наслаждения чужим талантом, хотя бы и злейшего врага, Иоанн пробежал несколько строк послания Курбского.

Оторвался. Внезапно вспомнил нечто, сейчас важнейшее, и с деловым самообладанием спросил дьяка:

— Не осталось ли у Курбского здесь в живых кого-либо из родных, друзей, близких?

Дьяк с угодливой радостью заверещал, что царю угодно было переказнить всех до одного.

Иоанн затрясся, зарылся всем лицом в грамоту, зашептал в ярости...

И с новой надеждой дьяку:

— Может, остался кум... сосед?!

И полумертвый дьяк:

— Всех.., ты всех казнил.

Иоанн сдержал нечеловеческую злобу, расправил скомканное послание Курбского и уже спокойно, с царственным величием приказал дьяку не трястись от страха, а читать, не пропуская ни слова.

Всю эту сцену Росси провел почти одной мимикой, без текста, междометием, порой взмахом бровей, жестом — словом, теми первыми, общепонятными средствами, какими создавалось общение людей друг с другом.

УЛАНОВА

Уланова танцевала в балете «Жизель».

Тема балета может быть сказана в двух словах, она стара как мир: обольщенная девушка, узнав о коварстве возлюбленного, сошла с ума и умерла от любви.

Это *вечная* тема, которая может быть содержанием любого бульварного романа, но также и содержанием гетевского «Фауста».

Уланова расширяет взятый образ до синтеза, до обогащения его всем философским содержанием, им порожденным. В ее совершенном овладении ее движение-танец — лишь своеобразное, по-новому свежее и могучее средство выражения искусством до последней глубины поднятой жизни.

В первом акте балета роковая завязка — встреча совсем простенькой лесной девочки с красивым парнем. Какая свежесть и искренность Жизели в непосредственности, в угловатости девичьих рук! Почти подросток, еще не забывший шалости, но вот эта встреча с ее суженым — и любовь, единственная, предрешенная, роковая, как у Ромео и Джульетты.

И сразу танец Улановой — не только история какой-то Жизели: как в фокусе здесь воскрешена вся *первая любовь,* воспетая большими поэтами. Встают рядом, обогащая образ, и Гретхен и Татьяна...

Вот еще за миг они не знали своей судьбы, но мгновенное появление Фауста, Онегина, обмен взглядами, рукопожатием — и великая роковая встреча произошла. Как не важны слова при таком *узнавании.*

Искусство Улановой подлинно. Это искусство облегчает зрителя, и кажется, как это бывает только при совершенстве художественного наполнения образа, что у исполнителя нет роли, что на сцене не идет представление, а протекает живая жизнь, существование, которое начинается и кончается не здесь, на подмостках.

Только по какому-то волшебству здесь, на глазах у всех, это существование раскрывается зримо, всем понятно, но углубленней, умней и сложней, чем зритель сам может увидеть.

Танец Улановой полон лирики и обреченности, которые имеют глубокие органические корни.

Жизель — простушка, но одарена мудростью зрения. Она не видит вседневность мелочно и расчетливо. Она не понимает, не верит, когда лесничий предостерегает ее от коварства нарядного парня, — ведь она с своим чувством торговаться не может, им поглощенная. Рядом с такой полнотой, какую знает она, для нее пошлость — бессмыслица. Жизель не верит пошлости.

У великих лириков женщина в своем окончательном завершении обречена одиночеству. Она уже вышла из категории *дополнения,* и хотя она умеет любить без

меры, но она существует в собственной цельности, и потому тот *он,* кому она уже ровня, ей неизбежно и легко изменяет.

Так Данте, рыдая, кается Беатриче:

«...вещи, с их лживыми радостями, отвратили мои шаги, как только ваше лицо скрылось».

Так говорит Блок:

И мне, как всем, все тот же жребий
Мерещится в грядущей мгле:
Опять любить ее на небе
И изменить ей на земле.

Доказательства неоспоримы: возлюбленный Жизели — переодетый граф, который для удобства амурных похождений надел костюм крестьянина. Указана и невеста его — девица придворного круга. Жизель видит наконец своими глазами, как граф целует руку этой невесте...

Как внезапно произошла одержимость любовью, так же молниеносна неотвратимость удара — крушение всех надежд, смысла жизни, самой возможности жить. Мир воображаемый рухнул, перед глазами бездна. Жизель тут же на празднике, в присутствии владельцев замка, жениха, одновременно своего и чужого, и всех нарядных гостей, сходит с ума.

Уланова мчится по каким-то Дантовым адским кругам, испытывая все оттенки страданий чувства, могучего и поруганного. Мгновенные вспышки надежды на краткий миг останавливают этот бег. Вот опять она девочка, она еще не знает любви. Вот она его встретила...

Опять тема невольно обогащена романтикой знаменитых образов: звучат слова нежной жалобы Гретхен, стоит молча Татьяна.

Жизель дрогнула, ужасное сознание действительно происшедшего разрывает ей сердце, от боли разрушен разум. Новые круги безумного бега все шире, все неистовей. Как волны гневного моря, движенье захлестывает все вокруг...

На самом же деле Уланова чуть касается бледными пальцами недвижных, обступивших ее в ужасе гостей.

Уланова выражает движением до нее невыразимое, то, что могла дать разве музыка.

Разговор ее рук — совершенство вкуса и меры: без суетности, только самое необходимое. Точное, яркое, зримое. Только неизбежность сделать движение внутреннее внешним, довести его как жизнь, как дыхание до зрителя.

Последний акт происходит на кладбище с разверстыми могилами, с целым отрядом покойниц, вышедших из гробов, в белых кисейных платьях и увенчанных гирляндами цветов.

Балерина, заведующая этим выходом из гробов, воскрешает покойниц, трижды простирая над их могилами свой жезл. Вот простерла его над мрамором, где стоит имя — *Жизель*.

Из отверстой могилы возникает прекрасная статуя. В последнем, отрешенном от мира покое на груди скрещены руки. Оцепенелость, такое погружение в себя, что, несмотря на музыку, ощущаешь глубину безмолвия. Веки плотно опущены, она не дышит.

Волшебный жезл коснулся сердца — распахнулись веки, распались бессильно руки, но взгляда еще нет.

Новое прикосновение воскрешающего жезла — вздох, блеск глаз, пробуждение. Жизель ожила.

Как бабочка, только что вышедшая из темницы кокона на свет, она встрепетала, вспорхнула, полетела...

Тут просто чудесное в танце Улановой. Чуть касаясь носками земли, она в опьяненье, в экстазе от полученной снова жизни, в своем воздушном многообразном полете совсем *одна* как бы заполняет всю сцену. Ничего, кроме ее легкого, трепетного тела, а как впечатление богато полнотой!

У нее следующий полет не уничтожает предыдущего, полеты будто сосуществуют. Эти молниеносные мелькания в своем пересечении зачеркивают закон времени. Мертвая ожила, и сам воздух дрожит жизнью.

Когда механизм на лету подхватывает изумительное пластичностью тело еще выше, когда проносит его над головой оцепеневшего от восторга и страха возлюбленного, с поздним покаянием пришедшего на могилу Жизели, кажется, что взлетает над его головой Уланова *одна,* только собственной силой.

Совершенный художник, Уланова на простой, вечной теме дает глубину всей женской судьбы.

Девочка, девушка, женщина счастливая и разбитая, наконец последняя зрелость женского чувства, последнее его бескорыстие — уже только дающего, а не берущего для себя — женщина-мать.

Эти руки ее, когда пропел петух и она превращается в труп и опять должна уйти в землю, — верх мастерства. Само тело уже недвижно, голова без силы откинута, жизнь оставляет. Но руки цепляются за любимого, охраняют его, они ослабевают последние. Только

что соскользнули бессильные руки, теперь одни только пальцы еще живы... благословляют.

Уланова говорит нам совершенно новое слово в области движения.

Если движение, как у нее, найдено в совершенстве, если нет ни одной мертвой точки в пластике, если так необычайна гармония между возникновением и передачей эмоции, то язык тела может быть убедительней, глубже и тоньше, чем *слово*.

ЧАЦКИЙ И СОВРЕМЕННОСТЬ

Книга бессмертна, если она отвечает не только на вопросы сегодняшнего дня, но присутствует в ней и тот обобщающий философский смысл явлений, над которым время бессильно.

Такая книга чем дальше, тем глубже охватом. Так река, скрытая холмами, по мере их выветривания предстоит взорам во всей широте.

Герой бессмертной комедии Грибоедова — Чацкий — и в наши дни оказывается живым и действенным. Недаром сказано про него Гончаровым: Чацкий «вечный обличитель лжи, запрятавшейся в пословицу: „Один в поле не воин“». Нет, воин, если он Чацкий, и притом победитель...

Чацкий — современный герой нашей классической литературы не только по готовности к бесстрашному, но и по тем идеям, за которые он хочет биться.

Фамусов и его присные полагали, что их практическая устроенность оправдана самой империей, законом охраняется благополучная равнина быта, только бы пройти...

И вдруг, как удар грома, предостерегающий окрик Чацкого, что никакого благополучия нет, что если не спохватятся — засосет насмерть болото!

Да, бомба Чацкого попала в цель. Горячий упорный бой, открытый им в один день, в одном московском доме, отразился на всей Москве, на всей России пересмотром идей государства, морали и быта, все еще круто замешенных на старых дрожжах.

Допетровская мораль глубоко проросла быт Фамусова. Он так уверен в ее законной необходимости, что уже никакой оглядкой не затушевывает предательскую откровенность своих речей. Тем неожиданней для него и страшней уничтожающая формулировка Чацкого:

Служить бы рад, прислуживаться тошно!

Появление Чацкого срывает безжалостно мишурные покровы и с той жизни, которая стала уже обычной для Софьи. Быть может, у нее в глубине есть тяга к поэзии чувства, но в мертвом быту поневоле ей приходится жить как все, хотеть как все, чтобы у нее был «муж-мальчик, муж-слуга»...

Испуг за свое душевное разорение, когда Чацкий раскрывает ей ничтожество Молчалина, пошлость всего, чем она собирается заполнять свои дни, подсказывает Софье ядовитую реплику в ответ на трогательную простоту сердечного признания Чацкого:

Велите мне в огонь... пойду, как на обед!

И Софья:

Да, хорошо сгорите, если ж нет?

Предъявляя любимой женщине высокие требования разностороннего развития ума, нравственного вкуса и сознательности, Чацкий как бы предваряет то далекое будущее, когда «женский вопрос», как это случилось в наши дни, заменится полным раскрепощением женщины. Но и перед ней, ныне свободной, не перестают стоять требования тех самых высших человеческих качеств, которые в свое время предъявлял Чацкий дочери Фамусова.

Тем, что комедия Грибоедова и сейчас современна, ее значение расширено. И в наши дни актер должен Чацкого играть по-иному. Из главных монологов пора выпасть интонациям резонера. Чацкий, сегодня прочитанный, — не резонер. У него иной подтекст. Совершенная пробужденность его органической активности всегда подспудно накапливает грозную свежую силу — это не темперамент резонера.

«Горе от ума» — не только произведение великого нашего писателя, не только торжество прекрасного русского языка, это бессмертный памятник преодолению *всякой косности*.

ИЗ ПЕРЕПИСКИ С ГОРЬКИМ

Я впервые увидала Алексея Максимовича на набережной Ялты, около магазина Синани — всем известного караима, владельца табачного магазина, человека с оранжевым приятным лицом и яркими, но мягкими глазами. Неподалеку от Горького и Синани была толпа женщин разного возраста, по-ялтински нарядных. «„Максимовки“, — указала на них моя спутница. — Только и спасение ему от них в тайнике у Синани, а чуть он на набережную — нападут! А вон и другая ялтинская жертва — Антон Павлович с „антоновками“».

Чехов, показавшийся выше, чем обычно, ростом, среди невысоких каких-то подростков, должно быть гимназисток, прибавил шагу навстречу Горькому. Окружавшие его имели деликатность отстать, и — как в пьесе Шекспира два герцога на фоне отступивших придворных — встретились два уже знаменитейших русских писателя и пошли вдвоем по набережной к поплавку.

В то время прозы я еще не писала, а свои плохие стихи никому не показывала. Усердно рисовала и писательницей быть не собиралась. Я только что прочла повесть Горького «Супруги Орловы» и была под сильным впечатлением яркой свежести и особенности его языка.

У меня в стихах темы были только абстрактные, в поэме «Атлантида» орудовали чародеи и черти, все мои тогдашние вкусы и литературные интересы были далеки от реализма.

И то, что правда повести Горького оказалась художественной и волнующей, было мне необычно. Конечно, и до него удивительно писали о вседневной жизни великие наши классики, и книги их помнились чуть не дословно, но то, что сейчас, о нынешнем дне, опять так отлично пишет новый писатель, который стоит вот здесь, живой, на тротуаре, было как-то беспокойно. И с тревогой подумалось: может быть, только так и надо писать, оставив абстрактные темы.

Но познакомиться лично, хотя и была возможность, ни с Чеховым, ни с Горьким мне не хотелось: идти было не с чем, не пополнять же собою штат «максимовок» и «антоновок».

Второй раз я встретилась с Алексеем Максимовичем в редакции «Летописи». Я принесла ему рукопись «На Валааме». Это был большой и, казалось мне, дерзко задуманный роман о послушнике, ставшем революционером. Первые главы этого романа (под заглавием «В монастыре») вошли в одну из моих книг, изданную в 1927 году («Вчерашний день»).

В редакции Алексей Максимович встретил меня очень приветливо, хвалил мои рассказы в «Русской

мысли», порой любопытным взглядом рассматривал. Этот взгляд у него был быстрый, боковой. Он как бы врывался на миг в человека и сличал с ним, живым, уже ранее ему известное. Проверял.

Перелистывая рукопись, нахмурился, проворча:

— Чего это вы вздумали про монахов писать? Что можете вы о них знать?! — И с усмешкой: — Все ведь придумали...

Я огорчилась. Мне было большое дело до этой темы, и как раз я ничего не «придумала». Я только что съездила на Валаам, прожила там больше недели, подружилась с интересными двумя послушниками. Они рассказали мне всю подноготную про монашеский быт, а я им оказала услугу — спрятала у себя в чемодане их заветные книги — революционные и толстовские, которыми они очень дорожили и боялись, что во время петровского поста, когда шел строжайший обыск, их найдут.

— Сами вы, Алексей Максимович, в «Исповеди» про монахов много писали, но очень досадно, что конца не показали, как это и почему тема индивидуальная переходит в общественную?

Произошел несколько колкий разговор, и рукопись я у Алексея Максимовича не оставила.

Много раз в Союзе писателей, во «Всемирной литературе», на разных заседаниях встречалась я с Алексеем Максимовичем. Он очень заботился о писателях, кормил нас, учил молодых писать. Отношений отдельных у меня с ним не было. Завязались они позднее. В 1926 году возникла у меня с Алексеем Максимовичем переписка. А в 1927 году я три недели прожила у него в Сорренто.

Поводом для переписки был посланный Алексею Максимовичу мой роман «Современники».

В ответ я получила следующее письмо:[1]

Получил вашу книгу, Ольга Дмитриевна, очень тронут подарком, сердечно благодарю вас.

Я давний и почтительный поклонник вашего добротного таланта и умного, удивительно умного, сердца вашего. Мне давно хотелось сказать вам это, и вот я очень рад, что говорю наконец. Еще ваш рассказ в «Русской мысли» — «Медвежонок» — удивил меня рисунком и затем многое другое. А «Одеты камнем» уже большая вещь. Высоко ценю ее, как одну из книг, которые начинают на Руси подлинный исторический роман, какого до сей поры не было, а сейчас есть уже четыре: два ваших, «Кюхля» Тынянова и колоссальный «Разин» Чапыгина.

«Современники» значительнейшая вещь, на мой взгляд. И — богатая мыслями, каждая из коих — тема большой книги.

Да, хорошая книга: меня, слышал, упрекают, что неразборчиво хвалю, чтобы — поддержать, раздуть огонек, может быть вспыхнет пламя. Живу надеждой, что вот появится гений, столь необходимый нам сейчас. А художник особенно нуждается в друге.

Вам похвала моя, м. б., и не нужна, но не могу не похвалить, потому что искренно рад. И, конечно, не того ради хвалю вас, чтобы поддержать, вы сами всякого поддержите, хорошая, умная душа. Литературу люблю я до самозабвения и писателя люблю. Какая

[1] Письма А. М. Горького печатаются в извлечениях.

еще есть радость, кроме любования талантом человека.

Вы знакомы с «Философией общего дела» Н. Ф. Федорова? Как будто — да. Сейчас в Харбине издают 3-й том его статей.

Еще раз спасибо вам за книгу, за память обо мне. Крепко жму руку.

А. Пешков.

5. IX. 26
Сорренто

Меня очень удивило, что Алексей Максимович упомянул Федорова. Я только что раздобыла его первый том «Общего дела», о чем и сообщила ему. Написала я также о том, что собираюсь работать над новым историческим романом «Первый российский куровод» — так Новиков называл сам себя, когда, посаженный Екатериной в крепость, получил разрешение не только «брить бороду, но и разводить кур».

В ответ Алексей Максимович написал мне:

Большие темы в работе у вас, Ольга Дмитриевна, и особенно почтенна тема «Новиков». «Современники» позволяют уверенно ждать, что это вам хорошо удастся — Новиков, ибо у вас удивительно тонко развита интуиция и понимание прошлого, как мне кажется. Исторического романа, в подлинном смысле этого понятия, у нас еще не было, и вот он является и как раз вовремя. Это замечательно.

Не помню, писал ли вам, что очень хвалю книгу Тынянова «Кюхля» и в совершенном восторге от «Разина» Чапыгина. А вы как думаете об этих книгах?

Не лень — напишите. Я, от любви к литературе, склонен, иногда, к преувеличениям, что и естественно для влюбленного.

Сердечно тронут вашими словами «вот — встретились». Я ведь давно издали любовался вашей душой, не скажу — понятной мне, но как-то и чем-то радовавшей меня. Желаю вам всего доброго.

А. Пешков.

В одном из писем я просила Алексея Максимовича написать мне подробнее о А. Н. Шмидт, которую он встречал в Нижнем Новгороде и мимоходом в нескольких строках уже дал ее внешнюю характеристику.

Алексей Максимович про А. Н. Шмидт написал мне так:

...В ту пору, как я встречался с нею, я был к людям неласков и жестоко убежден, что все они живут не туда, куда следует жить, и не те книги читают, и не о том говорят. Впрочем, я от убеждения этого и по сей день не совсем отрешился, но, кажется, стал терпимее, ибо алогизм жизни кое-чему все-таки учит. А. Н. была для меня человек прежде всего смешной, затем наянливый и как-то очень мешавший мне своим христолюбием... Понимать «Аннушку» у меня не было ни времени, ни охоты. Могу лишь сказать, что все люди, встречавшиеся с нею, и самые разнообразные, относились к ней одинаково ласково, но это, кажется, потому, что все считали ее «блаженной». В 1910 году на Капри приехал с экскурсией учителей некто Белавин или Белявин, ее ученик, учитель из Касимова, человечек бойкий, неприятный; он рассказал мне о ее

«успении», свидетелем коего он якобы был, но затем оказалось, что он мне нахвастал.

Вас интересует, чем жил бы в глубокой старости Илья Артамонов-сын: ослеплять его излишне, это вы сами понимаете. А жил бы он сознанием выполненной им исторической работы и чувством удовлетворения, возникшим из этого сознания. Так жили и живут многие старцы... По человечеству надо бы к ним применить поговорку: «Чем бы дитя ни тешилось, лишь бы не плакало». Лично я предпочитаю людей безутешных.

...Спасибо вам за интереснейшее ваше письмо. Когда и где будете вы печатать о «символистах»? Мнение ваше обо мне, разумеется, волнует меня.

Желаю вам всего доброго.

А. Пешков.

Тут у меня с Алексеем Максимовичем вышло недоразумение. Вопрос мой относился, конечно, не к Илье-революционеру, а к старшему Артамонову, к деду. Значительным он мне казался потому, что никого собою не дублирует, он всюду сам «первый у источника». Словом, разновидность и раньше художественно закрепленного Горьким, обаятельного своей силой жизни, человека большого удельного веса. Но, словно нарочно, Алексей Максимович оборвал жизнь такого «на бегу». А хотелось бы наконец досмотреть его во весь рост, до конца...

Отвечая на вопрос Алексея Максимовича, над чем я работаю, я ему написала:

«Давно хочу и готовлюсь сказать о женщине. Все лучшее о ней пока сказали мужчины, но их опыт все

же иной. Меня с юности еще удержал писать о женщине Глеб Успенский своим замечанием о том, что всякий посредственный роман обязательно начнется словами: «Марья Павловна полулежала на кушетке...»

Я решила сначала научиться говорить так, чтобы слово мое было убедительно и могло бы защитить положение: женский вопрос решается в своей глубине не юридическим равноправием, бесспорно, элементарной необходимой вещью, а очень сложным самоосвобождением.

Женщина нисколько не беднее мужчины умом, талантами, волей, но у нее реже встречается внутренняя биография, которую необходимо иметь, если зовешься человеком.

Я к вам храню давнюю благодарность за ваше нежное и рыцарское понимание женщин: за вашу бабушку, вашу Мальву...

Все настоящее пока про женщину написал мужчина, но до конца он все-таки знать не может. Наш женский опыт свой — особый; хотя бы беременность, роды, очень маленький ребенок.

Все это имеет не только то содержание, которое гениально, но все же внешне, досмотрел Лев Толстой.

Если женщина поспеет умственно и душевно созреть, все эти состояния окажутся для нее чудесным способом постижения «начала и конца» через нового человека, в ней заключенного, из нее рождающегося. Мать как земля. Если б земля заговорила...

Но это очень трудно рассказать. И может стать для всех значительным только в том случае, если сумеешь выразить и защитить.

В ответном письме Алексей Максимович, говоря о своем «преклонении и удивлении перед силой женщины», вспоминал, что он еще «в 95 году написал рассказ «Мать», за который получил самый высокий гонорар: меня на улице поцеловала за этот рассказ незнакомая мне, очень пожилая женщина, кажется еврейка».

В апреле 1927 года я уехала в Париж, где прожила до осени. От Алексея Максимовича я получила приглашение приехать к нему в Сорренто, что и сделала на возвратном пути. Я просила у Алексея Максимовича разрешения на его имя направить гонорар, который Ленотгиз собирался мне выслать. Алексей Максимович сам написал в Ленотгиз, о чем и сообщает мне в письме от 9. VIII. 27.

В следующих двух письмах Алексей Максимович, выражая большую свойственную ему заботливость к людям, подробно указывает ведущий в Сорренто маршрут:

Дорогая Ольга Дмитриевна, —
характеры итальянских чиновников мне лично не пришлось изучить, по рассказам же лиц, посещающих меня, тутошние чинуши особенной свирепостью не отличаются. Рукописи — не трогают. Если вас на границе спросят: куда держите путь — скажите: ко мне (т. е. к Горькому). Это помогает. Однако предупреждаю: становясь любезнее, власти усиливают слежку за путешественниками.

В градах и весях попутных останавливаться не воспрещено, и особых бумажек для сего не требуется.

О получении денег немедля извещу. А визу вам высылать в Париж, в итальянское консульство или — куда?

Всех благ.

А. Пешков.

26. VIII. 27
Сорренто

Осенью 1927 года я, проехав через всю Францию в Пиренеи, прошла курс лечения в известном своими радиоактивными водами курорте Люшон и съездила, по стопам Эмиля Золя, в знаменитый Лурд, оказавшийся по соседству.

От Алексея Максимовича первое письмо по возвращении моем в Ленинград было от 6. I. 28:

Многоуважаемая и генеральская дочь.

Остатками сил старческой души моей благодарю вас за то, что вы наконец оказались именно в том пункте земного шара, куда обещали прибыть, и что я ныне имею, кажется, достаточное основание считать вас в живе и здраве. А то уж я думал, что вас унесло в Индию или Австралию. Посылаю вам письма, вложенные в конверт с надписью на нем: «Передать О. Д. Форш». Это вы и есть О. Д. Форш. Надпись на конверте сделана потому, что я хотел послать письма Груздеву, ибо ваш адрес мною замечательно потерян.

Так как вы имеете прекрасную привычку дарить ваши книги, — вистую, посылая вам мою. Книга — солидная. Рекомендую читать ее по средам и пятницам, во дни постные, мне кажется, что от этого она будет

интереснее. Предупреждаю — из человеколюбия: второй том будет толще. А один китаец в IX в. до Р. Х. написал книжечку, поднять которую могут лишь четверо людей — тоже китайцев — обладающих недюжинной силой.

Гражданка М. Б. прислала мне с дороги между Польшей — Эстонией — Румынией и Парижем длинное, карандашом написанное письмо, которое носит характер акафиста Ольге Форш. О ней же — О. Ф. — скучает известная Т. И все же это, в сущности, возмутительное идолопоклонство.

Мною послано вдогонку вам несколько писем на Берлин, Тверь, Кременчуг и Астрахань. Все эти письма — из Парижа, кажется.

Разрешите не терять надежду, что вы мне пришлете обещанные книги, о чем в письме вашем не сказано ни слова.

Желаю вам доброго здоровья и всяких радостей и успехов.

До свиданья.

А. Пешков.

В следующем письме, от 16. II. 28, Алексей Максимович упоминает о «Памфалоне», к которому пишет эскизы Соловей. Я сделала в Сорренто попытку написать пьесу, в которой кое-что взято из рассказа Лескова «Скоморох Памфалон». Художник Ракицкий, живший у Горького, стал делать эскизы к воображаемой постановке.

«Беглый каторжник», о котором упоминает Алексей Максимович, появился вот по какому поводу: побывав на «горьковской» выставке в Пушкинском доме,

я написала Алексею Максимовичу отчет о виденных мною его многочисленных портретах приблизительно следующее: «Портретов ваших тьма, но смело можно сказать, что только два из них писаны с вас, да еще удачен силуэт Кругликовой. Прочим художникам позировали либо беглые каторжники, и не политические, а крупно-уголовные, либо большие солдатские чайники. А вы — юноша, либо незаконный сын то ли К. Фофанова, то ли просто Бальмонта...»

Вот письмо Алексея Максимовича:

Благоустроенный вами чайник сломал себе крышку, и синяя веревочка на ручке его, перепрев, распустилась. Соблаговолите ли вы в спешном порядке приехать сюда для реставрации чайника или же распорядитесь прислать оный чайник, с присовокуплением веревочки, вам в Ленинград. Третьего выхода из создавшегося положения — не вижу.

Затем — сердечно благодарю: получил превосходнейшие издания Академии и купно со чады и домочадцы полюбовался ими вдосталь. И послал пославшим благодарность мою, очень пылкую притом.

Соловей пишет эскизы к Памфалону — хорошо пишет. Целые дни пишет.

А кто это «Чухонин», которого я должен был получить? Чехонин?..

За сравнение с беглым каторжником покорнейше благодарю вас. Незаконным сыном Бальмонта я тоже не могу быть, ибо он, Б., родился после того, как я сделал это. Напрасно обижаете. А вот у вас есть что-то общее с папессой Иоанной. Да. А, вот у меня в гостях были три поэта, но я вам о них ничего не скажу и даже

имен не назову — и пусть любопытство раздраженное доведет вас до бессонницы.

Милая О. Д. Чудеснейший вы человек, честное слово. И не я один говорю это, а — все, хором, титулованные и которые просто люди. Трогательно восхищается вами Т. Очень хорошо, что вы — есть и что я совершенно точно знаю это. Одно плохо в характере вашем: привычка писать письма вдоль и поперек, а также наклонность к вводным предложениям. Чехов, Антон, тоже литератор, называл вводные предложения «соседние барышни». Ну, это господь простит вам. Он и не такие грехи прощает.

Будьте здоровы и до свидания.

Самовар у вас есть. Я — чтобы посидеть с вами у самовара часов пять. Вьюга свистит за окном, хулиганьи шансонетки поет, а мы с вами враждебно чай пьем и — вы меня, а я вас — ругаем. Упоительно. Груздеву же — привет.

А. Пешков.

16. 11. 28
Сорренто

Вот еще одно письмо:

...Хлещет черный дождь, электричества нет и ничего не вижу, хотя в очках. Такая проклятая погода бывает только в Бергене, чем он и славен. От гнусного поведения природы у меня в душе темно-коричневый мрак, и я чувствую себя всесторонне обманутым, как молодая юноша, из которой вымочили все прекрасное, снабдив его насморком и угрожая ему бронхитом. И протекает потолок.

Тем не менее Асеевы уехали на Максиме в Кастелламаре, и если они не утонут в потоках, это будет удивительно.

Почему вы прислали мне оскорбительную открытку с изображением каменной виселицы?

Думаете ли вы написать мне — однажды — письмо закрытое и длинное?

Будьте здоровы и не забывайте меня, дорогая О. Д.

А. Пешков.

16. XII. 28
Сорренто

(Открытка с каменной виселицей — развалины какой-то римской постройки на юге Франции).

Впечатления от моей поездки за границу и жизни в Париже вошли в мою книгу «Под куполом». Я послала ее Алексею Максимовичу и получила от него письмо от 7. V. 29:

Талантливейший человек вы, дорогая Ольга Дмитриевна. И умница. Такая — настоящая, русская умница. Человек умной души. Книжку вашу прочитал с наслаждением, — очень хорошая, «сытная» книжка, эдакая кулебяка, начинки — много, начинка разнообразная, и все анафемски вкусно. Хорошо видит глазок у вас, и язычок хорошо заострен. Старый, прокопченный литератор и писатель, я такие книги, как «Под куполом», читаю — т. е. воспринимаю — с радостью. Я — «извиняюсь» — очень русский, очень варвар и, как таковой, обожаю людей, живущих без «купола» над

ними. Как хотелось бы, чтоб француз без «традиции» и знающий дух нашего языка перевел вашу книгу на свой, элегантный! Вот шокировался бы Париж.

Я собираюсь в Москву, в июне буду в Ленинграде. Увидимся? Крепко жму руку. Доброго здоровья! Спасибо за посвящение!

А. Пешков.

О живописном облике Василия Буслаева, героя новгородской былины, который не верил «ни в сон, ни в чох», помнится, был у меня большой разговор с Алексеем Максимовичем на одной из прогулок в Сорренто. В письме от 8. VI. 30 Алексей Максимович, вероятно, отвечает на какой-то вопрос, заданный мной относительно подробностей биографии Василия:

Дорогая Ольга Дмитриевна —
значит: для «Наших Д⟨остижений⟩» все-таки напишете. Я никогда не забуду столь чудесного поступка и тоже напишу вам отличное, с рифмами, стихотворение, в котором изображена будет моя вечная любовь к вам, — честное слово. У меня даже и рифмочки кое-какие есть, напр.:

О, Форш,
Вы — ерш,
Я — морж,
О, Форш.

а в заключение будет сказано:

И нас обоих, как телят,
В надзвездный мир переселят.

Что же касается до описания вами меня в сумасшедшем романе, то — покорнейше благодарю. А читать его буду, когда он кончится. Я тоже предполагаю коснуться вас моим талантливым пером в 13-м томе знаменитого романа «Клим Самгин и К⁰. Депо афоризмов и максимов». О Василии Буслаеве могу сообщить нижеследующее: в 97 г. XIX века аз многогрешный соблазнен был картинками художника Рябушкина и тотчас же начал сочинять «плачевную трагедию, полную милой веселости», как назвал свою «Жизнь Камбизо» Том Престон. (Сопутствующая мысль: какой я образованный. И, наверное, буду велик, подобно Ивану Бунину.) Сочинял и — Ваську начал у меня превышать, заслонять Потанюшка Хроменький, направляя ладью Васькиных мечтаний на скалы и мели внутренних противоречий. Васька в Иордань-реке купаться хочет, а Потаня, зная географию, говорит ему: «А текет она, Ердань-река, а текет она в море Мертвое». Мамелфа Тимофеевна внушает Васе: «Люби воду текучую», окаянная девка Чернавка требует с него биологической дани, во сне ему снится обаятельная Дева Вьюга, и вообще получилась чертовщина. Бросил. Но, живя на Капрее, снова взялся за этот сюжет и многажды говорил о нем с Амф⟨итеатровым⟩, — он фольклор знает, хотя — очень внешне. Не думайте, что я его в чем-то подозреваю, нет. Но он тоже «соблазнился сюжетом» и, на мой взгляд, обработал его очень поверхностно, хотя и путано. Причем тут Римлянин. Васькина трагедия — очень строга. Действуют в ней, кроме него — Мать Мамелфа, Чернавка, Потаня-скептик, Костя Валюжанин — человек факта, и двоеглавый и даже треглавый мужик

Залещанин. Вот и все. И желаю вам всего доброго, весьма удивительная человечица. И — куда вам писать?

Будьте здоровы. Не забывайте древнего старика, на днях публично проклятого газетой «Руль». Увы мне.

А. Пешков.

8. VI. 30.

По желанию Алексея Максимовича я написала ему кое-что о своем впечатлении от его большого романа «Клим Самгин». Про одну из героинь романа, Лидию Варавку, я, между прочим, сказала, что, несмотря на обилие биографических черт, характера не получилось, внешнее ее поведение никак не обосновано внутренне, и потому странное замужество совсем непонятно.

Относительно производственных очерков, о которых были разговоры (Алексей Максимович взял с меня обещание написать серию очерков для «Наших достижений»), произошло на практике следующее: после неоднократного посещения текстильных фабрик у меня получилась только одна работа «Хамовное дело» (напечатана в книжке моей «Боковая функция»). Для дальнейшего у меня не хватало специальных знаний, и я написала Алексею Максимовичу, что нужна многолетняя подготовка, специальное образование, во всяком случае — очень серьезное вживание в новое писателю дело. Без всех этих качеств получится только «легкость пера необыкновенная»... А «очерки» в том виде, как они сейчас во множестве посыпались на читателя, за немногими исключениями ему скучны: словно вдвинуто читателю в мозги сито — сеют, сеют, ничего не оседает в памяти прочно.

Алексей Максимович ответил мне интересным, длинным письмом от 15. XII. 30, которое оказалось и последним письмом нашей переписки:

Высокопочтенная и неугомонная критикантка. Возражаю.

Действуя по примеру Природы, коя не стесняется злокозненно соединять различных девочек с различными мальчиками, я не считаю себя ответственным за неудачные браки, и даже вижу себя великодушнее оной Природы, и даже нахожу ее — между нами — глупой, согласно с Артуром Шопенгауэром, немцем настолько талантливым, что многие подозревают в нем еврея. Великодушнее я себя вижу, потому что в действительности — тоже не очень умной — девица, фигуряющая в многотомном романе, — прочитанном вами в поте лица, — фигуряющая под псевдонимом Лидии Варавки, претерпела судьбу еще более густо несчастную и уродливую. Так что я, в некоторой степени, корректирую поступки Природы и действительности...

Нарушение клятвы вашей написать нечто для «Н. Д.» не могу рассматривать иначе, как вредительство и клятвопреступление. Угрозой вашей прислать мне 10-тикартинную рукопись с балетными плясками и цирковыми трюками — отнюдь не потрясен, а наоборот: искренно рад — за вас. Ибо: человеков, кои не способны приумножать талантов, Евангелие от Матфея грозит ввергнуть во тьму, где «будет плач и скрежет зубов». Не хочу, чтобы вы скрежетали зубами. В Москве я буду к 1-му мая, а к вам попаду чай пить в конце его, т. е. — мая же.

«Очерки для читателя скучны», сообщаете вы, чтоб уязвить меня. Неправильно. «Наши Достижения» печатаются 55 тысяч, дайте нам бумаги, и в 31 году мы будем печатать 150 тысяч. «Туркменистанские очерки» Н. Тихонова — «высокая форма», и Тихонов — извиняюсь — утирает нос Гурию Мопассану. И не один Тихонов утирает нос ему, а также многим прочим европейским сочинителям, нет, у нас развелось весьма богато талантливых очеркистов, и, между ними, рекомендую вашему вниманию Всев. Лебедева «Полярное солнце».

Эх, вы, Жорж-Занд — Аврора Дюдеван и воплощение скептицизма: только юностью кучерявой души вашей и могу я объяснить озорство пера вашего. Разрешите напомнить, что известный ученый и военный цензор Евгений Аничков сказал и почти доказал, что «скептицизм на самом деле консервативен».

Да-с.

А другой, еще неизвестный и не ученый, совершенно убежден, что жизнь в конечном счете является не чем иным, как «художественным» творчеством, и если сегодня некто лапти плетет, так спустя некоторое время кто-то неизбежно воспоет оные лапти прелестными и веселыми словами: «Эх, лапти мои, лапоточки мои».

Это вам не Платон, у которого сначала — идея, а потом лапти, это — совершенно наоборот. И, заметьте, что никто из поэтов никогда не пел:

Люблю тебя, моя идея,
Мамаша всех мирских вещей.

Старческое легкомыслие мое и опереточное настроение, вероятно, возмутят вас, но, шер мадам, на серьезный, соответственно возрасту моему, лад — я не могу

себя настроить, ибо: третьи сутки дует сирокко, облака мчатся так низко над землей, что Сорренто — не видно, ежечасно хлещет дождь: душно, визгливо, все качается, и, вообще, — кавардак; вина бы выпить, а не велят; людей — никаких нет, книги присылают все страшные — «Эврапатология личности и творчества Л. Толстого», «Наставление правильно состязаться с раскольниками» и в наставлении этом соблазнительные слова: «Ересь — значит самомненный выбор догмата». А надобно читать, потому что хочется узнать: чему поучал, какую ересь выдумал «самомненно» мужик Илларион Коровьи Ножки, живший в 1755 г. в Черноболе. А о нем, Коровьих Ножках, и нет ничего в «Наставлении». Так и всегда: ищешь усердно, а — бесплодно. Не сердитесь, а то я вам еще чепухи напишу.

И будьте здоровы. Приехать бы вам сюда на зеленую зиму, да и пить оливковое масло по стакану натощак, и пришла бы печень ваша в должный порядок.

До свиданья.

А. Пешков.

Что-то очень сильно крысы волнуются, точно перед землетрясением. А может быть, это сирокко душит их. Крысы здесь — почтенные, вершков по восьми длиной.

P. S. Правительство тутошнее организует для юношества библиотеки из литературы, исключительно романтической, из одних Шиллеров, Гофманов и Клейстов. Что вы скажете по сему поводу?

В Неаполе население требует от папы, чтобы он объявил святым профессора хирургии Мизони. Факт. Профессора уже вырыли из земли — и показывают желающим, желающие видят: хотя сильно высох, а нетленен.

А. М. ГОРЬКИЙ И МОЛОДЫЕ ПИСАТЕЛИ

Накануне Второго Всесоюзного съезда писателей с особой силой возникает в памяти образ Алексея Максимовича Горького. Участники Первого съезда писателей никогда не забудут дни, освещенные вдохновляющими мыслями и горячим чувством великого писателя. Они объединили литераторов в борьбе за высокие задачи советской литературы, кровно слитые с задачами Советского государства. Неиссякаемой, искренней и пламенной была забота Горького о росте и расцвете родной литературы.

Мы, писатели старшего поколения, испытали счастье личного общения с Горьким, завидную возможность видеть, слышать Горького, непосредственно наблюдать его в жизни и в труде. Из всех прекрасных заветов Алексея Максимовича, из богатого опыта его широкой общественной деятельности хотелось бы сегодня вспомнить об одной исключительно важной черте Горького, достойной подражания. Это — внимание Горького к молодым литераторам.

В течение всей своей творческой жизни Горький оказывал им огромную помощь. Он был отцом литературной молодежи, был требователен и чуток, уделял ей много часов, был всегда доступен, не оставлял без внимания самый маленький, но живой росток подлинного таланта.

Мы знаем историю жизни известного всем советского писателя Всеволода Иванова. В 1916 году он, молодой рабочий типографии «Курганского вестника», послал свой рассказ, написанный карандашом на обороте корректурной гранки, в Петроград Максиму Горькому. С тех пор и на протяжении многих лет Горький не выпускал молодого писателя из поля зрения. Он читал все, написанное Всеволодом Ивановым, щедро хвалил и щедро критиковал, давал мудрые советы.

Эта история — одна из многих. Из недр народа Горький умел вызвать могучий приток новых писательских сил...

Горький был большим и принципиальным другом писателей, умел морально поддержать их в сложной обстановке литературных исканий. Немалую поддержку оказал Горький мне как автору первых советских исторических романов. Высокая оценка моей книги «Одеты камнем» и многих других моих исторических произведений очень воодушевила меня.

«Большие темы в работе у Вас, Ольга Дмитриевна... «Современники» позволяют уже уверенно ждать, что это Вам хорошо удастся. У Вас удивительно тонко развита интуиция в понимании прошлого, как мне кажется. Исторического романа, в подлинном смысле этого понятия, у нас еще не было, и вот он является как раз вовремя. Это замечательно».

Такое отношение к моему труду в пору, когда некоторые критики обвиняли меня в том, что я подчиняю исторические факты художественному домыслу, стало для меня опорой в дальнейшей работе над историческими темами.

Прекрасный стилист, художник богатого и тонкого вкуса, Горький умел кропотливо, по строчкам разбирать рукописи, посланные ему на отзыв, безошибочно отмечая все шероховатости языка.

Критикуя обилие вводных предложений в моем письме к нему, он добродушно напомнил, что Чехов называет их «соседними барышнями». После этого я невольно стала этих «барышень» избегать.

Предельно точен и убедителен ответ Горького одному молодому поэту, который писал такие нескромные строки:

Мой голос как колокол правды
звучал!..

Горький с удивлением заметил, что ему нигде не приходилось слышать, чтобы голос этого поэта звучал как «колокол правды».

Молодые писатели принадлежат к поколению людей, воспитанных советской школой, советским вузом, советским трудовым коллективом. Творчество их должно быть пронизано коммунистическим мировоззрением; горьковские традиции, его мудрые заветы должны стать источником творческой жизни, негаснущим путеводным маяком.

Молодые литераторы должны постоянно помнить об указаниях и требованиях Горького, постоянно и действенно прислушиваться к его советам. Они учат

молодежь внимательно и с уважением выслушивать критику не только маститых писателей, но и рядовых читателей. Предостерегая молодых от упоения удачей, Горький говорил: «...современная молодежь жадна, а иногда болезненно жадна на похвалу, и если молодому автору не сказать, что он почти Гоголь или без малого Чехов, так он обижается...»

Такие настроения, остро высмеянные Горьким, свидетельствуют о том, что многие молодые литераторы расценивают писательское мастерство как дело только приятное и легкое.

Учение должно быть делом жизни писателя. Горький в своих письмах к рабкорам и писателям советует, требует, настойчиво повторяет: «Надо учиться, товарищи, надо учиться»; «если плохо учатся, то и туго растут».

Хочется вспомнить здесь замечательное письмо Горького молодому Борису Полевому. Оно было напечатано в 1932 году в «Комсомольской правде».

«...Так же, как токарь по дереву или металлу, литератор должен хорошо знать свой материал... Вы, молодежь, должны учиться владеть техникой литературной работы так же мастерски, как владели ею наши классики. Вам надобно знать все, что знали они, и — знать лучше их... Вы должны учиться, не щадя себя, учиться всему, что есть лучшего в мире...»

Молодым литераторам нужно проникнуться горьковской любовью к труду, к страстному, большому труду, который кончается только вместе с жизнью самого человека. Алексей Максимович, работая по восемь-девять часов в день над своими собственными книгами, находил время для обширной общественной

деятельности, редактировал, читал бесконечное количество рукописей начинающих писателей, вел переписку с бесчисленными корреспондентами, писателями, рабкорами, высказывал свое мнение по поводу каждого присланного на его суд стихотворения.

Молодые авторы, следуя примеру Горького, должны близко знакомиться с самой жизнью. Как говорил Горький, «учиться надо не на чужих мнениях о фактах, а на самих фактах»; «...суждение надо создавать свое, из материала вашего, из опыта вашего».

Сам Горький глубоко черпал животворные силы из самой гущи жизни, а в 1928 году, вернувшись на родину, взволнованно и неустанно знакомился с «чудесной явью времени».

Верное следование прекрасным горьковским традициям, глубокое изучение бессмертного наследия Горького-писателя, Горького-публициста поможет обогатить духовный и творческий мир наших молодых литераторов.

Помня благородный пример взволнованного, горячего отношения Горького к молодым литераторам, помня горьковское отношение к роли и месту писателя в рядах строителей коммунизма, писательские организации должны внимательно, по-горьковски подмечать ростки настоящего таланта и выращивать их.

Для нас, советских писателей всех возрастов, всех народов, всех жанров, Горький — высокий пример бескорыстной, самозабвенной любви к родной литературе.

ВСТУПИТЕЛЬНАЯ РЕЧЬ НА ВТОРОМ ВСЕСОЮЗНОМ СЪЕЗДЕ СОВЕТСКИХ ПИСАТЕЛЕЙ

Дорогие товарищи, дорогие друзья! Мы, писатели всей Советской страны, собрались здесь, чтобы провести наш Второй Всесоюзный съезд.

С сердечной скорбью помянем А. М. Горького, которого нет сегодня с нами. Основоположник советской литературы, самозабвенно отдававший ей все свои силы, он был первым председателем нашего союза: он открывал в 1934 году Первый съезд советских писателей.

Нет среди нас сегодня и многих славных писателей, участников Первого съезда. Многие из них пали смертью храбрых в годы Великой Отечественной войны. Предлагаю почтить вставанием память дорогих нам людей, которых нет уже среди нас.

За это двадцатилетие, за этот двадцатилетний промежуток времени между Первым съездом и сегодняшним днем, наш народ совершил великое множество славных, героических дел. Мы пережили грозные испы-

тания Отечественной войны, мы одержали доблестную победу над врагом, мы перед всем миром показали наше великое мужество и великое единство.

Усилиями и могучим трудом партии, всех советских людей было восстановлено народное хозяйство нашей страны. Все эти двадцать лет советская литература была вместе с советским народом и вкладывала в его великий труд и свою посильную долю.

Сила нашей литературы в том, что на всех этапах строительства социализма в нашей стране и движения ее к коммунизму она стремится выразить волю, надежды и чаяния великого Ленина, волю Коммунистической партии, родной для всех старых и молодых литераторов.

Сила нашей литературы в том, что она живет интересами народа, государственными задачами строительства коммунизма.

Советская литература — литература многих свободных и равных наций, сильное оружие нашего общества в борьбе за коммунистическое благо всего народа.

В течение этого двадцатилетия советская литература вместе с народом успешно и смело шла вперед. Повсюду, во всех национальных братских республиках литературное дело приобрело за это двадцатилетие небывалый размах. Заветы А. М. Горького стали жизнью.

Перед лицом многих миллионов читателей всех национальностей, населяющих нашу советскую землю, перед лицом наших друзей из народно-демократических стран и наших друзей, приехавших к нам из стран капиталистического мира, перед всеми, кому дорог подлинный прогресс и мир во всем мире, мы должны про-

вести наш Второй съезд так, чтобы он явился залогом дальнейшего роста и расцвета нашей многонациональной литературы.

Наш долг — помнить, что советская литература — передовой отряд литературы всего мира в борьбе против войны и угнетения человека человеком.

Черные силы империалистов в последнее время на наших глазах стараются объединиться ради новой кровавой войны. Их злой воле мы должны противопоставить нашу добрую волю, волю сотен миллионов людей к миру и дружбе между народами. Их черной силе мы должны противопоставить наши светлые силы людей, верящих в счастливое будущее для всего человечества. И в этом объединении наших сил и наших умов огромную роль призвана играть наша великая литература, литература народа, совершившего Великую Октябрьскую революцию, литература народа, победоносно строящего коммунизм.

Вместе с нами — вся прогрессивная литература мира; многие из лучших ее представителей являются гостями нашего съезда. От имени советских писателей передаю им братский, дружеский привет.

По поручению старейшин объявляю Второй Всесоюзный съезд советских писателей открытым.

БЕССМЕРТНЫЙ ГОГОЛЬ

Вся наша страна вспоминает, что ровно сто пятьдесят лет тому назад, в 1809 году, 20 марта (по старому стилю), родился один из величайших наших писателей — Николай Васильевич Гоголь.

Недаром Белинский провозгласил не колеблясь, что Гоголь — великий талант и собой открывает эпоху...

Белинский не ошибся. Гоголь нам становится все ближе, и все с новых сторон раскрывается его творчество перед нами. Прорастает оно и в будущем русской литературы.

Современниками Гоголя были знаменитые в то время Марлинский, Нарежный, Кукольник. Кроме искусствоведов, их имена сейчас редко кто и вспомнит.

А какой был гром, почет и успех, особенно у Кукольника! Про Гоголя же тогда только Белинский один и писал, что он гениален.

Теперь оказалось, что Гоголь нам все более нужен.

Ежегодно я перечитываю и «Мертвые души» и «Шинель» и всякий раз нахожу в них новые сокровища.

В чем же дело? Быть может, замысловатость сюжета? Но нет, сюжет у Гоголя прост, его передать можно всегда в двух словах. В двух словах, например, можно рассказать о том, как поссорились навсегда два мелкопоместных дворянина из-за того, что один другого назвал «гусаком». Но Гоголь втянул в эту ссору весь город, а за городом, гляди, и вся Россия, как есть, объята в своих буднях этой мелочью, этой ерундой.

И уже становится страшно, уже нечем дышать. Вместо воздуха всякая дрянь, и уже слышится авторское: «Скучно на этом свете, господа!»

Гоголь, за что у него ни возьмись, обязательно втянет тебя в текст, захватит чувство и воображение, заставит трепетать от дерзости своих гипербол и насладит душу бессмертной, не ослабляемой никакими юбилеями и датами, музыкальной гоголевской речью.

«Песня сочиняется не с пером в руке, не на бумаге, не с строгим расчетом, но в вихре, в забвении, когда душа звучит и все члены, нарушая равнодушное, обыкновенное положение, становятся свободнее, руки вольно вскидываются на воздух и дикие волны веселья уносят... от всего».

Так писал Гоголь о создании украинских песен. И дальше — о самом существе поэзии песни: «Рифмы звучат и сшибаются одна с другою, как серебряные подковы танцующих»; и о музыке песни: «Душа... и все существование раздвигается, расширяется до беспредельности».

...Детские годы Гоголь провел в маленьком родовом имении, в Васильевке, Полтавской губернии, недалеко от Сорочинец. Отец его, Василий Афанасьевич,

был небогатым помещиком, страстным поклонником искусства. Любил театр, писал стихи и комедии и с успехом играл на сцене домашнего театра своего дальнего родственника, сановника Трощинского. Мать, Мария Ивановна, очень одаренная женщина, прекрасная рассказчица, обладавшая большой фантазией, первая заложила в душу сына влечение к художественному вымыслу. Она была всего на шестнадцать лет старше сына и как товарищ вовлекалась во все его затеи. Дом Трощинского с богатой библиотекой развивал у Гоголя вкус к театру. Так с детства в нем были заложены основы будущего призвания.

После домашнего учителя-семинариста Гоголь прошел полтавское уездное училище, откуда через два года поступил в Нежинскую гимназию высших наук. Вначале товарищи приняли его недружелюбно. Болезненного, золотушного, малопонятного мальчика одни сторонились, другие высмеивали. Но он скоро всех покорил своими талантами. Остроумно писал рассказы и стихи в гимназических журналах «Звезда» и «Метеор литературы». После того как Гоголь блестяще сыграл госпожу Простакову в «Недоросле», товарищи прочили ему театральное будущее.

Нежинская гимназия была прогрессивным заведением. Восстание декабристов и совсем рядом протекавшие события в Черниговском полку не могли пройти бесследно. Среди преподавателей в гимназии образовались два лагеря: прогрессивный и реакционный. Инспектор гимназии Белоусов, которого Гоголь очень почитал, был изгнан властями. После его удаления Гоголь записал: «У нас в Нежине так скучно стало, что не знаешь, куда деться», — а о времени, когда слушал

лекции Белоусова по праву, Гоголь говорил: «Было над чем трудиться».

Влияние Белоусова на Гоголя было глубоко, что видно из одного письма Гоголя в конце 1827 года: «Я перебирал в уме все состояния, все должности в государстве и остановился на одном. На юстиции... Неправосудие, величайшее в свете несчастие, более всего разрывало мое сердце. Я поклялся ни одной минуты короткой жизни своей не утерять, не сделав блага... Исполнятся ли высокие мои начертания?»

Решив отдать все свои силы служению родине, мечтая о деятельности государственной, Гоголь по окончании гимназии едет в Петербург. Здесь мечталось ему осуществить все свои благородные помыслы.

Но Петербург надежд юноши не оправдал. Тщетными оказались все попытки не только служить, но и поступить актером на сцену. Неуспех ожидал и его первую попытку в стихах — «Ганц Кюхельгартен». Гоголь в состоянии полного упадка духа в 1829 году бежит за границу, в Любек, «разгулять свою тоску» на деньги, предназначенные для уплаты процентов по заложенному имению матери. Невозможность «укрыться от себя» и жить вне России очень скоро гонит его обратно в Петербург.

Только в ноябре 1829 года Гоголь обретает наконец место мелкого чиновника, но радости от службы не получает. Слишком далека оказалась действительность от служения какому-то идеальному государству, созданному его воображением. Кроме того, страстно влечет его к себе литература, и он начинает вновь писать, но уже не стихами, а прозой. Повесть «Басаврюк, или Вечер накануне Ивана Купала» увидела свет в «Отечест-

венных записках» в 1830 году. Первый успех окрылил Гоголя. Он работает над книгой «Вечера на хуторе близ Диканьки», первая часть которой вышла в сентябре 1831 года.

Гоголь сближается с Жуковским, Дельвигом, Плетневым. Встреча с Пушкиным явилась для него большим событием. Гоголь поверил в себя — писателя. Пушкин написал про Гоголя: «Сейчас прочел «Вечера близ Диканьки». Они изумили меня. Вот настоящая веселость, искренняя, непринужденная, без жеманства, без чопорности. А местами какая поэзия! Какая чувствительность! Все это так необыкновенно в нашей нынешней литературе, что я доселе не образумился... Поздравляю публику с истинно веселою книгою, а автору сердечно желаю дальнейших успехов».

Оценка Пушкина утвердила Гоголя в том, что он наконец нашел путь служения родине. Пушкин стал для Гоголя старшим товарищем, руководителем, путеводной звездой, в которую он верил безгранично. Это Пушкин подскажет ему впоследствии сюжеты «Ревизора» и «Мертвых душ»...

В 1832 году Гоголь издает вторую часть «Вечеров». Поездка в том же году на родину в Васильевку вдохновляет его на новую работу. Напечатанные в 1835 году «Арабески» и «Миргород», по свидетельству Белинского, были «самым необыкновенным явлением в нашей литературе».

В 1836 году была закончена и поставлена на сцене комедия «Ревизор».

Гоголь был потрясен, увидав силу воздействия своего творческого слова на современников. Негаданно он оказался в центре страстей. Друзья превозносили его

до небес. Но вдруг обнаружились и злейшие враги, которые за обнажение и разоблачение всеобъемлющей продажности и произвола николаевской России объявили его чуть ли не изменником родины. Его необыкновенная чувствительность и нежная душа не могли вынести всего, что обрушилось на его голову, и он опять бежал за границу в июле 1836 года.

В Риме Гоголь встретился с знаменитым нашим художником Александром Ивановым, который двадцать с лишним лет работал над созданием своей картины «Явление мессии народу».

Родственность судьбы и характера обоих добровольных изгнанников России определялась самоотверженным служением русскому народу.

Здесь же, в Риме, писал Гоголь о гибели Пушкина.

«Все наслаждение моей жизни, все мое высшее наслаждение исчезло вместе с ним, — восклицает Гоголь. — Нынешний труд мой («Мертвые души» — *О. Ф.*), внушенный им, его создание... я не в силах продолжать его. Несколько раз принимался я за перо — и перо падало из рук моих. Невыразимая тоска!..»

Все же в мае 1842 года вышел из печати первый том «Мертвых душ». Книга была высоко оценена Белинским, Герценом и другими передовыми людьми. Но официальная реакционная печать ожесточенно бранила поэму и ее автора. В поэме, как и в «Ревизоре», снова было усмотрено «унижение русских людей». Гоголь с горечью вспоминает:

«...Когда я начал читать Пушкину первые главы из «Мертвых душ»... то Пушкин, который всегда смеялся при моем чтении (он же был охотник до смеха), начал понемногу становиться все сумрачнее, сумрачнее, а на-

конец сделался совершенно мрачен. Когда же чтение кончилось, он произнес голосом тоски: «Боже, как грустна наша Россия!» Тут-то я увидел, — добавляет Гоголь, — в каком ужасающем для человека виде может быть представлена ему тьма и пугающее отсутствие света».

В другом месте Гоголь пишет про «Мертвые души»: «Пошлость всего вместе испугала читателей. Испугало их то, что один за другим следуют у меня герои один пошлее другого, что нет ни одного утешительного явления, что негде даже и приотдохнуть или дух перевести бедному читателю и что, по прочтении всей книги, кажется, как бы точно вышел из какого-то душного погреба на божий свет».

Гоголя, с детства религиозного, потрясла мысль, что он явился невольным проводником зла, и он торопится во втором томе «Мертвых душ» создать положительные типы вроде Костанжогло и других, что ему совершенно не удается. Гоголь попал в роковое для его дарования окружение светских людей, уязвленных его сатирой и равнодушных к его таланту. Гоголь, доведенный ими до жажды публичного покаяния и проповедничества наставительной добродетели, опубликовал книгу «Выбранные места из переписки с друзьями». Этой книгой Гоголь как бы зачеркивает самого себя как великого обличителя современной ему русской действительности. Эта книга вызвала горечь и осуждение даже его самых близких друзей.

Белинский, который первым признал гениальность Гоголя, который писал, что Гоголь — «поэт жизни действительной», обладающий талантом необыкновенным, сильным и высоким, что Гоголь становится на место,

оставленное Пушкиным, ужаснулся «Перепиской» и переживал ее как великое горе. Он сказал про Гоголя: потерян человек для искусства.

Гоголь ничего не понял и увидел в пламенной, уничтожающей статье Белинского его личное озлобление. В письме Белинскому Гоголь пишет, что тот взглянул на книгу глазами «рассерженного человека»...

Великий критик написал Гоголю то потрясающее, известное письмо, за одно прочтение которого в кружке петрашевцев молодой Достоевский был сослан на каторгу. «Да, я любил вас со всей страстью, с какою человек, кровно связанный с своей страной, может любить ее надежду, честь, славу, одного из великих вождей ее на пути сознания, развития, прогресса».

Белинский хотел вернуть великого писателя своему народу: «Если вы имели несчастие с гордым смирением отречься от ваших истинно великих произведений, то теперь вам должно с искренним смирением отречься от последней вашей книги и тяжкий грех ее издания в свет искупить новыми творениями, которые напомнили бы ваши прежние».

Гоголь был не в состоянии до конца ни последовать совету Белинского, ни совершенно отвергнуть его. Роковая двойственность подтачивала его силы. В 1847 году Гоголь пишет «Авторскую исповедь» и затем снова берется за второй том «Мертвых душ». В 1848 году Гоголь возвращается в Россию и на горячо любимой родине не находит в себе сил сосредоточиться и завершить свои замыслы. Последним ударом его и без того растерзанного сознания было сожжение им нового варианта второго тома «Мертвых душ».

После этого события через девять дней, утром 21 февраля 1852 года, Гоголь умер.

Наследие Гоголя велико и многообразно. У Гоголя, великого реалиста, нет беспочвенной, худосочной, абстрактной фантастики. Юмор его полнокровный и запоминается навеки, потому что не теряет образа.

У него кузнец Вакула, сидя на черте, «пролетел, как муха, под самым месяцем так, что если бы не наклонился бы немного, то зацепил бы его шапкою... Все было видно; и даже можно было заметить, как вихрем пронесся мимо их, сидя в горшке, колдун; как звезды, собравшись в кучу, играли в жмурки; как клубился в стороне облаком целый рой духов... как летела возвращавшаяся назад метла, на которой, видно, только что съездила, куда нужно, ведьма... много еще дряни встречали они».

Просматривая письма Гоголя, мы видим, как он заботился о точности образа. Так, будучи в Петербурге, Гоголь просил свою мать, чтобы та ему написала подробно об обычаях и нравах украинцев. Ему для работы были нужны и «описание полного наряда сельского дьячка, от верхнего платья до самых сапогов», платье девушки «до последней ленты», «обстоятельное описание свадьбы, не упуская наималейших подробностей»...

От общения с Гоголем углубляется зрение, ширится слух, в восторге подымаются чувства. Гоголь одаряет каждого, кто сумеет его прочесть. Но читать его по-настоящему, не только сюжетно, а проникаясь ритмом его речи, обогащаясь его красками, нелегко. Читать Гоголя надо научиться.

Встречаясь с Гоголем, я всегда чувствую благодарность за то обогащение, которое от него получаю. Вспоминается образ шестикрылого серафима из пушкинского «Пророка». Он касается поочередно уст, глаз, ушей — и мир видимого, слышимого и ощущаемого расширяется безмерно. «И угль, пылающий огнем», возгорается в сердце, и «жало мудрыя змеи» вместо слабого языка способно выразить доселе казавшееся несказуемым. Однако не всегда и не всех Гоголь может так обогатить, а лишь того, кто не читает его книгу равнодушно.

ВЕСНОЙ 1961 ГОДА

В течение всей моей жизни из года в год я жду наступления весны. И каждый раз она кажется мне чудодейственной и небывалой. И первые ландыши, и шумные хороводы воробьев, и летающие облака, отраженные в талой воде, а главное — люди, молодеющие, хорошеющие весной, — я жду этого всеобъемлющего обновления каждый год.

Я запомнила первую мою весну, с которой пошло это смятенное и вдохновенное ожидание весен: в Дагестане, в крепости Гуниб, много лет тому назад, когда я была еще девочкой, из окна единственного над пропастью белого дома я увидела утро. Цветущее дерево унаби в драгоценных каменьях росы, небо, подернутое позолотой, орла, повисшего над бездонным ущельем... Я и раньше смотрела из этого окна; но тут я вдруг *увидела* все это. Что-то проникло в сердце, в голову, тронуло какую-то струну, о существовании которой я и не подозревала.

Это было началом художественного освоения мира. Я стала рисовать и писать...

Первый очаг моего творчества, Гуниб, благодарю тебя, дорогой отец...

Один угрюмый человек сказал мне: «Весной начинаются войны». Я не хочу верить ему. Миллионы молодых людей, наши дети и внуки, в которых продолжается жизнь моего поколения, заняты своим главным делом: они учатся, строят, творят. Война им не нужна. Седьмая симфония Д. Шостаковича, гениально изобличившая фашизм, женские потерявшие руки, увековеченные Б. Пророковым, девушка и юноша из «Баллады о солдате» Г. Чухрая, веселый и мудрый Василий Теркин, — искусство, наука, литература, герои семилетки, люди коммунистического труда — все живое и прекрасное на советской земле говорит во весь голос: это не должно повториться. И когда я смотрю, как из калитки детского сада тянется длинная и пестрая шеренга ребят, похожая на цветочную гирлянду, я верю: нет, войны не будет.

Моя сегодняшняя весна опять принесла с собою чудо: Юрий Гагарин, русский человек, проник в космос и живым вернулся на родную землю. Тени тысяч русских мечтателей, с древнейших времен рвавшихся в небо и трагически погибших, стояли перед умственным взором Юрия Гагарина, когда он готовился осуществить многовековую мечту человечества. Он не мог погибнуть. Он был несокрушимо силен нашей любовью, нашей гордостью, нашей заботой.

Как меняются у человека с годами понятие и оценка собственного возраста...

Стоишь, бывало, в институте за всенощной то на одной ноге, то на другой и загадываешь: что будет со мной в 25, 30, 40 лет?

Последняя цифра ощущалась как предел жизни; дальше шла старость, увядание, седые волосы — и вообще приличнее было бы умереть. И я бы не поверила, что в действительности выйдет как раз наоборот и счастливее и интереснее окажется вторая половина жизни. Сорок лет повернулись как бы началом новой эры: наступило мое второе рождение — в литературе. Одна книга потянула за собой другую, и вовсе некогда было мне стареть... Надо было дать ответ обо всем накопленном, прожитом, увиденном. Силы множились и крепли, находили собственную литературную форму, и оказалось, что первая половина жизни была только накоплением мыслей, чувств, всего художественного опыта для отдачи их людям...

Как-то, перечитывая Тургенева, набрела я на его отрывок «Довольно». Он носит откровенно автобиографический характер.

Что же Тургеневу «довольно»?

«Полно метаться... сжаться пора... Все изведано — все перечувствовано много раз... устал я». Или: «Что мне в том, что в это самое мгновенье заря все шире, все ярче разливается по небу... Соловей вдруг сказался такими волшебными звуками... Это будет продолжаться так целую вечность — словно по указу, по закону, — даже досадно станет! Да... досадно! Состарился я!»

Непостижимо, — ведь написано это мужчиной в 47 лет, художником, создавшим такое бессмертное произведение, как «Муму»! Об этом рассказе Герцен писал, что Тургенев с такой художественной силой изобразил жизнь глухонемого раба, что даже сумел миновать двойную цензуру и при этом заставил читателей дрожать от бешенства на барскую тиранию.

Накапливать мудрость жизни, обогащать память знанием богатств, выработанных человечеством (как говорил Владимир Ильич), и при этом сохранить свежесть воображения, жить в творчестве, в сознании, что не стареет труд твой, что с годами восприятие жизни и тоньше и мудрее. Разве это все не преимущество художника?..

В старости восприятие природы бескорыстнее. Ее любишь уже не для себя, а ради нее самой. Без эгоизма. Молодости свойственно самолюбивое понимание природы, как достойной рамки для своей собственной жизни.

Трудно узнать нам своего Тургенева в этом отрывке «Довольно»... Зачем с годами утрачивать то, что ум, опыт, воля и совесть уже обрели? Разве молодость не мечтает об уме и опыте старости? Разве старому нечем гордиться? А если он еще и живет в своих творениях?

Великий Шота Руставели писал: «Что ты спрятал, то — потеряно. Что ты отдал, то — твое». Жизнь, вечная молодость художника в том, чтобы отдавать. И пусть у гробового входа младая будет жизнь играть...

...Лет восемь тому назад мне сняли катаракты с обоих глаз. Перед операцией я почти ослепла. Тогда началась огромная внутренняя работа: я стала приучать себя к мысли о надвигающейся слепоте и уже придумывала себе жизнь без света. И поверила: жизнь во тьме — это еще не смерть. Жизнь без света тоже может стать настоящей жизнью. Именно в этот тягчайший для меня период я стала обдумывать свою последнюю книгу — «Первенцы свободы», которая вышла в свет на восьмидесятом году моей жизни, когда врачи вернули меня в мир света и красок.

Старость — бессилие и упадок духа? Старость — смерть еще на ногах?

...Одна очень талантливая актриса, умирая в преклонном возрасте, от страха призвала на помощь бога, в которого никогда не верила. А ведь она творила десятки лет, жила многими жизнями, не раз умирала на сцене со всей силой недюжинного таланта. А умирая в действительности, она даже не сумела сыграть, она отреклась от своего таланта, от себя и зашептала незнакомые, чужие ей молитвы. Какое унижение!

Значит, творчество не стало ее кровью, оно не стало ее жизнью. Оно было ее шестым пальцем...

А творчество, если оно стало кровью художника, бегущей по жилам, оно не даст стареть чувствам, скудеть мыслям.

Любопытно, как замечательный русский художник Павел Чистяков, в последний год жизни не встававший с постели, все говорил о природе, что это самое высокое и прочное. Прикованный к постели, он не мучил близких разговорами о своей немощи.

«Если б ноги несли, побежал бы я по полям, поиграл с ребятишками, поглядел бы на облака». Постоянное пристальное внимание к природе и к явлениям жизни не даст остыть чувствам, говорил он, потому что натура — бесконечна... Да, прекрасный художник Павел Чистяков был мудр, духовно богат, высококультурен.

А ведь сколько простых, совсем обыкновенных людей умеют подняться до величественного пренебрежения к смерти!

Помню нашу старую няню. Она умирала в киевской богадельне. В город входили петлюровцы, шла пере-

стрелка. Смеркалось, мне пора было уходить. Няня, уже с трудом шевеля языком, все перечисляла близких, которым просила передать благословение и разные советы. Прервав речь, она показала рукой на чайник с кипятком:

— Заткни ему носик ваткой и укрой. Скоро соседки придут. Чай простынет. А я уж не успею...

Она хотела сказать: «Не успею подогреть».

И действительно, она умерла через несколько минут.

...В 1957 году я была в Киеве. Ехала туда с опаской: в этом городе я училась, любила, растила детей. Город моей молодости. Я боялась, что уныние и горечь захлестнут меня, воспоминания задушат. И я готовилась к борьбе.

Но мне не пришлось играть в выдержку и мужество. Я увидала послевоенный Киев, новый, нарядный, веселый, утопающий в зелени. Новая великолепная набережная, новый мост через Днепр, красавец Крещатик...

Вокруг могилы нашей старой няни разрослись дубки, целые лужайки мохнатых лиловых колокольцев. На Украине их называют «сон»... Эти нежные цветы весною пробиваются из-под толщи ржавых, слежавшихся листьев и за несколько дней покрывают еще холодную землю светлыми коврами. Весна — это победа жизни.

И ныне, когда под Ленинградом, возле старого пушкинского лицея, деревья покрываются молодой зеленью, я думаю о жизни, о вечном обновлении ее и о бессмертии нашего дела.

ПРИМЕЧАНИЯ

8 том состоит из трех разделов. Первый раздел составляют пьесы и киноповесть «Пугачев». Во второй раздел — «Вчера и сегодня» — включены рассказы и очерки 1931—1959 годов. Третий раздел составляют статьи по вопросам искусства и литературы, написанные в 1918—1961 годах.

ПЬЕСЫ

ЖИВАЯ ВОДА

Публикуется впервые. Печатается по машинописной копии. Рукопись хранится в личном архиве О. Д. Форш.

Замысел пьесы возник в 1927 году. В статье «Из переписки с Горьким» Форш сообщает о своей попытке написать в Сорренто пьесу, в которой «кое-что взято из рассказа Лескова «Скоморох Памфалон». Сразу же после возвращения в Ленинград, 29 декабря 1927 года, она пишет Горькому: «Я должна спешно сейчас сдавать «Западные впечатления», а потом вплотную примусь за то, что начала в Сорренто, как только первый акт будет готов — вам пришлю» («Горький и советские писатели. Неизданная переписка». — «Литературное наследство», т. 70, 1963, стр. 607). Художник И. Н. Ракицкий, живший у

Горького, стал делать эскизы к будущей постановке. Горький сообщает в письме от 16 февраля 1928 года: «Соловей пишет эскизы к «Памфалону», — хорошо пишет. Целые дни пишет» (там же, стр. 605). Из ответного письма Форш видно, что в начале 1928 года она рассчитывала закончить пьесу в кратчайший срок: «Очень порадовали сообщением, что Сор-художники (от Сорренто, конечно) творят моего Памфалона. Кланяюсь, шлю привет, а из Ессентуков и пространный, надеюсь, текст». Далее она просит прислать «...намек карандашный! Костюм, пейзаж, рожу... на основании созданных ими характеров возьму тон диалогов и т. п. и пришлю им опять» (21 марта 1928 года) (Архив А. М. Горького, Москва).

К весне 1929 года была написана «Причальная мачта». «Пьеса эта, — сообщала Форш Горькому, — во всяком случае, *не та*, которую затеяла было писать еще у вас, а совсем нечаянно для себя самой — написала другую. От прежней есть в черновиках три акта, и к ней вернусь непременно, умудрившись театральным опытом» («Горький и советские писатели. Неизданная переписка», стр. 606). В ноябре 1930 года Форш снова думает закончить пьесу: «А в наказание вам, что неосновательно попрекаете «Памфалоном», вручу-ка я вам весной рукопись в 10 картинах с балетными и цирковыми нумерами и повеселюсь, что вы с ней будете дальше...» — писала она Горькому (там же, стр. 609).

В 1960 году О. Д. Форш, по свидетельству сына писательницы, Д. Б. Форш, вернулась к пьесе и осуществила ее переработку, не вполне завершенную. В публикуемом варианте фабула пьесы существенно отличается от рассказа-легенды Н. С. Лескова «Скоморох Памфалон» (1890), однако связь ее с этим источником и теперь очевидна: совпадают социально-бытовая обстановка действия, ряд сюжетных моментов, основные действующие лица; хотя они и выступают под другими име-

нами, но сохраняют то же, что и у Лескова, общественное положение, профессию, образ действий и основные черты характеров. Однако внутренний смысл событий и взаимоотношений между героями у О. Форш истолкован совершенно по-своему, и даже сходные элементы фабулы решительно переосмыслены, так что идейное содержание пьесы иное. Лесков осмысляет сюжет древней византийской легенды полемически против официальной церкви в пользу этического христианства; Форш подчиняет его утверждению идеи о высоком призвании художника и могучем влиянии искусства на духовное развитие людей. «Живая вода» — символ животворного влияния подлинного искусства.

В наброске предисловия к пьесе Форш писала: «Живая вода» — педагогическая сказка. И для русской литературы она традиционна... Что же касается самой сказки, ее замысла, то мне кажется, что сейчас особенно важно привить детям и молодежи культуру человеческих отношений, культуру чувства. И я думаю, что решению этой задачи поможет «Живая вода». Искусство в пьесе — это не самодовлеющая, отвлеченная от жизни сила, а высшая форма труда, воплощение того творческого, активного отношения к миру, той воли сделать его разумным и справедливым, которая движет человеческую культуру. Именно эту сущность сказки считал самой главной и самой драгоценной Алексей Максимович Горький» (хранится в личном архиве О. Д. Форш).

СТО ДВАДЦАТЬ ВТОРАЯ

Впервые — «Литературный современник», 1937, № 9, стр. 3—42. Отдельное издание — Гослитиздат, 1937.

Стр. 79. *«Любовь птичка, да не простая, ее поймать никак нельзя...»* — перефразированное начало арии Кармен из одно-

именной оперы французского композитора Жоржа Бизе (1838—1875).

Стр. 128. *...делегатка на Восьмой съезд.* — Восьмой съезд Советов, состоявшийся в ноябре 1936 года, утвердил проект Конституции СССР, в которой статья Сто двадцать вторая посвящена равноправию женщин.

Шпитонка — так называли в народе незаконных детей, отданных на воспитание в деревню.

КАМО

Впервые — «Нева», 1955, № 5, стр. 5—35.

Возникновение замысла относится к концу 1934 — началу 1935 года, когда О. Д. Форш работала над романом «Сандро», посвященным жизни известного кавказского революционера Семена Аршаковича Тер-Петросяна (1882—1922), по партийной кличке Камо. В статье «О переподготовке» (черновом варианте статьи «Разговор будет деловой и конкретный», опубликованной 1 апреля 1936 года в «Литературном Ленинграде») О. Форш писала: «У меня вдруг написалась пьеса о Камо, над которой я билась два года, тщетно пытаясь оживить давно изученный материал» (рукопись находится в личном архиве О. Д. Форш). О том, что в апреле 1936 года работа над пьесой была закончена, свидетельствует и письмо Форш к Горькому (см. «Горький и советские писатели. Неизданная переписка», стр. 613). В этом же году пьеса была объявлена в репертуаре Ленинградского театра Госдрамы (ныне Академический театр драмы имени А. С. Пушкина) как принятая к постановке. В 1937 году газета «Вечерняя Москва» (№ 294, 26 декабря) поместила сообщение о том, что Форш закончила пьесу из жизни революционера Камо.

Однако в то время она не появилась ни на сцене, ни в печати. Были опубликованы лишь отрывки: «В холодильнике». Вторая картина второго действия пьесы «Камо» («Литературный Ленинград», 1936, № 22, 12 мая); «Побег». Сцена из новой пьесы «Камо» («Ленинградская правда», 1936, № 129, 6 июня); «Отъезд Камо» («Ленинградская правда», 1936, № 169, 24 июля). Пьеса почти двадцать лет пролежала в письменном столе в результате господствовавшего в период культа личности Сталина пренебрежительного отношения к памяти бесстрашного революционера. «Когда в Закавказье к власти пробрался авантюрист и провокатор Берия, он поднял свою подлую руку на светлую память Камо. Почти все родственники, друзья и соратники Камо подверглись гонениям и репрессиям. Был снят и уничтожен стоявший в центре города Тифлиса памятник Камо. Исчезла даже могила Камо» («Легендарный солдат революции». — «Правда», 1962, № 147, 27 мая).

Не только центральный герой пьесы, но и большая часть ее персонажей не вымышлены; это лица либо исторически реальные, либо имеющие близких исторических прототипов. Так, прототипом товарища Макара, возможно, является В. П. Ногин (1878—1924), в 1905 году член петербургского, а с февраля 1906 — бакинского комитета РСДРП(б); ему принадлежала эта партийная кличка. Прототипом Нико Сафиани является известный грузинский художник Нико Пиросманишвили, о котором О. Форш в середине 30-х годов собиралась писать отдельную пьесу. В образе Вано Ландадзе отражены черты Вано Каландадзе — члена тифлисской большевистской боевой дружины. Собирательный образ Нины воплощает некоторые черты Джаваир Аршаковны Хугулашвили (род. 1888), любимой сестры Камо, принимавшей близкое участие в судьбе брата. В образе доктора Эрвига отражены черты немецкого врача-социалиста Густава Эрве (1871—1944), который сидел

вместе с Камо в берлинской тюрьме. Действительными историческими лицами являются: Оскар Кон — друг Карла Либкнехта, назначенный по суду опекуном Камо; Брагин — сторож изолятора, помогавший Камо бежать из тюремной больницы в Тифлисе (август 1911); он вскоре был арестован и сослан на пять лет в Сибирь (в пьесе он уезжает вместе с Камо за границу).

Легендарный облик и биография Камо привлекали внимание публицистов и писателей и до Форш (см. брошюру С. Ф. Медведевой-Тер-Петросян «Герой революции» («Товарищ Камо»), 1925; очерк А. М. Горького «Камо» (1931); Б. Бибинейшвили — «Камо», изд. «Старый большевик», 1934, и др.). Эти произведения были известны О. Д. Форш и использованы ею в качестве источников. Очевидно, особое значение для Форш имел очерк Горького. В письме Горькому от 3 апреля 1936 года она пишет: «Мне бы хотелось вам и «Камо» показать! В основу его характера взято мною очень выразительно закрепленное вами впечатление от этого необыкновенного человека» («Горький и советские писатели. Неизданная переписка», стр. 613).

Стр. 155. *...тот самый, что со своей дружиной дрался против казаков в Нахаловке. Два раза его вешали — жив остался!* — Этот эпизод биографии Камо относится к декабрю 1905 года, когда в Нахаловке — рабочем предместье Тифлиса — вспыхнуло вооруженное восстание. После его разгрома Камо был схвачен. Тюремщики дважды инсценировали его повешение, тщетно добиваясь сведений о складе оружия, заставляли Камо рыть себе могилу. Камо бежал из тюрьмы.

Стр. 159. *Сезанн* Поль (1839—1906), *Манэ* Эдуард (1832—1883), *Синьяк* Поль (1863—1935) — французские художники-импрессионисты.

Стр. 164. *...Ленин не меньше вас его ценит!* — В. И. Ленин впервые встретился с Камо в 1906 году в Финляндии.

Стр. 167. *Сейчас Ленин в Петербурге.* — В. И. Ленин вернулся в Россию из эмиграции в ноябре 1905 года и снова выехал за границу после поражения первой русской революции в декабре 1907 года.

Стр. 195. *Буря мглою небо кроет...* — начало стихотворения А. С. Пушкина «Зимний вечер» (1825).

Стр. 203. *Красин* Леонид Борисович (1870—1926) — видный деятель РСДРП(б); был непосредственным руководителем подпольной работы Камо, посещал его в берлинской тюрьме.

Стр. 210. *«Форвертс»* — центральный орган германской социал-демократической партии, выходил с 1891 года до захвата власти Гитлером в 1933 году.

...Столыпин был принужден... — Имеется в виду письмо П. А. Столыпина наместнику Кавказа графу Воронцову-Дашкову от 27 апреля 1909 года.

Стр. 223. *Героическая работа — собрать в наших условиях общепартийную конференцию.* — Речь идет о подготовке VI общепартийной конференции РСДРП, которая состоялась в январе 1912 года в Праге.

ПУГАЧЕВ

Впервые — «Красная новь», 1936, № 4, стр. 34—54, с подзаголовком «Киноповесть».

Отрывки из сценария были опубликованы: «Литературный Ленинград», 1935, № 58, 26 декабря; «Юный пролетарий», 1936, № 2, стр. 6—7. По этому киносценарию режиссером П. П. Петровым-Бытовым был поставлен фильм «Пугачев» (Ленфильм, 1937, ноябрь). Главные роли исполняли: К. В. Скоробогатов (Пугачев), К. М. Мухутдинов (Салават), Л. О. Малютин (Волоцкой), Е. П. Корякина (жена Пугачева), В. Я. Усенко (Тво-

рогов), М. С. Павликов (Филимон). Оператор фильма А. Назаров. Художник — Е. Хигер.

Как и в исторических романах О. Форш, в «Пугачеве» действуют реальные исторические лица и вымышленные персонажи.

Стр. 231. *По сенатскому указу «о неболтании», яко жив в бозе почивший император Петр Третий...* — Петр III (1728—1762) — русский император, царствовавший с 25 декабря 1761 года по 28 июня 1762 года; в результате дворцового переворота он принужден был отречься от престола в пользу Екатерины II и был убит ее сторонниками. Еще до Пугачева появилось несколько самозванцев, выдававших себя за Петра III, который будто бы имел намерение облегчить положение крепостных.

Стр. 232. *Профосы* — в XVIII веке военные полицейские служители и полковые палачи.

ВЧЕРА И СЕГОДНЯ

В раздел «Вчера и сегодня» включены, кроме произведений, вошедших в одноименный сборник (изд. «Правда», 1959), близкие к ним в тематическом отношении рассказы и очерки, опубликованные О. Форш с 1931 по 1959 год.

ХАМОВНОЕ ДЕЛО

Впервые — альманах ленинградских писателей «Новый цех» (Гослитиздат, 1931), стр. 5—19. Вторая глава была опубликована в виде отдельного очерка под названием «Человек в производстве» («Стройка», 1930, № 6, стр. 2—3).

Стр. 297. *Тургенев* Николай Иванович (1789—1871) — крупный деятель декабристского движения, член Союза благоден-

ствия и Северного общества; был приговорен к вечной каторге. Приговор не был приведен в исполнение, так как с 1824 года Тургенев находился за границей.

...первая победа, принесшая рабочим сознание своей классовой солидарности, — стачка в Орехове-Зуеве. — Имеется в виду стачка, вспыхнувшая в январе 1885 года на «Никольской мануфактуре Саввы Морозова-сына и К°» в Орехове-Зуеве.

Алексеев Петр Алексеевич (1849—1891) — рабочий-революционер 70-х годов.

Стр. 304. *Если говорят про единоначалие, то приведут IX съезд и ленинское: «Беспрекословное подчинение единой воле для успеха процессов безусловно необходимо».* — Неточная цитата из работы В. И. Ленина «Очередные задачи советской власти» (1918), Сочинения, изд. 4-е, т. 27, стр. 239. Это высказывание было повторено В. И. Лениным на IX съезде РКП(б) 31 марта 1920 года в его речи о хозяйственном строительстве.

БОКОВАЯ ФУНКЦИЯ

Впервые — «Звезда», 1931, № 10, стр. 43—53.

Стр. 321. *Печальный демон, дух изгнанья...* — первая строка поэмы М. Ю. Лермонтова «Демон» (1841).

В СТАРОМ ТИФЛИСЕ

Впервые — «Звезда», 1931, № 11—12, стр. 5—11, под названием: «Глава из романа». С некоторыми изменениями и дополнениями — в сборнике «В старом Тифлисе» (Рассказы), изд-во «Правда», М., 1946 (биб-ка «Огонек»).

Этот рассказ — единственное опубликованное произведение, относящееся к неосуществленному замыслу романа о революционном движении на Кавказе, который занимал творче-

ское воображение О. Форш на протяжении ряда лет. В декабре 1933 года она рассказывала об этом замысле: «Роман, хронологически как бы прерываясь на 1909 году, в то же время приведет читателя к теоретической и практической обусловленности второй революции. Этот роман, как художественно цельное произведение, будет лишь первой частью большой задуманной автором работы» («На рубеже Востока», 1933, 1 декабря). В апреле 1934 года Форш уезжает на полгода в Тифлис специально для работы над романом. В начале 1935 года будущий роман назван «Сандро».

«В настоящее время я работаю над романом «Сандро» по материалам о полулегендарной личности известного грузинского революционера Камо. Роман, размером в 10—12 печатных листов, охватывает эпоху реакции после 1905 г., показывает революционное подполье и геройскую экспроприацию, совершенную Камо в Тифлисе на Эриванской площади среди белого дня. В романе я дам также Берлин, где Камо более двух лет находился в сумасшедшем доме, симулируя психического больного. Я ввожу в роман, кроме того, знаменитого грузинского художника Пиросмана.

Роман «Сандро» сейчас у меня в черновой разработке» («Творческая лаборатория». — «Литературный Ленинград», 1935, № 6, 8 февраля). А уже в апреле роман упоминается под иным названием: «Начат роман «Тифлис» («Литературная газета», 1935, № 23, 24 апреля). Здесь прямо указано, что напечатанная в «Звезде» «Глава из романа» (позднее несколько переработанная и названная «В старом Тифлисе») — часть этого обширного замысла.

Стр. 331. *...белый Мтацминда — монастырь с могилой Грибоедова.* — А. С. Грибоедов похоронен в Тифлисе в ограде монастырской церкви св. Давида на горе Мтацминда.

Чавчавадзе Нина Александровна (1812—1857) — жена А. С. Грибоедова.

Стр. 332. *«Новое время»* — ежедневная реакционная газета; издавалась в Петербурге в 1868—1917 годах.

Стр. 336. *Тимур* (Тамерлан) (1336—1405) — среднеазиатский полководец и завоеватель.

ФИЛАРЕТКИ

Впервые — «Звезда», 1937, № 1, стр. 64—66.

Автобиографический эпизод, лежащий в основе новеллы, был кратко описан О. Форш ранее, в статье «Пушкин в институте» («Россия», 1924, № 2, стр. 174—176).

«Филаретки» — первая новелла из цикла «Живописная автобиография», задуманного О. Форш во второй половине 30-х годов. В одной из записных книжек О. Форш имеется заметка, дающая представление о замысле в целом: «14 ноября 1938 года (тридцатилетие моей литературной работы). Живописная автобиография». После перечня десяти новелл, уже написанных тогда или находящихся в работе, намечен общий план цикла в четырех частях: «часть первая, 1878—1892 гг., часть вторая, 1893—1903, часть третья, 1903—1923, часть четвертая, 1923—1938» (рукопись хранится в личном архиве О. Д. Форш).

Стр. 347. *...ответ митрополита Филарета на эти стихи Пушкина, добытый из журнала Ишимовой «Звездочка»...* — Стихотворение московского митрополита Филарета (Дроздова Василия Михайловича, 1783—1867) «Не напрасно, не случайно...», являющееся ответом на стихотворение Пушкина «Дар напрасный, дар случайный...» (1828), было опубликовано в детском журнале А. О. Ишимовой «Звездочка» (1848, № 10).

Когда твой голос величавый... — строки из стихотворения А. С. Пушкина «В часы забав иль праздной скуки...» (1830).

Стр. 349. *«Где гнутся над омутом лозы...»* — стихотворение А. К. Толстого; положено на музыку Н. А. Римским-Корсаковым и В. И. Ребиковым.

ШАПОКЛЯК

Впервые — «30 дней», 1939, № 2, стр. 17—18, с рисунком автора.

Стр. 353. *Шкловский* Виктор Борисович (род. 1893) — советский писатель и литературовед.

Стр. 354. *Пастер* Луи (1822—1895) — французский биолог, основатель современной микробиологии.

Стр. 355. *...знаменитого в губернии А. Н. Энгельгардта и его книги «Письма деревенского хозяина».* — Энгельгардт Александр Николаевич (1832—1893) — публицист либерально-народнического направления. Его «Письма из деревни» печатались в 70-х годах в журнале «Отечественные записки», а в 1882 году вышли отдельной книгой.

ПЛОМБИР

Впервые — «30 дней», 1939, № 2, стр. 19—20, с рисунком автора. В черновой рукописи рассказ назывался «Тюрочка».

Стр. 359. *«Всемирная иллюстрация»* — еженедельный журнал; выходил в Петербурге (1869—1898).

Стр. 360. *Марго* Давид (1823—1872) — автор «Элементарного курса французского языка» (1855), служившего пособием в русских средних учебных заведениях и выдержавшего несколько изданий.

ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ

Впервые — «30 дней», 1939, № 2, стр. 20—21, с рисунками автора.

Стр. 362. *Окончилась русско-турецкая война.* — Русско-турецкая война окончилась в 1878 году, что позволяет точно определить время действия рассказа и возраст маленькой героини.

В журнале «Будильник» рисовали Османа-пашу. — «Будильник — Московский сатирический журнал с карикатурами», выходил с 1865 по 1917 год. Карикатуры на Османа-пашу, командовавшего турецкими войсками в Плевне, журнал публиковал на своей обложке в июле — ноябре 1877 года.

...среди других генералов был портрет отца... — Отец О. Д. Форш — генерал Д. В. Комаров — участвовал в русско-турецкой войне 1877—1878 годов.

НОВЫЙ ПАМЯТНИК

Впервые — «30 дней», 1939, № 3, стр. 23—28.

Стр. 366. *...советской служащей во Всеиздате...* — О. Д. Форш, живя в Киеве в 1919—1920 годах, работала помощницей заведующей русской секцией Всеиздата С. З. Федорченко; одновременно вместе с Федорченко редактировала детский журнал «Ковер-самолет».

Стр. 367. *С мифологических статуй Кия, Щека и Хорива.* — Кий, Щек и Хорив — согласно преданию, записанному в «Повести временных лет», основатели Киева.

Ольга (ум. 969) — киевская княгиня, жена князя Игоря; считается первой правительницей, принявшей христианство еще до крещения Руси Владимиром. Поэтому была канонизирована православной церковью как святая.

...учителя славянские — Кирилл и Мефодий. — Кирилл (в миру Константин) (827—869) и Мефодий (ум. 885) — проповедники христианства среди южных славян, окончательно оформившие славянский алфавит.

Стр. 368. *...пение «Заповита»...* — «Заповит» («Завещание», 1859) — стихотворение Т. Г. Шевченко; многократно положено на музыку. Наиболее популярна музыка, написанная в конце 1860-х годов Г. П. Гладким.

...за принадлежность к братству, носившему... имя Кирилло-Мефодиевское, у этого вот Тараса Шевченко загублено было десять лет творческой жизни. — Кирилло-Мефодиевское общество возникло в Киеве в 1846 году; имело революционно-демократическое и либеральное крыло; было вскоре раскрыто и разгромлено III отделением. Шевченко был арестован 5 апреля 1847 года, отдан в солдаты и отправлен для прохождения службы с запрещением писать и рисовать.

Стр. 369. *Олдридж* Айра Фредерик (ок. 1807—1867) — негритянский актер-трагик. Гастролировал в России в 1858—1867 годах.

Боритеся — поборете... — строки из поэмы Т. Г. Шевченко «Кавказ» (1845).

Стр. 370. *...Карл Брюллов, приехавший выкупить Шевченко... сделал такое заключение: «Это самая крупная свинья, которую я видел до сего дня!»* — Подобную характеристику барина, у которого он находился в крепостной зависимости, Т. Г. Шевченко вложил в уста К. Брюллову в своей повести «Художник» (1856). Там Брюллов говорит: «Это самая крупная свинья в торжковских туфлях».

Вот собор Андрея Первозванного... — Собор Андрея Первозванного был возведен в Киеве В. Растрелли в 1744—1767 годах.

Костомаров Николай Иванович (1817—1885) — историк, поэт

и драматург, организатор Кирилло-Мефодиевского общества и идеолог его либерального крыла.

Стр. 371. *Гулак* Николай Иванович (1822—1899) — ученый и писатель, один из активных участников Кирилло-Мефодиевского общества.

Кулиш Пантелеймон Александрович (1819—1897) — украинский писатель, критик, историк и этнограф.

...стихи про царя Николая и про его жену: «Как засушенный опенок, длинная, худая...» — цитата из поэмы Т. Г. Шевченко «Сон» (1844).

Стр. 373. *Наш край острогами богат...* — строки из поэмы Т. Г. Шевченко «Кавказ» (1845).

Поэта... отвезли в Оренбург. — В Оренбург Шевченко прибыл в ноябре 1849 года.

Стр. 374. *Оскар Уайльд гораздо меньше Шевченко пробыл в каторжных условиях...* — Оскар Уайльд пробыл в тюрьме два года (1895—1897).

В ПАРИЖЕ

Впервые — «Известия», 1940, № 29, 5 февраля, под названием «Маяковскому». Название «В Париже» дано очерку в сб. О. Форш «Новые рассказы», Свердловск, 1942.

Стр. 375. *...французы ждали его приезда.* — В 1927 году Маяковский приехал в Париж 29 апреля и 9 мая выехал из Парижа в Берлин.

Стр. 376. *Валери Поль* (1871—1945) — поэт и публицист, сторонник «чистого искусства».

...покаялся сам Пикассо... как блудный сын он пришел к Энгру. — Пикассо Пабло (род. 1889) — французский художник, основоположник кубизма в живописи; во второй половине 20-х годов снова обратился к реалистической манере письма. *Энгр* Жан-Доминик (1780—1867) — французский художник.

Стр. 377. *Мы — голос воли низа...* — цитата из поэмы В. В. Маяковского «Владимир Ильич Ленин» (1924).

Стр. 379. *Мишель Луиза* (1830—1905) — активная участница Парижской коммуны, сражавшаяся в 1871 году на баррикадах Парижа.

Стр. 381. *В бешеном автомобиле...* — цитата из шестой главы поэмы В. В. Маяковского «Хорошо!». Все последующие стихотворные цитаты из этой же поэмы. Некоторые части поэмы, судя по цитатам, приведенным О. Д. Форш, в Париже читались до их опубликования.

ВИЕВ КРУГ

Впервые — «Звезда», 1940, № 10, стр. 144—145.

В автобиографии О. Форш указывает, что в рассказе «Виев круг» описан быт ее ранних лет.

Стр. 384. *...рассказали мне о том, как привели к Хоме Бруту железного Вия...* — Эпизод из повести Н. В. Гоголя «Вий» (1835).

ДВА ШТРАФА

Впервые — сб. «Новые рассказы», Свердловск, 1942, стр. 59—62.

ЖАК

Впервые — детский альманах «Боевые ребята», Свердловск, 1943, № 3, стр. 27—36.

Стр. 394. *...грянула война с Пруссией.* — Французское правительство объявило войну Пруссии 19 июля 1870 года.

Стр. 395. *Скоро пришла весть о позорной сдаче крепости Седан.* — Капитуляция крепости произошла 2 сентября 1870 года.

Стр. 396. *...маршал Базен сдал крепость Мец со стотысячным войском...* — Капитуляция крепости произошла 27 октября 1870 года.

ИНЖЕНЕРНЫЙ ЗАМОК

Впервые — «Ленинград», 1945, № 19—20, стр. 11—12.

Стр. 407. *Монумент Фальконета* — памятник Петру I, воздвигнутый по проекту французского скульптора Этьена Мориса Фальконе (1716—1791).

Тотлебен Эдуард Иванович (1818—1884) —генерал-адъютант.

Стр. 408. *...выстроила новый дворец Анна Иоанновна...* — В 1732 году архитектором Трезини был возле Летнего сада возведен одноэтажный деревянный летний дворец.

Стр. 409. *...братья Стаджи изобразили Историю в образе Молвы.* — Речь идет о барельефе «История заносит на свои скрижали славу России», исполненном итальянцами братьями Стаджи из паросского мрамора.

Стр. 410. *Памятник отлит скульптором Мартелли, но замысел принадлежит великому зодчему Растрелли.* — Речь идет о конном монументе Петру I, созданном скульптором Карло Растрелли (1670—1744) в 1719—1724 годах. Отлит в бронзе в 1740-х годах мастером А. Мартелли при участии сына скульптора — архитектора В. Растрелли.

ВЕРНЫЙ СПУТНИК

Впервые — «Звезда», 1949, № 6, стр. 16—20.

Стр. 415. *Лунин* Михаил Сергеевич (1787—1845) — подполковник, основатель Союза спасения; деятель Северного тайного общества; состоял и в Южном; был осужден в каторгу на двадцать лет; на поселении находился с 1836 года; умер в Акатуйской тюрьме, куда был заточен за распространение произведений с резкой критикой царизма.

Волконский Сергей Григорьевич (1788—1865) — участник Отечественной войны 1812 года; член Союза благоденствия, участник Южного тайного общества; осужден в каторгу навечно; на поселении в Иркутской губернии находился с 1836 года.

«Птицы! Как вам петь не стыдно?..» — цитата из стихотворения А. И. Одоевского «Утро» (1826).

Стр. 416. *Во глубине сибирских руд...* — Стихотворение А. С. Пушкина «Послание в Сибирь» было передано Пушкиным в Москве в январе 1827 года жене декабриста Н. М. Муравьева — А. Г. Муравьевой, уезжавшей к мужу в Сибирь. На него поэт-декабрист А. И. Одоевский ответил стихотворением «Струн вещих пламенные звуки...», написанным в Читинском остроге в 1827 году. *«Мечи скуем мы из цепей...»* — цитата из того же стихотворения А. Одоевского.

Стр. 417. *Лунин встречал Пушкина у... братьев Тургеневых.* — Речь идет о братьях Александре Ивановиче (1784—1845) — друге Пушкина и Карамзина — и Николае Ивановиче Тургеневых (о последнем — см. прим. к стр. 297 наст. тома).

...*«друг Марса, Вакха и Венеры»...* — строка из сожженной X главы «Евгения Онегина».

...он имел право сказать с гордостью... — Далее приведена цитата из «Записной книжки» Лунина (см.: М. С. Лунин. Сочинения и письма. Пг., 1923, стр. 14).

Лунин вспомнил, как он вместе с Пушкиным и друзьями-арзамасцами провожал больного Батюшкова... — Речь идет о проводах поэта К. Н. Батюшкова (1787—1855) в Неаполь 19 ноября 1818 года. «Арзамас» (1815—1818) — литературное общество, в которое входили В. А. Жуковский, К. Н. Батюшков, В. Л. Пушкин, юный А. С. Пушкин и др.

Стр. 418. *Завалишин* Дмитрий Иринархович (1804—1892) — декабрист; его участие в Северном тайном обществе точно не

установлено; каторгу отбывал в Чите и Петровском заводе; скончался в Москве.

Якушкин Иван Дмитриевич (1793—1857) — участник тайных обществ; каторгу отбывал в Чите и Петровском заводе.

Стр. 419. *Чаадаев* Петр Яковлевич (1794—1856) — писатель, философ, автор «Философического письма» (1836), за которое по повелению царя был объявлен сумасшедшим.

Стр. 424. *Пестель* Павел Иванович (1793—1826) — организатор и вождь Южного тайного общества, казнен в числе пяти декабристов 13 июля 1826 года.

ПАМЯТНИК ИСТОРИИ

Впервые — «Нева», 1957, № 6, вклейка с рисунком автора.

РОВЕСНИКИ

Впервые — «Огонек», 1957, № 26, стр. 24, с рисунками автора.

Стр. 430. *Троицкий собор.* — Заложен Петром I в 1703 году на Троицкой площади (ныне площадь Революции); в 1746 году был перестроен по проекту (1741) архитектора М. Г. Земцова (1688—1743).

Стр. 432. *...бюст Петра — упрощенную копию с работы Растрелли-старшего.* — Бюст Петра был создан К. Растрелли (1670—1744) в 1723—1729 годах.

...небольшой дворец в Летнем саду. — Летний дворец Петра был построен по проекту Д. Трезини (ок. 1670—1734) в 1710—1714 годах.

Стр. 433. *...в Северной войне.* — Речь идет о войне со Швецией 1700—1721 годов.

Стр. 434. *Кроншпицы* — сторожевые башни.

Стр. 435. *...в год заключения Ништадтского мира...* — Мирный договор между Россией и Швецией был подписан в Ништадте 10 сентября 1721 года.

БЕЛАЯ НОЧЬ

Впервые — «Ленинградский альманах», 1957, кн. 12, стр. 5—10, с рисунками автора.

Стр. 437. *Росси* Карл Иванович (1775—1849) — великий русский зодчий.

«Зеленая лампа» — литературный кружок (1812—1820), организованный Союзом благоденствия. Политическая пропаганда велась в кружке под видом литературных занятий.

Стр. 441. *...решетки Фельтена...* — Фельтен Юрий Матвеевич (1730—1801) — архитектор. Совместно с П. Е. Егоровым участвовал в создании решетки Летнего сада.

Кофейный домик. — В 1826 году К. И. Росси перестроил грот Летнего сада и превратил его в так называемый Кофейный домик.

Стр. 442. *Мраморный дворец Ринальди.* — Ринальди Антонио (ок. 1710—1794) — архитектор, итальянец по происхождению. С 1752 года работал в России. В 1768—1785 годах построил на берегу Невы дворец, облицованный мрамором.

Стр. 443. *На Дворцовой площади, справа, темнел дворец Растрелли...* — Зимний дворец по проекту архитектора В. Растрелли был выстроен в 1754—1762 годах.

МЕДНЫЙ ВСАДНИК

Впервые — сб. «Вчера и сегодня», изд-во «Правда», М., 1959 (биб-ка «Огонек»), стр. 24—26. Очерк представляет собой переработку ранее опубликованного очерка под тем же названием («Огонек», 1937, № 11, стр. 12—13).

Стр. 447. *Бецкий* (Бецкой) Иван Иванович (1704—1795) — деятель екатерининского времени, был президентом Академии художеств.

ВЧЕРА И СЕГОДНЯ

Впервые — «Москва», 1957, № 6, стр. 14—17.

Стр. 451. *...в Сиротском пансионе графа Разумовского в Москве. Среди этих малолетних воспитанников была и я... Там, кстати сказать, рос и Александр Куприн...* — Речь идет об Александровском малолетнем сиротском училище закрытого типа (Разумовский пансион) для осиротевших дворянских детей, в котором с 1877 по 1880 год находился А. И. Куприн, а с 1882 года — и Ольга Комарова (О. Д. Форш).

Стр. 452. *...Шаляпин в «Борисе Годунове».* — В опере М. П. Мусоргского «Борис Годунов» (1868—1869) Ф. И. Шаляпин исполнял заглавную роль впервые в 1898 году.

Стр. 458. *...с дворцом Кшесинской, который вошел в биографию Ленина.* — Во дворце балерины Кшесинской, построенном для нее по приказанию Николая II, в 1917 году помещался Петроградский комитет РСДРП(б). С балкона дворца неоднократно выступал перед революционным народом В. И. Ленин.

СТАТЬИ

Данный раздел составляют статьи О. Д. Форш о литературе и искусстве, опубликованные в журналах и газетах с 1918 по 1961 год, и монографический очерк о художнике П. П. Чистякове.

НОВЫЙ ГАМЛЕТ

Впервые — «Наш путь», 1918, № 2, стр. 177—181, за подписью — Шах-Эддин.

Стр. 463. *Гайдебуров* Павел Павлович (1877—1960) — русский актер и режиссер. Роль Гамлета исполнял на сцене Первого передвижного драматического театра (1905—1928).

Росси Эрнесто (1829—1896) — знаменитый итальянский трагик, выступал преимущественно в шекспировском репертуаре.

Сальвини Густаво (1859—1930) — итальянский трагик, неоднократно гастролировал в России.

Мунэ-Сюлли Жан (1841—1916) — французский трагический актер.

Стр. 464. *Идею Гамлета, просто трактованную Гете как слабость воли при сознании долга, с более сложной поправкой Белинского...* — Имеется в виду суждение В. Гете о Гамлете в романе «Вильгельм Мейстер» (1795—1829) и статья В. Г. Белинского «Гамлет. Драма Шекспира. Мочалов в роли Гамлета» (1838).

Экхарт Иоанн (ок. 1260—1327) — средневековый философ-мистик.

Стр. 465. *Беме* Якоб (1575—1624) — немецкий ремесленник, философ-мистик.

...смягчается человечностью индусской кармы... — *Карма* — основной закон буддизма, древнеиндийской религии (VI—V вв. до н. э.). Карма (действие) — учение о воздаянии; судьба каждого отдельного человека зависит от его действий в предшествующих существованиях.

Стр. 469. *...преобразивший Монну Лизу в Джоконду.* — Речь идет о знаменитой картине Леонардо да Винчи «Джоконда» (ок. 1503) — портрете Монны Лизы.

ХУДОЖНИК — МУДРЕЦ

Впервые — в кн. О. Д. Форш и С. П. Яремич «Павел Петрович Чистяков», изд. комитета популяризации художественных изданий, Л., 1928, стр. 31—66.

Для работы над этой статьей О. Д. Форш использовала данные многолетнего общения с художником и личный архив П. П. Чистякова, ныне находящийся в Русском музее и в значительной части опубликованный (см.: П. П. Чистяков. Письма, записные книжки, воспоминания. 1832—1919. Изд-во «Искусство», М., 1953).

Стр. 472. *...чтобы удовлетворить вечно недовольный глаз мой, нежели для снискания чего-то.* — Неточная цитата из письма А. А. Иванова к сестре из Рима, декабрь 1831 года (М. Боткин. Александр Андреевич Иванов. Его жизнь и переписка, 1806—1858. СПб, 1880, стр. 27).

...начатую в Италии «Мессалину»... — Над картиной «Последние минуты Мессалины, жены римского императора Клавдия» П. П. Чистяков работал на протяжении всей жизни. Осталась незаконченной. Находится в Русском музее.

Стр. 473. *«Благословение детей».* — Картина начата в 1871 году. Не окончена.

«Аннушка». — Картина написана в 1888 году; находится в Одессе.

...«Свидание» на тургеневский мотив. — Картина «Свидание» (1873) на сюжет одноименного тургеневского рассказа (1850) из «Записок охотника».

Стр. 474—475. *...«Преображение» Рафаэля...* — Речь идет о картине Рафаэля «Преображение господне» (1520).

...как на последнем портрете В. Е. Савинского. — Савинский Василий Емельянович (1859—1937) — исторический живописец и портретист, один из любимых учеников П. П. Чистякова. Портрет П. П. Чистякова (1881) находится в Третьяковской галерее в Москве.

Стр. 479. *Боткин* Михаил Петрович (1839—1914) — жанрист и исторический живописец, искусствовед.

Стр. 482. *Григорович* Василий Иванович (1785—1865) — художник, конференц-секретарь Академии художеств в Петербурге.

Стр. 487. *Яхонтова* Вера Петровна — ученица Чистякова по рисовальной школе.

Стр. 489. *«Француз».* — Имеется в виду картина П. П. Чистякова «Француз, собирающийся на публичный танцевальный вечер в Париже» (1883).

Стр. 491. *...с громадным куполом Брунелески...* — Речь идет о грандиозном куполе флорентийского собора, сооруженного Филиппо Брунеллески (1377—1446).

Стр. 492. *Ге* Николай Николаевич (1831—1894) — русский художник, один из организаторов и активных деятелей Товарищества передвижных художественных выставок. Его картина «Тайная вечеря» написана в 1863 году во Флоренции; находится в Русском музее.

Стр. 494. *Солдатенков* Кузьма Терентьевич (1818—1901) — московский меценат и издатель, собрал большую коллекцию русских художников XIX века, перешедшую по его завещанию в Румянцевский музей, а затем переданную в Третьяковскую галерею.

Врубель Михаил Александрович (1856—1910) — живописец, театральный художник и скульптор, в 1880—1884 годах учился в Академии художеств у П. П. Чистякова.

Серов Валентин Александрович (1865—1911) — живописец, учился в Академии художеств с 1880 по 1885 год у П. П. Чистякова.

Стр. 499. *Васнецов* Виктор Михайлович (1849—1926) — живописец, один из любимых учеников П. П. Чистякова.

Стр. 500. *Барyздина* Варвара Матвеевна (1862—1941?) — художница, ближайшая ученица П. П. Чистякова. Училась в

Академии художеств с 1880 по 1885 год. Оставила воспоминания о занятиях у Чистякова.

Челлини Бенвенуто (1500—1571) — итальянский скульптор, ювелир и писатель.

Стр. 501. *...Геркулеса не зря к пню приставили...* — Речь идет о скульптуре Лисиппа (втор. полов. IV в.) «Отдыхающий Геркулес».

Стр. 506. *Я все ученицу одну в пример ставлю.* — Имеется в виду Анна Ивановна Попова-Менделеева — ученица П. П. Чистякова в его рисовальной школе, впоследствии жена Д. И. Менделеева. Училась в Академии художеств с 1876 года, но курса не окончила.

КАК Я ПИШУ

Впервые — «Резец», 1929, № 43, стр. 11—12.

О СТЕНГАЗЕТЕ

Впервые — «Литературная учеба», 1932, № 5, стр. 21—30, под названием «Заметки о языке стенгазет».

Стр. 516. *...«полководцем человечьей силы»...* — выражение из стихотворения В. В. Маяковского «Сергею Есенину» (1926).

Стр. 524. *«Сяду я за стол да подумаю...»* — цитата из стихотворения А. В. Кольцова «Раздумье селянина» (1837).

Стр. 526. *Без руля и без ветрил* — строка из поэмы М. Ю. Лермонтова «Демон» (1841).

Стр. 529. *Трилли* — персонаж не из «Каштанки» Чехова, а из рассказа Куприна «Белый пудель».

В ПОРЯДКЕ МЕЧТЫ

Впервые — «Звезда», 1934, № 6, стр. 130—131.

Стр. 536. *...звучат одни замечательные стихи.* — Речь идет о стихотворении Ал. Блока «Художник» (1913). Цитата из этого же стихотворения приведена неточно.

«НАДЕЮСЬ, ЧТО ПЕТИТНЫХ КРИТИКОВ НЕ ОСТАНЕТСЯ...»

Речь на пленуме правления Союза советских писателей (Москва) 4 марта 1935 года. Впервые — «Литературный Ленинград», 1935, № 11, 10 марта.

ЭРНЕСТО РОССИ

Впервые — «Звезда», 1940, № 10, стр. 140—142.

Стр. 542. *...в последний приезд его в Россию перед смертью.* — Последний раз Э. Росси (см. прим. к стр. 463 наст. тома) приезжал в Россию с гастролями в 1894 году, за два года до смерти.

Этого царя должен был играть Росси. — Судя по описанию спектакля, исполнялась пьеса А. К. Толстого «Смерть Ивана Грозного» (1859).

УЛАНОВА

Впервые — «Звезда», 1940, № 10, стр. 142—143.

Стр. 548. *Уланова танцевала в балете «Жизель».* — «Жизель» (1841) — балет французского композитора А. Адана по сценарию Теофиля Готье.

Стр. 550. *И мне, как всем, все тот же жребий...* — цитата из стихотворения А. А. Блока «Кольцо существованья тесно» (1909).

ЧАЦКИЙ И СОВРЕМЕННОСТЬ

Впервые — «Литературная газета», 1945, № 3, 15 января.

Стр. 554. *Чацкий «вечный обличитель лжи...»* — цитата из статьи И. А. Гончарова «Мильон терзаний» (1872).

ИЗ ПЕРЕПИСКИ С ГОРЬКИМ

Впервые — «Звезда», 1945, № 2, стр. 102—107.

К образу Горького и истории своих отношений с ним Форш обращалась неоднократно. Кроме настоящей статьи — в романе «Сумасшедший корабль» («Волна седьмая»), в пьесе «Начало пути», написанной совместно с И. А. Груздевым, и в статьях («Портреты Горького», «А. М. Горький и молодые писатели»). В последние годы Форш работала над воспоминаниями о Горьком. В 1957 году в «Литературной газете» появилось сообщение: «Я предполагаю написать книгу о моих встречах с Алексеем Максимовичем в Ленинграде, Сорренто, Москве и Горках». Письма Горького и Форш, приведенные в настоящей статье в извлечениях или пересказе, полностью опубликованы в кн.: «Горький и советские писатели. Неизданная переписка». «Литературное наследство», т. 70, 1963, стр. 584—611. Некоторые разночтения объясняются тем, что в настоящей статье Форш пользовалась черновиками своих писем, часто более подробно развивающими ее мысли, чем в чистовой их редакции. Здесь использованы некоторые данные комментариев к письмам в указанной книге.

Стр. 558. *Второй раз я встретилась с Алексеем Максимовичем в редакции «Летописи».* — «Летопись» — ежемесячный литературный, научный и политический журнал, выходивший под редакцией А. М. Горького в Петрограде с декабря 1915 по декабрь 1917 года. Письмо Форш к Горькому, написанное между июнем 1914 и октябрем 1915 года («Горький и советские

писатели. Неизданная переписка», стр. 580), позволяет установить, что личное знакомство с Горьким состоялось несколько ранее — в редакции журнала «Современник», в котором Форш опубликовала в 1914 году три критические статьи.

«Русская мысль» — ежемесячный журнал, издавался в Москве с 1880 по 1918 год.

Стр. 559. *Много раз в Союзе писателей, во «Всемирной литературе», на разных заседаниях встречалась я с Алексеем Максимовичем.* — Эти встречи могли происходить с конца 1920 года, когда Форш из Киева переехала в Петроград, до октября 1921 года, когда Горький выехал лечиться за границу. «Всемирная литература» — издательство, организованное Горьким при Народном комиссариате просвещения во второй половине 1918 года.

Стр. 560. *...рассказ в «Русской мысли» — «Медвежонок»...* — Имеется в виду сказка «Медведь Панфамил» (см. наст. изд., т. 6, стр. 372—384).

Стр. 561. *Вы знакомы с «Философией общего дела» Н. Ф. Федорова?* — Федоров Николай Федорович (1828—1903) — философ-идеалист и мистик.

...собираюсь работать над новым историческим романом «Первый российский куровод...» — Это первое упоминание о замысле романа, посвященного Н. И. Новикову, который О. Д. Форш в течение ряда лет собиралась писать. Замысел не был осуществлен. Образ Новикова занимает важное место в романе «Радищев» (1932—1939).

В ответ Алексей Максимович написал мне... — Приведенное письмо было написано 27 сентября 1926 года. Оно публиковалось О. Форш и ранее (см. «Звезда», 1941, № 6, стр. 153).

Стр. 562. *В одном из писем я просила...* — Речь идет о письме О. Форш от 3 ноября 1926 года (хранится в Архиве А. М. Горького, Москва).

Алексей Максимович про А. Н. Шмидт написал мне так... — Приведенное далее письмо было написано 13 ноября 1926 года. Оно публиковалось Форш и ранее («Звезда», 1941, № 6, стр. 153). Шмидт Анна Николаевна (1851—1905) — автор религиозно-мистических сочинений, опубликованных после ее смерти и восторженно встреченных реакцией (см. очерк Горького «А. Н. Шмидт», 1924).

Стр. 563. *Когда и где будете вы печатать о «символистах»? Мнение ваше обо мне, разумеется, волнует меня.* — Здесь Горький отвечает на письмо от 3 ноября 1926 года, в котором Форш признавалась: «Была у меня затеяна большая работа «О прекрасной даме», где две главы ее... посвящены были одна вам, другая Толстому (Льву). Теперь в переездах книга пропала. Остались клочки. Вот буду писать о «Символистах». Какие мысли опять встанут, если интересно вам — теперь скажу» (Архив А. М. Горького. Москва). Работа над романом «Символисты», очевидно, была начата в 1928 году. В заметке, помеченной 6 ноября 1928 года, Форш сообщала: «...временно оставляю начатый роман „Символисты“» («Горький и советские писатели. Неизданная переписка», стр. 588). Роман «Символисты» был напечатан в журнале «Звезда» в 1933 году (в отдельном издании получил название «Ворон», 1934). О Горьком Форш говорит в другом романе — «Сумасшедший корабль» (1930).

Тут у меня с Алексеем Максимовичем вышло недоразумение. — В письме от 3 ноября 1926 года (Архив А. М. Горького. Москва) Форш спрашивала Горького не о внуке Илье Артамонове, а об Илье Артамонове старшем. Подробно это недоразумение Форш разъясняет в письме от 6 декабря 1926 года (см. «Горький и советские писатели. Неизданная переписка», стр. 591—593).

«Давно хочу и готовлюсь сказать о женщине...» — Здесь Форш, очевидно, цитирует черновой вариант своего письма (см. письмо Форш к Горькому от 6 декабря 1926 года в кн.: «Горький и советские писатели. Неизданная переписка», стр. 592).

Стр. 565. *В ответном письме...* — Это письмо от 15 декабря 1926 года в извлечениях опубликовано в статье О. Форш «О нашей женщине» («Звезда», 1937, № 2, стр. 254—257).

Стр. 566. *Груздев* Илья Александрович (1899—1960) — советский литературовед, автор ряда книг о Горьком.

...вистую, посылая вам мою. Книга — солидная. — Речь идет о первой части «Жизни Клима Самгина», вышедшей в 1927 году.

Стр. 567. *Алексей Максимович упоминает о «Памфалоне», к которому пишет эскизы Соловей.* — Речь идет о пьесе на сюжет Н. С. Лескова «Скоморох Памфалон», впоследствии переделанной и названной «Живая вода» (см. стр. 7—76 наст. тома и прим. к пьесе). Соловей — дружеское прозвище приятеля Горького, художника Ивана Николаевича Ракицкого (1883—1942).

...побывав на «горьковской» выставке в «Пушкинском доме»... — Выставка, посвященная 35-летию литературной деятельности Горького, в Пушкинском доме Академии наук СССР была открыта 29 декабря 1927 года. По поводу этой выставки О. Форш написала статью: «Портреты Горького» (см. «Горький. Сб. статей и воспоминаний». М.—Л., 1928, стр. 443—450).

Стр. 568. *...«Портретов ваших тьма...»* — неточная цитата из письма Форш начала 1928 года (см. «Горький и советские писатели. Неизданная переписка», стр. 604).

..удачен силуэт Кругликовой. — Кругликова Елизавета Сергеевна (1865—1941) — художник, график. На выставке был представлен силуэт Горького, сделанный в 1921 году.

Фофанов Константин Михайлович (1862—1911) — русский поэт, предшественник символистов.

Бальмонт Константин Дмитриевич (1867—1942) — русский поэт-декадент, после Октябрьской революции эмигрировал за границу.

Чехонин Сергей Васильевич (1878—1937) — график, в первые годы революции иллюстрировал множество советских изданий. В 1928 году эмигрировал в Париж.

...У меня в гостях были три поэта... — Поэты И. Уткин, А. Безыменский и А. Жаров гостили у Горького в Сорренто в феврале 1928 года.

Стр. 570. *...Асеевы уехали на Максиме..* — Н. Н. Асеев и его жена Ксения Михайловна гостили в это время у Горького в Сорренто. М. А. Пешков ездил с Асеевыми в Кастелламаре и сам правил машиной.

Стр. 571. *Я собираюсь в Москву...* — Речь идет о намерении приехать из Италии в Москву, осуществленном 31 мая 1929 года.

В письме от 8. VI. 30. Алексей Максимович, вероятно, отвечает на какой-то вопрос, заданный мной относительно подробностей биографии Василия. — В письме к Горькому от 12 мая 1930 года О. Форш спрашивала, много ли из написанного им о Василии Буслаеве осталось «под спудом»? (см. «Горький и советские писатели. Неизданная переписка», стр. 608). Приведенное в статье письмо Горького — ответ на это ее письмо.

«Наши достижения» — журнал; издавался в Москве под редакцией А. М. Горького с января 1929 по 1937 год. С 1930 года выходил ежемесячно.

Стр. 572. *Что же касается до описания вами меня в сумасшедшем романе...* — В письме к Горькому от 12 мая 1930 года О. Форш сообщала: «Сейчас же заканчиваю «Сумасшедший корабль» (в «Звезде»), где вам, не посетуйте, отводится жил-

площадь на целую главу». (см. «Горький и советские писатели. Неизданная переписка», стр. 608).

Рябушкин Андрей Петрович (1861—1904) — автор иллюстраций к былине о Василии Буслаеве, опубликованных в журнале «Шут», 1898, №№ 15—18, 20—22.

Престон Томас (1537—1598) — английский писатель; речь идет о его пьесе «Жизнь Камбиза, персидского царя».

...живя на Капрее, снова взялся за этот сюжет... — В 1912 году на Капри Горький предполагал написать о Василии Буслаеве пьесу или либретто для оперы с участием Ф. И. Шаляпина.

...говорил о нем с Амф⟨итеатровым⟩. — Амфитеатров Александр Валентинович (1862—1923) — беллетрист и публицист; после Октябрьской революции эмигрировал за границу.

...он тоже «соблазнился сюжетом»... — Речь идет о пьесе Амфитеатрова «Василий Буслаев» (1922).

Стр. 573. *...на днях публично проклятого газетой «Руль».* — О нападках на Горького белоэмигрантской газеты «Руль» см. в его статьях «О предателях» (1930. Собрание сочинений в тридцати томах, т. 25, Гослитиздат, М., 1953, стр. 198—199).

Про одну из героинь романа, Лидию Варавку, я... сказала... — Свои замечания по поводу романа «Жизнь Клима Самгина» Форш высказала в письме к Горькому от 30 ноября 1930 года (см. «Горький и советские писатели. Неизданная переписка», стр. 609).

...«легкость пера необыкновенная».... — перефразированное выражение Хлестакова из комедии Н. В. Гоголя «Ревизор».

Стр. 574. *Шопенгауэр Артур* (1788—1860) — немецкий философ-идеалист.

Стр. 575. *...рекомендую вашему вниманию Всев. Лебедева «Полярное солнце».* — Повесть В. В. Лебедева (1901—1938)

«Полярное солнце», вышедшую в 1930 году (изд. «Федерация»), Горький пропагандирует и в других письмах и статьях как «отличную книжку» (см. Собрание сочинений в тридцати томах, т. 25, стр. 251, т. 30, стр. 210).

Аничков Евгений Васильевич (1866—1937) — историк литературы и критик.

Стр. 576. *Клейст* Генрих (1777—1811) — немецкий романтик, драматург и новеллист.

А. М. ГОРЬКИЙ И МОЛОДЫЕ ПИСАТЕЛИ

Впервые — «Ленинградский альманах», 1954, № 9, стр. 280—281.

Стр. 578. *«Большие темы в работе у вас...»* — неточная цитата из письма Горького к Форш от 27 сентября 1926 года (см. «Горький и советские писатели. Неизданная переписка», стр. 589).

Стр. 580. *«...современная молодежь жадна...»* — цитата из письма Горького 1929 года к рабкору (см.: М. Горький. Письма к рабкорам и писателям. Биб-ка «Огонек», 1936, стр. 31).

ВСТУПИТЕЛЬНАЯ РЕЧЬ НА ВТОРОМ ВСЕСОЮЗНОМ СЪЕЗДЕ СОВЕТСКИХ ПИСАТЕЛЕЙ

Впервые — «Литературная газета», 1954, № 149, 16 декабря.

БЕССМЕРТНЫЙ ГОГОЛЬ

Впервые — «Огонек», 1959, № 14, стр. 8—11.

Стр. 586. *«Песня сочиняется не с пером в руке...»* — цитата из статьи Н. В. Гоголя «О малороссийских песнях» (1834).

Стр. 589. *«Сейчас прочел «Вечера близ Диканьки»...* — цитата из «Письма к издателю „Литературных прибавлений к Русскому инвалиду“» А. С. Пушкина (1831).

...по свидетельству Белинского... — Цитата из рецензии В. Г. Белинского на «Арабески» и «Миргород» («Молва», 1835, № 15).

Стр. 590. *«Все наслаждение моей жизни...»* — цитата из письма Н. В. Гоголя П. А. Плетневу от 16 марта 1837 года.

...усмотрено «унижение русских людей». — Речь идет о критических выступлениях по поводу «Мертвых душ» Н. Полевого, Н. Греча и др.

Гоголь с горечью вспоминает. — Имеется в виду «Четыре письма к разным лицам по поводу „Мертвых душ“» в «Выбранных местах из переписки с друзьями» Н. В. Гоголя.

Стр. 592. *...уничтожающей статье Белинского...* — Статья В. Г. Белинского о книге Н. В. Гоголя «Выбранные места из переписки с друзьями» была напечатана в журнале «Современник», 1847, № 2.

ВЕСНОЙ 1961 ГОДА

Впервые — «Правда», 1961, № 139, 19 мая.

Стр. 596. *Стоишь, бывало, в институте...* — Речь идет о Николаевском сиротском женском институте в Москве, в котором Форш училась с 1884 по 1891 год.

Стр. 597. *Об этом рассказе Герцен писал...* — Здесь неточно приведены слова А. И. Герцена из его статьи «О романе из народной жизни в России» (1857).

АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ
ПРОИЗВЕДЕНИЙ, ПОМЕЩЕННЫХ В ТТ. I—VIII СОБРАНИЯ СОЧИНЕНИЙ О. ФОРШ

СОДЕРЖАНИЕ

ПЬЕСЫ

ВЧЕРА И СЕГОДНЯ

СТАТЬИ

Ольга Дмитриевна Форш
СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ, т. 8

Редактор А. Бихтер
Художественный редактор Л. Чалова
Технический редактор В. Алексеева
Корректор Е. Хваленская

Сдано в набор 9/III 1964 г.
Подписано к печати 15/VII 1964 г.
Бумага 70×108 1/32. 20,125 печ. л.=27,57 усл. печ. л.
23,094 уч.-изд. л. + 1 вкл. = 23,13
Тираж 107 000 экз. Заказ № 690. Цена 75 коп.

Издательство
«Художественная литература»
Ленинградское отделение
Ленинград, Невский пр., 28

Ленинградская типография № 1 «Печатный Двор»
имени А. М. Горького «Главполиграфпрома»
Государственного комитета
Совета Министров СССР по печати,
Гатчинская, 26